

Нагибин

ЮРИЙ

Нагибин

ЮРИЙ

**НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ**

НАГ

Юрий
Нагибин

НАД ПРОПАСТЬЮ
ВОЛЖИ

Издательский Дом «Подкова»
Москва
1998

ББК 84.37
Н 16

Нагибин Ю.М.

Н 16 Над пропастью во лжи.— М.: Издательский
Дом «Подкова», 1998.— 520 с.

ISBN 5-89517-023-4

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י. ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספרייה

.....3112..... מס

1562/1

Тексты публикуются в авторской редакции

© А.Нагибина, 1998

© Е.Селиванова. Оформление. 1998

ISBN 5-89517-023-4

СРОЧНАЯ КОМАНДИРОВКА, ИЛИ ДОРОГАЯ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР...

Повесть

Поездка оказалась трудной, куда более трудной, чем можно было ожидать. Хотя легкой жизни для себя Суржиков и не ждал. Вначале говорили, что поедут три человека: химик, электронщик и строитель. Но затем одну единицу сократили, а еще одну забрало Министерство культуры, поскольку там из руководства никто в Японии не бывал, оставили химика, ибо прямого специалиста по тому оборудованию, которое приобреталось, у нас не существовало. С таким же успехом можно было оставить электронщика, строителя или заменить их атомщиком. В Министерстве культуры работало немало толковых людей: бывшие агрономы, паровозники, инженеры-строители, корабельщики, но и тут не повезло: на поездку оформился заместитель министра Олег Петрович, бывший директор фабрики мягкой игрушки. Он же, естественно, стал руководителем делегации.

Надо отдать ему справедливость: никакой помехи от него не было. Он в первый же день сам все поставил на свои места. Когда они собрались в кабинете президента фирмы «Цибимуси» за кофе с коньяком и очень вкусными песочными пирожными, он внушительно сказал атлетически сложенному японцу с черным жестким бобриком, похожему не на предпринимателя, а на борца сумо, чтобы по всем вопросам, связанным с технической стороной дела,

обращались к Суржикову. «Не знаю, как в Японии, — добавил замминистра культуры, — но мы своим специалистам полностью доверяем». Его слова произвели большое впечатление на японцев. Они все встали, включая президента, и, сложив вместе кончики пальцев, стали отвечать главе советской делегации глубокие поклоны. Олег Петрович не остался в долгу и с ловкостью, неожиданной в его громадном чреватом теле, отвесил каждому из присутствующих отменный японский поклон. Японцы осведомились, каковы будут пожелания высокого гостя. Ему нужны — переводчик, машина и шофер в полное распоряжение на весь день. Кроме того, он привык два раза в неделю играть в теннис. Японцы, исполнившись еще большего уважения, спросили: нужен ли ему тренер. Нет, тренер не нужен, только организовать игру, найти партнера, да и хорошие мячи не помешали бы, он предпочитает шлезингеровские.

Олега Петровича заверили, что все будет сделано, как он пожелает. После этого последовал новый обряд поклонов, в котором сквозь традиционность выверенных жестов и поз проглядывала неподдельная сердечность, и Олег Петрович отбыл, шутливо попросив хозяев «не обижать его мужика». Японцы, обнажая в улыбке крупные белые искусственные зубы, снова кланялись и продолжали это делать, когда глава делегации скрылся за дверью.

Работать с японцами оказалось, с одной стороны, приятно, с другой — довольно обременительно. Приятно, потому что они были очень вежливы, никогда не повышали голоса, готовы по десять раз объяснять одно и то же, к тому же со стола не сходили пиво, кока-кола, кофе, маленькие бутербродики, у нас их называют «пыжи», и хрустящее печенье. Суржиков столько выпивал жидкости и всего съедал, что обходился без обеда, кроме тех случаев, когда его приглашали пообедать за счет фирмы. Завтрак, очень легкий, «европейский»: хлеб, масло, джем и кофе с молоком, — входил в оплату номера, на ужин Суржиков открывал баночку консервов, которые привез из дома. Был у

него и кипятильник, и пакетики с чаем и сахаром он сохранял от завтрака. Словом, с питанием затруднений не было. Сложность работы заключалась в том, что почти к каждому слову надо добавлять «сан», а значит, и помнить об этом, а голова у Суржикова была чисто техническая, рассчитанная на цифры, формулы, точные умозаключения и очень слабая на всякую гуманитарную: он не знал наизусть ни одного стихика и затруднялся в подборе отвлеченных слов, к тому же ему мешала некомпетентность в деревообделочной и пищевой промышленности. Он, конечно, запасся литературой и пользовался каждой возможностью подрастрясти общительных японцев на интересующие его темы, но эта самодеятельность не могла заменить специальных знаний. Выручало Суржикова — во всяком случае, спасало от грубых промахов — то, что он был гением, ничуть об этом не догадываясь. Будь у Суржикова условия для научного творчества, он бы потряс мир открытиями. Но таких условий у него не было. Более того, на работе смутно догадывались, что в черепашке у Суржикова содержится что-то необязательное для ведущего специалиста, избыточное и даже опасное, и потому старались максимально загрузить его, заморочить, чтобы отвлечь тайные умственные силы от попыток воплощения. В людях говорил бессознательный инстинкт самосохранения, известно, что мании одних не приносят счастья другим, и тайная боязнь чужого возвышения. Разносторонностью и невезучестью Суржиков напоминал Леонардо да Винчи, конечно, не художника, а технаря. Рисовать Суржиков не умел, равно ваять и играть на лютне, да и к отвлеченному умствования не был склонен, но широтой изобретательского дара не уступал великому флорентийцу. Если Леонардо большинство своих открытий доводил только до чертежа или рисунка, то Суржиков останавливался еще раньше: на мысленном, к тому же недодуманном представлении. Порой — на первом озарении. Домыслить и перевести хотя бы в чертеж не хватало времени: постоянно сверхурочная рабо-

та, общественные обязанности. А не мешали бы Суржикову, у нас были бы синтезированы новые химические вещества, открыто средство против СПИДа, построен автомобиль с вечным двигателем, налажен пошив костюмов из антиматерии, черные дыры превращены в хлопковые поля, а не наоборот, как было до сих пор. Повторяю, Суржиков не догадывался о своей умственной неординарности, он думал, что у всех так, к тому же по службе не слишком преуспевал, что отражалось и на его семейном авторитете, в доме главенствовала жена. Слепота к своей тайне освобождала Суржикова от мук нереализованности.

Омраченность Суржикова в Японии шла не от деловых сложностей, тут он как-то справлялся, но промелькивали дни, а он так и не мог выбраться в магазин. Жена дала поручения, которые он обязан выполнить. Ему было наказано не возвращаться без ползунков для младшей, без носочков, трусиков и башмачков для старшего. А еще она велела привезти ей батник, беретку синюю, и если есть в Японии магазины уцененных товаров, то какой-нибудь плащик. Это была программа-минимум. Ни сам Суржиков, ни тем паче его жена не имели представления о японских ценах. И, как назло, у них не было ни одного знакомого, побывавшего в Японии. А люди, болтавшие с чужих слов, противоречили друг другу: одни уверяли, что Япония самая дешевая страна в мире, часы «Сейко» — один обед, проигрыватель — два обеда; другие же уверяли, что в Японии все очень дорого, особенно на вывоз. Суржиковы сбили себе сон, обсуждая по ночам эти проблемы. Как люди не избалованные жизнью, они решили исходить из высоких цен и составили очень скромный список. Суржиков записал в блокнотике размеры детских вещей, объем бедера, талии и бюста жены. Перед самым его отъездом жена, как-то девичьи розовея, сунула Суржикову бумажку, где он с удивлением обнаружил смелый перечень: костюм женский — джерси, кимоно, две пары колготок, дамские часики и мужскую обувь на осень — это ему. «Можно раз в

жизни помечтать», — застенчиво сказала она. Суржиков был тронут ее вниманием, хотя отлично понимал, что даже при самой строгой экономии и демпинговых ценах его денег хватит, дай бог, на самый скромный список.

И вот катятся дни, он сидит в Токио, в самом центре, из окон видны неоновые рекламы магазинов, гигантских универмагов, набитых товарами вразрыв, а он только облизывается, тратя золотые часы на улыбающихся во всю пасть и, как неожиданно оказалось, очень несобранных, порой до растерянности, японцев. Да у них бардак почище нашего! — удивлялся Суржиков. В последнем он глубоко заблуждался. Он мерил японцев на привычный аршин, по обычаям страны, где нет ничего своего, кровного, кроме семьи, все общее, государственное, то есть ничье. Наша путаница, бессмыслица, неразбериха и волокита идут от безразличия, помноженного на некомпетентность, коренящуюся в том же равнодушии, нежелании сделать поступательного, творящего усилия. Другое дело японцы, они все были специалистами, до тонкости знавшими свое дело, и работали на фирму, которой были преданы не меньше, чем жене и детям. Преуспевание фирмы гарантировало им высокие оклады, регулярное денежное поощрение, и даже самые маленькие служащие не отделяли себя от хозяев дела. Поэтому они старались надуть Суржикова, сразу обнаружив его неосведомленность в ряде позиций, необходимых для оформления сделки. Их очень устраивало, что глава торгово-промышленной делегации устранился от участия в делах, ибо сразу поняли, что он малый не промах и, даже не имея ни о чем понятия, может создать куда больше осложнений, чем самый квалифицированный специалист. И неприятной неожиданностью для этих дельцов оказалось, что скромный, всего стесняющийся и, видимо, не преуспевающий у себя на родине инженер, к тому же без языка — переводчик, нанятый фирмой, не столько помогал ему, сколько пытался запутать, — непостижимым образом разрушал их хитроspлетения, имевшие целью

прибавить к тем ста миллионам долларов, которые они получали за свой товар, еще миллиончиков десять. Японцам в голову не могло прийти, что они схватились не с насморчным заморышем в поношенном полушерстяном костюме, застиранной рубашке и безвкусном розовом галстуке, а с тем, кого при жизни называли Божественный Леонардо. Суржииков начал переговоры почти в полной слепоте, но с каждым днем прозревал. Он понятия не имел ни об устройстве «Системы», ни о правилах установки и эксплуатации, но по ходу переговоров изобретал ее наново и все отчетливей видел, как все должно быть. Единственное, чего не мог ухватить гениальный мозг Суржиикова: зачем нужна нашей стране циклопическая машина по производству деревянных палочек, заменяющих обитателям земель, откуда восходит солнце, вилки и ложки. От Москвы до самых до окраин, насколько Суржиикову было известно, существовал один-единственный китайский ресторан «Пекин», но ему не освоить продукцию «Системы»: полтора миллиарда палочек в день. Для этого надо, чтобы все население Советского Союза, от грудных младенцев до истлевших старцев, трижды в день поглощало японо-китайскую еду. Но не исключено, что мы будем сбывать палочки через СЭВ социалистическим странам в обмен на пароходы, порталные краны, редкие металлы, обувь, помидоры, мороженую клубнику и вино «Саперави», изготовляемое по нашей лицензии. А есть ли в социалистических странах японские и китайские рестораны — роли не играет, должны брать, коль вошли в СЭВ и пользуются его преимуществами. Но это Суржиикова не касается, его дело — обеспечить доброкачественность покупки.

Отдавая свое время и мозг единоборству с фирмой (наивному Суржиикову это казалось преодолением расхлябанности), помыслами он был далеко от ристалища; в универсалах, у прилавков; он рылся в больших коробах, набитых бросовой продукцией в одну цену, растягивал резинки детских трусиков, мял в руках теплые ползунки, прикидывал

к себе батники, гладил скользкую прохладную ткань кимоно. Мозговые извилины автоматически делали свое дело, но душа витала далеко, сморщиваясь и съеживаясь все сильнее с каждым днем от горького разочарования: ему не вырваться в единственно влекущие пределы.

Фирмачи чувствовали, что с тихим, хотя и настырным человеком, которого они, пройдя через незлое презрение, снисходительную иронию, смущение, оторопь, начали уважать и даже побаиваться, не теряя надежды объехать хитрым японским колесом, происходит что-то неладное. Он и с первого знакомства не выглядел весельчаком, а тут вовсе разучился улыбаться, а пиво стал пить с алчностью, вызываемой не жаждой, а желанием что-то заглушить в себе. Они вспомнили, что все русские — пьяницы, и попытались использовать открывшуюся так кстати слабинку Суржикова. Теперь к кофе регулярно подавалась бутылка «Мартеля». Гость пошел на провокацию, но хозяева вскоре убедились, что его пронзительный технический ум только обостряется от поспешного и неопрятного вплескивания в рот жгучей жидкости, и коньяк отменили. А Суржикову решили чисто по-человечески помочь. Ему предложили на выбор: шоу с раздетыми девочками, с полураздетыми, с одетыми, но играющими на лютне, чайный домик с гейшами, порнокино, дискотеку, борьбу сумо, ресторан, где готовят живую рыбу прямо на глазах у заказчика, ресторан, где подают сырое мясо громадных черных быков, вспоенных пивом и сбитых мощным массажем чуть не в пену, ресторан с сукияки и шабо-шабо на угольном мангале, турецкую баню с женским обслуживанием и «спешизл» — все, разумеется, за счет фирмы. Суржиков холодно отказался. Он ненавидел капиталистов и не верил ни одному их слову. Ему внушили в молодости, что с капиталистами можно делать дела, но верить им нельзя ни на грош. Враг силен и коварен, у него нет иной цели, как погубить социализм. Болтун — находка для шпиона, а чтобы выведать наши секреты, они пойдут на все, особенно — ради самого со-

кровенного секрета, что у нас никаких секретов нет. Суржиков прекрасно понимал, что капиталисты хотят соблазнить его, и решительно отверг все коварные приманки.

Японцы недоумевали. Потом решили, что Суржиков нездоров, и наперебой стали предлагать ему лекарства: от желудка, печени, почек, сердца, давления, простуды, мигрени. Но и на эту приманку Суржиков не клюнул, прекрасно зная, каким запасом наркотических, расслабляющих волю, подавляющих психику советского человека средств располагают враги.

Один из наиболее наблюдательных фирмачей обратил внимание на то, что Суржиков не ходит обедать, отговариваясь сытостью: «Набил курсачок (переводчик долго не мог докопаться до простого смысла этого слова — желудок) орешками и печеньем». Что может быть вреднее? Фирмачи отменили все заедки к кофе, не тратить же конвертируемую валюту на жратву, но потом проглянули еще одну хитрую провокацию. В газетах напишут, что Советская власть морит голодом своих специалистов. Вот, мол, до чего доведена техническая интеллигенция в стране зрелого социализма.

Суржиков быстро просчитал варианты. Отсидеться в уборной весь обеденный перерыв — можно: там чисто, уютно, хорошо пахнет, приятный матовый свет, горячая вода, сушилки, несколько разных одеколонов — бесплатно, только нажми кнопку, тихая, убаюкивающая музыка, но если засыпешься — сраму не оберешься. Просто побродить по улицам, посмотреть витрины — опять же засекут. Зайти в магазин? Во-первых, магазины тоже закрываются на обед, кроме гигантских универсамов. Но если он туда пойдет, то уже не выйдет. Это будет выше его сил. Так рисковать нельзя. Цепкая зрительная память подсказала, куда направить стопы. Когда их везли из аэропорта, он заметил в китайском квартале, очень бедном и запущенном, харчевню с серебряным драконом на грязном стекле. Даже не зная цен, можно смело сказать, что это найдеше-

вейшая забегаловка в Токио. Там питаются забитые китайские кули, последние на социальной лестнице. Он попытался представить себе, где это находится. Получалось, довольно далеко. Но если бегом? Он вполне успеет. Не покажется ли окружающим странным, что советский специалист бежит по городу, как стайер? Чепуха! Бег трусцой узаконен во всем мире. Убегаю от инфаркта, с усмешкой скажет он, если кто прицепится.

И в следующей обеденный перерыв он осуществил свое намерение. Он не сомневался, что найдет это место, причем кратчайшим путем, хотя совершенно не знал города, а карты у него не было. Он не осознавал эту свою способность ориентироваться на незнакомой местности как некое данное ему преимущество, он полагал, что все люди устроены так, равно как не видел и других отпущенных ему природой редких свойств.

Японцы, в отличие от европейской толпы, привыкшей ничему не удивляться (в Париже можно выйти на улицу голым, никто бровью не поведет), сохранили свежесть взгляда, и стремительно бегущий по раскаленной улице представитель белой расы в тяжелом костюме, с поношенным портфелем в руке вызывал на их лице недоуменную усмешку. Иные улюлюкали, впрочем беззлобно. Суржиков не оглядывался.

Он знал, что найдет харчевню, и он ее нашел. Не нашел даже, а выбежал прямехонько на нее. В маленьком зальце на четыре-пять столиков было пусто и темно. Уличный свет едва просачивался сквозь грязноватые занавески. На буфетной стойке патефон хрипел тремя веселыми поросятами. Рядом на высоком табурете подремывал старый китаец. Когда Суржиков, усаживаясь за столик, двинул стулом, китаец открыл обметанные красным, слезящиеся глаза, тупо уставился на вошедшего, будто не мог взять в толк: во сне или наяву явился ему этот посетитель, — европейцы сроду сюда не заглядывали, затем сполз с табуретки, взял с соседнего столика меню и положил перед Суржико-

вым. Тот не затруднился выбором: просто ткнул пальцем в самое дешевое блюдо. Старик вздохнул и потащился на кухню, палками ставя ноги в широких китайских штанах. Проходя мимо патефона, он покрутил ручку и поставил поросят сначала.

Вернулся он почти сразу с миской похлебки. Большой палец, загнуто окогченный, находился в пределах заплеска красноватой жидкости. Ложка была обернута в обрывок тонкой бумаги, напоминающей пипифакс. Он о чем-то спросил Суржикова, тот отрицательно мотнул головой. Наверное, поинтересовался, чего он будет пить. Чего, чего, а ничего, вот чего!..

Чуть теплая похлебка была так круто заправлена соей, что вкуса ее Суржиков не почувствовал, быть может к лучшему. Он быстро очистил миску, расплатился, пересчитал сдачу и кинулся в обратный путь. И пока он бежал, расталкивая прохожих, по мягкому, поплывшему асфальту, он все время мучился мыслью, что проел детские носочки, а может, и лифчик для жены. Успел он вовремя.

Меж тем бесполезно истаивала вторая неделя, а Суржиков так и не попал в магазин. На субботу-воскресенье его возили в старую столицу Японии Киото, где показывали разные, но для Суржикова одинаковые храмы и таинственный дом, где обитал потомок клана ниндзя — «умеющих нападать и защищаться». На улицах, площадях и особенно в парках города было очень много черноголовых неотличимых скромно-веселых и прекрасно — весело, ярко — одетых японских детей. Среди них было немало однолетков его сына, и Суржиков пригорюнился, почему дети этой нации, проигравшей войну, ошарашенной двумя чудовищными атомными взрывами, не имеющей ни нефти, ни других полезных ископаемых, зато постоянно терзаемой тайфунами, цунами и другими стихийными бедствиями, так нарядны и ухожены, что его сынишка выглядел бы среди них оборванцем. И дочка его — нищий грудняк. А он с женой, что ли, лучше выглядят? Тоже нищие. И

вот сейчас, когда появилась первая и последняя возможность чуть подлатать дыры, он не может прорваться в магазин и каждый день съедает с красной пересоенной хлебкой, в которой старик китаец купает свой грязный когтистый палец, нужную для семьи вещь. Сколько он уже сожрал носочков, трусиков и подгузников? И хотя Суржиков был человеком, закаленным в терпении, несопротивляемости и рабской покорности, хотя обобранность его гражданским чувством, неспособность думать о своей жалкой судьбе и социальной несправедливости приближались к абсолюту, ему впервые показалось, что не все так прекрасно в том лучшем из миров, где он приговорен жить.

Суржиков решил, что если не случится чуда, то в конце недели он угробит все свои деньги в первом попавшемся универсаме: не сдавать же ему в бухгалтерию эти несчастные иены. Себе он, разумеется, ничего не купит, но ребятам привезет все, что задумали, и жене наскребет на батник и пару колготок.

Приняв это решение, он с омраченной душой — разбилась еще одна хрупкая надежда бедняка — продолжал сражаться за государственный карман. Упрямые японцы, хотя и убедились в железной стойкости Суржикова, не оставляли попыток вырвать для фирмы добавочную выгоду. Они не впервые имели дело с «товарищами» и привыкли к тому, что агрессивная деловитая алчность тех рано или поздно скисает то ли от непривычки к труду, то ли от равнодушия. Ведь по-настоящему люди борются только за свой карман. Суржиков нарушал сложившийся стереотип мышления, с этим нельзя было согласиться.

Но время стремительно убывало, и фирмачи, и Суржиков неотвратимо приближались к гавани разбитых надежд, и тут вмешалась третья сила, о которой все как-то подзабыли, благо она ничем не напоминала о себе.

В четверг вечером в номере Суржикова раздался телефонный звонок, повергший его в панику. Он был уверен, что это очередная провокация, и долго не брал трубку.

Но телефон звонил неумолимо, и нервы советского командированного не выдержали: а вдруг ему придется оплачивать из своего кармана эти долгие гудки? Узнать, что он находился в номере, ничего не стоит, значит, он сознательно не брал трубку, а коли так — плати. От общества, где все продается и покупается, не жди пощады.

Суржиков снял трубку и, зачем-то изменив голос, произнес тихо и хрипло:

— Алё.

— Ты что там — с гейшей залег? — Ворчливый, но благодушный разлив знакомого вальяжного баритона теплом разлился по жилам Суржикова.

— Извините, Олег Петрович, в туалете сидел.

— Ну силен! Я уже полчаса звоню. Видать, здорово тебя японцы кормят.

— Нет, Олег Петрович, я на свои питаюсь. Раньше хоть орешки давали, а сейчас пустой кофе.

— Капитализм, — вздохнул Олег Петрович. — У нас в магазинах пусто, а на столе густо, а у них наоборот. Вот что, ты можешь ко мне заглянуть?

Суржиков надел пиджак и спустился в бельэтаж, где находился люкс руководителя делегации.

В номер он едва пролез: прихожую и часть холла загромождали разного рода аппетитные ящики из серого гладкого картона с красивыми наклейками. Неделikatно было приглядываться к ним, но в глаза сами лезли яркие знаки фирмы «Снио» и «Сони», в ящиках находилась видеоаппаратура, магнитофоны, проигрыватели, усилители, стереотумбы. Олег Петрович тоже неплохо поработал за минувшие дни.

Сам он щеголял в черном шелковом, лоснящемся, как шерсть орловского рысака, кимоно с белыми отворотами на рукавах. На столике в холле стояла полупустая бутылка коньяка «Наполеон», ваза с фруктами, конфеты.

— Хочешь выпить? — спросил Олег Петрович.

Суржиков отказался: завтра последний и самый ответственный день — подписание бумаг.

— А как там дела? — поинтересовался Олег Петрович, закуривая сигарету «Кент».

— Нормально. Как условились, так и отдают.

— А скидки не делают?

— Какая скидка? — У Суржикова глаза на лоб полезли. — Я бился, чтоб за старую цену все в комплекте получить. У них такая бестолковщина: или недодать, или лишнего запросить.

— Не такая уж это бестолковщина, — улыбнулся Олег Петрович. — Ты отоварился?

— Ни разу в магазин не зашел.

— Ну, брат, ты комик. Разве можно все на последний день оставлять? Мне тут помогали: и японцы, и посольские хлопцы, и то я половины не купил. Знаешь, перенасыщенность товарами так же плохо, как и «дюфцит», — слегка вытянув губы, Олег Петрович скопировал Райкина. — У нас глядеть не на что, а тут глаза разбегаются. Не знаешь, за что хвататься. И того хочется, и этого. Я, конечно, нагнул, погорячился. Не спросясь броду, сунулся в воду. Мы ведь дикари. Для нас «Сейко» и «Сони» — выше крыши, а для японцев — вчерашний день. Это все, — он махнул рукой на ящики с аппаратурой, — просто барахло — подарки музыкальных коллективов. Да ведь дареному коню в зубы не смотрят. Раздам в Москве.

— А что это за музыкальные коллективы? — спросил Суржиков, забывший, какое ведомство представляет Олег Петрович.

— «Фудзияма», «Треснутые гитары», «Голубая горлинка» и «Фью-фью». Слышал, наверное, они у нас гастролировали. Мы договорились о новых гастроях. Знаешь, у меня состоялась встреча с профессором Кусака.

— А кто он такой?

— Ну, Суржиков, ты даешь! Главный босс сумо. Он открыл Китанофудзи и самого Тайхо. Мультимиллионер, но очень прогрессивный. Он готов прислать большой гукихан, или как там по-ихнему, борцов и сам приехать,

если ему отведут этаж гостиницы. Ну, это мы, конечно, сделаем.

— А чем им будут платить? — Суржикова это ничуть не интересовало, само спросилось.

— Нефтью, газом, зеленым шумом наших дубрав. Природных богатств России хватит на всех борцов сумо и еще останется. Ладно, я тебя не для того вызвал. На подписании документов можешь не присутствовать. Отпускаю тебя на весь день. Топай прямо в «Судзуки», знаешь, громадный универсам в Гиндзя. Там спокойно отоваришься. Понял?

— Понял. Спасибо. Мне бы хоть пацану...

— Не кашляй. Все купишь. Самый дешевый и насыщенный магазин. Детские вещи на первом этаже, женские на втором и третьем. Фирменные — на шестом, но там тебе делать нечего. Пойди-ка сюда. Я думал выбросить, а потом о тебе вспомнил.

Олег Петрович поманил Суржикова в ванную комнату. Она была вся в зеркалах, а сама ванна утоплена в мраморном полу. Оба вошедших отразились в бесчисленных блестящих плоскостях, даже потолок был зеркальный. Суржиков не помнил, когда он в последний раз смотрелся в зеркало. С тех пор как он стал бриться электрической бритвой «Пионер», он, наверное, ни разу не видел себя в зеркале, тем паче в рост. Конечно, он отражался в окнах, в стеклянных дверях и витринах магазинов, в зеркалах общественных уборных и лужах, но никогда не приглядывался к своему отражению. А здесь он пялился на себя со всех сторон, попробуй не заметить. Суржиков знал, что он не принц и не маркиз, но все же не ожидал, что настолько плюгав. Его мизерность, приплюснутость, серость подчеркивались ростом, дородством и статью Олега Петровича в вороном кимоно. Эх же ты выветрился, изжился и обносился, дорогой товарищ Суржиков!.. Он вспомнил нарядных, раздушенных, скрипящих от промывности японцев, с которыми вожжался чуть не две недели, как только терпели они рядом с собой такого помоечного

человека! И твердо решил купить себе рубашку и галстук, чего бы это ни стоило.

Олег Петрович показал Суржикову десятка полтора пластмассовых безопасных бритв с лезвиями, небрежно валявшихся на стеклянной полочке.

— Знаешь, что это? Бритвы одноразового пользования. Их дают бесплатно в самолетах, турецких банях и туалетах дорогих ресторанов. А бреют лучше любого «жиллетта». Хочешь, возьми на подарки. Наш человек такой бритвой раз десять побреется.

— А вам они не нужны?

— Я ими уже пользовался.

— А на подарки?

Олег Петрович внимательно поглядел на Суржикова и понял, что не ирония — само смирение говорит устами этого невзрачного человека. Он ответил мягко:

— У меня есть что подарить друзьям.

Он взял бритвы и ссыпал их в красивый полиэтиленовый мешочек с изображением танцующей японской девушки на фоне Фудзиямы.

— Мешочек — это отдельный подарок, — предупредил он.

Суржиков поблагодарил так душевно, что растроганный Олег Петрович сделал подарок ему самому: упаковку персиковой жвачки. Суржиков тут же сообразил, что этим он убогаторит женскую часть отдела, обеспечив мужскую — бритвами. Хотя жена предупреждала: никаких сувениров этим стукачам, он сильно беспокоился, как бы такой нетороватостью не навлечь на себя еще большую ненависть со стороны сослуживцев. Но не мог же он тратить на это собственные средства! Щедрость Олега Петровича снимала все вопросы.

Руководитель делегации присоединил к подаркам наставление. Девиз советского командированного за рубежом: ничего не оставлять врагу. Уезжая, надо забрать из туалета гостиничное мыло, шампунь, трубочку с одеколоном, пи-

пифакс, моечное средство для ванны и умывальника, бумажные салфетки и одоратор, из комнаты следует взять металлическую пепельницу с названием отеля — они предназначены для рекламы; перед самым отъездом выгрести из холодильника все бутылочки с виски, джином, коньяком, водкой, кампари, мартини, шампанским, сухими и креплеными винами — пусть оплатит фирма.

— Некоторые наши туристы, — поучал Олег Петрович, — выдирают розетки, выключатели и штепсели, вывинчивают лампочки, иногда вместе с патроном, срывают со стены градусники и барометры, но я лично против этого. Несколько плечиков из платяного шкафа, рожок для обуви — куда ни шло. В конце концов, мы же цивилизованные люди.

Суржиков заверил, что не польстится на такую мелочевку. Но в холодильниках, помимо бутылочек, есть палочки сухого печенья, орешки и жареная картофельная летучка в полиэтиленовых мешочках, как с этим поступить?

— В баре не оставлять ничего, кроме холодильного устройства и полок, — веско сказал Олег Петрович.

Похоже, начинали обрисовываться те чудеса, которые связываются с понятием зарубежья и были наглухо закрыты для Суржикова до сегодняшнего вечера. Преисполненный благодарности к своему руководителю и не зная, как ее выразить, он спросил юношеским голосом:

— Олег Петрович, а вы видели Леонида Ильича?

— Сколько раз!

— И близко?

— Как тебя, — улыбнулся тот.

— А какой он?

Считая неприличным говорить о вожде в санузле, Олег Петрович надавил животом на Суржикова и вытеснил его в холл. Он подошел к столику с коньяком и разлил по рюмкам смуглый напиток.

— Он великий коммунист. За Леню!

Мог ли вообразить Суржиков, что ему придется так интимно пить за первого человека в государстве? От слад-

кого и ошеломляющего приближения к средоточию власти у него закружилась голова раньше, чем в нее ударил крепкий французский коньяк.

— Зажри. — Олег Петрович подтолкнул к Суржикову шоколадный набор, сам же занюхал тост долькой лимона. — Понимаешь, Суржиков, Леня открыл главное: путь наступления коммунизма. Он не теоретик, как покойный Сталин, и не раскладывает все по полкам, а осуществляет на практике интуитивно открытый им закон. Коммунизм не может наступить сразу для всех — это утопия. В Леониде Ильиче сочетается художник с практиком, он знает промышленность, и он воевал, был на советской работе, а партийную прошел снизу до самого верха, это дало ему громадный опыт и мудрость. Коммунизм должен осаживаться на землю, как туман. Знаешь: сперва накрылись верхушки деревьев, потом вся крона, потом стволы, наконец травы и цветы, и вот уже он простерся по самой земле, все сущее ушло в него. Сейчас начальный момент: земля еще в социализме, а верхушка общества уже подернулась туманом коммунизма. Хрущ хотел отнять дачи, машины, закрытые распределители и все привилегии у номенклатуры, он хотел убить коммунизм, хотя пророчил его на восьмидесятые годы. Видать, думал войти в него с доярками, ткачихами и работягами-алкашами. Он идеалист-волюнтарист. Не отнимать надо, а дать как можно больше верхушечным людям, удовлетворить все их потребности и запросы, не ставя это в зависимость от труда, — осел, может, больше всех трудится, а все равно осел. К тому же кому дано вычислить количество трудовой пользы, которую приносят самим фактом своего существования, пребывания в мире люди, стоящие ближе к солнцу? Если вернуться к моему сравнению, а оно верное, потому что правильное, сейчас туман коммунизма покрыл самый островершек: Леню, его семью и самых близких к нему людей. Следующий виток — туман сойдет ниже, в коммунизм вступят Ленины соратники со своими семьями и окружением и

так далее. Чем ниже ярус, тем шире круг охвата, но все происходит постепенно. Ведь нельзя же всем скопом входить в неизвестное, неведомое и неопробованное. А сейчас коммунизм уже обживаетея, наполняется теплом и дыханием. Народ будет погружаться в него не как в склеп, а как в уютное человеческое жилье.

— Вот бы взглянуть одним глазком на коммунизм, — мечтательно сказал Суржиков.

— Ну и гляди, кто тебе мешает. Гляди на Леонида Ильича, вот человек, живущий при коммунизме. Он дает по возможности, а получает по потребностям. Очень высоким, Суржиков, очень! Недавно ему хотели «Октябрьскую революцию» дать, чтобы поднять престиж ордена, — закапризничал: не возьму, хочу Золотую Звездочку. Седьмую там или восьмую по счету. И учли его потребность, дали.

Суржиков вернулся в свой номер исполненный телесной приобщенности — через Олега Петровича — к «Лёне», как он с замиранием сердца называл про себя великого коммуниста, десантника будущего, заброшенного негласным волеизъявлением народа в тот светлый рай, где все по потребностям и ничего по труду.

А на другой день он погрузил дрожащие от нетерпения руки в короб с детскими трусиками, слюнявчиками, фартучками, лифчиками, рубашками и шапочками, похожими на жокейские, головными платочками для девочек, шейными для мальчиков, галстучками и какой-то сбруей из байки, назначения которой Суржиков не знал. И была масса разноцветных платочков, похожих на носовые, но слишком нарядных, чтобы в них сморкаться. И стоил каждый предмет... полдоллара в переводе на знакомую валюту. Что там ни говори, а капитализм — это рай, — сладостно пискнуло в душе Суржикова, но мгновенно сработал диалектический карабин, удержавший его от падения в идеологическую бездну. Обман все это, хитрый обман. Как может детское платице идти в той же цене, что и подгузник или пара носочков? Зна-

чит, все наоборот: носочки и подгузники идут в цену платья, и остальные дешевые вещицы подымаются до этой цены. Экономически и психологически тонкий ход. И лишь советскому человеку, владеющему марксистским методом, дано проглянуть истину: самая дешевая вещь идет в цену самой дорогой. Крайне низкая себестоимость изделий — и соответствующее качество — позволяют проделать этот нехитрый трюк.

Восторг Суржикова несколько поубавился, но плотная, теплая, мягкая реальность вещей под его пальцами вернула ему радость, правда, без эйфории. И слава богу, а то он мог наделать глупостей. И все же нервозность сильно мешала ему поначалу. Он нашел чудный синий с красной полоской носочек, но никак не мог отыскать ему пару. Раз за разом перерывал он всю кучу, носочка и след простыл. У него мелькнула бредовая мысль, что второй носочек кто-то взял для своего ребенка-инвалида. Да нет, глупость какая! Все равно человек заберет оба носка, ведь один носок не стоит дешевле. Он взял себя в руки и еще раз спокойно, вещь за вещь перебрал короб. В какой-то миг он заметил, что за его спиной образовалась очередь, он мешал другим покупателям копаться в коробе. «Пусть привыкают, — злобно подумал Суржиков, — социализма никому не избежать». Второй носочек упорно не находился, и очередь за плечами Суржикова покорно нарастала. «Ничего, это полезно. Мы шестьдесят с гаком из очередей не вылазим, и вас не убудет. Больно шустрые стали — швырк-швырк — и все в руках! А кто вас от фашизма спас? — Заговариваться можно и про себя. — Как за свободу и независимость — так Суржиков, а как уцененка — пошел вон!» По счастью, второй носок нашелся, он запрятался в подгузник, и Суржиков избежал нервного срыва.

Теперь дело пошло толковее и быстрее. Он уверился, что короб у него не отберут, а очередь за плечами не смущала ветерана. Суржиков так и не узнал, что самые влиятельные газеты посвятили этой очереди в крупнейшем сто-

личном универсаме серьезные и глубокие статьи, анализирующие природу нового социального явления.

Суржиков отобрал еще три пары носочков для дочери, два подгузника, несколько замешкался с ползунками, они были на разные сезоны, но вдруг сообразил, что может позволить себе взять байковый на зиму, фланелевый с подстежкой на осень и весну и легкий из сквозной, дышащей ткани — летний. Он по завязку обеспечил своего наследника трусиками, майками, рубашками из синтетики, не поспешил на шортики с трехцветным ремешком и белый вязаный свитерок с надписью через всю грудь: «Ай лав Дженни».

Когда Суржиков отвалился от короба, за ним колыхалась толпа, и, деликатно разывая ее, катилась тележка с новыми бросовыми товарами. Администрация магазина с присущей японцам способностью быстрого реагирования сразу отозвалась на непредвиденный бум.

А Суржиков, расплатившись за покупку и получив в премию бумажного тигра, уже шурувал в корзине с детской обувью. Но теперь он во всеоружии опыта уже не порол горячку, а умело вытягивал из перепута вещей самое лучшее. Отсюда Суржиков перешел в женский отдел и застрял тут надолго, но в результате выполнил все пожелания жены: костюм-джерси, плащ, батник, беретка синяя, две пары колготок составили роскошную упаковку, повысившую самоуважение Суржикова. Купил он и дамские часики «Сейко» и — на свой страх и риск — туфли на высоком каблуке. Затем подался в мужской отдел и вышел оттуда счастливым обладателем кремовой рубашки, в тон ей галстука и мужской обувью «на осень». И тут он почти с испугом обнаружил, что осталась довольно крупная сумма.

Он стал обходить магазин по этажам, заглядывая во все отделы, даже в такие, куда с его деньгами нечего и соваться. Лучше бы он этого не делал. Человек, никогда не имевший хороших вещей, считанное число раз перешагивав-

ший порог промтоварных магазинов, которые не могли пробудить интереса к материальной стороне жизни, закрученный колесом однообразных и всепоглощающих обязанностей, он открыл для себя сияющий, сверкающий, блестящий, переливающийся немислимыми красками вещный мир. Лучше не знать, что все это есть, а главное, что есть люди, которые любую вещь могут сделать своей. Невольно думаешь, а чем же ты так проштрафился, чем провинился, что для тебя все это под замком?

Господи, чего тут только нет! Сотни разных магнитофонов и проигрывателей, радиоприемники — от спичечной коробки до шкафа, телевизоры-малютки и телевизоры-гиганты, колонки парные и счетверенные; тысячи систем часов: для мужчин, женщин, детей и младенцев, для плавания, подводной охоты, скалолазания, бега трусцой, часы для женихов и невест, часы-кастеты для гангстеров, будильники с боем, с пением, с музыкой, со звоном и ласковым шепотом: пора вставать, пора вставать. И вдруг обнаружил, что некоторые из этих дивных вещей ему по карману. Открытие почему-то не принесло радости, а повергло в грусть.

До самого вечера разъезжал Суржиков на эскалаторах по магазину, не в силах сделать выбор. Перед ним проплывали малолитражные машины «хонда», «тойота», «даун», гигантские рогатые мотоциклы, мопеды и велосипеды, сверкающие никелированными частями, на него пялились бесчисленные объективы кино- и фотоаппаратов немисливых конструкций, таинственно мерцали в матовом сумраке скрыто подсвеченные меха, лакированным многоцветьем били по глазам фантастические детские игрушки.

Суржиков понимал: что бы он ни купил, все будет самоволкой, которая не сойдет ему с рук. Но санкционированные покупки он все сделал, и, хочешь не хочешь, придется выбирать. Ни в коем случае нельзя брать ничего такого, в чем проглядывала бы его собственная заинтересованность, пусть вещь будет и для семьи: фотоаппарат или магнито-

фон. Тема «только о себе и думаешь» была самой ходовой в доме, хотя Суржиков никогда о себе не думал и даже порой утрачивал чувство своей отдельности в мире, настолько растворялся в семье. В конце концов усталость, полная душевная вымотанность погасили в нем все страсти, и он принял единственно правильное решение — купил жене сапоги. Если она и буркнет что-нибудь, то лишь для порядка, перед сапогами не устоит ни одна женщина страны постоянных временных затруднений.

В гостиницу он притащился без задних ног и свалился на кровать. А через час проснулся бодрым и свежим и сразу начал собираться.

В разгар сборов к нему явился Олег Петрович в отменном настроении, с большой плоской коробкой в руках.

— Фирмачи дают отвальную, — сообщил он. — У тебя есть приличный костюм?

— Нет. Только этот.

— Смени хотя бы рубашку и галстук. И отдай брюки погладить. Платить не надо, за счет фирмы.

— А как это?.. Я не сумею.

— А тут и уметь нечего. Вызови горничную, дай ей штаны. Скажи: шабо, шабо. Она все сделает.

Олег Петрович снисходительно оглядел пакеты, загромождавшие маленький номер.

— Отоварился?.. Молодцом! А меня ты ни о чем не хочешь спросить?

Суржиков смущенно пожал плечами.

— Вот те раз! Сегодня вроде бы решающий день. Подписание.

Совсем из головы вон! Магазин и связанные с покупками переживания вытеснили из сознания все другие мысли и заботы. Да он и не сомневался, что у Олега Петровича все будет в ажуре. В этом лестном смысле Суржиков и высказался.

— Ты даже не знаешь, в каком ажуре, — самодовольно усмехнулся Олег Петрович. — В последний момент, на фини-

ше, можно сказать, спас для нашей страны пятнадцать миллионов.

Вот почему он из директоров захоластной фабрики мягкой игрушки прыгнул в замминистры, да и здесь не долго задержится, пойдет дальше и дальше и, может быть, на себе испытает спускающийся сверху коммунизм.

— А знаешь как?.. Отказался от фундамента.

У Суржикова рухнуло сердце.

— На чем же она станет?

— На земле. Как Антей.

Все магазинные удачи, давшие крылья мечте, разом померкли. Личные заботы, радости и тревоги ничего не стоили перед губительным поступком руководителя делегации.

— Да ведь она работать не будет. — Голос прозвучал на слезе.

— Ну и что? — спокойно сказал Олег Петрович. — А кому она нужна? Ты ешь палочками, я ем, наши знакомые едят? Назови мне хоть одну советскую семью, которая ест палочками. Никто и не собирался запускать эту дуру. Ты что, не знаешь, сколько иностранного оборудования ржавеет на складах и просто под открытым небом? Ваше КБ закупало у фирмачей оборудование?

— Закупало.

— Много его реализовали?

— Н-нет... — проговорил Суржиков, удивленный, почему раньше никогда не думал об этом.

Аппаратура, купленная на валюту, обычно даже не распаковывалась. В тех редких случаях, когда ее пытались использовать, она сразу выходила из строя.

— Как правило, мы покупаем то, что нам заведомо не нужно. Мы не учитываем ни наших реальных потребностей, ни наших возможностей освоить заграничную технику. Кроме того, мы часто покупаем некомплектно, ради удешевления. Хочешь пример? Мы приобрели у чехов завод баночного пива, но отказались из экономии от состава, которым банки смазываются изнутри. Пиво стало портиться

буквально на следующий день. Завод пытались перевести на безалкогольные рельсы, потом закрыли. Но самый страшный бич — рационализация. Творческое мышление отличает нашего производственника от западного — приписка к машине. Просто запустить иностранную технику — без выгоды. Надо над ней поколдовать, что-то заменить, упростить, можно и усложнить, но с умом. Тогда сыплются поощрения, премии, вплоть до «государыни», ордена, всякая сласть. Беда в том, что иностранные машины не терпят чужих прикосновений и сразу отказывают.

Суржиков слушал его, и, хотя в частности тут было много правды, целого он как-то не ухватывал и уже боялся ухватить. Он пробормотал, что не понимает, зачем вообще тогда покупают иностранную технику.

— А потому что она нужна. Не вся, далеко не вся, но кое-что нужно. А главное, страна участвует в мировом обмене, мы осваиваем науку международной торговли, учимся на своих ошибках. Если раньше мы учились на уровне средней школы, потом техникума, то сейчас мы проходим университет ошибок. И при всех обстоятельствах это толкает вперед научно-техническую и коммерческую мысль. Наша с тобой дура заведомо не нужна, но не исключено, что кому-то захочется ее поставить. Идиотизм? Да. Но чем глупее, тем вероятнее. Я оставил ее без фундамента, значит, техническая мысль будет напрягаться над созданием нашего, советского, фундамента. Это потребует денег, но наших, отечественных, которые ничего не стоят. А сто миллионов все равно пропали, их уже нет в бюджете. И тут мы делаем подарок: пятнадцать миллиончиков. Их можно вложить, скажем, в приобретение кожаных поясов для борьбы сумо. Ты скажешь, у нас нет борьбы сумо. Но и дзюдо у нас тоже когда-то не было, а сейчас мы первые на татами. Я даю тебе слово, если эту дуру поставят, я добьюсь, чтобы нас включили в список на «государыню».

«Сверху виднее» — подумал Суржиков и перестал ломать голову над проблемой, которая отныне его не каса-

лась. Он сделал, что мог, и Олег Петрович сделал, что мог. Видать, сделал лучше, если запахло «государыней». Конечно, Суржиков ни на мгновение не допускал, что получит государственную премию, но даже слабая причастность к делам, заслуживающим столь высокой награды, подымала душу.

Они расстались до вечера.

Фирмачи расстарались на славу. Сперва повели гостей в тот самый роскошный ресторан, где кормят сырым мясом вспоенных пивом черных быков. Заложив прочный фундамент, отправились по барам, которых не счесть в Гиндзе, и каждый со своим лицом.

Суржикову запомнился бар, где посетитель мог за плату спеть под оркестр свою любимую песню. Здесь отличился Олег Петрович, спевший приятным баритоном японскую песню «Прозрачное небо над нами» и заслуживший дружные аплодисменты зала. На «бис» Олег Петрович исполнил «Гори, гори, моя звезда».

Потом был полутемный уютный барчик с пищей острова Хоккайдо. Судя по тому, что им подавали, жители второго по величине острова Японии питаются водорослями, превращенными в тепловатую, квелую, дурно пахнущую кашлицу, моллюсками и крупной бледно-розовой икрой, похожей на кетовую, но пресной и тугой, — каждую икринку надо прокусывать. У Суржикова сразу возникло скверное подозрение, и он не удивился, когда оказалось, что икра — лягушиная. Может быть, эта подготовленность помогла ему добежать до туалета. Было жалко отдавать еще не переваренное высококачественное парное мясо, но зато он освободился и от виски, которое плохо держал его вообще-то крепкий к спиртному желудок.

Затем был бар, где гейши показывали чайную церемонию, и здесь Суржиков был ошарашен открытием, что гейши — вовсе не уличные проститутки, а очень уважаемые артистки. Пригласить на вечер гейшу стоит больших денег, и это далеко не каждому по карману. Гейша будет разливать

чай, услаждать слух беседой, сыграет на лютне или на каком-нибудь другом старинном инструменте и удалится после долгой церемонии прощания, прямо и высоко держа черно налакированную голову. И боже упаси залезть к ней под юбку или за пазуху, они недоступны, как весталки. Девочки, которые изображали чайную церемонию в баре, не настоящие гейши, а ученицы, но такие же неотроги. Суржиков думал, как поразит он отдел этим сообщением. Впрочем, едва ли ему кто-то поверит. Советское общество едино в своем представлении, что гейши — представительницы древнейшей профессии на земле. Наши люди могут поступиться многими убеждениями, но не этим, иначе рухнет вся система нравственных, эстетических и социальных ценностей.

А затем они зашли в голубой бар, напоенный тихой музыкой. Юные девушки в кимоно, с фарфоровыми кукольными личиками щебечущей стайкой накиннулись на вошедших и ласково-настойчиво освободили их от пиджаков. Суржинову было очень стыдно, хотя в новой кремовой рубашке и галстук он выглядел куда приличнее, чем в тяжелом полушерстяном пиджаке. Девушки с той же назойливой ласковостью усадили их в мягкие кресла, дали в руку стакан с ледяным напитком, а в зубы — душистую сигарету. Суржиков не курил и постарался избавиться от сигареты, незаметно раздавив ее под креслом.

— Это гейши? — спросил он переводчика.

— О нет! — засмеялся тот.

— Проститутки? — испугался Суржиков.

— Да нет же! Это отессы.

«Он не уважает меня, поэтому нарочно несет вздор», — подумал Суржиков, и в то же мгновение свет погас, раздался визг, словно десятку кошек разом наступили на хвосты, и на коленях Суржикова оказалось что-то легкое и упругое, пахнущее женщиной. Он поднял руку и коснулся гладкого шелка кимоно. И вдруг шелк как-то продернулся под его ладонью, и с невыразимым ужасом Суржиков понял, что держит женщину за обнаженную грудь.

— Провокация! — вскричал Суржиков, и тут загорелся свет.

Отесса спрыгнула с его колен, легкое движение корпусом — и грудь скрылась в разрезе кимоно. Сделай она это чуть раньше, никто бы ничего не заметил. Но она промешкала, и весь зал разразился хохотом, криками и рукоплесканиями. Суржиков понял, что не один он подвергся нападению во тьме. Каждый из присутствующих мужчин получил по отессе на колени, и, судя по тому, как девушки охорашивались, поправляя прическу, брови, промокая салфетками рты, кавалеры не теряли времени даром, но ни один не зашел так далеко, как бедняга Суржиков, ни сном ни духом не повинный в своей нескромности.

— Я ничего не делал, — беспомощно сказал он Олегу Петровичу, — она сама...

— Брось зубы заговаривать!.. — хохотал тот. — Ну, ты ходок! В тихом омуте черти водятся!.. — Но, увидев несчастное лицо Суржикова, перестал резвиться. — Очнись! Что ты, шуток не понимаешь?

— Хороши шулки! Напишут в профком...

— Кто напишет?.. Фирмачи?.. Я?.. Девки?.. Это игра такая. На приз самому смелому и находчивому мужчине. Ты не посрамил русской земли. Держи приз.

И действительно, три отессы, среди них та, чью упругую грудь ласкал Суржиков, с низкими поклонами поднесли ему фарфоровый сосуд, красиво разрисованный цветами. Оказалось, это жаровня — согреть постель. Олег Петрович поднял руку Суржикова и объявил:

— Победил Суржиков! Москва. Советский Союз.

Толмач, давясь от смеха, перевел его слова, покрытые восторженным гоготом и воплями.

А ведь это он подстроил! — сообразил Суржиков и немного успокоился. Только бы до жены не дошло. А ей он скажет, что жаровня — это японская супница, традиционный фирменный подарок.

Остальной вечер смазался в памяти Суржикова, отуманенной крепкими напитками, пестротой впечатлений и шумом. В мозгу горел золотой слиток, уши ломило от оглушительной музыки. И какая-то странная печаль была на сердце. Это осталась в нем девушка, чьей нежной теплой плоти он ненароком коснулся.

Проснувшись утром, он первым делом хватился супницы. Слава богу, она была на месте.

Он уже собирался идти вниз, когда явился представитель фирмы и вручил ему большой пакет в хрустящей бумаге, перевязанный красной шелковой ленточкой, под которую была засунута визитная карточка с эмблемой фирмы. Вручил и сгинул, как не бывал. Суржиков не на шутку струхнул: подарок от иностранной фирмы — поди докажи, что это не взятка. Ну там значок, открытка с видом Фудзиямы, какая-нибудь картинка — куда ни шло. Даже технический справочник — передал бы в библиотеку КБ. Но тут пахло не открыткой и не справочником. Он стал щупать, встряхивать пакет и установил, что он содержит две коробки: одну плоскую, другую ящичком. Скрупулезное прощупывание подсказало, что в плоской коробке находится что-то легкое, скорее всего, ткань, увесистость и твердость другой толкала смятенную мысль к чему-то аппаратурному. Суржиков, естественно, не мог принять такой дорогой подарок, но ужасно хотелось посмотреть, что там находится, глянуть хоть одним глазком, как на коммунизм. А если аккуратно распаковать? Ну да, распакуешь, а назад не запакуешь. И все же соблазн был слишком велик, и Суржиков, трепеща, но с крайней осмотрительностью принялся развязывать ленточку.

За этим занятием его застал Олег Петрович, вошедший без шума, — представитель фирмы не плотно притворил дверь.

— Зря развязываешь, я и так скажу, что там. Мужское кимоно и магнитофон «Сони». Ты собрался? Пора ехать. Машина ждет.

— А мы успеем заскочить в посольство?

— Зачем?

— Сдать вещи.

— С какой стати посольство будет заниматься нашим багажом?

— Я о подарках.

— Пойди опохмелись! Кто же сдает подарки? Ты что — никогда за границу не ездил?

— Ездил. В Голодандию.

— Чего тебя туда занесло?

— Комбинат строили.

— Понятно. В Голодандии подарков не дарят. В общем, выкинь дурь из головы. И не заикайся об этой чепухе, если кто из посольских объявится. Иначе смотри! — И тут в бархатистом окатистом голосе Олега Петровича появилось что-то такое жестяное и зазубристое, что Суржиков съехался.

— А перевеса не будет? — пробормотал он.

— Да твои консервы больше весили! — Голос Олега Петровича вновь умаслился. — Неужели ты думаешь, что аэрофлотовцы будут цепляться к своим? У меня лишку килограммов на триста, а я спокоен как пульс покойника.

— Откуда ж столько?..

— Надарили, — с мягким укором безудержной японской тороватости сказал Олег Петрович. — А «хонду» я отправил малой скоростью.

— Какую «хонду»?

— Восьмицилиндровую. Передние и задние ведущие. Электронное зажигание. Четырехдверную. Я двухдверные на дух не выношу. Кусака-сан презентовал. На редкость любезный чувачок.

У подъезда гостиницы их поджидали две машины, вторая предназначалась для сувениров Олега Петровича...

Последующие за возвращением дни были самыми счастливыми в жизни Суржикова. Когда он распаковал чемоданы и выложил на диван свои покупки, полученные от фир-

мы дары и предметы, прихваченные по совету Олега Петровича из гостиничного номера, его замученная, осунувшаяся жена прижала руки к груди, помолодела на двадцать лет и стала той светлой доверчивой девушкой, которую он полюбил первой юношеской любовью и как-то незаметно утратил в кошмаре скудной, замороженной жизни, не оставляющей времени даже для взгляда в сторону близкого человека. Сейчас она вся лучилась каким-то бледным, изможденно-нежным светом, и Суржиков, не выдержав, кинулся в уборную и отплакался за себя и за нее.

Суржиковы устроили прием. Оба встретили гостей в кимоно, что повергло тех в состояние шока, от которого они не могли оправиться до конца застолья, отчего и выпито было меньше обычного. Когда же стали приходить в себя, в естественность зависти и злобы, Суржиков включил магнитофон, и под стереофонические раскаты японского рока гости вновь выпали из ума. То была полная капитуляция перед величием Суржиковых. Все дурное, мелкое ушло. И вот уже чей-то искательный голос с игривой робостью задает томивший всех гостей с самого прихода вопрос:

— Ну как там гейши?

Это волновало всех. Едва Суржиков появился на работе, как проблема гейш оказалась в центре внимания КБ, далеко потеснив служебные заботы. К Суржикову началось паломничество. Даже такие вечные зарубежные темы, как продукты, магнитофоны и джинсы, ушли далеко в тень. Судя по этому страстному, какому-то больному интересу, все советские мужчины томилась по гейшам. И женщины не меньше любопытствовали о таинственных существах, воплощавших утонченный разврат и чаепитие.

Строго оглядев гостей, Суржиков начал тоном опытного лектора:

— Гейши — совсем не то, что мы привыкли о них думать...

Вечер завершился раздачей сувениров.

Благословенно будь мудрое наставничество Олега Петровича. В КБ из-за дольки жевательной резинки вцеплялись друг дружке в волосы, из-за бывшей в употреблении одноразовой бритвы рвались старые дружбы, партком и профком не справлялись с потоком доносов; принимали — брезгливо и хищно — упаковочную бумагу и шелковые ленточки, целлофановый пакетик из-под галстука, наклейку от батника. Своему начальнику Суржиков подарил пепельницу, прихваченную из отеля, и суровый, надменный человек сразу предложил ему идти в отпуск в августе, а не в ноябре, как обычно.

И хотя все дружно ненавидели Суржикова, но умягченно, сходясь на том, что он, конечно, дебил, свинья, пролаза, никудышный специалист, но в общем неплохой парень.

Одаренные забугорными диковинками гости были о Суржикове примерно того же мнения.

И в эти подъемные, счастливейшие дни нависла над Суржиковым страшная угроза.

Зародилась она весьма далеко от тех мест, где шла жизнь нашего скромного героя, в стране Голодандии, отгороженной от остального мира высоченными горными хребтами. Там произошла авария, подобная стихийному бедствию, поставившая под угрозу будущее страны.

Некоторое время назад Советский Союз, верный интернациональному долгу, построил для Голодандии промышленный гигант, который должен был решить продовольственное положение страны, безнадежно переходившей от засухи к засухе, усугубляемым сушеями, песчаными бурями и смерчами. Советскому Союзу, блестяще осуществлявшему собственную продовольственную программу, в самую пору было подставлять плечо другим слаборазвитым странам, выводить их к всенародной сытости и преуспеванию. Впрочем, положение в самой Стране Советов не играло никакой роли, ибо интернационализм — краеугольный камень социалистической идеологии — застав-

ляя спешить на помощь всем страждущим в человечестве, независимо от ее собственных дел, равно и от того — желательна эта помощь или нет. То была экспортная модель интернационализма, поскольку внутри страны скрыто бурлила национальная рознь и открыто процветал антисемитизм, не сказать, что поощряемый, но как-то ласково допускаемый идеологическими вождями страны.

Голодандии позарез был нужен этот агротехнический гигант, и Советский Союз взялся его осуществить, опередив в своем бескорыстном намерении коварные расчеты Соединенных Штатов, Израиля, ФРГ и ЮАР. Особенно лютовали американцы: их проект ни в чем не уступал советскому, хотя и ни в чем не превосходил. Тут не было ничего удивительного.

Обыватели думают, что всякое техническое новшество возникает в результате настойчивого поиска и самоотверженного труда наших ученых, конструкторов, инженеров и техников. Это верно, но бывают исключения, когда применяется иной, более мобильный, хотя и рискованный метод. К научно-техническому поиску привлекаются испытанные кадры разведчиков. Секретные агенты, резиденты, завербованные граждане других стран мощно задействуются во имя технического прогресса. Осечек не бывает. Не было и с проектом для Голодандии. Лопухие американцы еще наводили марафет на свой проект, а творение американского технического гения, помноженного на русскую смекалку, уже было представлено правительству Голодандии. За эту ловкую и дерзкую операцию одна пожилая американская чета, работавшая более четверти века на советскую разведку, села на электрический стул, и один наш резидент получил девяносто семь лет тюремного заключения, но вышел через неделю, обмененный на третьего секретаря американского посольства, взятого прямо на месте преступления: он фотографировал на улице Горького витрину продовольственного магазина.

Автору, человеку дотошному и обстоятельному, очень хотелось бы дать подробное описание агрономического гиганта Голодандии. Но есть такое грозное понятие, как разглашение промышленной тайны, а проект этого объекта до сих пор засекречен. Желающие могут ознакомиться с ним на страницах популярных американских журналов (в том числе излюбленного органа наших культурных атташе — «Плейбоя»). А что американцам — прохлопали проект, так зачем его скрывать? Мы же в этом важном вопросе крайне строги и щепетильны. Когда мы построили первый в мире атомный ледокол, американцы прислали ко Дню Военно-Морского Флота в ленинградское судостроительное КБ, разработавшее проект, макет этого чудосудна, выполненный с изумительным тщанием — один к одному (на стене гальюна даже было нацарапано микроскопическими буквами самое короткое и распространенное русское слово). Дарители допустили лишь маленькое хулиганство: приложили к макету список членов команды, указав возраст каждого, рост, вес, объем груди, цвет волос и глаз. Макет немедленно засекретили даже от работников КБ. Так что американцы автору не указ, он имеет дело с вдумчивой отечественной цензурой, поэтому скажет лишь о том, что необходимо для понимания бедствия, постигшего предприятие, а с ним и всю страну.

Предприятие изготовляло особую питательную массу, которая разжижалась и по трубопроводу поступала в коллектор, откуда системой труб-капилляров распространялась по полям, получавшим и орошение и подкормку одновременно. Но что-то случилось в системе, питательный раствор перестал поступать в капилляры, а вместо него устремилась ядовитая жидкость, губившая не только урожай хлопка, риса, маиса, ячменя, чая, кофе и какао, но — что куда страшнее для экономики государства — маковые плантации, дававшие сырье для наркотиков — основы экспорта и всего бюджета. Теряла Голодандия и на туризме, ибо высыхали луговые травы, цветы, кусты и деревья, вся

растительность сходила с тела страны, как волосы с головы больного стригушим лишаем. Дело шло к уничтожению страны, которая уже много лет мужественно боролась в рамках ООН за признание ее самой отсталой в мире.

В этих гибельных обстоятельствах Голодандия попросила помощи у Америки, явив нежданную, дурного тона пронизательность. Министерство иностранных дел СССР усмотрело в этом поступке умаление престижа нашей страны и направило МИДу Голодандии ноту протеста. Но голодандцам было так плохо, что они даже не ответили на эту ноту, хотя, как и все развивающиеся страны, любили играть в дипломатические тонкости. Меж тем американцы, рьяно взявшиеся за дело, опозорились: не могли найти причину аварии. Как-то не везло им с этим проектом, сперва его украли уютные старички Грета и Аксель, за что и заплатились, к великому негодованию всего прогрессивного человечества, а сейчас — новый афронт.

Беду усугубило вовсе не предвиденное обстоятельство: Священная корова — величиной с избу — залегла прямо у запасного входа, загородив его своим громадным лоснящимся туловом. А по обычаям Голодандии, никто не смел не только прогнать корову, но даже замахнуться на нее или повысить голос. Ни душистое сено, ни сочные травы, которыми ее пытались выманить, не привлекали привередливое животное. Вызвали заклинателей змей, чья пленительная игра на дудочках превращает самых ядовитых и агрессивных гадов в послушных плясуней. Надеялись, что мелодии духмяного луга и прохладных речных вод уведут корову прочь от двери, но разве проймешь ленивую, забалованную своевольную скотину с равнодушно-дремотными голубыми глазами?

Автор предвидит вопрос: почему нельзя было воспользоваться главным входом? Но ведь всем известна наша тенденция держать парадный вход заколоченным, а пользоваться какими-то боковыми, запасными, черными, служебными, словом, побочными ходами. Лишь в самое последнее время на-

чали отступать — весьма робко — от этого правила, а в годы строительства предприятия оно казалось настолько неизбле-мым, что, украсив фасад портиком, фронтоном и прочими атрибутами сталинского ампира, входное отверстие даже не проделали. Впоследствии эту простодушную оплошность оправдывали известным тезисом: экономика должна быть экономной. Но кому могло прийти в голову, что проклятый вход когда-нибудь понадобится?

Предложили свои услуги пронырливые израильтяне при условии, что проблему Священной коровы предоставят на их усмотрение. Голодандия немедленно прервала переговоры и объявила Израилю газават.

Японцы прислали группу камикадзе, чтобы проникнуть в здание через дымоходы посредством катапультирования. Четыре смельчака с завидным хладнокровием пошли на гибель один за другим, и создалось впечатление, что ни о какой реальной помощи японцы и не думали, просто засиделись в мирном сосуществовании и захотели тряхнуть стариной. Смертельное испытание юношей было самоцелью, чтоб не заросла салом японская душа и не иссякла готовность пожертвовать жизнью за императора.

После этого Голодандия скрепя сердце обратилась к нам. Похоже, там начали смекать, что корень беды не в сфере американской деловитости, а — в русской смекалке.

Послание, подписанное главой правительства, подростком-принцем (его официальный титул: Отец Вселенной), пришло, как водится, на самый верх, никого там особенно не смутив и не озадачив, а потом начало привычное скольжение вниз, постепенно выдыхаясь в своем пафосе.

Проплував по разным ведомствам, сполна изведав то, что на чиновно-бюрократическом языке называется отфутболиванием, послание Отца Вселенной по чистой случайности оказалось в одном из тех министерств, что имело непосредственное отношение к строительству занемогшего гиганта. Там покрутили-покрутили паническую депешу и переправили в КБ, где работал Суржиков.

Естественно, КБ возликовало, получив еще одну заграничку. Пусть Голодандия по международному статусу нищая страна, по нашим меркам — будь здоров! Дотошные люди, а такие есть в каждом коллективе, быстро выяснили, что в Голодандии самое дешевое золото в мире, за исключением Кувейта, где, кроме золота, вообще ничего нет, и оно ценится ниже дерева, железа и глины; в той же цене идут морские губки, кораллы, изделия из кожи ящериц и змей, почти неотличимые от крокодиловых, шляпы и сумочки из рисовой соломы, а еще там можно по бросовым ценам купить китайские рубашки, которыми наводнена страна. Правда, нашлись умники, считавшие, что нет смысла цепляться за поездку: в связи с близящейся Олимпиадой решено ввести в Голодандию ограниченный контингент тренеров, чтобы подтянуть игровые дисциплины спорта, сильно отстающие от международного уровня, и тогда поехать туда будет плевое дело. Но таких были единицы, а остальной коллектив волновался, бурлил и окончательно бросил работать. Впрочем, и умники не долго умничали и замешались в общую кутерьму. Все носились по лестницам, шушукались, сплетничали, интриговали. Секретарь партийного комитета то и дело запирался вместе с председателем профкома в своем кабинете, и бдительная секретарша не допускала посетителей даже в приемную.

Не вызывало сомнений, что битва за единственную путевку, так называли прилетевший из-за седых хребтов крик о помощи, произойдет на самых верхах, если только министерство не опомнится и не наложит свою лапу, и все-таки не было в КБ ни одного даже самого захудалого служащего, который бы не думал с замиранием сердца: а вдруг я?.. Впрочем, нет, один человек был — Суржиков, он знал, что теперь его долго никуда не пустят, быть может, до конца дней, да и не стремился к этому, понимая скромной душой своею, что взял от жизни больше дозволенного.

Во всех отделах составлялись списки, да, именно списки, хотя известно было, что место одно. Пусть будет как

можно больше достойных кандидатов, тогда, чем черт не шутит, вместо одной двухнедельной поездки, глядишь, дадут две недельные или три по пять дней. Списки передавались через подкупленных секретарш. Одновременно прибавилось работы особому отделу, поскольку резко возросло, и обычно немалое, количество доносов — сотрудники обливали друг друга помоями с целью устранить конкурентов.

Словом, все шло своим чередом; а затем началось давление сверху. В Голодандии резко возросла смертность от голода. И в обычных условиях голодная смерть была делом подавляющего большинства населения страны, и это никого не волновало, но сейчас дело пошло ускоренным темпом, чем воспользовались реакционные круги для нападков на главу государства, большеглазого мальчика, и его прогрессивную политику добрососедских отношений с Советским Союзом. А кроме того, в ежегодный праздник неурожая с гор спустились три почитаемых в народе, с незапамятных времен обожествленных старца и сожгли себя у храма многоногого, как сороконожка, бога засухи Биешу, чтобы умилостивить грозное божество. Святых старцев было хоть завались, но экстремистские религиозные круги подняли страшный шум. Хуже всего было другое: служители храма Биешу, в ведении которых находилась Божественная корова, заметили, что она худеет, и отнесли это за счет ядовитых испарений, поскольку в рационе четвероногого божества никаких изменений не произошло. И тут заволновались народные массы.

Отец Вселенной отправил прямое письмо Генсеку. Тот прочел, стукнул кулаком и повысил голос, что с ним редко бывало. Но как замирает громовой удар, раскатываясь в пространстве, так и грозное слово, раздавшееся на самом верху, замерло с приближением к КБ, которому предстояло послать спасателя. Казалось бы, должно быть наоборот. Верхнее начальство рывкнуло, и каждое нижестоящее должно рывкать по закону самосохранения все громче, чтобы

встряхнуть последнего на этой лестнице, ведущей вниз, и пробудить в нем дремлющую исполнительность. Ведь реальной действенной силой обладают те, кто у подножия пирамиды, а не те, кто на вершине. Ход составу дает неприметный стрелочник — порой мимо рельсов, — а не министр путей сообщения, его замы и прочие высокие бездействующие лица. Судьба Голодандии уперлась в партком КБ, а персонально — в секретаря парткома Муцинкина, старого, стреляного партийного воробья. Получив распоряжение «ускорить отправку» — вот как умалился грозный окрик Генсека, он покачал головой и сказал случившемуся в его кабинете председателю профкома Ступаку: «Ну, не чудаки? Дают на такое КБ одно место и хотят, чтобы все решилось раз-раз! А мы ведь с живыми людьми дело имеем, не с чурками».

Прежде чем произвести отбор среди сотрудников, пришлось побороться за само приглашение, на которое неожиданно предъявили претензии три министерства и Академия общественных наук. Муцинкин не пожалел трудов, дошел до самого Тиграна Авелевича и отбилсЯ. После этого он и Ступак засучив рукава принялись рассматривать предложения отделов, чтобы отобрать двух достойнейших, второй был как бы дублером на случай, если с кандидатом номер один случится что-то непредвиденное: болезнь, смерть, несчастный случай, привлечение к судебной ответственности, осечка в медицинском обследовании, пьяная драка, изнасилование, слишком веская анонимка, которую не положишь под сукно. Поэтому всегда в запасе держали одного-двух кандидатов, не обнадеживая их даже намеком, чтобы не было после разочарований и лишних доносов.

Текучка затягивает, что ни говори. В суматохе ежедневных дел как-то перестаешь различать лица окружающих. Муцинкин радостно удивлялся, сколько в КБ превосходных людей. Если б ему дали волю, он мог бы послать в Голодандию не одного человека, а целую команду, куда

вошли бы и работники управления, и конструкторы, и ученые, и техники, и бухгалтеры, и шоферы, и вахтеры, и труженики буфета, и уборщица. Глаза разбегались, сердце металось в груди, не зная, кому отдать предпочтение. Иной раз хотелось плюнуть на все, перестать ломать мозги и поехать самому в эту Голодандию, благо что последний раз он выезжал за рубеж два года тому назад, и куда — всего-то на Золотые Пески. Схожие мысли посетили, видимо, и Ступака. Он взъерошил волосы и сказал:

— Как ни крути — обиженных не сосчитать. Давай лучше устроим междусобойчик — разыграем эту поездку в орла и решку.

Вот когда предложение пришло со стороны, стреляный воробей Мушкин понял, насколько оно рискованно. Кроме того, ему на редкость не везло в играх, лотереях и метании жребия. Наверняка ехать выпадет Ступаку, а ему достанутся одни неприятности.

Они засиделись за полночь, прокурились до черноты и все-таки в конце концов кинули орла и решку, ибо два кандидата были настолько совершенны со всех точек зрения, что выбрать из них лучшего не представлялось возможным. Конечно, выпала решка, на которую загадал Ступак, и Мушкин похвалил себя за осмотрительность. Машинально он подумал о том, как бы провалить Устюжина, которого решка вывела в кандидаты номер один, и проташить дублера, но вовремя спохватился: оба его люди, а Ступак ставил втемную, без всякого расчета и корысти.

— Решено, запускаем на выездную комиссию Устюжина, — заключил ночное бдение Мушкин.

А на другое утро, едва Мушкин появился в кабинете, ему позвонил директор КБ и сказал, что сверху пришло указание послать в Голодандию химика.

— Мы подработали кандидатуру Устюжина, — сообщил Мушкин.

— Ты что — глухой? — заорал директор. — Устюжин — слаботочник, а нужен химик!

— Да ты же знаешь, какие у нас химики! — засмеялся Муштинкин. — Вшивая команда.

Так называли между собой руководители КБ химический отдел. Один Суржиков был в порядке, и то беспартийный, остальные — смотреть не на что. Начальница же отдела, жена престарелого академика, неуклонно переходила из декрета на больничный, потом в отпуск, потом снова в декрет. Она уже дала жизнь четверым, и, по наблюдениям Муштинкина, любящая чета решила на этом не останавливаться.

Директор сказал свою нелепицу и уехал в Kisлoвoдск, в правительственный санаторий «Черные глыбы», по горячей путевке. Муштинкин, не мешкая, отправил Устюжина в поликлинику за медицинской справкой, чтобы затем сразу поставить его на выездную комиссию, включавшую, кроме «тройки», еще двух дряхлых царевийц, прикрепленных к партийной организации КБ.

И тут случилась несообразность, настолько дикая, что Муштинкин не смог на нее должным образом прореагировать — она не вписывалась в его миропонимание, и потому, удивив и на время расстроив, сплыла с души, не оставив следа. Ему позвонили по «вертушке» из секретариата Главного идеолога и спросили, оформлен ли работник на поездку в Голодандию. Удивленный, что этой поездке придается такое значение, Муштинкин ответил: кандидатура подработана и сейчас проходит медицинский осмотр. «Затянули вы очень», — произнес недовольный голос. В последнее время у партийно-бюрократического аппарата выработалась привычка ласково подтрунивать над своей чиновничьей сущью. Этим лукавым самоуничижением утверждалась его, аппарата, необходимость в государственной жизни.

— Мы ведь чиновники, — посмеиваясь, сказал Муштинкин. — Любим покопаться. Зато уж ставим крепко.

— Хватит волынить, — влепился в барабанную перепонку мертвый голос Главного идеолога. Он, видимо, слушал разговор по другой трубке. — Страна гибнет. Немедленно отправить человека.

Мушинкин заверил, что все идет своим чередом: будет справка, сразу ставим на выездную, потом райком...

— Бюрократились, — прервал его самый косный бюрократ во всей партийной системе. — Работник-то хоть дельный?

— Дельный! Член бюро первичной организации. Общественник. Лучший слаботочник КБ.

— Какой еще слаботочник? — Голос оживился злобой. — Вам русским языком сказано — химик!

Главный идеолог швырнул трубку, прежде чем Мушинкин смог объяснить ему, почему послать химика не представляется возможным.

Неприятный разговор и совсем обескураживающий финал, но сознание собственной правоты помогло Мушинкину сохранить хладнокровие. Гнев высокого начальства лишь в исключительных обстоятельствах поражает цель. Аппарат научился безошибочно амортизировать игру начальственных страстей. Все-таки он решил посоветоваться со Ступаком.

— А чего же ты не объяснил ему, что у нас невыездной отдел, сплошь жи... евреи, а начальница всегда при исполнении супружеских обязанностей?

— Я хотел, но не успел. Он бросил трубку. Может, подработать бумагу в ЦК?

— Можно. Постой, мы о Суржикове забыли. Он не... с пятым пунктом, не в декрете, не сидел...

— Но он только что был в поездке... — Мушинкин побледнел. — А что, если это его происки? У него же рука...

— Олег Петрович — гора, — уважительно сказал Ступак. — Говорят, идет на зампреда.

— А я слышал, редактором «Литературной газеты».

— Нужна ему эта помойка. Ему министерство давали — не взял. Большому кораблю — большое плавание.

— Неужто Суржиков к нему подкатился? — задумчиво сказал Мушинкин. — В тихом омуте черти водятся. Ну, погоди, косой, Олегу Петровичу сейчас не до тебя, а мы рядом. Допечем так, что назад в мамку запросишься.

На следующий день Суржикова вызвали в партком. Он явился ни жив ни мертв. В глубине души он никогда не верил, что галантное приключение в Японии сойдет ему с рук. Едва вернувшись домой, он принялся писать объяснительную записку, но получилось до того глупо и неубедительно, что опускались руки. Погас свет, села на колени, расстегнула кофточку, открыла грудь... тьфу!.. чушь какая-то. А главное, сам собой напрашивается вопрос: почему к другим не села, а именно к тебе? Не села же она к Олегу Петровичу, значит, поняла, к кому можно сесть. Не пытайся выкрутиться, Суржиков. Ты искажил образ советского специалиста в глазах японской общественности, скомпрометировал наше КБ, подвел страну. А он будет жалко лепетать, что это в последний раз, что он исправится, самоотверженным трудом искупит свою вину. Конечно, его не послушают, и будет общественный суд, похабные вопросы под видом уточнения обстоятельств, смешки, ханжеские лицемерные нравоучения тайных развратников, которые тринадцатую зарплату отдадут, дай только подержаться за голую грудь японки... Но кто его все-таки заложил? Неужели Олег Петрович, а ведь дал слово, что никому не скажет. Как-то не похоже на него, слишком мелко. Фирмачи? Чего ради? В отместку, что он попортил им кровь. Но широкий жест Олега Петровича дал им куда больше, нежели они рассчитывали. Гейши, или, как их там, отессы? А им-то какая корысть? Нечего голову ломать. У них всюду есть глаз, от них ничего не скроется, и в собственной квартире, и на службе, и в токийском баре ты весь как на ладони.

— Докатились, Суржиков? — Муцинкин не встал из-за стола, не протянул руки, хотя обычно был обходителен с посетителями, особенно беспартийными.

— Я хотел сам прийти, — пролепетал Суржиков. — Даже заявление на себя написал... Я, правда, ничего не делал... Они, знаете, какие нахальные...

— Вы бы уж помолчали о нахальстве. Имейте в виду, Суржиков, своим поведением вы поставите себя вне рядов партии.

— Я беспартийный, — напомнил Суржиков.

— И очень плохо. Если вы будете себя так вести, мы примем вас в партию и вышвырнем вон. Чтобы не засоряли ряды. Попомните вы Голодандию!

— Японию, — поправил Суржиков.

— Какую еще Японию? — не понял Муцинкин. — Ах да, Япония! Много у нас сотрудников было в Японии? Кроме директора — никого. И после такого путешествия вы пользуетесь связями, чтобы отобрать у ваших товарищей поездку в нищую Голодандию!..

— О чем вы? — в отчаянии вскричал Суржиков, хотя на самом дне отчаяния затеплился огонек надежды — гейши не имеют отношения к его вызову в партком.

— Как о чем? — опешил Муцинкин, видя, что собеседник искренне обескуражен. — О поездке в Голодандию.

— На кой она мне сдалась? Я же был там!

— То-то и оно! — вновь завелся Муцинкин. — На золотишко дешевое потянуло, на китайские рубашечки?..

И тут Суржиков окончательно понял, что японский инцидент не имеет никакого отношения к происходящему. Он сразу успокоился.

— Рубашку я уже купил. Мне в Голодандии делать нечего. Я и не слышал об этой поездке. — Голос его звучал твердо.

— Как не слышали, когда все только об этом и говорят. Люди работать перестали.

— А я не переставал. У меня за время отсутствия столько скопилось — не разгребешь.

— Можете написать, что вы не претендуете на эту поездку? — успокаиваясь, спросил Муцинкин.

— Да ради бога!..

— Садитесь. Вот бумага, ручка: пишите... В партком КБ... ФИО... заявление. «В связи с крайней занятостью по месту

основной работы и плохим состоянием здоровья, подорванным тяжелым климатом Японии, а также сознавая свои обязательства перед коллективом и товарищами, не имевшими длительное время зарубежных поездок, ехать в Голландию категорически отказываюсь». Подпись.

Мушинкин взял заявление, прочел его про себя, шевеля губами, и спрятал в карман коверкотовой «сталинки».

Этот строгий полувоенный китель был проявлением легкой и неопасной фронды. После так называемого разоблачения культа личности большинство партийных руководителей поспешило натянуть костюмы-тройки и галстуки. Но не все оказались конформистами, гвардейцы духа, верные милой тени (при всех отдельных ошибках этой тени), не изменили аскетическому облику большевика строгих и ласковых сталинских дней.

— Ну и хорошо, Суржиков, так держать. В партию хочешь? — Мушинкин всем беспартийным говорил «вы», оставляя сердечное «ты» лишь для настоящих товарищей, но сейчас он испытывал такое доверие к Суржикову, что подарил его этим братским обращением.

— В какую? — не понял Суржиков, но тут же спохватился: — Спасибо, товарищ Мушинкин, я еще не готов.

— Я тебя не тороплю. Будь здоров. Пстой, а правда, в Голландии золотишко баснословно дешевое?

— Не знаю, нам не давали карманных денег.

Выпроводив Суржикова, Мушинкин позвонил Ступаку.

— С Суржиковым — нормалек. Олег Петрович тут ни при чем. Обычный бардак. Куда девался Устюжин, пора выводить его на райком.

Ступак ничего не слышал об Устюжине. Слаботочник как в воду канул.

А Устюжин попал в ловушку, предусмотреть которую не могли даже такие ушлые люди, как Мушинкин и Ступак. Началась медицинская страда весьма удачно. Хотя психдиспансер находился в одном из тупиков Божедомки, а наркологический центр — на Каширском шоссе, район-

ный вытрезвитель — за Речным вокзалом, а кожно-венерологическая клиника — в Сокольниках, Устюжину, человеку выносливому и мобильному, удалось охватить их за три дня. Подкрепленный справками, что он не психопат, не наркоман, не алкоголик и не сифилитик, Устюжин бодро устремился за рентгеновскими снимками (в районе Тимирязевской академии) и за электрокардиограммой, которую делали в Чертанове. Дело в том, что нижний этаж его поликлиники обесточился в связи с дорожным строительством — случайно перерубили кабель, поэтому рентгеновский кабинет и ЭКГ не работали.

Затем он быстро проскочил глазника, отоларинголога, хирурга, невропатолога, уролога, дерматолога — никто его не осматривал, только записывали что-то в большую книгу и заполняли какую-то карточку с усталым и равнодушным видом; лишь невропатолог ударил его зачем-то молоточком под коленкой, отчего нога подскочила и чуть не сбила очки с носа врача. Не было затруднений и в гинекологическом кабинете, куда тоже пришлось заглянуть. Даже работники поликлиники не боялись говорить вслух, что посылать мужчин к врачу по женским болезням — глупость и головотяпство. Дело в том, что в старой инструкции в графе «гинеколог» было указано «только ж.», а в новой инструкции это указание отсутствовало. Трудно сказать, почему так случилось: может, по рассеянности, а может, сочли излишним указывать на то, что само собой разумеется. Но поскольку разъяснений к инструкции спущено не было, руководство поликлиники сочло за лучшее действовать по букве, тем более что все сводилось к короткой пометке «жалоб нет», в гинекологическое кресло мужчин не усаживали.

Наконец Устюжин добрался до терапевта, который и выписывал справку. Но тут выяснилось, что у него нет анализа крови на протромбин и холестерин, а в поликлинике этот анализ делают только по средам. Был как раз четверг. Пришлось Устюжину съездить в Лихоборы,

в Институт переливания крови, где за бутылку коньяка ему сделали этот анализ. На другой день он вновь предстал перед терапевтом. Вот этот потерянный день и погубил Устюжина, хотя, с другой стороны, поднял к новой, высшей жизни.

Даже не взглянув на собранные Устюжиным материалы: свидетельства о нравственном и психическом здоровье, анализы мочи, крови, рентгеновские снимки и кардиограмму, старый врач с рачьими — за толстыми линзами — глазами принялся что-то строчить в растрепанной книге. Устюжин посчитал, что дело в шляпе, но тут им заинтересовался находившийся в кабинете глыбистый, коренастый доктор с буденновскими усами.

— Снимите штаны, молодой человек, — сказал он Устюжину.

— Не морочь ему голову, — оторвался от своей писанины терапевт.

— Я ему другое место поморочу! — захохотал усатый.

Он был проктологом и, подобно большинству коллег по этой довольно молодой медицинской специальности, пламенным энтузиастом своего дела. В поликлинике он консультировал раз в неделю и жадно накидывался на каждого пациента.

Устюжин повиновался. Врач поставил его в позицию, усилил глаз линзой и заглянул внутрь. Устюжин вдруг услышал его обрывистое дыхание, будто врач взлетел бегом на телевизионную башню. Затем в плоть его чуть болезненно проникли два пальца.

— Господи боже мой! — хрипло произнес врач. — Матка боска Ченстоховска!.. Мон дье!.. Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его!.. Готт им химмель!..

Он подошел к своему коллеге и взял его за щеки.

— Посмотри, какое чудо!

— Убери свои грязные лапы! — взвизгнул тот, ударив усатого линейкой по пальцам. — Свинья!.. Лазишь черт знает куда, а перед едой не моешь рук.

— Нет ничего чище ануса! — глубоким голосом сказал усатый, но руки убрал. — Помнишь, как начинается учебник великого Урениуса: «Я представляю себе волнение юного ума, приступающего к изучению заднего прохода». Пойди сюда, не пожалеешь.

Врач подошел и устремил рачий взгляд в глубь Устюжина.

— Ты ничего не видишь?

— А что я могу увидеть? — раздраженно спросил врач.

— Совсем забыл анатомию? Посмотри на дельта-концентрическую мышцу. Видел ты что-нибудь подобное? Три кольца, как на Олимпийских играх.

— Д-да... — протянул старый врач, и тут, видимо, что-то ожило в его заросшей памяти. — Невероятно!.. Знаешь, а ведь это открытие!.. На государственную тянет.

— А Нобелевскую не хочешь?.. — агрессивно сказал усатый. — Давай сейчас сообща заприходуем это событие. Ты подпишешь, заведованием и секретарь партийной организации. Не то Берендеев наложит лапу — и привет!

Терапевт понимающе кивнул головой: грозный академик Берендеев был в медицине полновластным хозяином.

Устюжин надеялся, что после подписания документа, удостоверяющего приоритет Усатого в открытии дельта-концентрической мышцы, его отпустят, вручив справку о годности к иностранному вояжу. Тогда ему останутся только прививки от чумы, холеры, оспы, проказы, сапа и бруцеллеза, которые запросто делали в Покровско-Богородском. Но не тут-то было.

Усатый, хотя и озабоченный премией и прочей житейщиной, был в основе своей фанатиком науки и поэтом ануса. Он решил продемонстрировать студентам 1-го Московского медицинского института (своей альма-матер) невиданную мышцу, связался по телефону с ректоратом, где мгновенно оценили его сообщение и сказали, что первая группа студентов немедленно выезжает, затем последуют другие партии.

Устюжину ничего не оставалось, как покориться. Старый терапевт, заразившийся энтузиазмом Усатого, заявил, что не выдаст справку, пока Устюжин со своей дельтой будет нужен науке. В остаток дня без перерыва валили студенты. Одна группа сменяла другую, в пересменках Устюжин отдыхал. Как ни странно, он входил во вкус. Ему нравилось внимание к нему, которого он не ощущал ни на работе, ни дома, он впервые чувствовал себя личностью, а не винтиком государственного хаоса, к тому же среди студентов были прехорошенькие, а Устюжин был тонким ценителем женской прелести, радовал почтительный хор молодых голосов, нарушавший благоговейную тишину, когда Устюжин открывал свою дельту.

Слух в тот же день дошел до Академии медицинских наук, до Большой Академии, распространился по стране и выкатился за рубеж. Уже вечером вражеские голоса распространялись об антигуманной сущности советской медицины, которая не только держит здоровых людей в психушках, но и скрывает от мировой общественности открытие, которое могло бы осчастливить человечество.

Устюжина не отпустили домой. Собрали ужин прямо в терапевтическом, спиртику медицинского принесли и заговорили за хорошим ученым разговором до полуночи. Старый терапевт и Усатый признавали только неразбавленный спирт, и Устюжину пришлось срочно пересмотреть свои представления о пьянстве, он никогда не видел, оказывается, по-настоящему пьющих людей. Причем оба не хмелили и вовсе не выпадали из ума.

— На кой ляд тебе эта Голодандия? — убеждал его Усатый. — Там же нет ни хрена. Мне один пианист подарил джинсы «Ли». Считаю, они твои. А китайских рубашек в Салтыковке хоть завались. Завтра получишь дюжину. Оставайся, брат, мы тебе кандидатскую ставку сделаем.

Устюжин посмеивался и планов Усатого не отклонял.

Исчезновение первого кандидата на поездку встревожило Мушкинина. Тем более что «сверху» опять был звонок

насчет химика. Хоть звонили «сверху», человек-то был «нижний» и легко дал заморочить себе голову, что химики невыездные, а единственный выездной подал заявление о невыезде и что вполне достойный кандидат проходит медицинскую комиссию. Может быть, звонивший не был так глуп и отлично понял, что ему забивают баки, просто не хотелось возиться с пустым делом, а материала для заморочивания головы начальству Мушинкин дал предостаточно.

Разузнав, в какой поликлинике обследуется Устюжин, Мушинкин отправился туда.

— Да, товарищ Устюжин находится здесь, — сказала регистраторша с седыми буклями стареющей Екатерины II. — Но едва ли сможет вас принять.

— Принять? — удивился Мушинкин. — Он такая важная шишка?

— Да, большой человек, — наклонила ухоженную царственную голову регистраторша.

Мушинкин объяснил, кто он и по какому делу пришел, показал документы, сослался на звонок «сверху». Регистраторша позвонила куда-то, провела сокровенную беседу, зажимая ладонью рожок трубки и отвернувшись от Мушинкина. Затем несколько раз кивнула и положила трубку на рычаг.

— Пройдите в кабинет главврача. Только тихо, тихо, лекцию читает сам академик Берендеев.

Да, академик Берендеев не остался в стороне от великого открытия. Он был плохой врач, забыл все, чему его учили в институте, но опытнейший интриган, великолепный организатор науки и собственного благополучия. В последнем он особенно преуспел. Прослышав о концентрической дельте, он ничего не понял, но безошибочным чутьем угадал, что тут пахнет жареным. Проконсультировавшись с кремлевским проктологом, он без предупреждения нагрянул в поликлинику. С Усатым у него был простой, короткий и решительный разговор, не оставляющий лазеек, истинно в берендеевском духе:

— Нобелевка — твое дело. Все равно не дадут. Но Ленинскую мы поделим. Пойдешь сам-четвертый: я, Олег Петрович, министр и ты. Иначе забираю этот дельтаплан. — И он через плечо показал на Устюжина.

Конечно, Усатый капитулировал, втайне довольный, что так обошлось. При том шуме, который наделало его открытие, он был уверен, что Устюжина отберут, а его самого загонят в какую-нибудь дыру.

Всесильный Берендеев сразу поставил дело на широкую ногу. Освободили кабинет главврача, единственное просторное и чистое помещение в поликлинике (конечно, то была временная мера, пока не откроется проктологический центр Берендеева, под который он отгяпал недостроенное здание Академии наук); Устюжину он выбил ставку доцента и кремлевскую столовую, терапевту — звание заслуженного врача, а Усатого сделал своим заместителем. Берендеев неукоснительно следовал первой заповеди нашего общества: все для человека. Человеком он считал прежде всего самого себя, но и другим, коли нужны были, не отказывал в этом звании. Он позаботился, чтобы Устюжина, работавшего с полной отдачей, хорошо, с комфортом устроили. Ему дали лежачок с матрасом и простынкой, под живот подложили валик, чтобы не перенапрягался, а самого отгородили от аудитории фанерной ширмой с круглым отверстием. Кабинет превратили в аудиторию, поставив сюда студенческие столы со скамейками. Пока шла лекция с демонстрацией, Устюжин безмятежно читал «Пером и шпагой» Пикюля, потягивая из мензурки спирт и закусывая кремлевским балыком.

Мушинкин тихонько проскользнул в дверь. Берендеев демонстрировал «феномен Устюжина» группе иностранных специалистов. Лекцию он читал по-английски с таким чудовищным произношением, что аудитория не понимала ни слова. Берендеев говорил на всех европейских языках, но поскольку он изучал языки по словарям, полагаясь на свою феноменальную память и пренебрегая фонетикой,

то произносил слова буквально: «the» у него звучало как «тхе», «enough» как «еноух», и все в таком вот роде. Но в данном случае это ничего не значило перед очевидностью чуда, глядящего из круглого окошечка.

Когда Мушинкин вошел, точнее, бесшумно скользнул в аудиторию, Берендеев повернул к нему львиную голову и метнул гневный огонь. Мушинкин ссутулился и приложил палец к губам. Решив, что вошедший — сексот, приставленный к иностранцам, Берендеев успокоился и продолжал лекцию.

Мушинкин поначалу не узнал Устюжина в его задней части, английский Берендеева тоже не помогал постигнуть ситуацию, но затем он что-то смекнул и посредством несложных умозаключений воссоздал в уме довольно точную картину случившегося. Он не стал дожидаться конца лекции.

Вернувшись на работу, он сказал Ступаку:

— Устюжина мы потеряли. Он весь ушел в науку. Давай запускать Садчиков. — И добавил с глубоким удовлетворением, полностью разделенным его собеседником:— А все-таки Устюжина вырастил наш коллектив...

Меж тем в Голландии дела складывались весьма не просто, тревожно и непредсказуемо. Смертность возрастала в геометрической прогрессии. К этому относились спокойно, ибо души умерших прямехонько отправляются в рай. Беспokoили участвовавшие случаи самосожжения захребетных старцев. Собственно, и на старцев было наплевать, они представляли одну из бесчисленных религиозных сект, без которой вполне можно обойтись, но это подрывало престиж страны. Огненные старцы были желанной добычей журналистов, безмерно раздувавших пламя их костров. Западные державы, привыкшие совать нос куда не надо, заявили, что, если огнепальное действо не прекратится, они срежут кредиты и поставку тех материалов, без которых Голландии и думать нечего о собственной атомной бомбе.

Резко возросшая смертность в известном смысле повысила благосостояние народа, ибо экспортных товаров приходилось теперь на душу населения больше, чем прежде. Но Отец Вселенной боялся остаться без подданных. А самое главное и страшное — Священная корова продолжала худеть. Ее упрямое нежелание отойти от заразных дверей толковалось в самых противоречивых смыслах, смущая умы верующих.

И Отец Вселенной пригрозил Генсеку: если тот не хочет, чтобы орден «Сияющий дракон» был вручен не ему, а английскому премьеру Маргарет Тэтчер, то пусть немедленно пришлет сагиба-химика, работавшего на строительстве предприятия.

— Дорогая Маргарет Тэтчер! — вздохнул Генсек, пробежав послание державного мальчика; при этом в памяти возникли не красивые и сухие черты «железной леди», а массивное индейское лицо главы парламентской делегации Колумбии. Паршивцы из секретариата опять перепутали бумажки и подсунули ему текст, оставшийся от последней встречи с Маргарет Тэтчер — у колумбийцев глаза на лоб полезли. Ох и поупражнялись в остроумии вражеские голоса! А чего тут такого, с каждым может случиться. Он так расстроился, что хотел подать в отставку. Насилу отговорили. Он согласился остаться за пятую звезду Героя Социалистического Труда. И вдруг Генсек испугался: что, если вздорный мальчишка и правда отдаст предназначенный ему орден дорогой Маргарет Тэтчер? Ни о чем он так не мечтал, как о «Сияющем драконе»! У него были хорошие иностранные ордена: Святого Духа, Золотого руна, Подвязки, Бани, откуда-то немецкий Железный крест, но хотелось ему «Сияющего дракона». В нем золота было больше, чем во всех других орденах, вместе взятых. Орден Победы — тоже хороший орден, с крупными алмазами, но его вроде бы после смерти отбирают. Генсек усмехнулся, представив себе смельчака, который попытался бы что-нибудь отобрать у его женушки. Да и не собирается он умирать.

Его лечение было поставлено так, что умереть нельзя, даже если очень захочешь. А он вовсе не хотел, он хотел жить и получать награды. «Сияющего дракона» он хотел, а дорогая Маргарет Тэтчер пусть подождет...

— Сиськи масиськи! — такими словами встретил Генсек вызванного им главу отечественной безопасности.

При всей своей хваленой выдержке Генерал растерялся. Потом решил, что это японское приветствие (недавно проездом из Парижа Генсека посетил премьер-министр Японии), и ответил ему единственной японской фразой, которую знал:

— Ниозимо норио сё!

Эти приветственные слова каждое утро слышат по радио японские граждане, пробуждаясь ото сна.

И сразу понял, что промахнулся. Когда-то большие, сочные, а ныне сузившиеся, слипшиеся глаза Генсека сверкнули злобой. Две мысли пересеклись в мозгу Генерала: первая — а он вовсе не добрый, откуда взялась эта легенда? Самовлюбленный, коварный и злобный, как хорек. И вторая — он становится похож на старого больного японца.

— Что это значит? — выхрипнул из пораженной гортани Генсек, и его знаменитые брови по-дикобразьи выострились.

Генсек давно уже не произносил больше половины слов, но то ли не замечал этого, то ли плевать хотел на свою картавость. Но одно слово, действительно трудное, не давало ему покоя: «систематически». Он любил это слово, особенно в докладах, но произносил его неприлично, что было подхвачено «голосами» и растрезвонено всемирно. Поскольку все советские люди слушали «голоса», как бы их ни заглушали — изобретательность отечественных Кулибиных по части устранения помех могла сравниться только с их достижениями в области самогоноварения, — то «сиськи масиськи» стали летучим выражением. Генерал не слушал «голосов», был чужд городскому фольклору, но о «сиськах масиськах» знал из донесений. Как же можно так опросто-

волоситься? «Старею!» — вздохнул Генерал и с грустью подумал, что, пока этот заживо гниющий человек испустит дух, он сам выдохнется и не сумеет повернуть судьбу несчастного, спившегося, замороженного и все равно самого лучшего народа на свете.

Автор хочет напомнить читателю, как натужно, тяжело-весно выглядит у великого Бальзака назойливое копирование немецкого акцента барона Нюссинжена. Но ведь плохое произношение Нюссинжена — цветочки по сравнению с тем воляпюком, на котором изъяснялся Генсек. Поэтому автор будет давать его речь в переводе на русский язык.

— Систематически штудирую эту книжицу, — сказал Генсек и показал Генералу обложку своего последнего произведения «Ренессанс». — Читал?

— Как и каждый культурный человек, — почти небрежно ответил Генерал, но в нарочитой этой небрежности была тонкая лесть.

— А я вот не читал, — простодушно сказал автор. — Руки не доходят, то одно, то другое... Но поначалу — интересно, значительно, жаль, трудновато. Стиль у меня, понимаешь, фразы длинные, деепричастные обороты, всякие загадочные слова. Откуда только берется? Надо будет новую книгу понятнее написать.

— А эту можно адаптировать.

— Чего?

— Упростить. Как для школьных библиотек.

— Вот ты этим и займись, — решил Генсек. — Тогда я ее прочту. Значит, договорились... Постой!.. Я тебя вроде для другого вызвал... — Он пошарил на столе, нашел послание Отца Вселенной. — Да, Голодандия! Скажи, мы интернационалисты или кто?

Генерал побледнел, и ясно выступили веснушки, обычно погашенные склеротическим румянцем. Неужто опять будем вводить войска? С тем интернационалистским долгом никак не рассчитаемся. Застрали — хуже некуда. Мусульмане газават объявили. Со всем миром поссорились.

Положим, «весь мир» — это фикция, никакого мира нет, есть Америка, и она нам не спустит. Глядишь, тоже захочет выполнить свой интернациональный долг перед Никарагуа или Кубой. А там китайцы вспомнят, что недовыполнили долг перед Вьетнамом, да Южная Корея задолжала своим северным братьям. Начнется интернационализм в мировом масштабе.

— По-моему, мы не готовы к выполнению своего долга перед Голодандией. Наше превосходство в танках и авиации может и там не сработать, — довольно твердо сказал Генерал.

— Я старый воин и выше тебя по званию, — хохотнул Генсек, — а не такой воинственный. Речь идет о технической помощи стране.

И он рассказал Генералу все то, о чем мы уже знаем и что отлично знал Генерал. Почему же, зная это, Генерал не вмешался? Прежде всего потому, что вопрос о Голодандии шел не по его ведомству, а через Главного идеолога, а в чужие дела вступать не положено. К тому же он вовсе не заинтересован был облегчать жизнь Главному идеологу, которого органически не переваривал. Другое дело сейчас, когда ему дано задание.

— Вас понял, — сказал он. — Чем же мне раньше заняться, книгой или Голодандией?

— Книгой, конечно... — Генсек вдруг засмеялся дробным старческим смешком, вылезавшим узенькие японские глаза. — Нет, книгу мы Идеологу подсунем. Пусть попотеет. Хватит толочь воду в ступе. А ты займись Голодандией.

Генерал уже поднялся. Он стоял у широкого окна, глядевшего на Старую площадь. Внезапно его рассеянный взгляд усек какой-то беспорядок в законном мире. Площадь Ногина была запружена машинами, и такая же картина открылась и по другую сторону: перекресток улицы Куйбышева и проезда Серова закупорен. Все движение в этой части города было парализовано. Догадываясь, что про-

изошло, он слегка отодвинул штору. От площади Дзержинского к Старой площади тащились жугом три черных лимузина. То был поезд Главного идеолога. Тяжело больной человек, он по количеству недугов едва ли уступал Генсеку. В черепной коробке у него давно уже плескалась жидкая каша вместо мозга, сохранявшая в своей аморфной массе лишь злобу, осторожность и набор мертвых догм. Целым еще недавно оставался мозжечок, куда переместились некоторые простейшие функции головного мозга. Но в последнее время Идеолог стал терять равновесие, ориентацию в пространстве, что несомненно свидетельствовало о беспорядках в мозжечке. Конечно, для того, чем занимался Идеолог, достаточно было и костного мозга, но ему упорно хотелось работать головой. И, оберегая свой единственный мозговой центр, Идеолог создал для него щадящий режим: он ходил черепашим шагом, здороваясь, не кланяясь, головой не вертел, а на машине передвигался со скоростью пять километров в час. Когда он выезжал из своей квартиры на Кутузовском проспекте, замирало все движение в городе по линии Арбат — проспект Маркса — площадь Дзержинского.

— Что ты там высматриваешь? — подозрительно спросил Генсек.

— На днях здесь будет Главный идеолог, — сказал Генерал.

— Откуда ты знаешь? — удивился Генсек.

— Вижу его машину.

Генсек не улыбнулся, он давно утратил чувство юмора от маразма и потрясенности собственным величием.

— Я вызвал его. Знаешь, какой он ревнивый. Я ведь ему поручил, а он все провалил. — Голос стал странно затухать. — Как всегда... сиськи масиськи...

Генерал воздержался от подтверждения мысли Генсека, чтобы тот не заложил его Главному идеологу.

— Дорогая Маргарет Тэтчер! — отчетливо и громко сказал Генсек.

— Вы ко мне обращаетесь? — спросил Генерал.

— А ты разве Тэтчер? Ты колумбийский парламентарий. — Щелочки глаз совсем сомкнулись, но речь восстановилась полностью, и это было страшно, как начало исхода. — Сиськи масиськи! — отчетливо, с нажимом крикнул он, будто бросая вызов кому-то.

Он весь обмяк, провалился в самого себя, только старческие крапчатые руки жили, они шарили по сукну письменного стола, что-то искали. И нашли — кисть напряглась последним спасающим усилием. Там кнопка, сообразил Генерал.

Двери распахнулись, и во главе с академиком Берендевым в кабинет вторглась команда молодых людей в белых халатах. Седая львиная грива академика развевалась. Он кинулся к Генсеку, подхватил сползающее с кресла тело и, перегнув через колено, вытащил из прорези в брюках гуттаперчевую трубку с металлической насадкой, в которой было множество маленьких круглых отверстий.

— Сердце! — гаркнул Берендеев.

Вперед шагнул рослый молодой человек борцовской наружности. Берендеев что-то поискал у него на груди и вытянул из-за пазухи трубку, которую свинтил с той, что вела в тело Генсека.

— Почки!..

— Легкие!..

— Печень!..

— Желудок!..

Вызывал Берендеев и включал в изношенный организм молодые и здоровые органы.

— Селезенка!..

Коротко стриженная травестюшка чуть ли не на одной ножке подскочила к Берендееву.

— Когда ты станешь серьезней? — укорил ее академик, но чувствовалось, что он не сердится.

— Когда постарею! — Истрельнула зелеными глазами в Генерала.

— Кишечник!.. Кажется, все?

Генсек оживал буквально на глазах: порозовели щеки, глубоким и спокойным стало дыхание.

Генерал в задумчивости вышел из кабинета. «А Селезенка очень недурна!»— вспомнил он, стряхнул докучные мысли и чуть было не столкнулся с появившимся в дверях Главным идеологом.

— Ты-то мне и нужен, — проскрипела верста в пиджаке и вдруг заканючила бабьим жалостливым голосом: — Освободи меня от Голодандии, будь другом!

«Другом!» Главный идеолог люто ненавидел его. То была ненависть узурпатора и завистника. Ни для кого не было секретом, что он захватил место, по праву принадлежавшее Генералу. Комбинация, уведшая Генерала со Старой площади на площадь Дзержинского, была осуществлена совместными усилиями его и Генсека, тоже опасавшегося соперничества. Два злобных полуразвалившихся и любящих власть старика боялись его относительной молодости и относительного здоровья (бодрый вид Генерала был обманчив, но рядом с ними он казался цветущим юношей), его ума, образованности и порядочности. К тому же знали точно, что рано или поздно он станет первым, а потенциальных преемников никто не любит.

И вот этот ненавистник воззвал к дружбе. В чем тут подвох? Дело выеденного яйца не стоит: послать работника в отсталую дружественную страну. Но им занимается сам Генсек, на нем провалился Главный идеолог, и вот теперь хотят подставить его. На мгновение мелькнула мысль: не слинять ли? Можно лечь в больницу на обследование. Можно сочинить микроинфаркт — любимую дипломатическую болезнь ответственных работников, но он тут же подавил недостойную слабость. Он обязан одержать победу там, где провалился Главный идеолог. И заверил своего собеседника, что расстается для друга.

Они расстались. Главный идеолог шаркнул ногой в направлении кабинета Генсека, а Генерал вызвал лифт. Конечно, стоило бы повидаться кое с кем и подразуз-

нать об этом загадочном деле, но была опасность, что Главный идеолог пустится в обратный путь и закупорит дорогу до вечера.

Секретаря парткома Мушинкина вызвали на Новую площадь. Он удивился, но никакой тревоги не испытал. У него все было чисто. Случись это в прежние времена, Мушинкин тоже пошел бы без страха и сомнения, он свято верил в справедливость органов, в щит и меч государства. Нет дыма без огня: если человека брали, значит, было за что. Ведь его же не посадили, и никого из родственников не посадили. Неопровержимый аргумент перевешивал для Мушинкина всю болтовню, поднявшуюся после XX съезда. Сейчас, правда, болтали куда меньше, вообще не болтали, и Мушинкин видел в этом подтверждение своей правоты. Перед Генералом предстал бодрый, отмобилизованный, с чистым, прямым взглядом партийный человек.

Вначале поговорили о том о сем, для разминки. О погоде, о мемуарах «Ренессанс», которых оба не читали, об открытии века в заду Устюжина. Мушинкин счел уместным напомнить Генералу, в каком коллективе сформировался Устюжин. Заурядность, недалекость Мушинкина были так очевидны даже в этом коротком разговоре, что Генерал несколько озадачился, более того — струхнул. Если на нем обжегся Главный идеолог, значит, есть какая-то тайная сила в банальнейшем представителе среднего партийного звена. Но надо было переходить к делу.

— Вы что — решили известить Голодандию? — спросил Генерал осторожно.

Мушинкин улыбнулся — оценил генеральский юмор.

— Зачем нам ее изводить? Мы интернационалисты.

— Плохие интернационалисты. Не хотите помочь стране.

Мушинкин не ответил, будто не понял.

— Почему до сих пор не оформили человека?

— Казус вышел, товарищ генерал. Кто знал, что Устюжин — феномен. Наша недоработка. Сейчас исправля-

ем. Задействован товарищ Садчиков. Хороший, крепкий кадр.

— Он же бухгалтер, а нужен химик.

Мушинкин развел руками:

— Голубцова Тамара Ивановна в декрете. Остальные невыездные. Пятый пункт.

— Не все же... — вяло возразил Генерал.

С ним творилось что-то неладное. Он все больше робел перед ничтожным, но непоколебимо уверенным в своей правоте человеком.

— Я и говорю, не все. Тамара Ивановна Голубцова в декрете.

— У вас еще Суржиков есть. — Генерал пытался придать голосу суровую твердость, но слышал в нем какое-то противное дребезжание.

— Он только что из Японии вернулся.

— Ну и что же? Он там не груши околачивал — дело делал. И Голодандия требует Суржикова.

— Они не знают, что он только что был в загранке.

— Да какую же это играет роль? — Генерал стукнул кулаком по столу, но жест получился не угрожающим, а беспомощным.

— Как какую? — удивился Мушинкин. — У нас большой коллектив. Путев... приглашение на одного человека, и мы не можем посылать товарища, который только что вернулся из длительной поездки. Нельзя же так: одному пироги да пышки, другому кулаки да шишки. Это не по-партийному. И коллектив нас не поймет.

— Да ведь гибнет страна, Мушинкин!

Тот вынул из кармана слегка помятый листок бумаги и протянул Генералу.

— Что это? — не взяв бумаги, спросил Генерал.

— Заявление товарища Суржикова. Будучи занят по основной работе и уважая интересы коллектива, он от поездки отказывается, — как по писаному, сказал Му-

щинкин. — В сложной ситуации товарищ Суржиков повел себя как настоящий советский человек.

— А вы уверены, что бухгалтер Садчиков поможет Голодандии?

— Этого не могу сказать ни за товарища Садчикова, ни за товарища Суржикова.

— А Голодандия может. И требует Суржикова.

— Требовать они не имеют права, — улыбнулся Мущинкин. — Мы суверенное государство. Товарищи из Голодандии не знают нашей ситуации. Надо им объяснить, и они успокоятся.

«А ведь он упрям не из тупости, — осенило Генерала. — Тут все глубже и страшнее. Он отстаивает свои привилегии, являющиеся привилегиями всего того слоя, который он представляет. Это их крохи власти, и они их не отдадут. Да и такие ли уж это крохи? Возможно, их власть больше нашей, которая ими гарантируется, но и ограничивается. Я ничего не могу сделать с Мущинкиным. Посадить? Не те времена. Снять с поста, выкинуть из партии — не моя прерогатива. Это мог бы сделать Главный идеолог, но не решился. Не потому что боится Мущинкина. Сам Мущинкин — ничтожество, ноль, но он частица системы, имя которой аппарат. Мущинкина вообще нет, есть его место, а с местом ничего поделаться нельзя. Ну, прогонят Мущинкина, в его кресло сядет другой... Мущинкин. Прогонят этого — третий. Такой же — один к одному. Ну, может, другой цвет волос, глаз, другие привычки — какое это имеет значение? Он будет делать все то же и так же не пустит Суржикова, потому что тот недавно вернулся из Японии. Любого из нас скинуть ничего не стоит, даже Генсека. Хрущева, колосса, историческую фигуру, убрали тихим дворцовым переворотом, достойным какого-нибудь плюгавого немецкого княжества восемнадцатого века. Убрать главу правительства в сто раз легче, чем Мущинкина, ибо за Хрущевым не было никого, а за Мущинкиным — аппарат, все равно сделает по-своему. Убрать кого-нибудь

из них можно, если аппарат согласен. Они изредка бросают нам эту кость, чтобы поддерживать в нас иллюзию власти, а то и повыше. В иных случаях можно ликвидировать само место, даже места, но они не исчезнут, а лишь переместятся, аппарат бдительно следит, чтобы общее число мест не уменьшалось, каждая попытка к сокращению ведет лишь к приросту. А ликвидировать все места — значит ликвидировать строй. Мы сами создали эту систему, видя в ней гарантию нашей власти, а существуем лишь потому, что аппарат нас терпит. Мы тоже нужны ему. Вот в чем «ирония судьбы, или с легким паром». Правила выезда за границу — абсурд. Но мы не можем их упростить, хотя над нами смеется весь мир, и мы теряем время, деньги, престиж, возможности. За этой канителью стоит целая армия бездельников и вездесуев, которых не распустишь, не разгонишь. Они собираются, льют воду, вызывают отъезжающих пред свои тусклые очи и задают им идиотские вопросы о государственном устройстве Бенина и политической программе дорогой Маргарет Тэтчер. И за них весь аппарат, ибо сегодняшние аппаратчики — это завтрашние пенсионеры, то бишь члены выездной комиссии и всех подобных ненужных институций. Аппарат — хозяин положения. Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй — так, кажется, у Третьяковского? Если посчитать всех деятельных бездельников, которые мешают людям выехать за рубеж, да прибавить к ним тех, кто мешает развитию промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, искусства, кто не пускает к читателям хорошие книги, а к зрителям хорошее кино и театр, кто разрушает торговлю, сферу услуг, почту и телеграф, транспорт, городскую и сельскую старину, то получится великая и могучая армия, превосходящая своей сплоченностью Вооруженные Силы страны. И как от нее избавиться? Говорят, что плюрализм у нас потому невозможен, что народу не прокормить второй партии. Это неверно: самоотверженный и безотказный народ наш и так кормит всех названных вредителей-

вездесуев (сколько их — 15—20 миллионов?) вместе с их семьями. А если они перестанут вредничать, то народу будет неизмеримо легче. Пусть получают пенсию, равную окладу, пусть сохраняют все свои привилегии: квартиры, дачи, персональные машины, закрытые распределители, спецбольницы, санатории, охотничьи домики, пусть их детям будет гарантировано, независимо от способностей, поступление в МИМО или на факультет журналистики МГУ с последующей работой за границей, пусть их ежегодно награждают орденами, звездами, медалями, академическими лаврами, только бы они ни во что не вмешивались, а качались в гамаках, веселились, развлекались, словом, отдыхали. Пустые мечты — не хлебом единым жив человек. Вкусившим власть нужна власть. Власть Генсека над всеми жителями измученной страны, власть муштинкиных над суржиковыми. Не только атрибуты власти, но реальная возможность насилия. Кто знает, от чего труднее отказаться: от спецпайков, дач и машин или от возможности угнетения себе подобных? Так что выхода нет. Эта система окостенела, и ее не размягнуть никакими усилиями. Все перемены могут быть только внутри ее, но, как ни пересаживай крыловских оркестрантов, музыки не возникнет. И я бессилен перед этим оловянным человеком, его не проймешь воплями о гибнущей стране. Все соображения ничего не стоят перед непреложным фактом, что нельзя два раза подряд ездить в загранку. Ездить, положим, можно, только не суржиковым».

— Ладно, товарищ Муштинкин. Пропуск подпишите в секретариате.

И когда Муштинкин был уже в дверях, Генерал остановил его вопросом:

— Пойдите, Муштинкин. Скажите, вы в Бога веруете?

— Я коммунист, товарищ Генерал.

— Я знаю, что у вас есть партийный билет. Я по-серьезному спрашиваю.

Муштинкин понял, что вопрос неофициальный, доверительный и ответить на него можно честно.

— В Бога я, конечно, не верую. Но считаю, что там кто-то такой есть.

— Помолитесь тому, кто там есть, чтобы будущая революция была бескровной, — истово посоветовал Генерал.

Несколько сбитый с толку, но твердый духом, Муштинкин покинул кабинет...

Генерал понял, что прямой путь откомандирования Суржикова в Голодандию не годится. Оставался один доступный ему способ: заслать Суржикова в качестве нашего агента. Для этого не требуется ни характеристики, ни районного утверждения, ни последующей волокиты, ни даже справки о здоровье. Все можно провернуть за одни сутки.

Суржиков не разделял доверия Муштинкина к органам святого дела сыска и явился на площадь Дзержинского на всякий случай с вещами. Пропуск был выписан только на него, с вещами не пропускали. Встревоженный отсутствием Суржикова и подозревая в том козни Муштинкина, Генерал поднял на ноги все министерство. Запросил КБ и дежурного по городу, обратились по месту жительства, дозвонились в институт Склифосовского, разослали людей по всем моргам и вытрезвителям. Совершенно случайно кто-то из работников к исходу дня наткнулся на Суржикова в пропускной. В который раз за последние дни Генерал с горечью подумал: «Мы создали систему, не пригодную для жизни».

— Зачем вы взяли с собой вещи? — спросил Генерал Суржикова.

— А как же без теплого? Там небось холодно.

— В Голодандии? — усмехнулся Генерал.

Суржиков не ответил, он не понял.

— Почему вы решили, что вас посадят? — допытывался Генерал. — Разве вы в чем-то виноваты?

— Ни в чем я не виноват. А это — самое худшее.

— Почему?

— От вины еще отвертеться можно, а коли ничего нет, что тут докажешь? Амба!

Наверное, следовало возразить, но почему-то Генералу возражать не хотелось. И вообще он чувствовал странную усталость от этой истории, казалось бы, такой простой и ясной. Все просто, как дважды два, но никто не хочет произвести несложное умножение. Ответ: четыре — означает спасение несчастной страны от гибели, но именно это никого не интересует. Вот и Суржиков после длинной вразумляющей тирады Генерала о положении в Голодандии сунул ему какую-то мятую бумажку. Конечно, заявление об отказе от поездки. «А ведь он боится Мушинкина куда больше, чем меня!» — осенило Генерала. Он вдруг понял, что безразличие людей к судьбе Голодандии идет не от душевной черствости и даже не от замороченности, — от неверия в реальность беды. Людей столько наобманывали, что все идущее от власти они не принимают всерьез, буквально, а с многими поправками, сводящими на нет изначальный посыл Суржиков, возможно, допускает, что в Голодандии что-то случилось, но вовсе не будет удивлен, если окажется, что там ничего не случилось или случилась чепуха на постном масле. Хладнокровно спишет на неверную информацию, которую в просторечии называют «бардаком». Все граждане, не словариваясь, признали наш сегодняшний дом бардаком и лишь изредка вздыхают о том порядке, который царил при Сталине, когда потоком лилась кровь, трескали переполненные тюрьмы, мерли люди сотнями тысяч в лагерях, никто не мог слова пикнуть, зато не опаздывали поезда и каждый год снижались цены на штапельное полотно, спички, бумагу от мух.

— Поскольку времени у нас в обрез, мы отправим вас в качестве секретного агента. Вам не надо будет шпионить, я категорически это запрещаю. Знаю я вашего брата — каждый в душе майор Пронин или Штирлиц. Вы едете устранять аварию, и только. Вас забросят завтра. Сделаете работу — и назад.

— С парашютом прыгать? — побледнев, спросил Суржиков. — Я не умею. Даже в Парке культуры не прыгал.

Генерал внимательно посмотрел на него.

— Отказываетесь?

— Да нет... чего уж... раз надо... — пробормотал Суржиков.

Генерал закусил губу. Боже мой, он готов прыгать! Мы воспитали героев, но не воспитали граждан. Ему в голову не приходит послать меня куда подальше. Он не из страха пролепетал свое: чего уж... раз надо... И таких людей мы мучаем!..

— Успокойтесь, Суржиков, вас отправят самолетом. Там встретят. И проводят. Ваше дело — работа, об остальном не беспокойтесь.

Дверь стремительно распахнулась, и в комнату не вошли, а ворвались трое: двое женоподобных мужчин в форме и мужеподобная женщина в халате защитного цвета. Суржиков кинулся вперед и загородил собой Генерала. «Милый мой! — екнуло генеральское сердце. — Он решил, что это покушение, и закрыл меня своим телом».

— Не волнуйтесь, — сказал он, положив руку на плечо Суржикова. — Это инвентаризация.

С преувеличенной грубостью, размашистостью, не обращая внимания на хозяина кабинета и его посетителя, энергичная, уверенная в себе троица принялась за дело. Они хватали, вертели в руках, с шумом ставили на место разные предметы и что-то помечали в реестре, который держал один из толстозадых мужчин. «Вот так ворвались к Павлу I его убийцы, — подумал Генерал, — с той же гнусной развязностью и хамским шумом. Я могу стереть их в порошок, стоит мне пальцем пошевелить, но я не сделаю этого, они за пределами моей власти, подчиненные тому высшему, чье имя: инвентаризация. А что это значит? Они проверяют, не украл ли я что-нибудь из казенной мебели, литографию с изображением Красной площади, графин с водой, граненые стаканы, портрет Генсека в маршальской форме, пепельницу, чернильный прибор, фабричный коврик, настольную лампу, еще какую-нибудь ширпотребовскую дрянь, находящуюся тут со времен Менжинского. И

я обязан это терпеть. Ин-вен-та-ри-за-ция! В каких провалах сталинской тьмы зародился этот дикий обычай и почему обрел столь непреложно хамскую форму? Может быть, Сталин был убежден в повальном воровстве, в воровстве сверху донизу, не обошедшем и высших людей государства, и в защиту от него изобрел эту полицейскую меру, а такие акции, как известно, не отличаются деликатностью. Цель хамства — ошеломить, унизить, кинуть себе под ноги, глядишь, подозреваемый, а мы все подозреваемые, вынет из кармана похищенную открывалку для боржомных бутылок, электрическую лампочку, чайную ложку. Ладно, лишь бы скорее убирались».

«Царевубийцы» отбыли, не попрощавшись, шаркая подошвами, и захлопнули за собой дверь.

— Документы мы вам оформим. Легенда у вас такая: студент института Патриса Лумумбы, возвращающийся на родину. Разговорник из пяти необходимых фраз вы получите. Одежду тоже. Сейчас я позвоню, чтобы вас экипировали.

— А почему я не могу ехать в обычном?

— Вы-то можете, да мы не можем. Тут такое начнется! Замучают доносами. Послали, мол, своего, по блату, прибарахлиться или на сафари. Вы не представляете, как трудно стало работать. На меня вот такое досье. — Генерал показал на метр от пола. — И главное, пишут не только на Старую площадь или в КПК, а сюда, мне — на меня!.. Я не должен этого говорить. Подпишите бумагу о неразглашении государственной тайны. — Он небрежно подсунул Суржикову какой-то листок с печатным текстом.

Суржиков пробежал его глазами, вынул шариковую ручку и расписался.

Генерал набрал номер телефона.

— Срочно — комплект Гол-два. Ходовой размер. Можно бэу. Ко мне в кабинет... Что-о? Как это может быть?.. Канарейкин еще не отчитывался? Вызвать немедленно!.. В отпуске? Где? На байдарках... А, черт!..

Генерал швырнул трубку, потер руками лицо.

— У вас есть белая рубашка, лучше спальная, кальсоны и вафельное полотенце?

Суржиков кивнул.

— В этом и поедете. Из полотенца сделаете чалмушку.

— Неудобно, — пробормотал Суржиков.

— Что за чепуха! Там все так ходят.

— Там-то ходят. А здесь, если я появлюсь на улице в подштанниках, меня сразу заберут.

— В аэропорт вас доставят на машине. А там — дети разных народов. Иные просто в чалме, без подштанников. Брюки возьмите с собой. Когда полетите назад, переоденетесь и домой вернетесь в нормальном виде. Деньги у вас есть?

— Какие?

— Ясно, не рубли. Хилии.

— Откуда им быть?

— Могли остаться от той командировки. — Генерал снял телефонную трубку, в его движениях проглядывала неуверенность. — Нинель Тимофеевна? Это я. Как здоровье?.. А у кого в наше время хорошо?.. Нинеличка Тимофеевна, — голос замедовал, засахарился, — выручайте, душечка. Нужны хилии... Да? А зелененькие?.. Без ножа режете. Мы тут одного человечка должны послать... Может, марки, или фунты, или франки?.. А что есть?.. Тугрики и леи?.. Вы бы еще рубли предложили.

Расстроенный Генерал бросил трубку. Встал из-за стола, отомкнул сейф.

— Энзэ. Заначка с последней командировки. На горячие сосиски хватит. Там еда дешевая. Поешьте хорошенько в самолете, с собой возьмите консервы, пусть жена сухарей засушит... Да, это все не для разглашения. Распишитесь.

— Я уже расписался.

— То была государственная тайна, а это финансовая... Да, Суржиков, вы небось думали, что мы тут глобальные заговоры сочиняем, операции всемирные разрабатываем.

А мы возимся с бумажками, выбиваем фонды. Канцелярия ду-шит!.. И полное отсутствие всякого присутствия.

Он протянул Суржикову десятидолларовую бумажку.

— Чем богаты, тем и рады. Что мы еще можем для вас сделать? Нужны какие-нибудь сведения о катастрофе? Все засекречено, но если вы настаиваете...

— Нет, — сказал Суржиков. — Мне бы одно узнать: были какие-нибудь рационализаторские предложения по проекту?

Генерал остро глянул на Суржикова.

— Понимаю ход вашей мысли. Значит, вам известно, чей это проект?

— А как же, раз я там работал. — Суржиков сам взял голубой листок с обязательством неразглашения и подмахнул его. — Я не все узлы знаю, пока разберусь, время уйдет.

— Вас понял, — сказал Генерал. — Поскольку это не связано ни с чем материальным, вы увидите, как мы умеем работать.

Он опять куда-то позвонил. Телефон работал безотказно.

— Престо! Рацпредложения по проекту «Глория», на стадии установки. В кабинет.

Пока готовили справку, Генерал познакомил Суржикова с подробностями операции. В аэропорту, который находится неподалеку от места аварии, его встретят два сотрудника и отвезут на объект. Они потом заберут Суржикова и устроят в гостиницу, и вообще будут целиком в его распоряжении. Когда же он кончит работу, посадят в самолет. Ребята отличные. Работают там лет по двадцать, знают все ходы и выходы. Но в ресторан не поведут. Насчет хилий дело поставлено строго. В этом смысле он должен рассчитывать только на себя. Вот сивуши — местной водки — у них по завязку. Сами гонят из разных отбросов.

— Я не любитель, — заметил Суржиков.

— Все так говорят, а дорвутся до сивуши — не оттянешь. Я вам морали не читаю, вы человек взрослый. У меня

одна, но самая настоятельная просьба: не шпионить. Голодандцы этого почему-то не любят. Чем у людей меньше секретов, тем болезненней они относятся к попыткам залезть им за пазуху. И сложно вытаскивать завалившегося. Менять не на что. Голодандцы не шпионят. Посольство у них маленькое, и никто на улице носа не кажет. Приходится выкупать. За любого паршивца заламывают ни с чем не сообразную цену. Денег наших, естественно, не берут, требуют нефть, пшеницу, строительный лес, пушнину и матрешек. Мы решили: пусть сидят, кому нужны завалившиеся агенты? Какой там! МСШ так развонялся, что не продохнуть.

— А что такое МСШ?

— Международный союз шпионов. Не надо расписываться, о нем все знают. Мы в него не входим, но от этого не легче. Они все равно осуществляют контроль. Сильная организация, с большими средствами и влиянием. С ней приходится считаться. Так что будьте патриотом, Суржиков, держитесь подале от секретных объектов. Вы же знаете, как у нас с пшеницей и лесом, да и с матрешками полный завал.

Раздался телефонный звонок. Генерал снял трубку.

— Введи... пусть войдет.

Дверь приоткрылась, и в щель скользнул плоский, будто из бумаги вырезанный человек, фаса у него не было — лезвие ножа. Он положил перед Генералом пакет, и тут же его высосало из кабинета. Генерал взял разрезальный нож, вскрыл пакет, оттуда выпал маленький листик бумаги. Генерал глянул и налился гневной кровью.

— Черт знает что! Какая-то чепуха. Ничего не понимаю.

Он протянул бумажку Суржикову. Там было всего несколько слов.

— Порядок, — сказал Суржиков. — Я так и думал.

— Это поправимо? — робко спросил Генерал.

— Все поправимо. Главное — попасть туда.

— Ну, с Богом! — Генерал встал. — Я верю в вас. Берегите себя; Суржиков, вы нужный член общества.

Они обменялись рукопожатием, и уже через неделю не стало Суржикова, а появился выпускник института Патриса Лумумбы, не изменивший за долгие годы обучения в Советском Союзе национальной одежде, но потерявший в русских зимах, осенних туманах и весенней мокрети при-сущий южанам смуглый цвет кожи.

Генерал оказался прав, что Суржиков не привлечет ничего внимания в аэропорту, правда, с одной оговоркой. Когда он заполнял таможенную декларацию, возле него вертелась сильно накрашенная девица в обтяжных розо-вых штанишках и кавалерийских сапогах.

— Вы из какой страны? — поинтересовалась девица.

— Из этой... Голландии, — рассеянно отозвался Суржиков, уничтожая в анкете подозрения, что у него могут быть доллары, фунты, марки, франки и другая валюта.

— У вас там хилии? — подумав, спросила девица.

— Ага.

— Какой сейчас курс?

— В рублях или в долларах? — не отрываясь от дела, спросил иностранец.

— Конечно, в долларах.

Совершенный мозговой аппарат Суржикова молниеносно произвел подсчет, переведя хилии в рубли, а рубли в доллары.

— Один к десяти тысячам ста тридцати семи.

Девица посмотрела на него с сомнением, достала из сумочки вырезанную из «Известий» табличку.

— Что-то не сходится, сагиб. Неужто хилия так упала?

— В связи с аварией, — отозвался Суржиков. — Скоро опять поднимется.

Наморщив лобик, девица произвела подсчет на испорченной декларации.

— Гони пятьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят хилий и пошли в машину.

— Зачем? — спросил сагиб.

— Я — валютная, — объяснила кавалерист-девица.

— Ты что — спятила? За такие деньги можно проигрывать купить!

Девушка ошалело посмотрела на Суржикова, затем взгляд ее упал на потертый портфель, стоящий на полу возле его ног.

— Катись колбасой! Дешевка! Набойки новые пришей, пидер московский!

Но Суржиков не слушал; подхватив портфель, он уже мчался к таможенному контролю...

В давяще жарком и душном аэропорту Гололандии Суржикова никто не встретил. Опустело громадное голое помещение аэровокзала с медленно вращающимся под потолком пропеллером, его ленивая работа не приносила ни пролады, ни свежести, разошлись даже служащие, и Суржиков остался один. Тревоги и удивления он не испытывал, как не испытал бы этих чувств, если б оказалось, что его поездка вовсе не нужна. Пути начальственной мысли неисповедимы. А обратный билет у него в кармане; самолеты летают через день, харчишки есть, а переночевать можно на лавочке, тут тепло. Он спокойно прохаживался вдоль застекленных стендов, где были выставлены всевозможные товары, продающиеся, как всегда в аэропортах, без налога.

— Суржиков? — слышался за спиной неуверенный голос.

Он оглянулся: родная сторонка глядела на него бледно-голубым взором с одутловатых лиц двух уроженцев Среднерусской равнины в шальварах и батниках.

— Земляки? — обрадовался Суржиков. — А я уж думал, обо мне забыли.

— Мы тебя не узнали. Надо было предупредить, что ты замаскируешься. Думали — черномазый.

— Валютная в аэропорту тоже обозналась.

— Кабы не портфель, мы бы к тебе не подошли. Ладно, поехали в гостиницу. Примем сивуши и обо всем договоримся.

Молчавший до сих пор агент взял портфель Суржикова и чуть не выронил.

— Ого! Ты что, камней туда напихал?

— Консервы и запчасти для ремонта.

— Думаешь починить эту дуру?

— Попробую.

Они вышли из помещения и побрели к стоянке по мягкому, проминающемуся асфальту. Душный воздух был пронизан кислотой, едкой вонью.

— Чем это несет? — спросил Суржиков.

— Тем самым. Отчего вся страна погибает, — ответил словоохотливый агент, которого Суржиков окрестил про себя Болтуном, в отличие от другого — Мрачнюги.

Зелень вокруг была какая-то пожухлая, на многих кустах и деревьях листья сморщились и почернели, словно обожженные.

— Плохо дело?

— Хана!

— На прилавках пусто?

— С чего ты взял? Тут всего завались. Японская техника, китайские рубашки, афганские ковры, итальянская обувь, гонконговские костюмы, дамские шмотки от «Диора» и «Кардена», дублюхи уцененные — никто не берет по жаре.

— Жрать нечего?

— Магазины ломаются.

— А мне говорили — голод. Помирает народ.

— Помирают много. У них ведь как: наклянчил пару хилый — и в кино. Он будет неделю не жрать, но посмотрит все дерьмовые новинки. Здесь фильмов накручивают в шесть раз больше, чем в Голливуде.

А когда сели в машину, молчаливый Мрачнюга спросил:

— Как в Москве с харчами?

— Ксбасу кошки не едят. Но в столице еще туда-сюда...

Суржиков осекся. Сейчас последует непременно сентенция, что у нас в магазинах пусто, а на столе густо, а у

иностранцев... Суржиков не успел договорить в уме эту пошлость, как Болтун уже выкатил колобком осточертевшую чушь, какой утешает себя не способный создать достойную жизнь народ.

Суржикова привезли в гостиницу, проводили в номер и угостили местным сладковатым самогоном сивуши. Он поставил закуску: чуть присоленные черные сухари и баночки бельдюги в томате. В разгар скромного пиршества Мрачнюга вдруг всполошился, стал смотреть на часы и горестно вздыхать.

— Чего ты маешься? — спросил Болтун.

— Опаздываю... Я вам не нужен?

— А кому ты вообще нужен? Опять, что ли, распродажа?

— В посольский магазин должны завезти вареные джинсы. Может, кроссовки подкинут.

— Катись! — сказал Болтун, и тот мгновенно исчез, будто растворился в воздухе. — Барахольщик. Только о шмотках думает. Ничего не читает. Над Пикулем заснул. Представляешь?

В этот день Суржиков на объект не попал. Засиделись и за хорошим разговором не заметили, как пала ранняя южная ночь. Генерал оказался прав: сивуши — вещь коварная...

Оставшись один, Суржиков задумался над той противоречивой картиной жизни Голодандии, которая возникла из разных свидетельств. Скорее всего, правда есть и в том и в другом. Какие-то голодандцы умирают, какие-то выживают. А что в магазинах полно, тоже понятно — низкая покупательная способность. И потом, Болтун судит по столице, он не бывал в глубинке, не знает, как живет народ на периферии, к его словам следует относиться с осторожностью. А разве не противоречива и наша жизнь? С одной стороны, полное преуспевание, мы обогнали Запад по всем статьям, с другой — пустые прилавки, сплошное убожество. Видимо, это и есть то, что называется диалектикой и чего никак не мог постигнуть точный ум Суржикова. Сейчас он впервые что-то ухватил. Мы — это Голодандия на-

выворот: здесь купить не на что, а у нас купить нечего. Результат же один: хана народу. Это, видать, и есть единство противоположностей. Философски успокоенный, Суржиков заснул сном младенца.

На другое утро Болтун был как штык. Он извинился за Мрачнюгу: в посольстве очередь выстроилась на ночь, поскольку списки себя не оправдывают, а фиксировать свое место на ладони чернильным карандашом посол запретил. Цифры эти не стираются, и пронумерованные посольские работники служат посмешищем всего дипкорпуса.

Суржиков переоделся в европейское платье, прихватил какой-то сверток и сказал, что готов к выполнению служебного долга. Голова после сивуши была на удивление ясной.

— Ты что же, так полезешь? — удивился Болтун.

— А что такое?

— Небось скафандр нужен, кислородный аппарат.

— Что я — американец? Пошли.

Им понадобилось всего полчаса, чтобы добраться до объекта. Он еще загодя заявил о себе желтым облачком над верхушками засохших пальм и усилившейся аммиачной вонью. А небо было таким синим, глянцевым, бездонным, что казалось, еще возможна радость, еще настанет та светозарная жизнь, которая грезилась в юношеских снах.

На миг прикоснувшись душой к чему-то высшему, Суржиков вернулся на землю, обратившись думой к тем вещам, которые видел на рекламных стендах в аэропорту. Он давно убедился, что все рекламируемое за бугром имеется в продаже. Надо будет договориться с Болтуном, чтобы его пораньше отвезли в аэропорт, тогда он сможет вдо-стать «покопаться» и, глядишь, выудит что-нибудь для жены.

Как ни погружен был в свои мысли Суржиков, он все же заметил коленопреклоненную толпу, окружавшую смердящее предприятие, словно священный храм. Заметил он и нескольких торчащих столбами старцев с воздетыми к небу тощими руками. Видать, это пророки, или, как их

там, муллы, дервиши, стоят не шелохнувшись под палящим солнцем.

Почему-то во всей толпе не было ни одной женщины, а Суржикову в связи с возникшими у него планами нужно было поглядеть на их национальную одежду.

А потом он обнаружил Священную корову и малость оторопел. Была она величиной с танк, вся нежно-опалово-розовая, с ярко-голубыми глазами, горевшими, как два фонаря, под серебристыми, круто изогнутыми рогами. Возле морды коровы трепыхались маленькие красноклювые птички, они опускали на ее толстую, черную, с алым подбоем нижней губу зеленые травинки. Когда травинок скапливалось достаточно, корова круговым движением челюсти отправляла их в пасть. «Как же этим красноклювикам надо трудиться, чтобы прокормить такую махину, да еще чистыми, отборными травинками!» — посочувствовал пташкам Суржиков.

А ведь такую гору не обойдешь и не перескочишь. Как же ее отсюда прогнать? Суржиков не был опытен в обращении с рогатым скотом. Он подошел к корове с головы и замахал на нее руками, будто отгонял кур от пшена:

— Кыш, буренка, кыш, тебе говорят!

Корова задумчиво, доброжелательно и печально уставила на Суржикова свои голубые фонари. Ее толстые, мягкие губы разминали травинку.

— Ты что — русского языка не понимаешь?

Голубая печаль изливалась на Суржикова.

Он зашел к ней сзади, заломил хвост и тяжелым скороходовским ботинком на микропоре взъехал в нежную мякоть подхвостья, в самое чувствительное, потайное место.

Корова взметнулась, поднялась на воздух, словно кончающий самоубийством кит, и огромными скачками устремилась прочь, мотая головой и оглашая простор отчаянным мычанием.

— Он сошел с ума! Его растерзают! — прошептал Болтун, вскочил в машину и трясущейся рукой включил зажигание.

То был неодолимый и тщетный порыв самосохранения — бежать некуда. Фанатики не пощадят ни одного русского, даже секретного агента с двадцатилетним стажем, который за долгие годы стал своим для страны и народа. Они объявят газават всем белым. Этот тупоумный инженерушко нарушил самое страшное табу.

Толпа молящихся была настолько потрясена кощунственным поступком белолицего, что на какие-то мгновения замерла в полной неподвижности. Верующие уподобились своим пророкам в застылости соляного столба. Они слышали оскорбленные стоны Божества, видели, как осквернитель, повернувшись спиной, расстегнул штаны и помочился в носовой платок. Затем отжал, приложил к носу, распахнул дверь и кинулся в зловонно-желтую клубящуюся муть, полыхнувшую из глубины шайтаньим жаром и пламенем.

Очнувшись, они устремились за обидчиком, чтобы омыть его кровью поруганную святыню, но, встреченные желтым ядовитым выхлопом, попятились назад.

Меж тем нечестивец, ничуть не озабоченный последствиями своей выходки, быстро прошел к главному распределителю, выхватил старый кран и ввинтил новый, который привез из Москвы, купив его на собственные деньги в хозяйственном магазине за два рубля шестьдесят копеек. Суржиков сразу понял, в чем причина аварии, как только заглянул в коротенький список рационализаторских предложений, включавший, кроме отказа от центрального входа, лишь замену американского крана отечественным. Это усовершенствование было столь незначительно (оно потянуло лишь на Госпремию РСФСР), что американские спасатели просто не заметили его, ища причину аварии в основных узлах. А никакой загадки не было: сточилась резьба, отсюда и утечка.

Вся операция не заняла и трех минут. Пошатав кран, Суржиков убедился, что он стоит крепко, — на полгода за глаза хватит, и поспешил назад. В горле сильно першило, несмотря на защитную маску в виде смоченного мочой носового платка.

Когда Суржиков показался в дверях, вся толпа пала на колени. За короткое время его отсутствия в настроении людей произошла решительная перемена. И причиной тому — Священная корова. Перестав жаловаться, она повернула голову к клубящейся ядовитыми парами двери и вглядывалась в нее с таким вниманием, что даже перестала брать травинки, которые несли ей на губу красноклювые птички. В какой-то момент, совпавший с заменой испорченного крана новым, о чем собравшиеся, разумеется, не могли знать, она вскинула голову, скакнула по-телячьи и весело подбежала к месту своей бывшей лежки. И самый высохший из пророков — скелет, обтянутый пергаментной кожей, простонал-пропел высоким голосом:

— Чу-у-до!..

И народ пал на колени.

Возговорил другой великий пророк, не достигший, однако, сквозной худобы первого, отчего и занимал в духовной иерархии более низкое место, но сейчас настал его час, ибо ему открылось явление нового Божества. И он объявил о нем верующим, указуя на дивного пришельца, в котором поначалу не узнали Спасителя.

— Кватанихарамишама, кватанихарамишама!!!

Люди запели, не размыкая уст, тихую, всепроникающую песню без слов, восславляющую молодого бога. Песня вознеслась, казалось, она творится не на земле, а изливается с синего сияющего неба.

Суржиков никогда не слышал такого пения. Он стоял умиленный, ничуть не подозревая, что воспевают его. И тут Священная корова доверчиво потянулась к нему мордой. Можно было поклясться, что она улыбается, на редкость мило и женственно улыбается своим черногубым ртом. Еще он увидел, что огромные голубые глаза обрамлены длинными пушистыми ресницами. Суржиков не любил животных, но тут растрогался, протянул руку и почесал корове твердый лоб в нежных завитках шерсти.

Он коснулся священного животного — и молния не испепелила его! Если еще и оставались в толпе маловеры и скептики, не убежденные в божественной природе зашельца, то теперь все сомнения испарились без следа. Как исчезли без следа и ядовитые испарения больного агрегата. В открытой двери было видно скучное сырое нутро гигантской котельной.

Толпа ползла к Суржикову на коленях, а оба скелетоподобных старца, соревнуясь, выкликали его божественное имя все более тонкими, пронзительными и долгими голосами. Виновник торжества наконец-то прозрел, правда, на один глаз: он понял, что чествуют его, но счел это лишь чрезмерной экзальтированной благодарностью. Собрав весь свой скудный запас восточных слов, Суржиков кланялся и говорил:

— Якши, генацвале, хванчкара, зай гезунд, бакши!..

Откуда ни возьмись, в руках у главного старца оказался громадный венок из ирисов, он надел его Суржикову через плечо, будто победителю велосипедных гонок Мира. А другой старец увенчал его венком из красных благоуханных цветов, похожих на розы, но без шипов.

— Бакши, хачапури, бешбармак! — благодарил и кланялся Суржиков. Тут он заметил машину Болтуна и со всех ног кинулся к ней. Едва протиснувшись в дверцу в своем могучем венке, он крикнул загнанно:

— Гони!

— Ты теперь не Суржиков, а Кватанихарамишама, — сообщил Болтун, выруливая на шоссе. — Божество первого круга, второго пояса, третьего разряда.

— Что ты несешь? — выпутываясь из венка, придушенным голосом сказал Суржиков.

— А разве ты не понял, что тебя обожествовали?

— Этого только не хватало! А если на работе узнают?

— Повесят на доску Почета. Слушай, тебе здорово досталось?

— Чепуха! Ты куда едешь?

— В гостиницу.

— Мне надо в магазин электротоваров.

Там Суржиков выбрал самый дешевый электрический фонарик и, скорбя душой, расстался с двумя из десяти имеющихся долларов.

— Зачем тебе такое дерьмо? — удивился Болтун. — У нас в посольском магазине лучше и дешевле.

— Неохота всю ночь в очереди стоять, — огрызнулся Суржиков.

— Да, мой коллега крепко там подзастрял. Небось уцененные полотеры завезли. Слушай, Суржиков, я тебя к себе не приглашаю, у меня не убрано, но если хочешь, баночку сивуши захвачу.

Суржиков наотрез отказался: устал, хочет выспаться. А сивуши хлопнем завтра, на посошок. Похоже, Болтуна такой расклад вполне устроил:

Было около полуночи, когда Суржиков покинул гостиницу. Он спустился из окна своего номера, находившегося на третьем этаже, по шершавому стволу финиковой пальмы, прыгнув на него с подоконника. Вокруг — ни души. Спасенная им страна измученно спала в тихой безлунной ночи, припахивающей цедрой. Суржиков бегло отметил про себя, как сильно поднялась за минувший день трава, как густа и свежа листва деревьев. До чего же благодатный климат — побежала по капиллярам чистая влага и отравленная природа за считанные часы ожила, налилась благословенными соками.

Суржиков быстро добрался до военной базы. Сейчас он собирался сделать то дело, которое, вопреки всем предостережениям Генерала, считал главным. Неужто его посылали только для того, чтобы заменить кран? Мы же люди политически грамотные, сами малость подсекреченные, понимаем, что к чему. Зачем внедрять в дружескую страну лишнего шпиона, когда там спокон века ошиваются два бездельника, не лучше ли воспользоваться командированным для другой надобности специалистом? Пусть его

проверяют на детекторе лжи, он с чистой душой будет утверждать, что никто ему такого поручения не давал, напротив — отговаривали. Он сам как сознательный член общества решил прощупать в чисто оборонительных целях военный потенциал соседней миролюбивой страны для скрепления дружеских уз.

База внезапно возникла из темноты лучами прожекторов, засеребрившими колючую проволоку, идущую поверх ограды; четко выделялись силуэты наугольных сторожевых башен. Центральные въездные ворота находились под сильной охраной, а к неприметной дверке в стене для пешего входа и выхода был приставлен лишь один часовой. Прожекторные лучи не достигали этого слабо охраняемого места. Суржиков подполз ближе и увидел, что часовой скручивает наркотическую папироску.

В одной руке он держал тонкую папиросную бумажку с табаком, сложив ее желобком, другой — осторожно подсыпал в табак белый порошок из баночки. Суржиков ощутил сладковатый запах марихуаны. Солдат так ушел в свое занятие и предвкушение близкого блаженства, что утратил ощущение окружающего. Суржиков подобрал валявшийся на земле железный прут и метнул в колючую проволоку, по которой, как водится, был пущен ток высокого напряжения. Зеленая ослепительная вспышка — короткое замыкание, и проволока стала безвредной. Часовой вскинул голову и чуть не просыпал курительную смесь. Это так его напугало, — наркотики дороги, купи их на скудное солдатское жалованье! — что встревожившее его явление разом выскочило из головы, и он весь сосредоточился на своем тонком щепетильном деле. Его можно было не опасаться. А как же остальная охрана, ведь нельзя же было проморгать вспышку? Но, очевидно, сейчас был час приема наркотиков. Местные жители — традиционалисты и немного педанты. К этому приучила их религия: трижды в день, в некий час, чем бы ты ни занимался, бросай все, изгоняй из души житейскую суету, расстилай молитвенный коврик и

оставайся наедине с богом. Тут не крестятся, не шепчут молитв, не бьют поклонов, только сосредоточиваются, уходят в себя, а через себя к Верховному Божеству. А затем возвращаются на землю: к делам, торговле, спорту, воровству, попрошайничеству, любви, ссоре, к обычным земным заботам. В этот предполуночный час они ловят кайф, и тут хоть трава не расти, гори все огнем. Потом, когда папироска будет выкурена, настанет и минет блаженство с малолетними гуриями, добрыми джиннами, волшебной музыкой, придет опамытование, легкий бодрящий озноб, с ним — чувство долга и бдительная готовность. Но пока это придет, Суржиков сделает свое дело.

Надо было перебраться через гладкую стену. Он и это предусмотрел. В Японии, в доме ниндзя, ему подарили присоски, с помощью которых «люди-невидимки» подымались по отвесным стенам и скалам, выбирались из люков и пропастей. Он захватил эти присоски с собой, равно как и старый чулок жены. Натянув чулок на голову, он ощутил родной запах ее тела, и что-то пискнуло у него в душе, сделав ее на мгновение слабой. Он справился с собой и влёпил первую присоску в гладь стены. Подтянулся, присоска держала надежно, и шмякнул другую присоску. Выдерживая его немалую тяжесть, присоски вместе с тем удивительно легко отлеплялись. Суржиков представил себе ту же продукцию в отечественном исполнении: присоски или не держались бы, или держались бы насмерть — третьего не дано. Но вот он добрался до верха, осторожно пролез под проволокой, бесшумно прыгнул вниз, и тут с боязливым криком на него накинулся притаившийся за деревом стражник.

Суржиков почувствовал его легкое, пустое, кошачье тело, без труда оторвал его от себя и ударил электрическим фонариком по темени. Солдат покорно лег на землю и свернулся калачиком. Суржиков наклонился — он дышал. Ничего, оклемается.

Длинными, бесшумными прыжками импалы Суржиков устремился к базе. Если бы кто из знавших скромного, мешко-

ватога инженера-химика с потертым портфелем видел его сейчас, то глазам своим не поверил бы, так ловки, упруги и точны были все его движения. Это проснулась в крови родовая память о бесчисленных поколениях умелых воинов, ходивших на хазар, громивших псов-рыцарей на чудском льду, бравших Казань и Астрахань, воевавших со шведами под Полтавой и с турками под Карсом, сокрушивших непобедимого Наполеона, штурмовавших Шипку, шедших на кинжальный огонь в галицийских полях, гнавших Деникина и Врангеля, поднявших красное знамя над рейхстагом. На войне погибли отец и дядя Суржикова, с империалистической не вернулся дед по матери, многих роздали Суржиковы в других войнах и немало сами перепластали народа. По младости лет Суржиков не мог воевать в Отечественную, но вот попал в боевую обстановку и мгновенно обнаружил в себе умелого, находчивого и бесстрашного воина. Наверное, именно это свойство имел в виду император Николай I, когда говорил, что Россия есть государство по преимуществу военное. Всегдашнюю боевую готовность подразумевал глядевший в корень монарх, способность к бесконечному терпению и яростной вспышке, чем и отличается воинский труд от тягучего, изо дня в день мирного труда. Наш сеятель и хранитель был потому хорош, что работал вусмерть лишь несколько месяцев в году, пока длилась страда деревенская, остальное время отлеживался на печи, копя новую силу. Ползучий, без подъемов и спадов производственный труд по природе своей чужд русскому естеству, органически не терпящему рутины...

Вскоре Суржиков добрался до огромного ангара. Ощупывая стены, он убедился, что это просто брезент, растянутый по металлическому каркасу. Он вынул перочинный ножик, разрезал брезент и проник внутрь. Включил электрический фонарик и не сдержал легкого взвоя: все пространство ангара было забито новенькими танками. Похоже, ими еще не пользовались, мощные пушки не произвели ни единого выстрела на учебном полигоне, гусеницы не мяли, не корежили землю. Против кого же сжала бронированный кулак миро-

любивая Голодандия? И он похвалил себя за то, что не послушался Генерала. Суржиков посветил фонариком на броню ближайшей машины: какое-то непонятное слово, начинающееся буквами «м» и «а». Так это же по-английски: made — сделано. «Попался, который кусался!» — сказал юному правителю страны разведчик Суржиков. Распинаемся в дружественности к Советскому Союзу, а боевую технику заказываем в US... Он протер глаза: нет, все правильно, черным по белому, то есть белым по зеленому было написано «USSR».

Так вот почему Генерал уговаривал не совать нос в чужие дела. Ладно. Чего уж!.. Он выключил фонарик и выбрался наружу. Здесь его сразу схватили. Кто-то навалился сзади, кто-то скрутил руки, кто-то ударил по ногам. Суржиков упал. Он не знал, сколько их, знал, что много, ему с ними не справиться, но страх перед скандалом, который устроит ему жена за то, что он опять полез не в свое дело, удесятерил его силы. И было мгновение, когда показалось, что он вырвется. Нет, не вырвался. Его распластали на земле лицом вниз, потом перевернули и содрали с головы чулок. В глаза ударил сноп света. Он зажмурился, но все же успел узнать солдата, которого он оглушил, и обрадовался, что тот живой.

А затем произошло что-то невероятное. Солдат, светивший ему в лицо, громко закричал, и другие солдаты в ужасе и восторге подхватили его крик. Они бережно подняли Суржикова, отряхнули, вернули чулок, а сами опустились на колени и, заламывая руки, принялись выпевать долгими голосами:

— Кватанихарамишама!.. Кватанихарамишама!..

И тут Суржиков вспомнил, что болтал Болтун, оказывается, его действительно обожествовали.

— Салям алейкум, — с достоинством сказал Суржиков. — Аллаверды.

Солдаты подняли Суржикова на руки и понесли к воротам.

— Кватанихарамишама!.. — пели, стонали, рыдали, вали они.

” Ворота широко распахнулись. Вся охрана присоединилась к шествию, бросив базу на произвол судьбы. Откуда-то появились цветы. Солдаты обрывали лепестки роз, ирисов, лилий, орхидей и осыпали Суржикова. Его доставили в гостиницу. Суржиков благословил с крыльца коленапреклоненное воинство и пошел спать...

Болтун явился вовремя:

— Говорят, ты хотел взорвать военную базу?

— Что за бред? — пробормотал Суржиков.

— Люди вообще много болтают, — покладисто сказал Болтун. — Ты сейчас самый популярный человек в Голодандии. Оставайся. Будешь жить как бог. В тебя влюбилась Священная корова.

— Хватит трепаться!

— Честное пионерское! Голодандцы называют тебя мужем Священной коровы.

— Я женат. И никогда не брошу свою жену.

— Вольному воля. Я бы на твоём месте хорошенько подумал. В посольстве хотели устроить прием в твою честь, но оказалось, что у тебя ни госпремии, ни звания, ни чина. Решили отложить до Праздника неурожая. Ждут Олега Петровича, тогда и устроят. Ты завтракал?

— Нет.

— Ну и хорошо. Позавтракаешь в самолете. Они берут еду отсюда. Рыбка копченая — язык проглотишь. Сивуши примем?

Но Суржикову предстояла маленькая операция, требующая ясной головы, он отказался.

— Ладно. Я тоже с утра не любитель. Николай Иваныч просил тебе кланяться. Его очередь уже на подходе.

— А я думал, это ты Николай Иваныч.

— Я — тоже. Мы все николай иванычи. А повыше рангом — михал михальчи. Тронулись...

В аэропорту Суржиков осуществил задуманное еще в пути приезда. Он попросил дать ему фисташковое сари, за которое ему дали чуть больше девять долларов, а заплатить за него хотел тем,

что у него осталось от покупки фонарика. Ему вежливо сказали, что не хватает доллара. Суржиков вежливо ответил, что с магазина еще тридцать центов. Разговор велся через Болтуна. Смущенный несуразностью требований Суржикова и боясь, что тот попросит у него недостающий доллар, Болтун хотел дать деру, но Суржиков был начеку. Держа Болтуна за брючный ремень, он попытался доказать тупому продавцу свою правоту. Предположим, он уйдет с девятью долларами, но один доллар тридцать центов ему тут же вернут, ибо здесь не существует таможенной наценки. Так вот, доллар вы оставьте себе, с вас всего тридцать центов.

Тут только открылся Болтуну гениально простой расчет Суржикова. Но объяснить это продавцу оказалось делом безнадежным. Он таращил глаза с желтоватыми нездоровыми белками и тупо твердил: «Найн долларе, найн!..» Болтун не выдержал, достал доллар, расплатился, получил доллар назад и еще тридцать центов. Когда операция была завершена, самодовольный вид негоцианта показывал, что он считает себя победившей стороной.

— Давай прощаться, — сказал Болтун. — Хочешь фотку Священной коровы?

Он вынул любительскую, но очень хорошую цветную фотографию. Опалово-розовое голубоглазое Божество было увенчано веночком из красных роз и белых лилий. Суржиков долго смотрел на карточку, потом со вздохом вернул ее Болтуну.

— Жена наткнется, что я скажу?..

Они попрощались. Суржиков побежал на паспортный контроль, оттуда опростетью в туалет. Тут его ждал сюрприз — туалет был бесплатный. В предбаннике он обнаружил автомат с мужскими презервативами всех сортов и видов: с усиками, с жучком, гофрированные, чешуйчатые. «черный дракон» — с резиновыми отростками, с пищалкой, мини- и макси-растяжные — последние были для маскарадов, они вмещали человека целиком, а еще были с

лимонной цедрой, с молоком и сбитыми сливками. Суржиков уже хотел сунуть монету в последнюю щель, но обнаружил, что это другой автомат — с пакетиками чая и кофе. А ему нужен был первый. Он хотел сделать подарок своему начальнику, всю жизнь собиравшему предохраняющие резинки. Его уникальная коллекция пользовалась всемирной славой, он находился в контакте с собирателями других стран. Об этом испокон века знали все КБ, за исключением Суржикова. Но когда он подарил начальнику пепельницу, тот сказал с грустной улыбкой: «Это дорогой подарок, а мне нужен совсем дешевый маленький пакетик». Сейчас он его получит. Суржиков выбрал с усиками, а на оставшиеся деньги выпил чудесной газированной воды «Сеवन ап».

В самолете Суржиков с аппетитом позавтракал, опустил спинку сиденья, откинулся удобно и смежил веки. Но прежде чем он отключился, в полуяви-полусне за клубился опалово-розовый туман, в нем зажглись голубые фонари, наплыли и стали двумя огромными печальными глазами, из них выкатились прямо в сердце Суржикова две медленные слезы и остались там навсегда...

Внезапный отъезд Суржикова ошеломил Муштинкина. Тут был и подрыв авторитета, и трагическое ощущение, что распалась связь времен, и полная неясность, как выйти из создавшегося положения. Он призвал верного Ступака, но оказалось, что председатель профкома в экстремальной ситуации не тянет. Уже на грани отчаяния пришла спасительная мысль. Надо выдвинуть на должность Суржикова, дать ему характеристику, поставить выездную комиссию КБ, утвердить в райкоме и подшить к делу. Он опасался ветеранов партии: согласятся ли они в отсутствие Суржикова решить этот вопрос, ведь хлебом не корми, а дай прощекотать отъезжающего насчет филиппинской ситуации и хитрой политики Маргарет Тэтчер. Но затруднения возникли только с одним из цареубийц, забалованным стариком, уцелев-

шим в сталинские времена, к тому же получавшим тогда в Горте полтора кило повидла вместо одного кило, положенного узникам царских тюрем. Это наделило его неистребимым чувством превосходства над окружающими, ему никто не был в указ. Конечно, можно было провести Суржикова при одном «против», но Муцинкин брезговал нечистой работой. Цареубийца не устоял перед бесплатной путевкой в Барвиху. Муцинкин блефовал — никакой путевки не было в помине. Но ветхость старика давала надежду, что ему недолго мучиться обманом.

Возвращение Суржикова домой было трогательным. Жена смутно догадывалась, что его внезапная командировка связана с каким-то важным и неприятным делом, и не ждала подарков: только бы живой вернулся. Фисташковое невиданной красоты сари повергло ее в состояние столбняка. Вернувшись в разум, она долго оглаживала ладонями легкую, воздушную ткань, зарывалась в нее лицом, потом зажмурилась и разом накинула на себя. Больших зеркал в доме не было, она навела оконное стекло на темный комод и отразилась в нем во весь рост.

— Неужто я это? — сказала она, мило и молодо краснея своим усталым лицом. — Господи, теперь у меня кимоно, сари, костюм-джерси, еще бы платьишко приличное — и умирать не надо.

— Съезжу в другой раз — привезу, — сказал Суржиков с апломбом Олега Петровича и сам на минуту поверил, что еще съездит за границу.

Жена замахала на него руками:

— Да посиди уж дома! И так всю меня задарил!

Суржиков кинулся в уборную, чтобы отплакаться без помех.

Стоило морочи жизни оставить его, что случилось чрезвычайно редко, как в нем опять начиналась любовь к жене, вернее сказать, та смертная жалость, которая людям запуганным и угнетенным заменяет любовь.

Когда Суржиков вернулся в комнату, жена крутила в руках бумажный пакетик, не предназначавшийся ее взгляду. У нее была привычка обшаривать карманы мужа в надежде на завалявшийся рублишко. Суржиков испугался, что она заподозрит его в кавалерственных намерениях, но эстетический восторг перед дивным изделием подавил низкодущную подозрительность.

— Какая прелесть! — сказала жена. — Ты наденешь его в День танкиста.

Суржиков не посмел возражать. Ладно, доживем до Дня танкиста, а там купим отечественный из калошной резины и положим в эту упаковку. Ведь начальнику нужна не резинка, а фантик...

Менее блистательным оказалось явление Суржикова перед очи Генерала. Он боялся, что тот спросит о потраченной десятке. Сумма была отпущена на питание, а он не мог представить ни ресторанных счетов, ни магазинных чеков. Генерал даже не вспомнил о деньгах. Он накинулся на Суржикова, что тот нарушил указание не заниматься шпионажем в дружественной стране. Болтун, сволочь, заложил. А что он знает? Только слухи. Свидетелей нет, и доказательств никаких.

— Ничего я не нарушал, — сказал Суржиков, пусто и прямо глядя в глаза Генерала.

«Герой, герой! — думал тот, злясь и восхищаясь одновременно. — Что ему за корысть рисковать жизнью, когда его не только не просили об этом, но всячески удерживали от бесполезного подвига? Се человек! Слетал в подштанниках в чужую, жутковатую страну, за три минуты устранил аварию, перед которой спасовали две величайшие технические державы, совершил ошеломляющий по наглости налет на военную базу и вышел сухим из воды. А имел за все подвиги только тряпку жене и презерватив. Герой!.. Но не гражданин. Врет в глаза и не краснеет. Его можно пытаться, но все равно не признается. Что дает ему такую твердость? Страх. Он не боялся ни отравы, ни огня, ни пуль, но смер-

тельно боится своего родного государства. Так боятся только оккупантов. А чем мы, собственно, от них отличаемся?» — с горечью спросил он себя.

— Ладно, Суржиков, подпишите о неразглашении военной и государственной тайны, о неразглашении промышленных секретов, да подпишите лучше все листочки подряд. И можете быть свободны.

Суржиков с охотой подписал. Генерал почувствовал, что тому хочется о чем-то попросить.

— Что у вас?

— Пусть туда пошлют десяток запасных кранов, не то опять будет авария.

Генерал омрачился.

— Просили бы чего-нибудь попроще. Десять кранов — это двадцать шесть рублей. Неужели Совет Министров будет заниматься такой мизерной суммой? Пустить на ветер миллионы — дело другое, но и сто и тысяча кранов — семечки, никто мараться не станет. А другого пути нет. Я бы сам купил эти краны, но как переслать? Нет, нет, — сказал он поспешно, угадав мысль Суржикова. — У военных свои дела, они кранами не интересуются. Придется ждать новой аварии. Или же продать их Голландии в комплекте с чем-нибудь более существенным. Например, с палочками для еды. Мы строим громадный завод на Байкале. Об этом надо подумать. Ну, а сари жене понравилось?

Суржиков, покраснев, ответил, что очень понравилось, и отчаился, довольный тем, что так легко отделался...

А Генерал поехал доложить Генсеку о выполненном поручении. Тот не мог принять его раньше, потому что осваивал маленький автодром, сооруженный в саду вокруг его коттеджа на Ленинских горах, облюбованных высшей властью для городского проживания. Сообразительный московский народ окрестил поселок за высокими стенами, вознесшийся над столицей: «Заветы Ильича».

Не в силах противиться своей автомобильной страсти, которая с получением синего «фerrари» последней моде-

ли — дружеский дар от итальянских безработных — сделалась просто неодолимой, он потребовал от правительства разрешения водить машину по Москве. Опасаясь за его драгоценную жизнь, правительство такого разрешения, разумеется, не дало, но распорядилось построить уголок Москвы на его участке, с перекрестками, светофорами, стеклянными банками для «мусоров». Фанерные фасады зданий с вывесками, неоновыми рекламами, в которых не хватало букв, и пустыми витринами создавали иллюзию города. Приодетые топтуны фланировали по тротуарам, изображая городскую толпу. Для пущей убедительности они переходили улицу в непопущенном месте, иные попадали под машину, за что водитель ответственности не несет. Этот искусственный, хотя совсем как настоящий городок густо усеяли дорожными знаками, чтобы сделать езду более сложной и романтической; особенно много было «кирпичей», требующих от водителей умения быстро произвести маневр. Генсек робел перед своим первым рейсом, даже перебои начались, пришлось срочно вызывать бригаду Берендеева. Но и накаченный чужим здоровьем, Генсек так потел, задыхался, трясся, что невозможно было представить, каким лихим водителем был он в молодые годы. Он наделал кучу нарушений и чуть не лишился прав. Его выручало лишь то, что он безропотно платил штраф, подкидывая регулировщику на бутылку, а в особо трудных случаях подписывая книгу «Ренессанс»: «С глубоким уважением и благодарностью». Регулировщики (по званию не ниже полковника госбезопасности) были соответственным образом проинструктированы, чтобы все выглядело как всамделишное. Иные из них облегчили Генсека на полсотни и больше. Генерал собственноручно наблюдал за ездой адского водителя через мощную подзорную трубу с крыши ближайшего дома-башни.

В холле коттеджа Генерал наткнулся на команду Берендеева. Кормленные, холеные бездельники лопались от сытости и здоровья. «Если он действительно живет за счет физического запаса этих здоровяков, — с грустью подумал

Генерал, — то он переживет меня. С моей печенью долго не протянешь».

Его настроение еще ухудшилось, когда он увидел, что Желудок пристаёт к Селезенке и не встречает отпора. «Куда смотрит Берендеев?» — возмутился Генерал, до сведения которого было доведено, что Селезенка, Слепая кишка и Поджелудочная железа — наложницы распутного академика.

В кабинете Генсека не оказалось, он ускользнул через тайный ход и сейчас раскатывал на своем «фerrари» под свистки гаишников.

Генерал вышел на террасу, спустился в сад, обогнул цветочную клумбу, высокую, как гора, и оказался в городской декорации, вполне достаточной для съемки лакировочного фильма о Москве. Неприятно, мертвенно в ярком солнечном свете сияли неоновые вывески: парикмахерская, гастроном, аптека, сберегательная касса. Для правдоподобия некоторые буквы не светились: «...птека», «...берег... касс...». Этот липовый город был куда чище, ухоженней и нарядней, чем настоящая Москва, и еще гуще набит милицией, «мусора» сидели в «стаканах», торчали на перекрестках, парами прогуливались по тротуарам, их было не меньше, чем агентов, изображавших уличную толпу. Генерал подумал о том, что Генсек, фальшивый вождь, фальшивый герой войны и труда, фальшивый писатель, фальшивый борец за мир и фальшивый водитель, гораздо лучше монтируется с этим поддельным городом, чем с живой плотью действительности.

Генерал не успел сделать и трех шагов, как его нагнал сверкающий баллистическим синим кузовом «фerrари» и резко затормозил, так что передок машины норовисто вздыбился.

— Садись, подвезу, — сказал Генсек, просунувшись в правое боковое стекло. — Тебе куда?

Генерал открыл дверцу. И сразу с другой стороны выросла внушительная фигура гаишника.

— Права! — произнес бесстрастный голос.

Из Генсека как воздух выпустили.

— А что?.. Я ничего! — залепетал он своим неповоротливым языком.

— Здесь остановка запрещена. Надо правила подучить, товарищ водитель.

На Генсека жалко было смотреть. Трясушимися руками он достал права из бардачка, вложил в них десятку и протянул милиционеру.

— Деньги заберите, придется сделать прокольчик.

— Я вас прошу, товарищ начальник! — Генсек почти плакал. — Сколько лет вожу. Чистый первый талон. Борюсь за звание водителя коммунистического труда... Любуй штраф, только не прокол. Ведь жена, дети!.. Как я им на глаза покажусь?.. Не погубите!..

Милиционер был неумолим. Он вынул дырокол.

— Одну минутку! — вскричал Генсек.

Засунув руку под сиденье, он вытащил экземпляр «Ренессанса», нацарапал несколько слов на форзаце и протянул милиционеру.

Тот взял книгу, прочел посвящение и вернул права, предварительно вынув из них десятку.

— Будьте осмотрительны, — сказал, козырнув.

Генсек включил сигнал левого поворота, тронул с места, убрал поворот, прибавил газу и умиротворенно откинулся на сиденье.

— Только этим и спасаюсь. Хорошо, что у нас такая грамотная милиция. Но книг не напасешься. Хоть второе издание выпускай.

Руки его, лежащие на баранке, напряглись, взгляд остекленел. Они приближались к перекрестку. Генсек сбросил газ и аккуратно миновал зеленый светофор.

— Здесь такой жлоб стоит, — пожаловался он, — только и ждет, к чему бы придраться. До чего же трудно стало ездить по нашей Москве! Я думаю поднять вопрос в Моссовете. По-моему, мы злоупотребляем дорожными знака-

ми, особенно ограничительными. Надо дать водителю больше свободы, больше самостоятельности.

Он настоящий идиот или притворяется? Не надо выбирать: он и то, и другое. У психов агровация — преувеличение болезненного состояния — не является симуляцией, как при других недугах, а дополнительным признаком расстройства.

Генсек затормозил так резко, что Генерал едва не въехал лицом в лобовое стекло. Это добром не кончится, подумал он со смирением. Одна надежда, что его лишат прав или отправят на рапопорт.

И уже очередной милиционер качает права у Генсека. На этот раз обошлось устным выговором, — нарушение было пустяковым: включилась мигалка поворота. Небось сам включил нечаянно-нарочно, — злился Генерал, завидуя драматичной и полной жизни, которой жил сейчас этот баловень судьбы.

Они поехали дальше. Надо кончать, не то сам превратишься в дебила на этой фантазмагорической трассе.

— Я пришел доложить, что авария в Гололандии ликвидирована, — сказал он, опережая очередной приступ маразматической болтовни.

— Знаю, — спокойно, даже небрежно отозвался Генсек. — На следующей неделе мне будут вручать «Сияющего дракона». Ну, а наши чудаки, чтобы не отстать, дают еще Звездочку. Мне Главный идеолог звонил и проинформировал.

«Вот так надо делать дела! — восхитился Генерал шустростью мумизированного старца. — Работу скинул на меня, а отрапортовал об успехах сам. Генсеку — побрякушки, ему — почет, а нам с Суржиковым — от мертвого осла уши».

— В ИМЭЛе провели исследование: у меня наград вдвое больше, чем у Геринга, и втрое, чем у маршала Жукова, — сообщил Генсек.

Машина рванулась вперед, крутой поворот, еще поворот — Генсек от кого-то удирал. Еще поворот, и впереди

выросла ржавь запертых ворот с примкнувшим к ним мусорным ящиком — тупик. «Все правильно, — отметил Генерал, — это естественный финиш...»

Едва Суржиков появился на работе, его вызвали в партком.

Мушкин сиял.

— Поздравляю, — сказал он, крепко пожимая теплыми ладонями руку Суржикова. — Полный порядок. Мы все провернули. Вот ваша характеристика. Прочесть?

— Не надо.

— Да тут все то же, добавлено только, что вы хорошо проявили себя в Японии. И вот резолюция райкома. Как говорится, путь открыт.

— Так я же съездил! — опешил Суржиков. — Неужели опять?..

Мушкин ласково засмеялся:

— Да нет, чудачок! Подошьем к делу, только и всего. Но справочку медицинскую придется оформить.

— Какую еще справочку?

— Что поездка не противопоказана. Все-таки южная страна. Жаркий климат. А мы не можем рисковать здоровьем наших людей. И прививочки сделайте от холеры, оспы и чумы.

— Зачем?

— А чтобы все было в ажуре.

Уже надорванное обилием сложных, острых, ранящих впечатлений последних дней сознание несчастного не выдержало. С криком: «Да здравствует Арафат!» - Суржиков кинулся на Мушкинина и вцепился ему в горло.

АФАНАСЬИЧ

Праздник, по обыкновению, удался. Его ритуал был раз и навсегда установлен еще в те давние времена, когда страна впервые отмечала День своих покоезащитных органов. Сперва шеф душевно поздравил собравшихся и тех, кто по служебным заботам не мог присутствовать на вечере, потом его первый заместитель сделал получасовой доклад, в конце торжественной части зачитывались приветствия, а после короткого перерыва был дан большой концерт лучшими московскими силами. Программа концерта тоже не менялась: па-де-де из «Лебединого озера», ряд популярных эстрадных номеров — акробатика, жонглирование, фокусы, русские пляски, пародии на известных артистов, советские песни, военные и лирические, а завершалось все выступлением знаменитого тенора, который медленно выходил из-за кулис и вдруг раскидывал руки, словно хотел обнять весь зал, и с широчайшей силой, удивительной в сильно пожилом человеке, моляще-требовательно призывал присутствующих сеять разумное, доброе, вечное. И когда расплавленным серебром изливались последние слова: «Спасибо сердечное скажет вам русский народ», Афанасьич неизменно пускал слезу и наклонял голову, чтобы другие не заметили его слабости. Уловка не помогала, люди подтачивали друг дружку локтями, кивали на плачущего оперативника, но делалось это с доброй душой — Афанасьича любили и уважали, никому и в голову не приходило потешаться над милой и трогательной чувствительностью человека такой закалки.

Сморгнув слезы, Афанасьич украдкой следил за красивыми жестами певца. Дав истаять последней ноте, певец резко поворачивался к единственной ложе и делал такое

движение, будто хотел пасть на колени в экстазе мольбы. И тогда Шеф делал ответное условное движение, имеющее якобы целью удержать артиста, не дать ему грохнуться стариковскими коленями на помост. Артист как бы против воли оставался на ногах, лишь ронял в глубоком поклоне голову с зачесанными через лысину пушистыми белыми волосами. И зал, восхищенный артистизмом обоих участников пантомимы, взрывался аплодисментами.

И на этот раз действие развивалось как положено. С удовольствием наблюдая за скрупулезно выверенным поведением артиста, Афанасьич вдруг озадачился его возрастом. Он уже был седым стариком, когда Афанасьич увидел его впервые. А ведь минуло четверть века, если не больше. Как сдали за эти годы все остальные участники концерта. Беспощадным оказалось время к балетной паре: партнер едва удерживал на руках жилистое, потерявшее гибкость тело балерины, и страшна была ее улыбка, напоминающая оскал черепа; жонглер ронял шары и булавы, заменяя былую ловкость, покинувшую подагрическое тело, лихими вскриками, изящными поклонами и воздушными поцелуями. Старость не пощадила никого, но аудитория все равно любила их и не хотела менять на молодых. Здесь умели чтить традицию. Лишь над этим седым Орфеем быстротекущее было не властно.

Афанасьич еще думал о загадках времени, когда артист повернулся к ложе и — незаметно для людей средненаблюдательных и более чем отчетливо для острого глаза Афанасьича — удержался от условного коленопреклонения. Афанасьич оценил реакцию старого сценического волка, успевшего заметить, что сумеречная глубина ложи не скрывает осанистой фигуры Шефа, и посчитавшего ниже своего достоинства тратить самоуничижительный жест на его зама. Артист при его высочайшей репутации мог бы и перед Шефом не гнуться, если бы тот не был личным и задушевым другом Самого. Поэтому условное коленопреклонение относилось не столько к Шефу, сколь-

ко к его Другу. Тут скользящая память Афанасьича за что-то зацепилась. Он вспомнил, что певец стал участником праздничных концертов после того, как его обокрали. У него похитили старинные иконы, которые он собирал чуть не всю жизнь. Он заявил о пропаже, был принят Шефом, спел на концерте. Через некоторое время часть его коллекции нашлась. Артист снова отдался своей страсти. Больше его не трогали. Уже на следующем концерте был узаконен жест мольбы и благодарности.

Артист ушел со сцены на своих длинных, стройных ногах. Афанасьичу его походка показалась чуть тяжелее обычного. Наверное, он был разочарован отсутствием Шефа. Тот ушел сразу после торжественной части. Ему бы вовсе не приходиться — на расстоянии паром дышит. Но Шеф всегда был таким — все для людей. Он знал, что без его доброго слова и праздник не в праздник. В таких случаях даже жена не может его удержать, а для него нет выше авторитета.

И до чего же по-глупому, по-досадному простудился Шеф. В воскресенье это было. Шеф пообедал в кругу семьи, а затем поспорил о чем-то с зятем. Башковитый мужик, в тридцать два года доктор философских наук, замдиректора Лесотехнического института, но с закидонами: обо всем свое мнение хочет иметь. Ну, а Шефу это, естественно, не по душе, он куда старше и несравнимо опытнее — какую жизнь прожил: из ремесленников на самый верх номенклатуры! Шеф, как и Сам, кончал машиностроительный техникум, который впоследствии стал институтом, поэтому официально считается, что оба они инженеры. Но разве дело в дипломах, в бумажках? Шеф любому академику сто очков вперед даст. Ну, а зять в своем молодом глупом гоноре не хочет этого понять. Не ценит отношения. Когда на управление пришли «мерседесы» — две двадцатки последнего выпуска, Шеф первым делом позаботился о зяте, а другую машину выделил овдовевшему тестю, чтобы была игрушка одинокому старику. Сам же остался при «феррари» чуть не трехлетней давности. Нынешние молодые все принимают как должное, никакой

благодарности не чувствуют. Разругались вдрызг, и Шеф, чтобы унять расхолодившиеся нервы, поехал прокатиться на своей развалюшке. Выехал на Садовую, довольно пустынную по воскресному дню, только разогнался маленько, чтобы сваяло с души обиду, как свисток. Подходит гаишник лопухий: превышение скорости, давайте права. Шефу до того смешным показалось, что у него права спрашивают, что он даже не обиделся. Видать, совсем молодой чувачок, начальство в лицо не знает. Шеф ему так со смешком: попробуй на такой машине без превышения ехать, это ж зверь! Ладно, больше не буду, повинную голову меч не сечет. А этот чудила заладил: права, права, и все тут. У Шефа, конечно, никаких прав с собой нет, он уехал как был: в брюках и полосатой пижамной куртке. Вот тебе права! — сунул ему шиш под нос. А гаишник тоже с гонором: вылазь из машины, ты в нетрезвом виде. Пойдешь на рапорт. Тут Шеф всерьез озлился: не на придирки, а на непроходимую тупость парня. Любой дурак на его месте давно бы сообразил, кто перед ним. Много ли в Москве людей на «феррари» ездит, да еще с превышением и без прав? Шефу противно стало, что в его системе такой охламон работает. Он распахнул дверцу, вышел из машины. «Ты как смеешь меня тыкать? Пусть я все правила нарушил, обязан мне 'вы' говорить. Тебя чему учили, дуботол? Гнать тебя в шею из ГАИ!» Тут парень наконец увидел генеральские лампасы и заткнулся. Но коли Шеф разойдется, его не остановишь. В общем, парня в тот же вечер отправили в Потьму, а Шеф, бедняга, зачихал и заперхал, еще бы — на дворе ноябрьская стынь, а он в тапочках.

И с каким-то особым теплом вспомнилось Афанасьичу, что он увидит сегодня Шефа. Никто из присутствующих не увидит: ни замы, ни помы, ни другие начальники, а он увидит, хотя человек маленький, в сорок восемь лишь до капитана дослужился. Впрочем, он не считал свое звание таким уж низким. Когда после детдома его призвали в армию и направили в органы правопорядка, то и звание старшины казалось недостижимым. Он не принадлежал к

числу бойких умников, расторопных ловкачей, умеющих быть на глазах, брал только исполнительностью. Правда, любое задание ему надо было подробно растолковать, «разжевать», говорили нетерпеливые начальники, иначе он не терялся даже, а бездействовал, как механическая игрушка, которую забыли завести. Но если толково и подробно объяснить, что к чему, у Афанасьича не случалось ни промаха, ни осечки, как и на учебных стрельбах. Это было еще одно качество, обеспечивающее счастливую, хоть и скромную, службу Афанасьича. Верный глаз и твердая рука делали его неизменным участником различных соревнований по пулевой стрельбе, где он неизменно завоевывал призы. Начальству это, естественно, льстило: кубки, бронзовые статуэтки и вымпелы Афанасьича украшали клубный музей славы. Но чуждый спортивного честолюбия и сильно загруженный Афанасьич был рад, когда его освободили от участия в соревнованиях. Тренировок он, впрочем, не бросал, держал себя в форме. И сейчас, на пороге пятидесяти, Афанасьич был крепок, как кленовый свиль, и надежен, как мельничный жернов. И все же только нынешний Шеф угадал, что Афанасьич годен на что-то большее, нежели обычная рутинная служба с ночными дежурствами, топтанием возле ресторанов и других опасных мест человеческого скопления, и вечный старшина Афанасьич за десять лет прошел путь до капитана. Красивое, хорошее звание, другого ему и не надо.

Афанасьич вышел из зрительного зала. В фойе попискивали скрипочки, побрякивали трубы — музыканты настраивали инструменты. Праздничные танцы в клубе всегда проходили под оркестр, хотя тут имелась превосходная японская техника. Но разве сравнить по чистоте и нарядности звука живые инструменты с проигрывателем. Афанасьич даже в молодые годы не был любителем шаркать ногами, он спустился в буфет, где собиралась публика посOLIDнее.

Его появление было сразу замечено. Послышалось: «Афанасьич, к нам!..», «Афанасьич, белого или сухарика?..», «Афа-

насыч, просим к нашему шалашу!..», «Афанасьич!.. Афанасьич!..». Афанасьича замечали в любом многолюдстве: в буфете или в концертном зале, на собрании или в зоне отдыха, куда выезжали по воскресеньям целыми семьями. Афанасьич не обладал привлекающей внимание внешностью: среднего роста, бесцветный, лысый, рыхловатый; последнее было обманчивым: глянешь — тюфяк, тронешь — гибкая сталь. Он как-то растворялся в окружающем, но сослуживцы узнавали его спиной. И вот уже тянутся со стаканами, бокалами, рюмками. Культяпый нос Афанасьича чует запах гнилой соломы — виски, раздавленного клопа — просковейский коньяк, мочи — московское пиво, бензина — «Столичная», матушка. Хочется отведать и того, и другого, но нельзя, он перед делом никогда не пьет, ни грамма, хотя на редкость крепок к выпивке. Впрочем, эту свою крепость Афанасьич ни разу не подвергал серьезной проверке, будучи по природе своей трезвенником, но твердо знал, что его с ног не собьешь. Он любил жизнь в ее чистом, незамутненном виде: работу, сослуживцев, Шефа, последнего до обожания, свою опрятную, как у девушки, однокомнатную квартиру, телевизор, особенно фильмы о войне, хорошие книги про шпионов, репродукции в «Огоньке» и оперетту. Женщины для него не много значили. А может, справедливо другое: слишком много значили, он всегда был влюблен в какую-нибудь недоступную красавицу: в Софи Лорен, английскую королеву, Эдиту Пьеху или Галину Щергову. Впрочем, один женский образ преследовал его с молодых дней, когда в кинотеатре повторного фильма он посмотрел довоенную картину о зажиточной и веселой колхозной жизни. Героиня фильма, задорная, с темной как смоль головой, дерзко вздернутым носом и легкой, доброй улыбкой, стала такой же властительницей его сердца, как Дульсиня Тобосская — сердца Дон-Кихота. Правда, Рыцарь Печального Образа и помыслить не мог о другой женщине. Афанасьич же допускал совместительниц. Но остальные воображаемые возлюбленные как бы накла-

дывались на этот изначальный, фоновый образ, ничего не отнимая у него, а подруги из живого тела не имели над ним власти. Лишь эфемерные образы владели его душой, делая ее сильнее и чище. Не питая иллюзий, он хотел быть достойным своих избранниц и не расходовал себя на плоскую обыденщину.

В последние годы он довольствовался вдовой летчика-испытателя, называя ее в интимных мужских беседах: «Одна чистая женщина, которую я навещаю». Эта женщина, его ровесница, выглядела намного моложе своих лет, была опрятна, обходительна, ничего не требовала, сама ставила бутылку и ужин и при этом смотрела так, будто Афанасьич ее благодетельствовал. Однажды Афанасьичу захотелось выяснить, чем он сумел так обаять чистую женщину, которую навещал. Она долго думала, наморщив маленький лобик, а потом сказала застенчиво: «Вы непьющий». Странное дело, Афанасьич никогда не мог вспомнить, как она выглядит. Возникал некий женский абрис и тут же заполнялся чертами его Главной избранницы, той, что просвечивала сквозь все иные прелестные и недоступные образы. Никто, конечно, не подозревал, что пожилой капитан, недалекий исполнительный службист, скучноватый в общении, но заставляющий уважать себя за спокойную надежность и прямоту поведения, живет в идеальном мире, сотканном его воображением.

Афанасьич мягко отверг все предложения выпить, ребята не настаивали, сразу поняв, что в день, когда им положено отдыхать и веселиться, Афанасьичу надо выполнять ответственное задание. Его всегда удивляла чуткость, с какой его сослуживцы угадывали такие вещи. Мало ли почему человек, и вообще-то почти не пьющий, отказывается от рюмки: голова болит, устал, в гости собрался, но они безошибочно распознавали ту единственную причину, которая исключала уговоры. Вот и сейчас разом отстали, но в их потеплевших взглядах читались понимание и ласка.

Он еще немного потолкался среди своих, как бы заряжаясь их теплом, их дружеским участием. Не потому, что

нуждался в поддержке, он всегда полагался только на самого себя, а потому, что был теплым человеком, отзывчивым на всякое добро. При этом он не имел близких, друзей, и это тоже коренилось в его идеализме. Афанасьич боготворил Шефа, находился в постоянном внутреннем общении с ним, на других просто не оставалось чувства.

Афанасьич чурался услуг служебных машин. Даже маленькие привилегии, которыми не располагает простой народ, разлагают душу, а Афанасьич заботился о своей душе. Да и хотелось пройтись неспешно по вечернему осеннему городку, еще раз пережить в себе праздник и настроиться на встречу с Прекрасной Дамой. Да, жизнь так богата и непредсказуема, что свела скромного капитана с экраным Чудом, явившимся ему четверть века назад.

Тот старый фильм был черно-белый, и Афанасьичу пришлось самому дописывать ее облик, наделяя его красками. Он был уверен, что черные ее волосы отливают вороненым блеском, смуглые скулы рдеют, полные губы румяны, что радужки глаз жемчужные, а не серые и не голубые. Ее длинные ресницы круто загибались вверх, открывая все глазное яблоко. Афанасьич никогда не встречал такого распахнутого, открытого, не таящего ничего про себя взгляда...

Его удивляло, почему он раньше не видел фильмов с этой артисткой, ведь она была знаменитостью еще до войны. Оказывается, в сорок шестом ее посадили, поэтому фильмы с ее участием были запрещены. Позже, уже в эпоху волонтаризма, выяснилось, что посадили ее зря — это было проявлением культа личности. Ее выпустили, реабилитировали, она опять стала сниматься, правда, уже в других ролях. Теперь она играла не юных комсомолок, а женщин в возрасте: больничных нянечек, магазинных кассирш, ткачих со стажем, заведующих молочными фермами. Она несколько пополнела, утратила летучую стройность, как-то осела, но осталась улыбка, остались широко распахнутые глаза, а нос все так же задорно смотрел в небо, утверждая, что владелице его все нипочем. И чувство Афанасьича к

ней не уменьшилось, хотя стало несколько иным: меньше сосущей тяги к недостижимому, больше сердечности, участия, кокой-то уютной теплоты. Он смотрел на экран, где она уже не любила, не страдала, не ждала, как прежде, а ругалась, командовала, переживала за порученное дело или за непутевую дочку. Афанасьич смотрел на экран и шептал: милая, милая, милая!.. Она правда была милая, но всю милоту ее Афанасьич постиг, когда встретился с ней не на экране, а в настоящей, непридуманной, но чудесней всех сказок жизни. Скажи ему кто раньше, что это возможно, Афанасьич спорить не стал бы, разве что улыбнулся б грустно или пожал плечами. Но жизнь такие номера откалывает, что ни в каком кино не увидишь.

Это случилось совсем недавно. За минувшие годы ее дочь выросла и года два назад перебралась на постоянное местожительство за рубеж. Никаких препятствий ей не чинили. Да и какие могут быть препятствия при коллективном руководстве и возвращении к ленинским нормам? Дочь огляделась, люто затосковала по матери и принялась звать ее к себе. Та долго не решалась покинуть родину. После долгих уговоров съездила в гости: покаталась по стране, согрелась возле дочки и вернулась домой. Снова снималась, выступала в концертах и вдруг разом собралась в отъезд. Это как-то странно совпало с исчезновением ее собаки, пуделька Дэзи, сучонки дипломированной, лауреата разных международных и союзных конкурсов. Неужели только Дэзи ее держала? Старой собаке не перенести было перелета. Так или иначе, едва Дэзи пропала — может, украли, а может, помирать ушла, старые породистые собаки не хотят кончаться на глазах любимых хозяев, жалея их, и находят себе укромное место, — артистка сразу подала бумаги в ОВИР. Ее не удерживали.

Она уже взяла билет, когда Афанасьич зашел к ней узнать, все ли в порядке. Она была удивлена таким вниманием, но Афанасьич объяснил ей, что ничего странного тут нет: она человек знаменитый и о ней проявляют заботу.

Надо, чтобы она благополучно уехала. В наше время все возможно: любые провокации, врагам хочется еще больше накалить мировую ситуацию. Похоже, она ничего толком не поняла, но испугалась — все же человек битый. Но старалась вида не показывать, смеялась, таращила свои жемчужные глаза и приговаривала: «Кому нужна старая баба?» — «Какие же вы старые?» — сохлым от волнения голосом возражал Афанасьич. Он чувствовал: она знает, что нравится ему. Если бы она знала, чем на самом деле является для него!.. Она брала его за руку, говорила, что с таким защитником ничего не боится. Он просил ее быть осторожнее, держать дверь на цепочке и не открывать незнакомым людям. Уходя, проверять замки, а еще лучше не оставлять квартиру пустой. Она продолжала смеяться, и, похоже, ей была приятна его забота. Она предложила выпить по рюмке коньяка за знакомство. «Я на работе», — напомнил Афанасьич.

Он ушел со смятенным сердцем. Ему уже не хотелось вспоминать, какой она была в молодости, она была прекрасна ему в своем нынешнем образе, другого не нужно.

Удивительно пригожая стояла осень. Ноябрь — самый дождливый и неприятный месяц в Москве. Особенно в последние годы. Уже в первой декаде начинает сыпаться снег, когда крупяно-мелкий, он сразу истаивает, едва коснувшись земли, когда большими медленными хлопьями, плавно опускающимися на асфальт, крыши, деревья, пешеходов. Но и это белое убранство недолговечно, быстро исходит в слякоть. А сейчас город был сух и опрятен, слабый теплый ветер порой шуршал по асфальту черным сухим листом, деревья все еще не отряхнулись. Хорошо было идти притихшим вечерним городом. Афанасьич впервые обратил внимание, как пустынна Москва даже в погожий субботний вечер. Начало десятого, а город словно вымер, редко-редко мелькнет торопливая фигура прохожего, гуляющих и вовсе не видать. А с другой стороны, чего по улицам слоняться — не весна, не лето. Люди сидят дома, в тепле,

смотрят телевизор, а молодые в кино, в дискотеках, и театры и рестораны заполнены — нормальная городская жизнь. И все-таки странной печалью тянуло от пустынных, молчащих улиц, которым не прибавляли жизни автомобили и троллейбусы. И тревожно горели неоновые ядовито-зеленые и кроваво-красные письма, надевая ночь косноязычной загадочностью: «апека», «парикхерая», «астроном», «улочна», «ыры», «ясо», «светское шпанское». Афанасьич начал играть, что занесло его на далекую планету, где азбука та же, что у нас, даже слова похожие, но все же другие, и неизвестно, что они значат. Жаль, что все закрыто и не узнать, что такое в этом мире «ыры», «ясо» и «улочна». Тут инопланетянин, который при всех отвлечениях внешней жизни всегда был начеку, заметил, что опаздывает, и вскочил в автобус.

— Кто там? — послышался за дверью милый голос.

Афанасьич вобрал в себя его звучание, просмаковал интонацию, в которой было недоумение, капелька тревоги, но куда больше ожидающего любопытства. Как это похоже на нее, от каждого жизненного явления ждать какой-то нечаянной радости. Вот кто-то постучал в дверь — звонок не работал, — и она, дрогнув напряженными нервами, в следующее мгновение подумала сердцем — не рассудком — о чем-то добром.

— Кто там? — повторила она, и по голосу чувствовалось, что она приняла молчание стоящего за дверью человека за милую игру.

— Афанасьич, — сказал Афанасьич и улыбнулся, зная, что она тоже улыбнется.

Дверь отворилась, и улыбки двух людей встретились.

— Милости просим, — сказала она. — Вы обо мне совсем забыли. Думала, так и уеду, не попрощавшись.

— Как можно! — Афанасьич всплеснул руками. — Вы не думайте, что о вас забыли. Мы вас охраняли, за квартирой приглядывали.

— Заходите. — Она жестом пригласила его в комнату.

— Да ничего... — засмутился Афанасьич. — Я так постою.

— Будет вам! Тоже — красная девица!

Актриса видела, как неловко, застенчиво просовывается Афанасьич мимо нее в комнату — квартира была малогабаритной, и двум людям трудно разминуться в крошечной прихожей. Видела и все понимала про него: поклонник, один из тех, кто остался ей верен, полюбив по старым фильмам, когда она была смуглолицым чудом. Странно, что таких людей оказалось довольно много в самых разных слоях: ее радостно узнавали шоферы такси, продавцы магазинов, старые интеллигенты, пенсионеры, полунищие старухи меломанки, реже всего граждане эпохи рока. Конечно, и Афанасьич был из числа «ушибленных». «Охраняли!.. Приглядывали!» — передразнила она про себя. Рассказывай сказки. Придумают себе службу, чтобы на джарку Лизу вблизи поглядеть. Гляди на здоровье, больше не придется. Ей стало грустно. Ей и вообще было грустно с того самого дня, когда она решила ехать, поняв, что без дочки не проживет, но случались мгновения самые непредсказуемые, и боль предстоящей разлуки шилом прокалывала сердце. Ну какое ей дело до этого и всех других мусоров? Зла особого она от них не видела, ей сломали хребет другие силы, но с тех пор всякий институт власти стал ей малопривычен. И ничего привлекательного в нем нет: мешковатая фигура, простецкое лицо, культяпый нос... нет, что-то располагающее все-таки было — в самой нелепости фигуры, в открытой и доверчивой некрасивости, в смешной застенчивости было что-то такое родное, что дух перехватывало. И до взвоя не хотелось лощеных, прилизанных, безукоризненно воспитанных и ловких джентльменов, пропади они пропадом! Нечто схожее она испытала утром, когда ее обхватила зеленщица в грязной лавчонке. И обхватила-то без нужды и повода, просто по пьяной разнузданности. Она хотела возмутиться, и вдруг — уколом под лопатку: а ведь этого больше никогда не будет, ни вонючей

лавочки, ни бледных капустных кочанов и черной картошки, ни сизого носа и сивушного дыхания, ни акающего московского говора: «Ишь, растапырилась! Паари еще, вабще не абслужу!» Сестра моя, родная кровью и бедой, никто не знает, кто из нас несчастнее... И она подумала об Афанасьиче: «Если он захочет поцеловать меня, пусть поцелует». Но знала, что тот не осмелится.

Они прошли в комнату. Она только начала собираться, но жилье уже потеряло обжитость и уют. На выгоревших обоях остались яркие квадраты от снятых гравюр и фотографий. И люстры хрустальной уже не было, с потолка свисал лишь обрывок шнура, освещалась же комната настольной пластмассовой лампой. Не стало и персидского ковра, спускавшегося со стены на диван, и старинного чернильного прибора на маленьком дамском письменном столе. И вот по этой уже отлучившейся от ее существования комнате Афанасьич понял до конца, что она действительно уезжает, уезжает, и все тут, навсегда. Господи!. Она его о чем-то спрашивала, он машинально отвечал, сам не слыша себя, только зная, что отвечает впопад.

Она села за столик. Афанасьич хотел присесть на стул, но загляделся на фотографию, висевшую над туалетным столиком. Он еще в первый раз заметил эту фотографию, а сейчас прицепился к ней взглядом, будто видел в первый раз. Доярка Лиза: платочек, челка, улыбка, комбинезон с лямками, легкая кофточка в цветочках.

— Что вы уставились, Афанасьич? — спросила она.

— Карточка...

Она засмеялась.

— Эту я вам не дам. Почему — секрет. Но есть похожая. Из того же фильма. Хотите, подпишу?

— А можно?

Она открыла средний ящик стола, нашарила там карточку и стала надписывать. Афанасьич, как замороженный, шагнул к туалетному столику. Он оказался у нее за спиной и, оглянувшись, увидел ее голову, склонившуюся над столом.

Холодный ум, горячее сердце, твердая рука... Может, это и верно, но не для Афанасьича. К моменту, когда надо было нанести удар, ум его был так же раскален ненавистью, как и сердце. Эта ненависть сцепляет все существо человека в единый волевой клуб, дающий безошибочную верность глазу и крепость руке. Промахнуться можно, стреляя в собственный висок, а тем паче с расстояния, пусть самого малого. Сука!.. Изменница!.. Сионистка!.. Все предала... заботу родины... бесплатное обучение и медицинскую помощь... Конституцию... Октябрь... Первомай!.. Вот тебе заграница!.. Вот тебе дочь-невозвращенка!..

Слова будто взрывались в черепной коробке Афанасьича. Все, что втемяшивали в слабый детский мозг детдомовские воспитатели и учителя и что осталось незабываемым, как бы потом ни менялась жизнь, все, что совпадало с этими первыми и самыми прочными истинами из последующих научений, усиливая их непреложность, в должную минуту дарило Афанасьича небывалой цельностью, подчиняя его нервную, умственную и мускульную системы одному поступку и делая из него безукоризненный инструмент уничтожения.

Он мгновенно отыскал точку на затылке склонившейся над столом головы, где разделялись темные крашенные волосы, седые у корней, и в эту точку, в сшив черепных костей, направил выстрел. Пуля, разрушив мозг, выйдет через тонкую кость глазницы, не повредив при этом глаза. Он ее подберет, ибо никогда не нужно оставлять вещественных доказательств. Пусть ему ничего не грозит, но работать надо чисто.

Простреленная голова дернулась и ударилась о крышку стола, это было конвульсивное движение, женщина не успела осознать случившегося, не испытала ни испуга, ни боли, просто перестала быть. Теперь она никуда не уедет и ляжет в родную землю, как положено русскому человеку.

Половина дела была сделана. Афанасьич надел резиновые перчатки, какими пользуются на кухне опрятные хо-

зайки, достал из серебряного стаканчика, стоящего на столе, ключи от письменного стола и отомкнул крайний верхний ящик. Он не сомневался, что искомое окажется там. В первый свой приход он заметил быстрый взгляд, брошенный хозяйкой дома на этот ящик. Не было хуже хранилища, но именно здесь должна была она держать свою драгоценность. Это вывернутая наизнанку осмотрительность: чтобы всегда была под рукой. Беспечная, шалавая, незащищенная, она не могла всерьез позаботиться о сохранности ценной вещи. А если бы и придумала для нее тайник, то наверняка не смогла бы потом найти. Зная себя, она боялась этого куда больше, чем неправдоподобного в ее чувстве жизни нападения злоумышленников.

Афанасьич вынул драгоценность, выслезившую ему глаза своим блеском, и пошарил в ящике в поисках футляра, но его не оказалось. Вот непутевая! — покачал головой. Он уже не чувствовал гнева, являвшегося при всей своей естественности рабочей предпосылкой. Он опустил драгоценность в карман пиджака, подобрал пулю, принес из кухни мокрую тряпку и тщательно вытер все предметы, на которых могли остаться его следы. Тряпку он выжал и повесил на батарею.

Вот вроде и все. Афанасьич надел пальто, шляпу, повязал шарф и в последний раз оглянулся на убитую. Она как будто спала, положив правую, поврежденную часть головы на столешницу. Волосы прикрывали рану, а другой глаз был широко открыт и, круглый, блестящий, жемчужный, тарасился удивленно. Да ведь таким и всегда казался ее распахнутый взгляд. Последняя неожиданность жизни не успела стать переживанием.

Афанасьич подошел и осторожно вытащил фотографию из-под ее головы. «Милому Афанасьичу перед разлукой на добрую память». А расписаться не успела, только первую букву вывела, и острое шариковой ручки проткнуло бумагу. Конечно, фотографию с капелькой крови следовало уничтожить, но может человек хоть раз в жизни сделать что-то

для своего сердца, не думая о бесконечных правилах, предписаниях и запретах? Афанасьич стер кровь и положил карточку в партийный билет — для сохранности.

Надо было идти, он и так опаздывал, но что-то не отпускало Афанасьича. Он смотрел на любимое лицо и ждал. А потом понял, чего ждет. Смелости в себе самом, чтобы подойти и поцеловать ее прощально. Коснуться губами ее щеки возле носа на чистой половине, куда не вытекла кровь, почувствовать теплоту еще не остывшей кожи и тот нежный сладкий запах пудры и духов, что щекотал ему ноздри даже на расстоянии, и будет чем жить до самого конца. Но как же так — без разрешения?.. Воспользоваться ее беспомощностью... нет, этого он себе не позволит.

Он с усилием посмотрел на нее, повернулся и вышел, погасив за собой свет. На лестничной площадке снял резиновые перчатки, сунул их в карман, надел обычные кожаные, поднял воротник пальто и сбежал по лестнице. Он вышел из подъезда, пересек двор, не встретив ни одного человека.

Через двадцать минут он переступил порог квартиры Шефа.

— Что так долго? — недовольно спросил Шеф, собственноручно открывший дверь.

От него сильно пахло коньяком, но простуды как не бывало. Шеф умел выгонять каждую хворость с помощью винной терапии.

Был он в генеральских брюках и пижамной куртке — его любимый наряд на отдыхе. В таком виде он трапезовал в кругу семьи, принимал гостей, но сейчас дело шло к одиннадцати, к тому же Шеф был простужен, и ему естественно было бы сменить брюки на пижамные штаны, а сверху накинуть халат. В его полумобилизованности проскальзывали тревога, готовность к действию. Неужели он допускает мысль, что Афанасьич подведет и придется вмешиваться?.. Горько сознавать, что тебе не доверяют.

— Так вот управился, — угрюмо сказал Афанасьич, проходя следом за Шефом в кабинет.

Сколько раз он тут бывал и не переставал поражаться великолепию этого музея, дворца, комиссионного магазина, не знаешь, как даже назвать. Красное дерево, бронза, хрусталь, ковры — под ногами, на стенах, на диванах, картины в золоченых рамах, гравюры, старинное оружие: мечи, кинжалы, пистолеты, щиты и копья. Даже рыцарский шлем был с золотым гребнем. А на письменном столе, опиравшемся на львиные лапы, — целая выставка: фигурки из мрамора, бронзы, дерева, малахита, шкатулочки с мелкими картинками, охотничий набор, нож и вилка в футляре из красного дерева, хрустальная чернильница с серебряной крышечкой, золотой резной стаканчик с гусиными перьями, какими еще Пушкин писал, фотографии в красивых рамках и самая большая цветная — супруги Шефа. Такая и только такая женщина может быть супругой Шефа. «Русская Венера» называют ее в управлении: вся розовая, сливочная, кремовая. Щеки румяные, губы алые, бровь соболиная, и ведь никакой косметики не применяет, вся натуральная. Она на двадцать лет моложе Шефа, значит, ей уже за сорок, а ей и тридцати не дашь. Говорят, что маленькая собачка до старости щенок, а жена Шефа дородна, осаниста, на полголовы выше мужа, и при этом легка на йогу, быстра, как ртуть, и даже гибка, хотя талию ее едва ли обхватишь. Когда она ходит с сыном и дочерью, то выглядит их старшей сестрой. Шеф наглядеться на нее не может. Конечно, никому в голову не придет назвать Шефа подкаблучником, просто тут полное любовное взаимопонимание, когда двое чувствуют и думают как один человек. А то, что Шеф любит подчеркивать свое смирение перед умом и вкусом «Мамочки», так это от растроганности души большого и сильного человека, не боящегося признать чужое, пусть и мнимое, превосходство. Говорят, Шеф не был счастлив в первом браке, жена сильно уступала ему по развитию. Это не было так заметно, когда Шеф учился в техникуме на инженера и делал первые служебные шаги, но в дальнейшем ее отсталость стала несовместима с его

положением. И тут судьба улыбнулась Шефу, хотя оплатил он эту улыбку временной задержкой в продвижении по служебной лестнице. Аморалку приписали. На помощь пришел старый друг по техникуму.

— Докладывай! — сказал Шеф, и непривычно официальный, суховатый тон выдал его беспокойство.

Афанасьич расстегнул пальто и простецким жестом вытащил из кармана сверкающее чудо.

— Докладываю, — сказал он и, широко размахнувшись, положил драгоценность на зеленое сукно письменного стола.

Шеф посмотрел, зажмурился и двумя пальцами прижал заслезившиеся глаза.

— Да... — произнес он тихо, — умели в старину делать вещи...

Можно было подумать, что вся операция была затеяна, чтобы убедиться в мастерстве старых ювелиров. Шеф потрогал драгоценность, но в руки не взял.

— Ты чего в пальто? — обернулся он к Афанасьичу. — Небось не в забегаловке.

Афанасьич послушно снял пальто и шляпу.

— Да брось на кресло, — сказал Шеф и пошел к этажерке с книгами.

Основная библиотека Шефа: философские труды, собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы, книги по искусству и литературные произведения его Друга — хранилась в больших, тяжелых, наглухо закрытых шкафах красного дерева с бронзовой отделкой, а эта красивая этажерочка приютила литературу особого назначения. Шеф достал пухлый том в сафьяновом переплете и вынул из него квадратную бутылку, в другом томе оказались высокие серебряные рюмки. Шеф налил всклень и протянул рюмку Афанасьичу:

— Держи!

По напряженности руки и слишком сосредоточенному взгляду Афанасьич понял, что волнение еще не оставило Шефа. Неужто он до сих пор не постиг, что у Афанасьича

проколов не бывает? Афанасьич мягкой рукой взял за донце налитую выше края рюмку, жидкость держалась поверхностным натяжением, приблизил губы и втянул коричневый колпачок.

— С праздником, — сказал Шеф. — Будь здоров!

Оба выпили, и Афанасьич опрокинул рюмку над лысиной, показав, что в ней не осталось ни капли. От второй рюмки Афанасьич отказался.

— Нельзя. Хочу еще в клуб заглянуть.

— Ну и что? В такой день не грех.

— Какой пример я дам молодежи? Надрался, скажут, старый пес.

— Голубь ты! — Шеф глядел умиленно. — По тебе вообще не видно, пил ты или нет. Полрюмочки!..

Они выпили. Афанасьич споловинил. Шеф взял целую. И сразу почувствовалось, что его отпустило. Он убрал бутылки и рюмки и присел на краешек письменного стола.

— Думал ли ты, Афанасьич, сколько ценностей ушло и до сих пор уходит из нашей страны?

— Много, поди.

— Очень много. Ужасно много. Непростительно много! Ты знаешь мою супругу. И знаешь, какой она культуры человек. Ведь все она. — Он обвел рукой вокруг себя. — Я-то технарь, винтики-шпунтики, сопроматы и рейсшины. Потом уже, как с людьми стал работать, добрал маленько. Но рядом с Мамочкой — пентюх. А ведь она тоже Институт культуры не кончала. Но знаешь, это дело такое... врожденное. Вот и про эту цацку, — он уже приручил драгоценность и свободно касался пальцами, — Мамочка раз узнала. Ее разведка работает получше моей. И кабы не она, уплыло бы народное достояние на Запад. Ты не знаешь, Афанасьич, как нас обобрали капиталисты, пользуясь бедностью молодого Советского государства. У Хозяина-то не было иного выхода.

Взгляд Шефа скользнул в угол кабинета, где на тумбочке стояла в тени фотография «Ленин и Сталин в Горках».

Афанасьичу всегда тяжело было смотреть на эту карточку, смонтированную из разных снимков. Когда два человека снимаются вместе, они либо смотрят друг на друга, либо в одну точку, а здесь их взгляды не фокусировались, как не сопрягались и позы. Афанасьича огорчало, что не потрудились сохранить настоящей фотографии вождей, когда они вместе. Ведь известно по старым замечательным фильмам, что Ленин шагу не мог ступить без Сталина.

— Не было другого выхода, — развивал свою мысль Шеф. — Страна задыхалась без валюты. И Рафаил, и Цициан, и этот, который весь черный, становились тракторами, машинами, станками. Индустриализация, одним словом. А что потом было? Расхищали страну кто во что горазд. Хрущ раздарил фирмачам Алмазный фонд, Катька Фурцева любому гастролеру Маневича совала. А Маневич, не поверишь, одни квадраты малевал, сейчас в той же цене, как этот... мать его, на языке вертится, ну, черный весь. А уж после фарцовщики за дело взялись. Ихняя специальность — иконы. Пограбили по церквям да по крестьянству — будь здоров! Но чумее всех для русской культуры отъезжанты. Сколько предметов на Запад ушло: ожерелий, браслетов, колец, диамет, бриллиантов, изумрудов, сервизов — подумать страшно. Россию никому не жалко. — Голос Шефа дрогнул. — Я это к тому, чтобы ты чувствовал, какое большое дело делаешь. Уж мы-то не уедем, не выпустим из рук, что России принадлежит.

Афанасьич чувствовал. Это были лучшие минуты его жизни. Шеф обладал редким умением очаровывать людей, которые ему служили. Он уже не раз дарил Афанасьича такими вот экскурсиями в большой мир культуры, истории, политики. И жалко было, что Шеф вдруг свернул с серьезного разговора на ненужное личное и стал выспрашивать Афанасьича, задал ли тот посмертного шупака своей клиентке. «Скажи честно, ты подержался?..» Правда, к этому времени Шеф до конца дочитал пухлый том из своей особой библиотеки. Отмолчаться не удалось, и Афанась-

ич сказал с укоризной: «Как вам такое в голову пришло?» — «А ты же обмирал по ней», — трезвым и холодным голосом отозвался Шеф. Ну откуда он мог знать? Ни с ним, ни с кем другим Афанасьич сроду не говорил о своих чувствах. На то он и Шеф, а не «подшефный», что обладает даром видеть тайное, что открыта ему подноготная окружающих. Иначе не мог бы рядовой техник, пусть и с инженерским дипломом, стать одним из первых лиц в государстве. Только на дружбе с Самим далеко не уедешь, мало, что ль, у него таких дружков по всей стране.

— А, покраснел! — В голосе Шефа не было торжества, настолько он был уверен в своей догадке. — Ишь, скромняга! А ничего особого в этом нет. Мамочка рассказывала, во время Великой Французской революции аристократки платили палачу, отдавали перстни, золотые кресты, ожерелья, — Шеф кинул взгляд на драгоценность, — чтобы он не имел их после казни. И не только простые принцессы, сама Мария-Антуанетта откупилась от палача, забыл его фамилию. Надо у Мамочки спросить. Она все помнит. Вот голова! Я ее Коллонтайкой зову. Знаешь, кто такая Коллонтай?

— Нет.

— Надо знать историю партии. Первая советская женщина-посол и... последняя. Пламенная революционерка. Одна из всей ленинской гвардии, которая не села. У нас на Украине говорят: ще це за ум, ще це за розум!

И вдруг, как это не раз бывало, он перестал травить и серьезным, деловым голосом заговорил о предстоящем деле, намеченном на послезавтра. Афанасьичу предстояло выяснить отношения с профессором ГИТИСа, уезжавшим к сыну в Канаду. Он не обладал громким именем, но в узком кругу специалистов пользовался уважением как один из самых удачливых старушатников Москвы. «Старушатниками» называются коллекционеры, которые шуруют среди старух, порой берут над ними опеку и тянут до самой смерти, получая в наследство всякую рухлядь, в которой нередко оказываются предметы высокой ценности. Не было

случая, чтобы старушатник не оправдал потраченных на старуху сил и средств. Эта специальность требует терпения, выдержки и умения наступать на горло не собственной, а чужой песне, когда слишком затянувшаяся, бесполезная, мучительная и для себя, и для других жизнь толкает мысль опекуна к повышенным дозам снотворного или сильнодействующей комбинации крепких лекарств. Настоящий старушатник чтит Уголовный кодекс и не идет на открытую распрю с ним. Старушки всегда отходят чисто, не придерешься, до последнего вздоха считая опекуна своим бескорыстным другом. Театральный профессор скопил за долгую терпеливую жизнь кое-что, но было у него и настоящее сокровище: собрание древнекитайских эмалей. Они имеют какое-то специальное название, но Шеф запомнил и долго сокрушался, помянув Мамочку-Комлонтайку и называя ее своей памятью. Дело не в названии, надо воспрепятствовать вывозу исконной русской ценности на Запад. И Шеф считал, что операцию хорошо провести под шум, который подымет в городе в связи с гибелью артистки. Обывательская мысль наверняка устремится к таинственной и дерзкой банде, и это воспрепятствует возникновению темных слухов и грязных сплетен.

Афанасьича побочные соображения не интересовали, а суть задания он давно уже усвоил. Хладнокровие Афанасьича чем-то задело Шефа. Он спросил, глядя в упор:

— А если тебе прикажут меня замочить, как поступишь?

— Никто мне такого не прикажет, — спокойно ответил Афанасьич.

— Нет, а все-таки... Представь себе такую ситуацию.

— Как я могу ее представить, если выше вас никого нет?

— Ну а понизят меня? — домогался Шеф, сам не зная для чего.

— Я вас очень уважаю, — тихо сказал Афанасьич.

Шеф не понял застенчивого сердца Афанасьича и затосковал. Ну, договаривай. Уважать-то уважаешь, а долг

служебный выполнишь. И не верхний я вовсе, есть повыше меня. Да и не в этом дело... Нет у нас личной преданности, только креслу. Пора на покой этому судаку. Жаль, что нельзя его просто на пенсию: годы не вышли и знает слишком много. Второго такого не скоро найдешь. Но, как говорится, незаменимых людей нет.

— Ладно, Афанасьич, ты побежал. Не то в клуб опоздаешь. Хочешь на посошок? Вольному воля. Была бы честь предложена. Бывай!

Он вышел вслед за Афанасьичем в прихожую, затворил за ним дверь, наложил засовы, вернулся в кабинет и по внутреннему телефону попросил жену зайти к нему.

И она пришла. Она вшумела в комнату, «как ветвь, полная цветов и ягод», так, кажется, у Олеси? И, как всегда, ее появление отозвалось сушью в горле. Ее спелая, налитая прелесть, уму непостижимые формы неизменно заставляли его врасплох. Она была чудесна двадцатилетней, но с годами, особенно шагнув в зрелость, делалась все лучше и лучше, как бы стремясь к заранее предназначенному наисовершеннейшему образу. Иные женщины перегорают в молодости, большинство — к сорока (тридцать девять не возраст — состояние, которое длится годами), а Мамочка широко отпраздновала свое сорокалетие и в том же победном сиянии двинулась дальше.

Высокая должность и соответствующий ей чин, то особое положение, в которое его ставила дружба с Самим, весь достаток были выслужены им самоотверженным трудом, бессонными ночами, личной верностью, беззаветной преданностью социализму в его нынешней, завершенной, как спелое яблоко, форме (в этом немалая заслуга его Друга по техникуму-институту), но Мамочку, если начистоту, он не заслужил. Она была ему не по чину. И когда пятнадцать лет назад Высокий друг положил на нее глаз — тогда свежий, карий, а сейчас похожий на тухлое яйцо, — он не ревновал и даже не переживал, приняв как должное. Мамочка была создана, чтобы царить. Все же царицей она не

стала — жениться по любви не может ни один король. Осталась с ним, не только не нарушив, но еще более укрепив узы верной, хоть и неравной дружбы. Мамочка была для него трофеем, который каждый день надо завоевывать заново. Что он и делал.

— Опять наглотался? — пронизательно определила Мамочка.

В другое время он стал бы изворачиваться, врать, но сейчас верил в свои козыри.

— Маменция! — сказал он развязно. — Докладываю: задание выполнено, противник уничтожен, взяты трофеи.

И протянул ей сноп ослепительных искр. Мамочка отличалась завидным хладнокровием, но сейчас она дрогнула. Всем составом и по отдельности: качнулся высокий, как башня, шиньон («шиньонским узником» называл его Сам в добрую минуту, явно на что-то намекая) и в разные стороны метнулись под капотом тяжелые груди.

— Да-а, это предмет, — сказала она осевшим голосом. — Так бы тебя и поцеловала.

— За чем же дело стало?

— Не выношу сивухи... Ладно, я тебя сегодня приму, только прополощи рот.

— Будет сделано, товарищ маршал!

— Подумать страшно, что такая красота могла уплыть за бугор. Вот уж верно: что имеем, не храним...

— ...а потеряв, не плачем, — подхватил муж и добавил с невинным видом: — Может, сдадим в Алмазный фонд?

— Еще чего! Чтобы ее стащили? Нет уж, у нас сохранней будет. Как там с театралом?

— С каким театралом?

— Ну, с отъезжантом. Из ГИТИСа.

— Все нормально. Послезавтра Афанасьич его навестит. Она сказала задумчиво:

— Не нравится мне твой Афанасьич. Больно глубоко залез.

В унисон бились их сердца и трудилась мысль. Если у него еще оставались какие-то сомнения насчет Афанасьича, то теперь они исчезли без следа.

— Не беспокойся, Мамочка, я уже принял решение.

Она взглянула не него с неподдельной нежностью. Конечно, он был не блеск, впрочем, как и все нынешние мужики: выпивоха, необразованный, малокультурный, но под шапкой у него кое-что имелось. А жить можно с любимым, только не с дураком. Нет, дураком он не был.

— Долго не канителься, — сказала она. — А то я усну...

Тяжелодум Афанасьич тоже не был дураком. Весь долгий путь от дома Шефа до клуба он думал о странном вопросе, которым тот ошеломил его перед уходом. Вопрос этот был покупкой, но Афанасьич не купился, поскольку никогда не злоумышлял против Шефа. А вот Шеф себя выдал. Он чего-то боится, не доверяет Афанасьичу и хочет от него избавиться. Афанасьичу в голову не приходило подвергать сомнению правовую сторону своей секретной службы. Он исполнитель, что прикажут, то и делает, остальное его не касается. Нечего ломать мозги, отчего да почему переменялся к нему Шеф. Важно одно — это приговор. Но от приговора до исполнения есть время. Можно опередить Шефа и самому нанести удар. Замочить Шефа, конечно, очень нелегко и... жалко. Эдак вовсе один останешься. Чистая женщина — для спанья, а душа осиротеет. А если Мамочку? Небось это она сбила Шефа с толку. Бабы подозрительны да и не умеют ценить мужской дружбы. Ее убрать куда проще и безопасней. Подымать волну не станут. Спишут на самоубийство. А Шеф поймет намек. Поймет, что Афанасьич обо всем догадался, но не захотел его губить. А коли так, почему не сохранить партнерство? Старый друг лучше новых двух.

Успокоившись на этот счет, Афанасьич отворил тяжелую дверь клуба и шагнул в тепло, свет, музыку.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК НЕ ССОРИЛИСЬ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ С ИВАНОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ

1

— Мне ваше лицо знакомо, — сказал человек по имени Иван Сергеевич человеку по имени Иван Афанасьевич, когда они с полчаса прождали автобус на остановке возле клуба «Крылья Советов».

— И мне ваше лицо знакомо, — сказал Иван Афанасьевич. — Вы, случайно, не артист?

— Нет, — с сожалением сказал Иван Сергеевич. — А вы?

— И я нет, — признался Иван Афанасьевич. — Мне кажется, что я вас видел по телевизору.

— Н-не думаю. Разве что в толпе. Я иногда хожу на разные московские встречи, митинги.

— На какие?

— Ну, вот когда у Минина и Пожарского собирались...

— А-а!.. Я туда не попал — приболел. Теперь я знаю, где мы виделись. Только что в клубе «Крылья Советов».

— Точно!.. Хорош был хор Донского монастыря! И доклад интересный. Вот не знал, что масоны такие гады.

— Первая пагуба для России.

— Теперь и сам вижу. Докладчик все по полочкам разложил.

— Так это же Запасевич. Самая светлая голова в «Памяти». Вы не были на его лекции о сионских мудрецах?

— Н-нет... Может, это было при закрытых дверях?

— «Память» не «Апрель», у ней все в открытую, — улыбнулся Иван Афанасьевич. — В пятницу интересная лекция — «Расчленение женского тела». Читает профессор Омельянов.

— А зачем его расчленять? — робко спросил Иван Сергеевич.

— В целях самообороны. — Иван Афанасьевич осмотрелся. — Если инородцы перейдут в наступление.

— А это возможно?

— Вы разве не видите, что делается?

Иван Сергеевич тяжело вздохнул:

— Затаптываются наши идеалы.

— О том и речь.

Автобуса все не было, и два человека, случайно познакомившиеся и ощутившие взаимное доверие, решили пройти пешком до Ленинградского проспекта. Быть может, оттого, что им не хотелось терять наметившейся близости, да и день был по-весеннему светел, прогрет уже набравшим силу апрельским солнцем, они избрали более дальний путь — мимо Академии им. Жуковского.

В маленьком парке возле красных стен бывшего Петровского дворца свежая зеленая трава пожелтела от одуванчиков, распустившихся в этом году необычайно рано и дружно. Кое-где уже запушились белые шарики, и в воздухе проплывали зонтички семян.

— Благословенная пора! — растроганно произнес Иван Сергеевич. — Весь год ее ждешь, а приходит — и не успеваешь надышаться.

Иван Афанасьевич согласно кивнул.

— Давно на пенсии?

— Да уж десятый год.

— Неужто вы на столько меня старше?

Иван Сергеевич был чуть выше среднего роста, плечист и крепок, как кленовый свиль. Его не старила, скорее молодила уже загоревшая гладкая лысина, ко-

торую он не пытался замаскировать заемом у густых висков.

— Я участник Великой Отечественной войны. Мне уже за седьмой десяток перевалило.

— По-хорошему завидую, — тепло сказал Иван Афанасьевич. — Не годам, разумеется, чему уж тут завидовать, хотя вам никогда ваших лет не дашь, а боевой биографии. Не сподобился по молодости лет защищать Родину с оружием в руках. Я тридцать первого года.

— Да вы же юноша! — засмеялся Иван Сергеевич. — Я, признаться, думал, вы тоже пенсионер.

— Пенсионер и есть! — помрачнев, сказал Иван Афанасьевич. — В пятьдесят пять отставили.

— Такого здоровяка?

Иван Афанасьевич был много выше, грузнее и рыхлее Ивана Сергеевича, но за этой рыхловатостью чувствовалась крепкая кость и большая физическая сила. При полной несхожести черт — мелких и правильных у Ивана Сергеевича, крупных, разляпистых у Ивана Афанасьевича — оба принадлежали к одному типу лысоватых, круглоголовых, плотных блондинов. Обнаружившееся старшинство Ивана Сергеевича не внесло поправки в тон легкого превосходства, покровительства, что с первых минут взял Иван Афанасьевич и принял как должное Иван Сергеевич. А казалось бы, должно быть наоборот: он и старше, и войну прошел, и в разговоре обнаруживал больше тонкости. Но ведь лидерство в любом сообществе, даже состоящем всего из двоих, захватывает не тот, кто стоит выше по уму, душевной наполненности, образованию и положению, а тот, кто может быть лидером, то есть брать на себя ответственность. Иван Афанасьевич принадлежал к таким людям, и его новый знакомец это сразу почувствовал.

— Где работали? — спросил Иван Афанасьевич.

— А вы где? — Даже улыбка не скрасила неуклюжести этого наивного маневра.

— Мы не в Одессе, — тяжелым голосом сказал Иван Афанасьевич. — Я вас первым спросил.

— Мне скрывать нечего. В органах.

— И я в органах, — скупой улыбнулся Иван Афанасьевич. — Только, надо полагать, в других — в милиции.

— Почти коллеги! — обрадовался Иван Сергеевич. — Родные ведомства!

— Насчет родства — не будем. Вы нас не больно привечали.

— Из дали лет, — элегическим тоном начал Иван Сергеевич, — многое видится по-другому. Разве не случилось нам работать бок о бок? А главное, мы служили одному делу — безопасности Родины.

— Это верно, — задумчиво сказал Иван Афанасьевич. — Что ж, давайте знакомиться. Майор милиции в отставке Иван Афанасьевич. Бывший оперативник.

— Иван Сергеевич, полковник в отставке. Бывший боевой офицер, потом на хозяйственной работе.

Так встретились, чтобы никогда не разлучаться и не ссориться, Иван Сергеевич с Иваном Афанасьевичем.

Но зоревой час их дружбы оказался далеко не безмятежен. Вскоре начались такие странности, что более искушенный и осторожный Иван Афанасьевич утратил доверие к новому другу и стал всерьез подумывать о том, как бы от него избавиться. А началось с того, что Иван Сергеевич предложил дойти пешком до Белорусского вокзала: мол, в такой день грешно толкаться в автобусе. Предложение было охотно принято. Когда же они неторопливо добрались до вокзальной площади, Иван Сергеевич, вместо того чтобы направиться своим путем, потащился за Иваном Афанасьевичем на дачную платформу. Подобная назойливость решительно тому не понравилась.

— Вы куда собрались?

— К себе. Я сейчас за городом живу.

— А в Москве площадь имеется? — строго спросил Иван Афанасьевич.

— Квартирка однокомнатная. Все, что мне бывшая жена оставила.

От ближних трех платформ отходили электрички основного Можайского направления. Ивану Афанасьевичу надо было на звенигородскую ветку. Он остановился, чтобы попрощаться с Иваном Сергеевичем, обменявшись предварительно телефонами. Иван Сергеевич тоже остановился с рассеянно-беспечным видом, хотя электричка на Можайск, судя по световому табло, отходила через две минуты. Ивану Афанасьевичу стало не по себе.

— Ладно. Я побежал. Мне на другую платформу.

— Мне тоже! — обрадовался Иван Сергеевич.

— Вам куда?

Показалось ли Ивану Афанасьевичу или так было на самом деле, но голубой, плывущий, несосредоточенный взгляд Ивана Сергеевича разом собрался и уперся ему в переносицу.

— На тридцать седьмой километр.

Тридцать седьмой километр не был ни станцией, ни полустанком, ни даже платформой — так, стрелка, разъезд, где останавливались на секунду две электрички в день. Но именно туда ехал Иван Афанасьевич. Он почувствовал ползущую по хребту холодную каплю.

— А зачем вам туда?

Вопрос прозвучал глупо, он выдавал растерянность. Но Иван Афанасьевич действительно растерялся, что с ним случалось не часто, и потерял нужный тон.

— Я там живу.

— Где?

Получался допрос, но что поделать, если Иван Сергеевич экономит слова, как в телеграмме.

— За Озерком.

Рука Ивана Афанасьевича потянулась к карману, давно уже не отягощенному блаженной и грозной тяжестью пистолета.

— И я за Озерком, — сказал он пересмякшим ртом.

— У меня садовый участок.

— И у меня садовый участок. — Голос звучал обреченно. — А вас там не водится.

— Я живу уже двенадцатый год. Вы небось из нового поселка, за березняком?

И тут Ивана Афанасьевича осенило. Поселки впрямь соседствовали, но никак не общались. Считалось, что в старом поселке живут «вовики» — так с некоторых пор уставший от претензий бывших фронтовиков и неблагодарный народ окрестил ветеранов Отечественной войны. А милиционеры — люди щепетильные — всегда избегают контактов с теми, кто ставит себя выше. Вот и жили поселки наособь, и один будто не ведал о существовании другого.

Недоразумение разрешилось, причем простодушный Иван Сергеевич даже не заподозрил, что едва возникшие отношения пережили тяжелый кризис.

Весь недолгий путь — километра полтора — от разъезда до поселка они шли молча. К этому располагал и тихий, прекрасный вечер, пахнувший молодыми травами, березовой корой, прогретой землей, и та легкая печаль, что светит в слишком разбежавшейся весне, за которой не поспевает зимняя душа, и боязнь спугнуть момент доверия, обещающий прорыв из заколдованного круга одиночества. Каждый, не отдавая себе в том отчета — а лишь в бессознательном мы не врем и не ошибаемся, — бережно и твердо, словно налитую всклень чашу, нес пробудившуюся в душе веру в спасение другим человеком. Ничего особенного не случилось между ними, не прозвучало никаких признаний, но каждый уже меньше боялся пронзительной пустоты долгого весеннего вечера, ночи с тяжелыми пробуждениями, когда так часто и гулко бьется чего-то испугавшееся сердце, и погружения в громадность ненужного дня.

Иван Афанасьевич первым добрался до дома. Ивану Сергеевичу еще надо было обогнуть сыроватый березняк. В сухую погоду можно идти напрямик через рожицу — от силы минут десять.

— Совсем близкие соседи, — заметил Иван Сергеевич, — можно сказать, на одной площадке живем.

Иван Афанасьевич справедливо понял это как приглашение в гости и ответил с тонкостью:

— От вас до меня не дальше.

Иван Сергеевич оценил ответ и поклонился, приложив руку к груди.

— Керосинка есть? — спросил он.

— Мотоцикл с коляской — списанный. По грибы или за картошкой — годится. В город — неприлично.

— У меня «жигуленок»-развалюшка. Переберу мотор, и электричка нам не указ.

Иван Афанасьевич снова отметил деликатность соседа: тот не навязывался, не лез с непрошенными услугами, но давал понять...

Какое-то маленькое, узкое тельце замелькало у подножия старой плакучей березы, тревожа палую листву и валяжник. Затем выметнулось из сухотья и взлетело по изморщиненному стволу до первых сучьев — ослепительно белое на сером фоне замшелой коры. Вывернулось, чуть не перекувырнувшись, и скользнуло вниз.

— Горноста́й, — ласково сказал Иван Афанасьевич. — Ишь, играет!

— Весну чувствует! — подхватил Иван Сергеевич. — Каждая тварь весне радуется. Вы, часом, не охотник?

— Не балуюсь. Зачем живое губить? А пострелять люблю. В тире или по тарелочкам. Сейчас, правда, бросил.

— Что так?

—хлопотно. Стрельба в городе, а я все больше здесь обитаюсь. Даже зимой.

— Не холодно?

— Я утеплил свою халупку, печку поставил.

— Не скучаете?

— А чего скучать? Телевизор есть, радио, проигрыватель. Я очень военные песни люблю, много собрал. А потом, я огородник и садом серьезно занимаюсь. У меня теплицы,

парники и, можно сказать, оранжерейка собственная. В прошлом году цветы на рынок возил.

— По-хорошему завидую, — сказал Иван Сергеевич. — У меня такого таланта нету. Редисочки, лучку, морковки маленько сажаю. Есть две яблоньки, немного смородины — и все. У соседей такая же земля, то же солнце — и все прет, цветет и пахнет. А у меня хиреет.

— Душу вы не вкладываете, вот и хиреет. Это дело такое, всего человека требует.

Горностай взлетел на ствол, прозмеился вниз и зарылся в валежник, только черный кончик хвостика перископом торчал наружу. Вдруг он возник всем своим тонким, стройным тельцем и маленькой треугольной мордочкой, порскнул в траву и исчез.

— Я пошел, — сказал Иван Сергеевич и поежился, будто ему холодно.

— Спокойной ночи, — отозвался Иван Афанасьевич, не поняв тайного смысла его движения, бессознательно провозирующего предложение зайти погреться.

Они обменялись рукопожатием. Ивану Сергеевичу понравилась широкая, сухая и теплая ладонь соседа. «Надежная, добрая рука», — подумал он и пошел домой.

2

...На другое утро оба проснулись с ощущением праздника, и оба в первые одурелые минуты пробуждения не могли взять в толк, что же такое хорошее произошло?.. Мысль проделала сходный путь: с периферии бытия к личному, отвергая по пути нащупываемые сознанием источники счастья. Перестройка, вернее, изнуряющая болтовня о социальном, экономическом, политическом и моральном распаде, ею же доведенном до последнего предела, не кончилась, о том хрипело включенное еще сонной рукой радио; экран телевизора по-прежнему заполнял круглоголовый златоуст с красным пятном на темени, чье гибельное

для Руси явление предсказали древние мудрые книги и прорицатели, и одуревшие граждане угощались в холодном виде, как на черствых именинах, его вчерашним суесловием на очередной, никому не нужной встрече с трудящимися в окружении хмурых рабочих лиц; назем, которым соседний развалившийся совхоз обещал засыпать всю садово-огородную державу, опять не привезли, судя по чистойшей, не окисленной струе, тянущей с улицы; день, судя по тому, как дуло из окон и щелей, выдался ветреный и холодный, похоже, весна, поманив короткой приветливостью, вернулась к обычной в последние годы непогожести, а радость, вопреки всему, была самая безобманная, самая редкая и нужная на свете радость от тепла другого человека. Нежданно-негаданно явилась она из равнодушной пустоты и сказала одинокой, потерявшей в мироздании душе: ты уже не одна.

Эти сходные переживания творились не синхронно, поскольку земледелец Иван Афанасьевич проснулся с соловьями, а лежебока и байбак Иван Сергеевич вернулся в бодрствующий мир под песню жаворонка, но суть и сладость их были те же.

Иван Афанасьевич, окатившись холодной водой, попил молока с погреба, надел старые лыжные штаны, ватник, натянул резиновые сапоги и отправился на свои угодья, где его забот ожидали помидоры, огурцы и предмет особой гордости — патиссоны, а также тюльпаны, нарциссы и кусты роз. Дел ему хватило до самого обеда. А пообедав, он понял, что скучает по Ивану Сергеевичу, и, чтобы не томиться, нагрузил себя новыми заботами: ходил в контору и позвонил в бессовестный совхоз, чтобы прислали назему, за который уже были выданы авансом две бутылки водки, разжился у бережливой соседки полиэтиленовыми мешочками, прибрал в комнатах, на кухне и в погребе и поставил на проигрыватель пластинку Краснознаменного ансамбля. И с огорчением понял, что сильная, звучная, мобилизующая музыка не доставляет обычного удовольствия...

Иван Сергеевич провалялся до одиннадцати, включив телевизор без звука: картинки парламентского шоу еще были терпимы, но от бранчливого пустозвонства вяли уши, потом встал, умылся, приготовил себе яичницу с колбасой, позавтракал, выпил кофе, затем прилег на тахту и стал грезить об Иване Афанасьевиче.

Он не мог до конца понять, чем так пленил его этот сдержанный, строгий в поведении отставник. Он не производил впечатления человека высокообразованного, да и какое образование у милиционера, вышедшего в отставку майором? Но на простого служаку, тянувшего всю жизнь рутинную милицейскую службу, он вовсе не походил. Он был из тех, кто привык принимать самостоятельные решения, отсюда его ненаигранная значительность, та спокойная внутренняя сила, которой не хватало Ивану Сергеевичу. Оперативник оперативнику рознь, водятся среди них ребята, привыкшие играть со смертью в орлянку.

Иван Сергеевич был старше годами и воинским званием, прошел войну, имел ранение и боевые ордена, он принадлежал к более престижному ведомству, но в их содружестве заранее отдавал первенство Ивану Афанасьевичу, отдавал с доброй готовностью, не испытывая и тени досады. Он чувствовал, что этот человек может заполнить дыру, образовавшуюся в его жизни с уходом жены и дочери. Они ушли внезапно и непонятно, поддавшись дурным, разрушительным веяниям времени. Его честная служба, дававшая им кров и хлеб, пришла в непримиримое противоречие с «принципами» дочери, которая не захотела дышать с ним одним воздухом. Мать взяла ее сторону. Прежде он жил семьей, теперь нужна была иная цель, чтобы не превратиться в тухлого пенсионера-козлобая. И тут он рассчитывал на помощь Ивана Афанасьевича.

Эту цель Иван Сергеевич проглядывал в том патриотическом движении, которое собрало митинг на Красной площади у памятника народным героям Минину и Пожарскому. А какие замечательные встречи устраивали

патриоты России! С церковным пением, чтением акафистов, выступлениями лучших писателей. Властители дум громко называли виновников всех бед многострадальной России: сионизм и масонский заговор. Ивану Сергеевичу и самому казалось, что не может русское дело идти так криво, если б не вмешательство внешних враждебных сил. Русский народ при его таланте, трудолюбии, коренном уме, высокой нравственности, несказанной доброте, гостеприимстве и трезвости — даром тщился жид-шинкарь спойть богатыря! — должен был давно перегнуть весь мир по мясу, молоку и культуре, но его упорно сбивали в канаву с прямого шляха, ведущего в коммунизм. Стоя полностью на платформе патриотического движения, разделяя все его взгляды и оскорбленное чувство за Россию, Иван Сергеевич по мягкости характера оставался сбоку припека, каким-то кандидатом в сочувствующие.

Ему не терпелось увидеть Ивана Афанасьевича, но идти к нему он не решался, боясь рассердить его такой назойливостью. И, вздохнув, он пошел в свой фанерный гаражик, где с отверстым металлическим чревом стоял дряхлый «жигуль».

Прекрасно зная машину, Иван Сергеевич давно бы мог закончить не ахти какой сложный ремонт, но он не торопился, потому что ехать ему было некуда. В Москву он предпочитал ездить электричкой: не нужно мучиться с заправкой и паркованием. Когда-то машина доставляла радость: он возил за город жену и дочь, они купались, собирали грибы и ягоды. Иногда он ездил с сослуживцами на рыбалку, хотя и не любил это занятие. Клева никогда не было, а водку приятнее пить за опрятным столом, чем на берегу, но в их управлении каждому сотруднику полагалось либо охотиться, либо рыбачить. Человек, пренебрегающий этими благородными, исконно мужскими занятиями, становился подозрителен, ему подыскивали порок: алкаш, лидер, картежник или того хуже — зачитался, больно «вумный» стал. Проще было съездить на Истринское

водохранилище или в Тишково, подремать над мертво застывшим поплавком, выпить водки с мошками, травинками и древесным сором, принять японскую пилюльку, отбивающую сивушный запах, и развезти товарищей по домам.

Машина всегда обращала его мысли к прошлому, настолько другому, полному, насыщенному, разумному, что он начинал сомневаться — не придумал ли он его? Уж слишком не похожи на минувшее нынешние пустые дни. Неужели он правда держал на руках дочь, возил ее на спине, изображая лошадку, спал в одной постели с женой, ходил на службу, принимал гостей в просторной трехкомнатной квартире и сам бывал с женой в гостях и в театре? Почему все это рухнуло? Почему понадобился развод и обмен площади, после чего он оказался в однокомнатной клетушке? Они забрали почти всю мебель и технику, оставив ему развалюху «жигуль» и этот садово-огородный закут. Перед расставанием дочь, тридцатилетняя, незамужняя, курящая, отцветшая без цветения, потребовала, чтобы он не звонил и не появлялся. А жена, которая давно уже была в полном у нее рабстве, только плакала, качала седой головой с просвечивающей на темени кожей и сморкалась в мятый платочек.

Случившееся с ним тоже принадлежало к нелепостям съехавшего с рельсов времени. Странно было, что дочь, выросшая в трудовой, скромной семье, усвоила замашки, язык и аргументацию нынешних Макаров, не помнящих родства, неопрятных, крикливых волосанов без роду и племени. Говорят, что человека воспитывают дом, семья. Может, так оно и есть в ранние годы, но эта шкурка быстро сползает, и за неокрепшую душу берутся школа, двор, подворотня, улица, дискотеки, дрянные кафе, все запретное: книги, журналы, ритмы, вражеские голоса, распоясавшиеся газеты и телевидение.

Негодую на перемены в собственной и общей жизни, на обступавшую его пустоту, Иван Сергеевич не испытывал живого страдания при мысли о семье. Он не страдал и в те

дни, когда рушилась общая жизнь, настолько полным было отчуждение. Как это странно: существуешь изо дня в день, ничего вроде не меняется, все идет по заранее начертанному кругу, и вдруг обнаруживаешь, что люди близкие и любимые давно минули, потерялись где-то там, в далеких, полузабытых днях, а заменители, присвоившие их имена и должности — жена, дочь, — не имеют к тем прежним никакого отношения. Глухая враждебность дочери и равнодушие жены давно превратили их в жильцов, малоприятных соседей по квартире. И когда они разбегались, стало даже легче, хотя о квартире он порой вздыхал. Славная была квартира: просторная, двухсветная, с большой кухней и раздельным санузлом. Правда, у его давнишней подруги, генеральской вдовы, квартира была еще просторней и лучше обставлена, он много времени проводил у нее и не испытывал стеснения в площади. Года два назад ему дали отставку. Сухопарая, с осудительно поджатыми губами пенсионерка сохранила чересчур много пыла в своей плоской груди и предпочла ему шофера «скорой помощи». Он не переживал, она порядком надоела ему смесью ханжества, самомнения и половой агрессии. Тогда он стал больше бывать на даче, если это слово применимо к полутораконатной халупке. Но за окнами был простор с деревьями, травой и небом, а он с детства любил природу. Правда, порой не хватало фигуры, оживляющей пейзаж.

Убив кое-как полдня, пообедав вчерашними щами из последней кислой капусты и готовыми голубцами, Иван Сергеевич крепко придавил, потом снова совершил туалет и понял, что не может больше оставаться один. С соседями он не общался, отношения не заладились с самого начала. В пору строительства и обживания поселка, когда людей сближают общие трудности и преодоления, он грелся возле своей генеральши, а начав обустраиваться, двинулся, естественно, по уже протоптанной другими тропке, что обеспечило ему более легкую жизнь и дружное недоброжелательство первопроходцев. Он был чужим среди своих; быть

может, ему посчастливится стать своим среди чужих? Но день повернул на вечер, а из соседней державы не шло благой вести.

Когда же тени сизые сместились, цвет поблек, звук уснул, он понял, что не в силах бороться с искушением. Он отпарил брюки, достал ненадеванную белую водолазку и новенькую скрипучую курточку из кожзаменителя. По старой дачной традиции здесь все ходили в затрапезе, в самом стареньком, рваненьком, негожем; иной отставник огородничал в жениных фиолетовых штанах, дамы не брезговали галифе времен гражданской войны, а он наряжался, как на любовное свидание. Смущенно посмеиваясь, Иван Сергеевич огладил щеки электрической бритвой, sprыснулся «Шипром», причесал виски, после чего несколько минут топтался возле холодильника, то вынимая запотелую бутылку «Столичной», то засовывая ее назад. Конечно, с бутылкой гость всегда желанней, но он не знал, пьет ли Иван Афанасьевич и одобрит ли подобное самоуправство.

Наконец он решительно сунул бутылку в карман, вышел в сад, тут же вернулся и убрал «Столичную» обратно в холодильник.

Выйдя за калитку, он сделал перед собой вид, будто не решил, куда направить шаги. После короткого раздумья он повернулся спиной к березняку и пошел вдоль смыкающихся дачных оград.

Как жалко выглядят эти хижинки посреди цветущей весны! Первый, на редкость ранний цвет яблонь не скрашивал, а подчеркивал убожество строений, возникших из бездарной планировки (видимо, в основу типового проекта положена дачная уборная) и нищенских претензий на своеобразие, неодинаковость. Нельзя было без слез смотреть на жалостные потуги выразить свою индивидуальность: один фанерную башенку под жестяной островерхой крышей соорудил, другой обнес свое палаццо верандой из металлических кроватных спинок. — где он их только раздобыл? — третий оказался рифленным железом богат и пристроил к

малютке даче царь-гараж; эркеры, фронтоны, портики из бросовых материалов придавали мизерным зданиям мультипликационно-средневековый вид. Мушиные садики вмещали сауны и русские бани, беседки, увитые диким виноградом, еще не облиствленным, амфирные собачьи будки и воздушные летники из грязной парусины. Двали о себе знать и национальные пристрастия: коньки, петухи, резные ставни, всякое деревянное узорочье.

А вот карликовые плантации выглядели куда как достойно. Прямо-таки с китайской бережливостью использовался каждый клочок земли. Полиэтиленовые покровы тепличек розово поблескивали в лучах уходящего солнца, храня влажное тепло для помидоров и огурцов. Пенились яблони разных сортов, в междурядье были высажены кусты смородины и крыжовника, аппетитно чернели тщательно возделанные делянки огородов, грядки с клубникой, лопались бутоны тюльпанов, выпустив свое пламя. А по заборам путались плети малинников, приютивших свежую зелень молодой крапивы. У тех, кто не поддался феодально-замковому гонору, хватило места и для вишенья, слив, шелковицы, ревеня. Люди попрактичнее предпочитали картофельные гряды.

«Все-таки сохранилась у русских людей извечная тяга к крестьянскому огороду, — думал Иван Сергеевич. — Что, если дать каждому не пятак земли, а надел? Глядишь, весь народ прокормится». Но он тут же отогнал эту антипартийную мысль. Частная собственность — конец социализму и тому светлому будущему, которому принесено столько жертв. Наш человек не может жить одним сегодняшним днем, абы брюхо набить, он всегда решает глобальные задачи, думает не только о всех пребывающих одновременно с ним на земле, но и о тех, кто будет через сто—двести лет, и гибнет, чтобы тем, далеким и прекрасным, стало сытно, вдумчиво и культурно. А здесь обитают пенсионеры; огородишко и садик им вроде забавы под старость, и нельзя, чтобы их пример сбивал с толку бескоры-

стных тружеников колхозов и совхозов, которые надо всемерно укреплять. Коллективное хозяйство, чуждое всему материальному, — залог чистой духовности народа.

Так, крепко и хорошо размышляя, он дошел до конца поселка, перепрыгнул через кювет и повернул к березовой роще.

В маленьком прудишке, вернее, натеке вешних вод в заболоченную ложбинку играли ондатры. Они плавали взапуски, растягивая за собой длинные водяные усы, взбирались на кочку и начинали бороться. Победенная плюхалась в воду, за ней прыгала другая, и начинался новый заплыв. Крысы заметили Ивана Сергеевича и враз скрылись под водой, словно не бывали.

К прудишку медленно ползла, далеко отключивая задние ноги, лиловая жаба. Ее накрыла тень летящей низом вороны. Жаба замерла, взгорбив спину, и стала холмиком. Ворона повлекла свою тень дальше, но жаба так хорошо притворилась мертвой материей, что оставалась недвижимой. Она преувеличивала свою хитрую защищенность. Иван Сергеевич подтолкнул ее носком ботинка, жаба перевернулась кверху перламутровым брюшком и продолжала играть в неживую.

— Ну и черт с тобой, дура!.. — рассердился Иван Сергеевич.

Он шел дальше. Над курящимся выпотом кувыркались с томительным писком два чибиса. Они были как костяшки домино: черная рубашка, белый испод. Каждый год над этим потным пятачком появлялась пара чибисов — неужели одни и те же?..

Иван Афанасьевич стоял на стремянке, пытаясь дотянуться до скворечни. В руке у него было крошечное оранжевое существо — выпавший птенец, что ли?

— Я не вовремя? — пробормотал Иван Сергеевич.

— Отчего же? Вовремя, — своим рассудительным голосом отозвался Иван Афанасьевич. — Вот только этого бабловника мамаше верну.

Иван Сергеевич увидел торчащую из круглого отверстия скворечника рыжую мордочку с вытаращенными от ужаса и отчаяния глазами. Беличья семья захватила скворчинный дом, и в руке Ивана Афанасьевича был вывалившийся оттуда бельчонок.

— Вот не знал, что белки в скворечнях селятся.

— И я не знал. И скворцы не знали. Они такой шум подняли! Но эта рыжая бандитка ноль внимания.

Иван Афанасьевич дотянулся до круглого окошечка, опустил туда бельчонок, ловко соскользнул вниз и протянул руку Ивану Сергеевичу. Был он в тренировочных брюках и шерстяной майке с короткими рукавами. Крепкий торс, бицепсы как у тяжеловеса; развалец, правда, оставался, но никакой мешковатости.

— Идемте ужинать. Уже накрыто.

Иван Сергеевич забормотал, что он хотел бутылочку прихватить, да не решился. Может, сбегать домой?..

— Я человек непьющий, — веско сказал Иван Афанасьевич. — Но для гостя всегда держу травничек собственного изготовления. Прошу к столу.

Они прошли в дом. Стол был накрыт в кухне. На чистой, накрахмаленной скатерти стоял аппетитный квадратный графинчик с бледно-зеленой настойкой, пузатенькие стопочки с утяжеленным донцем, такие никогда не опрокидываются, два прибора — неужели его ждали? — блюдо с холодцом, банка с маринованными грибочками, хлеб в плетеной корзинке. Иван Афанасьевич пригласил гостя садиться, а сам спустился в погреб за соленьями.

Все у Ивана Афанасьевича было отменного качества. Сам же он гордился своими патиссонами. В Подмосковье ими многие увлекаются, но результаты плачевные: сердцевина трухлявая, венчик резиновый, а у него каждый плод всегда ровно плотен, но не жесток и не туг, жуется и отдает сладинкой. Иван Сергеевич был в восторге от патиссонов, но не меньше нравились ему грибочки, помидоры и особенно заливное из щуки с крепчайшим хреном,

заправленным свеклой. Он расспрашивал Ивана Афанасьевича о каждом блюде, и тот охотно давал пояснения. Эту щучку он сам заострожил в канаве у Озерка. Во время весеннего паводка щуки заходят в протоки на икромет и, случается, попадают в ловушку, поскольку вешние воды быстро пересыхают. Бери ее хоть сачком, хоть острогой, хоть двойкой из ружья. Но в холодце главное не рыба, а желе; это не простое искусство — добиться такой тонкой густоты, чтобы оно дрожало, трепетало, но не растекалось соплями и чтобы, упаси боже, не воняло рыбой. Тут требуются не только петрушка, морковка, лимон, но и специальные травы, а какие — секрет фирмы. То же и с солениями, и с маринадами, можно все по правилам делать, по книге о вкусной и здоровой пище, а будет или пресно, или до скуловорота кисло, или пересолено. Тут от внутреннего такта все зависит; он сроду вот не кухарил, а поселился на природе и открыл в себе поварской талант, а главное — азарт к этому делу.

Иван Сергеевич с грустью сознавал свою полную хозяйственную ничтожность рядом с таким умелым, домовитым человеком. Живут рядом, в схожих условиях, а словно на разных концах земли: один в краю изобилия, другой — в мертвой степи. Какая добротная, налаженная, вкусная жизнь в этом доме — и как жалок быт ссыльнопоселенца, которым довольствуется он! А ведь у него больше возможностей: и пенсия выше, и своя машина, а не трехколесный драндулет. Но нет ли за всем завораживающим уютom доброй женской руки?

Иван Афанасьевич охотно удовлетворил его любопытство. Хозяйствует он один. Более того, за все годы, что он здесь живет, ни одна женщина не переступала порог его дома. Он убежденный холостяк. Слишком высокие требования предъявляет он к женщинам. Такие существа лишь в мечте являются, на улице или в поликлинике их не встретишь. Прошла через его жизнь одна женщина, он любил ее с отроческих лет до самой ее смерти и сейчас, наверное,

любит, но она о том не знала, и было ему до нее — как до самой далекой звезды. Женщина мужчине нужна, никуда от этого не денешься. В молодости у него случались подружки, он увлекался только теми, которые не могли претендовать на его площадь. Но уже больше десяти лет он навещает одну чистую женщину, вдову летчика-испытателя. Конечно, сейчас постель почти отпала, разве что по большим праздникам, но их связывает многое другое: у нее отличная западногерманская стиральная машина, он забыл, что такое прачечная; она может и подшить, и заштопать, и почистить — руки золотые. А ей от него ничего не надо, лишь бы появлялся хоть раз в неделю. Для пожилой женщины тяжело одиночество, с ним она чувствует себя защищенной, да и есть о ком заботиться, а это ихнему брату самое важное, коли нет ни детей, ни внуков, ни племянников. Пенсию она получает вполне приличную, и на книжке кое-что лежит. Летчики-испытатели хорошо получают, когда же муж разбился, ей — будь здоров! — единовременно отвалили.

Мудрость, обстоятельность и сдержанная мужская откровенность Ивана Афанасьевича произвели чарующее впечатление на Ивана Сергеевича. Ему захотелось ответить доверием на доверие, поделиться чем-то сокровенным, о чем он никогда никому не рассказывал.

К этому часу квадратный графинчик с серебряной пробочкой был наполнен уже в третий раз и наполовину опустошен. Было несколько странно, что Иван Афанасьевич объявил себя трезвенником, они пили на равных, а по нему не скажешь. Иван Сергеевич, считавший, что хорошо держит выпивку, маленько поплыл. Он не был пьян, боже упаси, помнил, как его зовут, но сам ловил себя на повторках, запинках, излишней жестикуляции. Раз-другой, когда Иван Афанасьевич отлучался на кухню, он пробовал что-то спеть, но тут действовали не винные пары, а умиление от хорошей, ласковой встречи. А скорей всего, сочетание того и другого.

Иван Сергеевич, как мог, следил за собой, одергивал, призывал мысленно к порядку, журил, пытался координировать взор, в котором все начинало удваиваться, не буквально — каждый предмет словно отбрасывал цветную тень на прилегающее пространство. Но кто-то пробравшийся к нему внутрь сводил на нет все разумные, сдерживающие усилия. И раскрывать душу он начал неловко, без объясняющей преамбулы и предыстории, отчего получалось грубо и нелепо:

— У меня была женщина... лучшая в стране... в мире... такой женщины второй на свете нет... Можешь ты это понять или нет?.. — вскричал он с неожиданной агрессией.

— Могу, — пожал плечами Иван Афанасьевич. — А где она?

— В печке сожгли, — тупо ответил Иван Сергеевич и обомлел, чуточку даже протрезвев.

С Иваном Афанасьевичем хорошо было ходить на бешеных носорогов — он не терялся.

— Живьем? — спросил он с таким спокойствием, словно речь шла о вареных раках, и твердой рукой наполнил стопки.

— А кто ее знает?.. Если газ действует, значит, уже задохшуюся... Разве кто проверял?.. У праха не спросишь... Я после ее прах собрал... у печника выпросил, за бутылку... А ты прах видел? Люди думают, это пепел, как от папиросы. Ничего подобного, белые камушки... И захоронил... тайком, конечно. У меня мать на Рождественском лежала. После кладбище закопали, там скоростная трасса прошла. И ничего не осталось... ничего...

Несмотря на туман, окутывающий сознание, Иван Сергеевич усек, что собеседник, проявив слабый интерес к сожжению, ничего не спросил о главном — о его трагической любви. Он обиделся. Обиделся так глубоко, что потянулся за графинчиком, чтобы хватить Ивана Афанасьевича по голове. Не поняв жеста, — если бы понял, то поступил бы точно так же, — Иван Афанасьевич опередил гостя, взял графинчик и наполнил рюмки. Это дало иное направ-

ление мыслям Ивана Сергеевича, он вдруг заметил, что перешел на «ты», и решил узаконить эту стихийную акцию, прежде чем собутыльник ответит ему тем же. Как-никак он был значительно старше годами и воинским званием и не мог допустить фамильярности от малознакомого человека. Другое дело — подарок дружеского доверия, освященный веками старинный русский ритуал.

— Иван Афанасьевич, давай выпьем на брудершафт. Как-никак бывшие фронтовики.

— Не был я на фронте, — со вздохом сказал Иван Афанасьевич. — Я же говорил.

— Как не был? Почему?

— По возрасту. Мне пятнадцатый шел, когда война кончилась. Я в ремеслухе учился.

— А с-сыном полка?

Иван Афанасьевич развел руками.

Иван Сергеевич тяжело задумался. Он хотел сделать подарок младшему по званию, но возникло неожиданное препятствие. Какое — он сразу забыл. А подарок?.. Запомнил, упустил. Потом упустил своего сотрапезника и все окружающее. Его объял странный сумрак, прорезанный стрелами огня. И хотя огонь метил в него, страха он не испытывал, было покойное чувство полной защищенности. Сильным вздрогом, от которого чуть не свалился со стула, Иван Сергеевич вернулся к яви из короткого, всего несколько мгновений, но чудно освежившего сна. И сразу восстановил распавшиеся связи.

— Фронт без тыла — никуда. Трудом своих детских рук ты помогал нам бить врага.

Он поднял рюмку и, расплескивая, потянулся к Ивану Афанасьевичу. Тот повторил его жест, они сплели руки, выпили и поцеловались мокрыми губами.

— Пошел к черту! — сказал Иван Сергеевич.

— Пошел к черту! — сказал Иван Афанасьевич.

Они строго, даже церемонно начали свое застолье, но не были бы русскими людьми, если б до конца остались застег-

нутыми на все пуговицы. Какое там! Ведь у нас не встают из-за стола, а вываливаются. Последнее не грозило двум Иванам, они долго чинились, не гнали горячку, старательно заедали каждую рюмку, вели хороший разговор и, растянув во времени свое пиршество, сохраняли форму. Конечно, без легких безобразий все же не обошлось. Большая часть пришлось на долю Ивана Сергеевича, сильнее захмелевшего. Он разбил фужер, угодил рукавом куртки в маринад, пролил пиво на скатерть. Иван Афанасьевич ответил на все его бесчинства лишь тем, что прожег майку раскаленным сигарным пеплом. Он был человеком некурящим, но тут запалил гаванну из милого мальчишества. Эта сигара входила в подарочный набор «Лакомка», который выдавали в День милиции ветеранам. Сам он не обгорел, а про майку сказал:

— Хер с ней.

После обряда брудершафта, очень взбодрившего Ивана Сергеевича, он решил завершить все протокольные дела, установив, как они будут обращаться друг к другу:

— Я тебя «Ваня», ты меня «Ваня» — смешно, да и запутаться можно.

— Меня на работе Афанасьичем звали, — застенчиво сказал Иван Афанасьевич.

— Подписано! — вскричал Иван Сергеевич. — Я тебя «Афанасьичем», ты мне — «Сергеич».

Они выпили за это. Какая-то грусть вдруг нахлынула на Ивана Сергеевича — видать, растревожили старые воспоминания. И осталась в душе обида, что друг не захотел выслушать его любовную исповедь.

Очнись! — донесся сигнал из сохранившегося участка сознания. — О чем ты рвешься ему рассказать? О том, как Сталин и Берия всю ночь насиловали несчастную женщину, а потом кинули ее, словно кость, своей своре, и ты осквернил вслед за другими полумертвое женское тело, прежде чем его сожгли в домовом крематории? Молчи, забудь об этом позоре. Считай, что это привиделось в больном кошмаре. Пусть так, и все-таки не было у тебя ничего пронзительнее и пре-

краснее за всю твою жизнь. Она лежала, как труп, а внутри было горячее электричество, и ты расплавился в его жаре. И что-то случилось с тобой навсегда, больше не было даже слабой тени того переживания, и постепенно пропал вкус к женской близости. Но стоило вспомнить о том страшном утре, стоило вспомнить распростертое на полу обнаженное тело, как охватывало нестерпимое, болезненное желание, и ты гасил его в вялом естестве жены. А потом и это стало ненужным, но воспоминание не исчезло и все так же жжет неутолимым влечением и тоской.

— Сергеич, а ты много немцев убил? — спросил Иван Афанасьевич с какой-то пионерской интонацией.

— Каких немцев? — не понял Иван Сергеевич.

— Ну, гитлеровцев, фашистов.

— А как узнать, кто из них фашисты? Ты что, думаешь, все немецкие солдаты были фашистами? Разве в нашей армии все были коммунистами?

Так дети спрашивают: папа, сколько ты фрицев убил? А то, что его возлюбленную сожгли в печи, ему до лампочки. Может, он счел его слова пьяным бредом и потому ушел от разговора? Но водка тут ни при чем. Вдову маршала Бекаса в самом деле сожгли, на его глазах втолкнули в циклоновую камеру.

— Ты знаешь особняк Берии на Вспольном? Так вот, там это было. Я тогда адъютантом у Берии состоял.

— Я имел в виду немецких солдат и офицеров, — мимо его сообщения уточнил Афанасьич.

— Это была самая красивая женщина на свете. Дочь финляндского губернатора. Аристократка. И примечай, Афанасьич, в списке любовниц Берии ее не было. У вас зачитывали этот список?

— Не помню. Младших командиров — ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей — тоже не исключаю.

Нет, не хочет он говорить о любви, не хочет... Может, это целомудренность в нем?.. Или осторожность?.. А чего осторожничать? Все быльем поросло.

— Никаких немцев я не убивал, — скучным голосом сказал Иван Сергеевич. — Ни рядовых, ни младших командиров, ни офицеров, ни генералов, ни фельдмаршалов. Я наших убивал, больше рядовых, но и сержантский состав не щадил, если было надо.

— Как это понять? — осевшим голосом спросил Иван Афанасьевич.

— Так вот и понимай. Убивал, и все. И три боевых ордена за это получил.

Если он хотел помучить Ивана Афанасьевича, то не на таковского напал.

— А-а!.. Так ты в заградотряде служил. Слышал о них, хоть и не больно хорошо знаю.

— А чего знать-то? Создали их по знаменитому приказу Сталина: «Ни шагу назад». Летом сорок третьего, после наших поражений на юге, когда немцы ринулись к Волге и на Кавказ. Знаешь, какие там были слова: «Советский народ проклинает Красную Армию». Чуешь, Афанасьич, какая сила?

Афанасьич чуял, он навалился грудью на столешницу и, приоткрыв рот, как окунь, ловил каждое слово Ивана Сергеевича.

— Если б не мы, неизвестно, чем бы все кончилось. Мы встали насмерть. Били кинжальным огнем по трусам и дезертирам, возвращали их на смерть и победу.

— И все же допустили Гитлера до Сталинграда.

— С боями. С кровопролитными, изматывающими врага боями. Это тебе не прогулка при луне, как в начале войны... Ты спрашиваешь, сколько фрицев я убил. У меня другой счет. Сколько я уложил трусов, нарушивших приказ вождя. И скольких на позиции воротил. Они продолжали бить немцев, и в каждом убитом была граммуня моего свинца. Скажешь, не так?

Нет, Иван Афанасьевич такого говорить не собирался. Он отнесся с полным пониманием к расчетам Ивана Сергеевича. И только по-хорошему завидовал, что ему самому не довелось послужить в заградотряде.

— Я ведь меткий, Сергеич. Еще в ремеслухе на «ворошиловского стрелка» сдал. Сколько призов выиграл. А в последние годы был инструктором по стрельбе из личного оружия. До самой отставки. Я, конечно, себя с тобой не равняю, мне такой счет не снился, но когда приходилось спускать курок, промахов не делал.

Иван Сергеевич не слушал. Отдав дань войне, он вновь провалился в свое любовное переживание.

— Не было у меня, Афанасьич, лучше женщины. Голубая кровь... Тонкая кость... Аристократка с головы до ног... Рафи... ратифицированная интеллигентка...

Он заплакал. Допоздна провозился с ним Иван Афанасьевич, отпаивая крепким кофе и слегка натирая уши. Все же самому Ивану Сергеевичу было не добраться. Иван Афанасьевич вывел свой драндулет, запихал в коляску крупное обмякшее тело и отвез домой. Он все делал до конца: довел друга до кровати, раздел, уложил, поставил питье на столик....

3

Проснулся Иван Сергеевич только к обеду, но чувствовал себя на удивление сносно. Он не помнил, как оказался дома, но по ряду признаков догадался, что друг не оставил его в беде. Это его так подбодрило, что он сделал облегченную зарядку — лежачий комплекс.

Он возился в гараже, когда подошел Иван Афанасьевич с полудюжиной смиховского пива в двух сетках. Принес поправить. Его внимание тронуло Ивана Сергеевича чуть не до слез. Хотя он и видел материальные знаки ночной заботы Ивана Афанасьевича о нем, все же в глубине души не был до конца уверен, что ужин кончился благополучно для молодой дружбы. Оказывается, тревога была напрасной.

— Душевно посидели, — говорил Иван Афанасьевич.

Иван Сергеевич собрал некорыстную закуску, извинившись, что не может предложить гостю таких разно-

солов, какими потчевался у него в доме. Чешское пиво пошло «соколом» — когда есть внутреннее согласие, все ладится, все в охотку. К сожалению, Иван Афанасьевич торопился в город на лекцию профессора Омельянова. Он уговаривал Ивана Сергеевича поехать вместе с ним, но тот честно признался, что даже холодное смиховское не вернуло ему должной формы. Кроме того, хочется закончить ремонт машины.

Они расстались до вечера, Иван Афанасьевич обещал заскочить на обратном пути и рассказать о лекции.

Иван Сергеевич заработался и не заметил, как минул день. Он еще прошлой осенью принялся за ремонт машины, с начала апреля продолжил, и казалось, конца края не будет: одно сделал, другое развалилось. А тут за два дня успел больше, чем за все предыдущее время, вот что значит появился стимул. Человек не может жить только для себя. Все у него из рук валялось, а дал обещание другу — и полный успех. Осталось проверить зажигание, запаять глушитель — и можно ехать хоть на край света.

Иван Афанасьевич слово свое сдержал — завернул к нему по пути из Москвы. Буквально на минутку, предупредил он, но Иван Сергеевич заставил его раздеться и чуть не насильно усадил за стол. У него была пачка покупных пельменей, а к ней горчичный соус собственного изготовления, сметана и красный перец. Еще он открыл банку тихоокеанской сельди в остром маринаде. Нашлась и чекушка медицинского спирта, разведенного фифти-фифти и хорошо охлажденного. Словом, для экспромта он не осрамился. Они сели ужинать. Иван Сергеевич спросил, понравилась ли лекция. Отзыв был сдержанно-одобрительный: полезная, на собственном опыте, но не хватало изобразительного материала — фотографий, диапозитивов, на слух трудно воспринимается.

— А что значит на собственном опыте? — поинтересовался Иван Сергеевич.

— Ну, не с чужих слов. У профессора был такой жизненный эпизод.

— Какой эпизод?

— Расчленение жены.

— Как?.. Что ты городишь, Афанасьич?

— То, что ты слышишь. Он расчленил свою супругу.

— За что?

— Она его не удовлетворяла, — сказал Афанасьич, подкладывая себе пельменей. — Хорошо уварились, не разваливаются.

— Ешь на здоровье, — шатким голосом сказал Иван Сергеевич, у которого пропал аппетит.

Он налил себе разведенного спирта и духом выпил.

— Не гони, — предупредил Иван Афанасьевич.

— И ему ничего не было?

— Судили. Признали невменяемым и отпустили.

— Постой, Афанасьич. Что-то я не пойму. Если невменяемый, его в сумасшедший дом надо.

— Он там побывал. Обследовали. Убедились, что в полном порядке, и отпустили.

— Да как же так? Если в порядке, его в тюрьму надо, если невменяемый — в психушку.

— А тебе-то что? — удивился Иван Афанасьевич. — Что ты так разволновался? Ведь ты за него замуж не собираешься.

— Я-то не собираюсь, а другая, может, собирается. А если она его тоже не удовлетворит?

— Тут я тебе ничего сказать не могу. Думаю, и суду, и врачам виднее. Он вообще-то мужик головастый, в старой «Памяти» — мозговой центр, как Запасевич в новой. Сам я за новую. У старой интересная культурная программа, но они монархисты. По правде говоря, я этого раньше не понимал. То ли у меня ума не хватало, то ли они темнили. А теперь пошли в открытую, их конечная цель — самодержавная Россия. Не для меня. Я коммунист и сделок с совестью не признаю.

— Я тоже, — сказал Иван Сергеевич, успокаиваясь, что никакое союзничество с ученым-живорезом им не грозит.

В воскресенье они поехали в Москву. Иван Афанасьевич должен был посетить дорогие ему могилы. Все они находились на Заманьковском кладбище.

В тенистой и сырой глубине кладбища, куда не достигали городские шумы, старые клены пятнали зубчатыми тенями молодых листьев две серых гранитных плиты, под которыми нашла последнее убежище супружеская пара. Овальные с золотым ободком медальоны приютили фотографии: на одной — величественная женщина, напоминающая Екатерину Великую дородством, крутизной шеи и гордостью черт, на другой — красивый мужчина с отпечатком грусти на мужественном, открытом лице. Иван Сергеевич прочел их имена, вбитые в гранит, и понял, что это бывший Шеф Ивана Афанасьевича и его супруга, покинувшие свет друг за другом в один год. Он склонил голову, исполненный уважения к безвременно ушедшим и к тому, кто оставался верен скорбной памяти. Через Афанасьича он оказался тоже как-то связанным с этими могилами и пожалел, что не купил цветов. Да разве он знал?..

Свой букет Иван Афанасьевич положил на плиту Шефа, не уделив даже цветочка его супруге, что удивило и слегка покорило Ивана Сергеевича, но, конечно, он не считал себя вправе о чем-либо спрашивать друга. Тем более что тот отрешился от действительности, он был там, с теми и...

Афанасьич общался с Шефом не только в те часы когда приходил на кладбище, он находился с ним в непрекращающемся обмене, делился новостями, мучительными сомнениями в справедливости времени, ломающего все жизненные устои, спрашивал совета и заступничества, как другие просят Всевышнего, которого Афанасьич отвергал как коммунист, но допускал как русский человек. Зато он кругом верил в Шефа, не сомневаясь, что и на небесах Шеф снова занял то высокое, достойное место, которого его лишили на земле, что привело к безвременной кончине. Каждое слово Шефа о смысле жизни, искусстве, культуре, в служение которой он вовлек Афанасьича, было наведено наре-

зом по сердцу бывшего оперативника. Афанасьич знал, что всем обязан Шефу, без него он дальше стеклянного стакана на уличном перекрестке сроду бы не пошел. Слишком не боек, не смекалист, не речист он был. Шеф угадал другие его достоинства: верность, преданность, исполнительность, умение все доводить до конца и молчать. И доверил ему самые сложные и тонкие дела. Даже в той же должности, но при другом начальнике Афанасьич так бы и остался рукой, твердой, надежной, но тупой, как бездушный инструмент, а Шеф незаметно, исподволь развил его ум, расширил кругозор, помог ощутить себя участником спасения культурных ценностей России. Все было бы красиво, как в лучшей книге, изданной «Авророй», не вмешайся жена...

Ее давно нет, но Афанасьич не простил ее тени вины перед собой. Даже то, что она лежала в одной могиле с Шефом, причиняло ему страдание. Почему она захотела избавиться от него?.. Приревновала, что ли?.. Есть такие дурные бабы, что ревнуют мужей не только к женщинам (у Шефа, кроме секретарши, которую он гладил между ног, никого не было), но и к друзьям, к подчиненным, к собакам, автомобилям, охоте, рыбалке, к любой отдельной от них жизни. Ему еще дали провести операцию «Гитис», которую он же готовил, по ликвидации профессора режиссерской кафедры, собравшегося улизнуть в Канаду с уникальной коллекцией древних китайских эмалей, после чего перестали замечать. Большой, рослый, мясной человек стал невидимкой. Сквозь него смотрели, как сквозь промытое оконное стекло, и он понял, что окончательно «взвешен и подписан». Конечно, он не стал напоминать о себе, незаметно отмылил из Москвы, взяв путевку в Мисхор, куда ездил из года в год. Сам же отправился на Волгу, под Кинешму, в деревню к старому другу по ремеслу. Друг плотничал, ходил с артелью, а дома оставалась полуслепая, полуглая, полубезумная старуха мать. Эти ее качества весьма устраивали ушедшего в подполье Афанасьича. Зная неизменный распорядок жизни Шефа, он вернулся в Москву,

когда тот уехал вместе с Мамочкой в Красные Камни. Конечно, это ни от чего не спасало, кто-то уже двинулся по его следу. Скорее всего, новый приближенный Шефа, бывший печник. Он складывал Шефу камин на даче и так ему полюбился, что оказался в управлении в чине капитана. Афанасьичу понадобилось тридцать лет, чтобы дослужиться до такого звания. Но сейчас речь шла не о чинах. Афанасьич взял бюллетень и лег на дно. Он поселился в Тайнинке, у одной бывалой женщины, державшей раньше хазу, но потом удалившейся на покой. Она создала себе «багажик» и не захотела больше рисковать. Афанасьичу некогда удалось оказать ей немалую услугу. Прошло какое-то время, и поползли слухи, достигшие тихой, живущей наособь Тайнинки...

Несмотря на все предосторожности, Афанасьич почувствовал за собой «хвост», едва вышел из дверей метро у Киевского вокзала. О нем не забыли даже в нынешние тревожные времена, когда вроде бы думать стоило о другом. Он увел «хвост» в центр, там без труда от него избавился, после чего без приключений вернулся назад, еще раз убедившись, что среди доверенных людей Шефа мало настоящих профессионалов. Шеф жил на седьмом этаже огромного правительственного дома, растянувшегося на целый квартал. Несмотря на усиленную охрану, Афанасьичу не стоило большого труда пробраться во двор. Он сделал это после того, как от подъезда отошел тяжелый пуленепробиваемый «мерседес» и взял путь к Садовой — Шеф был верен своим привычкам, в этот день он всегда ездил погонять шары на бильярде в милицейском клубе. Мамочкиного «ситроена» не было видно, она никуда не собиралась, и машину поставили в гараж. Светилось лишь одно окно со двора, в Мамочкином кабинете, где хранились ее цацки и особо ценные произведения искусств. Форточка, как всегда, была приоткрыта — Мамочка любила свежий воздух.

Афанасьич поднялся по пожарной лестнице и ступил на карниз. До окна было метра четыре, что не представляло

труда для такого хладнокровного и тренированного человека, как Афанасьич. Он в который раз подивился беспечности и незащищенности своих соотечественников. Вся Москва нудит о квартирных кражах. Не осталось ни одного неграбленного коллекционера; грабят комитетчики и милиция, вооруженные банды и лопухие любители, грабят соседи, друзья, родственники из провинции, бедные студенты, романтические подростки, уличные знакомые, любовники и любовницы, грабят порой и самих себя, но ничто не может заставить москвичей позаботиться о сохранности жилищ, равно сумок и кошельков. Откуда это идет? От привычки во всем полагаться на государство, верить, вопреки всему, что оно защитит, или от полного отсутствия самостоятельности, сопротивляемости, неумения ни в чем дать отпор? И невероятно: даже такой искушенный человек, как Мамочка, набившая квартиру бесценными сокровищами, слепо доверяет разболтанной, нетрезвой охране, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Но ему ли сетовать на беспечность Мамочки? Приговорив его, она не позаботилась о себе самой. Невысоко же ценят хозяева способности своих подчиненных! Шеф тоже хорош. Уж он мог бы понять, что нельзя швыряться такими людьми, как Афанасьич, а тем паче выносить им вышку, не приведя приговор тут же в исполнение. Мы живем, Шеф, мы идем!.

Афанасьич бесшумно открыл окно через форточку, встал на подоконник и мягким кошачьим прыжком приземлился на ворсистом персидском ковре. Ничто не скрипнуло, не треснуло, не зазвенело. Мамочка, сидевшая в кресле перед туалетным столиком, не шевельнулась. Уронив золотую голову на плечо, она дремала, нет, грезила с открытыми, чуть притуманившимися серо-голубыми глазами. Хороша она была, ничего не скажешь, хотя красота ее никогда не трогала Афанасьича — слишком спелая, яркая, победная, показная. Ей не хватало теплоты, трогательности, милой слабости, того, что называют женственностью. Бро-

ская победительность была дана ей от природы, как и вечная молодость: в пятьдесят она выглядела едва на тридцать, хотя ничего не делала со своим лицом: не подкрашивалась, не подмазывалась, никаких яичных масок, паровых ванн, не говоря уже о подтяжке. Она вверялась природе, и та ей не изменяла. Столь же стойким, как ее молодая красота, был ее характер: прямой, жесткий, целеустремленный и неумолимый, что не мешало ей быть широким человеком, она способна была поставить свои страсти выше своих правил. И наверное, в этом была главная сила Мамочки, намертво привязавшая к ней Шефа. Афанасьич отдавал ей должное во всем, но не слабел от этого, а становился еще тверже. Он чувствовал, как связываются дух и мышцы в единый скрут ярости. Ненависть, которая других ослепляет, давала безошибочную точность глазу и твердость руке. Он вынул пистолет.

— Явился... бандит.

Знакомый голос вонзился в скрут ненависти, мгновенно разрушив его. Так укол снимает мышечный спазм.

На какие-то мгновения железный Афанасьич превратился в мешок с мокрым дерьмом. Не от страха, которого он не успел ощутить, от неожиданности и ошеломленности. Что это значит? Он же сам видел, как Шеф уехал. Значит, Шефа не было в машине. Но машина выглядела так, будто Шеф находился в ней. Инсценировка? Для кого, для чего?.. Ведь не мог же Шеф знать, что он сегодня придет. Но похоже, будто он все рассчитал заранее и устроил засаду. Этого понять нельзя. А можно понять, как фезеушник стал генералом и министром и едва ли не вторым лицом в государстве?.. С кем он вздумал тягаться, милицейский капитан, тупоголовый исполнитель, которому любое поручение впихивали в рот, как разжеванный мякиш?

Мамочка подыграла — да нет, она небось все и разработала. Она была мотором семьи. А сейчас сидит себе, откинув голову, и делает вид, что все происходящее ничуть ее не касается. И Афанасьичу захотелось всадить ей пулю в

висок, а вторую в себя, чтобы кончить все разом. Но он знал, что не успеет выстрелить. Шеф опередит его, как и во всем другом, и он растянется у ног этой холеной суки, пачкая кровью ее персидский ковер.

— Опоздал... — услышал он из-за края света неокрашенный голос Шефа. — Она сама распорядилась.

Он всхлипнул и толкнул кулаком выкатившуюся из глаза слезу. Вынул носовой платок и высморкался.

Очень туго и медленно проворачивалось в отяжелевшем мозгу Афанасьича полученное сообщение. Он тарасился на Мамочку и никак не мог связать с ней услышанные слова. И вдруг, на вздрого, он понял, что она мертвая. Но что значит это слово в применении к Мамочке? Не может она быть мертвой, в ней было несколько жизней. Даже Шеф может умереть, но только не Мамочка. И все-таки она уж не ж и в а я. Да, неживая, как окружающие ее вещи, все эти столики, шкафчики, козетки, пуфики, как картины и гравюры на стенах, как серьги в ее ушах, кольца на пальцах, брошка на груди. Но, в отличие от этих сверкающих, блистающих, переливающихся предметов, застывшая кукла в кресле ничего не стоит, ни полушки. И она уже не может навредить, вообще ничего не может.

— А зачем она?..

Шеф внимательно посмотрел на него:

— Ты что, из леса вышел?.. Как партизан?..

— Вроде того.

— Газет не читаешь, радио не слушаешь?..

— Я скрывался, — глухо произнес Афанасьич. — От вас скрывался.

— Значит, не знаешь, что меня сняли?

Афанасьича шатнуло: легче было поверить в конец света, чем в отставку Шефа.

— Друга не стало. Сводят счета.

— И она... из-за этого?..

Шеф кивнул.

Он подошел к телефону, снял трубку, набрал номер.

— Слава?.. Это я. Не будем об этом... Слава, будь ласка, может, в последний раз, сыграй полонез Огинского. Халочка спит?.. Рановато она легла. А ты закрой дверьку и тихесенько...

Афанасьич слушал с удивлением. Мамочка строго следила за речью Шефа, вытравляя украинизмы и требуя звонкого городского произношения буквы «г». Но вот ее не стало, и он сразу распоясался, будто только что с хохлацко-го хутора приехал.

А из трубки неслись текущие, томительные, выворачивающие душу звуки любимого Шефом скрипичного полонеза; сгущенные виолончелью, они давили непосильной, смертной тяжестью. Афанасьич был рад, когда виолончель смолкла и Шеф, выслезив благодарность и привет «Халочке», положил трубку.

Шеф подошел к буфету, вынул графинчик, две рюмки.

— Будешь?.. На помин души.

Афанасьич отрицательно мотнул головой. Он не хотел поминать Мамочкину душу. Шеф выпил, всхлипнул и как-то странно, по-собачьи жалобно заскулил. Вдруг резко оборвал скулеж, потряхнул головой и, расплескивая, влил в себя три рюмки подряд.

— За что вы меня приговорили? — спросил Афанасьич.

— Не я, — сказал Шеф угрюмо. — Кто я?.. Одна видимость: мундир, погоны, побрякушки. Вот кто правил бал. — Он кивнул на Мамочку и опять выслезился в платок. — Она тебя заподозрила. А я что — тюфяк. Она и меня могла убрать, если б захотела. Она изменяла мне, а я молчал. Печника знаешь? Это ее фаворит. Подмяла меня, как медведь плохого охотника. Помнишь, Афанасьич, я музей хотел в деревне своей открыть? Ни хрена не вышло. Не дала она мне ни одной картинки, ни одной иконки, ни одной плашки, все под себя подгробла.

Афанасьич помнил об этих благотворительных намерениях Шефа, о которых тот охотно распространялся в хорошем подпитии. Он и себя числил одним из поставщиков этого музея. И вдруг почувствовал в откровенных речах какую-то

фальшь. Может быть, оттого, что так чист был голос виолончели, любая фальшивая нота ранила слух. Но в чем тут была фальшь: в словах, недоговорах, умолчаниях, — он не знал.

— Почему она застрелилась? — спросил Афанасьич.

Глаза Шефа растерянно забегали.

— Я же сказал.

— Нет, Шеф, я серьезно спрашиваю. Вы же знаете, я тупой, мне надо все разжевать, все по полочкам разложить.

— Попробую объяснить тебе, Ваня, — впервые Шеф назвал его по имени, — как сам понимаю. Жил хлопец, простой, не больно далекий. Учился кое-как, робил кое-как, вел себя кое-как, чуть не сел раз — и такое было. Женился не поймешь на ком. И дальше жил как придется. Жевал хлеб, пил по праздникам и в будни. Пришла война, он — на войну. Воевал не хуже людей. Вернулся, зажил по-прежнему. И вдруг ему поперло, все к рукам пошло. С дружкой несказанно повезло. Дружок был вроде него, только похитрее да поосанистее. Малый не промах. Но добрый — для своих. А хлопец был свой в доску. И вот попал в случай. Он не стал гадом, как другие, не вредствовал, даже помогал людям. К понтыре его, правда, тянуло, да в том большого греха нет. А потом влюбился. Знаешь, как у нас в Сицилии говорят: расшибло громом. Когда человек уже за себя не отвечает, не собой живет, а другим. Чужими глазами смотрит, чужими ушами слышит, чужими мозгами думает, чужими словами говорит. Не стало для него слова «нельзя». Чего его царица захочет, то и делает. А царица была с размахом, никакого удержу не знала. Чем дальше, тем больше. Веришь, Ваня, у ней свои люди появились, меня уже не спрашивали. Я им только для покрова был нужен. А что они творили, лучше не говорить. И вдруг — с концами. Все рухнуло... В общем, не было у ней другого выхода.

— И у вас, Шеф, нет другого выхода. Вы все равно в это вмазаны.

— И она так говорила, — очень тихо произнес Шеф. — Мы, говорит, должны вместе: сперва я, потом ты. Она силь-

ная. Ты видел когда, чтоб баба в рот стрелялась? Не было такого. А у ней рука не дрогнула. А я не смог. О детях подумал...

— Струсили, Шеф?

Тот долго молчал, прежде чем выдал из себя:

— Не знаю, может, струсил... А может, другое. У нас разные вины, разный и ответ. Если честным, самоотверженным трудом...

— Не срамитесь, Шеф.

Афанасьич увидел эту комнату, какой она будет через некоторое, весьма непродолжительное время: голые стены с гвоздями, костылями и квадратами невыгоревших обоев на месте картин, гравюр, рисунков, облезлый, мусорный паркет там, где лежали ворсистые персидские ковры, и на том же паркете следы антикварных шкафов, сервантов, диванов. Интересно, кому все это пойдет? Во дни Друга — было бы ясно кому, но тогда бы и Шеф не погорел. В народную сокровищницу слабо верилось. Скорей всего, опять прилипнет к чьим-то хватким рукам.

— Чего оглядываешься? — спросил Шеф.

— Зря вы, Шеф, музей не открыли.

Тот задумался, вспоминая, потом махнул рукой.

— Слушай, Афанасьич, а ты не хочешь разрядиться?

Афанасьич глядел, не понимая.

— Чтоб не ржавело боевое оружие. Я оставляю записку: никого не винить.

Афанасьич по-прежнему не понимал.

— Я конченный человек, — сказал Шеф и заплакал. — Мне без нее не жить.

— Вон что!.. Это не моя работа, Шеф.

И мимо своего бывшего начальника и кумира тяжело, шаркая ногами, Афанасьич пошел к дверям. Выйдет через парадный ход. Таиться теперь ни к чему... В скором времени Афанасьич услышал о самоубийстве Шефа и вернул ему свое уважение. А любить его он никогда не переставал, даже обнаружив всю человеческую слабость.

Сейчас он глядел и думал: а какие они там? Тела съели черви, одежды истлели. Два белых скелета с оскаленными зубами. Если есть какое-то сознание за чертой, то Шефу хорошо. Она рядом, и никуда от него не денется, и делить ее ни с кем не надо.

— Ладно, пошли, — сказал он своему притихшему спутнику.

— Афанасьич, можно один вопрос? — робко сказал Иван Сергеевич. — Кем ты был при нем?

Афанасьич подумал и ответил коротко:

— Рукой.

Они перешли к другой могиле.

Афанасьич нагнулся и бережно положил букет алых роз на темную мраморную плиту. Над ней возвышалась фигура женщины из белого, просвечивающего мрамора; легкий свет высокого солнца, проникая сквозь кленовую листву, пронизал его в тонине рук, держащих склоненную голову, в складках прозрачной одежды — лишь эти складки обнаруживали покров на безгрешной наготе. За спиной женщины вздымалась черная гранитная скала; странная скала, похожая то ли на гигантскую сову, встопырившую крылья, то ли на человекообразное чудовище, готовое рухнуть на женщину. Сова или монстр — едино, то была гибель. Иван Сергеевич никогда не видел такого ужасного памятника. Ведь крест и всякое надгробие несут успокоение, тишину, примиряя с неизбежным, а эта черная напасть над белым ангелом повергала в смятение. Угроза, нависшая над женской фигурой, выплакивающей свое горе в тонкие ладони, должна о чем-то напоминать живым. О чем? О нашей хрупкости и незащищенности в мире? О судьбе этой женщины, принявшей страшную кончину? Имени покойной на памятнике не было, лишь глубоко врубленные в мрамор слова: «Матери — дочь».

Почему причастен к этой Божьей печали бывший оперативник Афанасьич, верная рука грешного и несчастного сновника, учинившего над собой казнь? Спрашивать Афанась-

ича он не станет — даже в пьяном виде, строго наказал себе Иван Сергеевич. Если Афанасьич захочет, то сам скажет, а лезть в чужую душу не надо. Наверное, тут покоится та, что была его великой любовью, недостижимой звездой. «Длинный» человек Афанасьич, и не ему, исполнительному адъютанту, хлопотливой «хозяйюшке» и лопухому приближенному ушедшей власти, посягать на его тайны.

Афанасьич стоял над могилой, не забытой ни Богом, ни людьми, и глубоко, хоть необлекаемо словами, переживал свою причастность року. Он слышал легкий, приветливый голос, видел вздернутый нос под темной челкой, и до чего же грустно и хорошо ему было! В житейском неопрятном муравейнике совершилась на редкость чистая, четкая и, как яблоко, полная, завершенная в себе история. И участники ее оказались достойны друг друга..

Они вернулись на свое болото довольно поздно. Иван Сергеевич подвез Ивана Афанасьевича к дому и остался выпить кофейку. Перед кофе хозяин собрал легкую закуску и поставил графинчик с травником на калгановом корне. Эту настойку, именуемую «фирменная», он держал только для себя, принимая от сырости и ломоты в костях. Калгановый корень в их местах не водился, за ним приходилось ездить под Старую Рузу, на заветное место.

В этот день впервые — с большим опозданием против всей другой весенней природы — запел соловей. Дудка у него была слабовата и однообразна, а бой сильный, звонкий. Иван Афанасьевич послушал и заметил, что соловьи стали хуже петь. Школа не та. Старые мастера укрылись в крепь от многолюдья и транзисторного ора, и современная соловьиная молодежь поет без научения и дисциплины, как бог на душу положит.

— А все равно хорошо, — не согласился Иван Сергеевич.

К вечеру все растущее на земле густо и влажно запахло пробудившимися и забродившими соками, теплые волны набегали из леса, сиял, пусть необученный, но все равно

дивный голосок, и было так отрадно, как бывает только на земле, и уж никогда не будет, куда бы ни переселилась человеческая душа, если верить в ее бессмертие.

После того как выпили по одной и закусили осетриной горячего копчения, Иван Сергеевич спросил друга, верит ли тот, что Берия был английским шпионом. Взгляд Ивана Афанасьевича притуманился размышлением, он понял: вопрос не праздный. Так оно и было. Уже на кладбище, где Иван Афанасьевич был как свой среди милых могил, Иван Сергеевич почувствовал себя обделенным, словно человек, лишенный тени. Милицейскому оперативнику принадлежит держава воспоминаний, рядом с ним Иван Сергеевич — обрубок, лишенный корней и связи с прошлым.

И вот Афанасьич выдал ответ:

— Да никогда. Глупость какая.

— Я тоже говорю: глупость! — Иван Сергеевич никогда этого не говорил, даже думать боялся. — Нужно было ему шпионить на какую-то Англию. Что она вообще без колоний? Сибирский кот без шерсти, козявка. А он держал в руках великую страну.

— Да мало ли что болтают! Политика. Грязное дело. Все друг на друга валят. А возьми он верх, кто бы тогда ходил в шпионах? То-то и оно!

— Но женщин он любил, — пошел дальше Иван Сергеевич.

— А кто их не любит? — мудро ответил Иван Афанасьевич. — Положение позволяло, вот и любил.

Иван Сергеевич таял от восторга. Прежде его мучило, что он не только слова не замолвил за Лаврентия Павловича, но скрывал свою близость к нему, а ведь более восьми лет был он его доверенным лицом. Не в политике, разумеется, и не по Госкомитету, которым тот тогда не руководил, а в быту, но все равно он неотлучно находился при нем в домашних условиях. Каких только собак не навешали на Лаврентия Павловича, а все хорошее, что он сделал, замалчивается. А кто отвечал за атомную бомбу, кто дал ее

народу? Забыли? Сталин вызвал его в Москву в самый разгар ежовщины, когда ежовые рукавицы душили без разбора врагов народа и честных, преданных коммунистов. Даже Сталин растерялся перед этим безудержным террором, а приехал Лаврентий Павлович и живо навел порядок. Прекратил казни и репрессии, и сам Ежов получил по заслугам. Конечно, у него были ошибки. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А у Молотова, перед смертью восстановленного в партии, их разве не было? Всем известно, что Молотов приказал расстрелять жен репрессированных видных коммунистов. Погубил женщин, которым грозил лишь лагерный срок, и сроду не пожалел об этом. А свою Жемчужину-заговорщицу, жидо-масонку, спас от расправы. Спокойно пересидел опалу в правительственном доме на улице Грановского, аккуратно отчисляя партийные взносы со своей пенсии, и дождался звездного часа. А христопродавец Каганович, разрушивший храм Христа Спасителя? Ему пока еще партийный билет не вернули, но живет не тужит в хорошей квартире на Фрунзенской набережной и козла забивает. Говорят, чемпионом двора стал. Добился по старым связям, чтобы навес от дождя сделали, теперь стучат костяшками при любой погоде. Почему же Лаврентию Павловичу за всех расплачиваться? Даже имени его вслух произнести нельзя; попробуй признаться, что ты у него работал!.. А он храмов не разрушал, на жидовках не женился, и надо же — в английские шпионы записали! Все знают, что это глупость, бред, злостная клевета, и молчат. Афанасьич и тут оказался с понятием, до чего же прямой и справедливый ум! Этот день еще сильнее скрепил дружбу отставников...

4

Как заводится в доме крыса? Черт ее знает! Еще вчера дом был чист и не нужно было присматривать за съестным, просыпаться по ночам от чьих-то шагов, шуршания

бумаги, грохота упавших вещей, а потом находить отвратительные следы: крошки сыра, веревку с объединенным хвостиком колбасы, помет в крупе, дыру в стене и кучку опилок от искрошенного плитуса. Настанет день, когда жилища вовсе перестанет стесняться: жирует прямо на глазах, шляется по полу, подоконникам, столам, забирается в гриль и визжит там, потеряв выход, заглядывает в кастрюли, обследует спальню, туалет и даже огрызается свистящим шипом, присаживаясь на задние лапы и обнажая резцы, когда ты на нее замахиваешься. Избавиться от такой обнаглевшей и приспособившейся к дому крысы дело нелегкое. На кошку она плевать хотела, та сама ее боится и всячески избегает, в крысоловку носа не сует, из капкана выдергивает приманку, и гильотинное устройство срабатывает вхолостую, к аппетитному яду не прикасается, в отличие от соседской собаки. Убить крысу невозможно, она куда более ловка, сметлива, увертлива, быстра и умела, чем человек, от которого она взяла много для себя полезного, не уделив ему ничего от своих ценных качеств. Если ты нервный чистоплюй, твое существование безнадежно испорчено; если ты не брезглив и хладнокровен, принимай эту доuku как ничтожную частицу общего кошмара.

Завелась такая крыса, только двуногая, в обиходе уже ставших неразлучными друзей. И как они ее проморгали, как два опытных, бывалых, осмотрительных человека не распознали сразу саблезубую нечисть и дали ей вьнедриться в их обиход?..

Может, время такое смутное, сбивающее с толку, лишшающее обычной рассудительности, осторожности? Или вей свежих ветров, готовых наполнить поникшие паруса, закружил им головы — поди разберись. Бдительность была потеряна, и расплата не замедлила ждать.

И все-таки по-человечески их понять можно. Больно сложные задачи ставила жизнь перед всеми задерганными жителями изнемогающей страны, а тем паче перед теми, у кого сбит прицел. Бывало и хорошее, но в такие переход-

ные морочные времена и хорошее не всегда помогает ориентировке, порой еще больше запутывает.

Они побывали в Ленинграде на организационном съезде коммунистической партии России. Видели вблизи Дину Алфееву, и оба попали под обаяние этой удивительной женщины. Ее принципиальность, преданность идеалам сталинизма, непримиримое отношение к ревизионистам всех мастей, стойкость и мужество явились тем крепким материалом, который превратил в монолит разношерстную публику, съехавшуюся в город Октябрьской революции, чтобы спасти ее завоевания.

— Какая женщина!.. Какая женщина!.. — твердил Афанасьич, и слышно было, как скрипят его скулы от перенапрягающего весь телесный состав чувства.

А Иван Сергеевич старался понять: понравилась бы Дина Лаврентию Павловичу? Как личность — несомненно, но как женщина могла бы не потрафить его деликатному вкусу: было в ней что-то лошадиное.

Друзьям осталось непонятным: надо ли вступать в эту партию или все коммунисты России зачислялись автоматически? Ивана Сергеевича смущало некоторое противоречие: в программе КПСС значилась перестройка, а коммунистическая партия России отрицала ее.

— А тебя это очень волнует? — спросил Иван Афанасьевич. — Как коммунист союзного значения ты будешь за перестройку, а как коммунист России будешь бороться против.

— Но как же так? Одной рукой строить, другой — разрушать?

— А чего ты, собственно, построил? А кто вообще что-нибудь построил, хоть сам Горбачев? Только языки чешут. Ничего тебе разрушать не придется. Успокойся.

Иван Сергеевич был приятно изумлен: кто мог думать, что Афанасьич еще и теоретик? Ему захотелось развеять оставшиеся сомнения.

— Скажи: партия едина?

— Как парус и душа. Всегда была и будет.

— А Политбюро едино?

— Естественно.

— Но ведь Горбачев и Лигачев стоят на разных позициях. Михаил Сергеевич — консервативно — за рыночную экономику, Егор Кузьмич — прогрессивно — за укрепление колхозов.

— Одно другому не мешает. Диалектику учил? Единство противоположностей.

Это действительно все объясняло. Иван Сергеевич успокоился до некоторой даже беспечности и потребовал культурной программы. Они слишком заполитизировались, нужно что-то сделать и для души. Решили съездить в Павловск на выставку императорского антиквариата.

И здесь, к вящему восхищению Ивана Сергеевича, его друг открылся еще одной стороной — знатоком и тонким ценителем старины.

— Какой амбир! — восхищенно говорил Афанасьич, останавливаясь перед огромным письменным столом на львиных лапах. — Неплохой чиппендейл! — замечал он по поводу кресел с высокими, прямыми спинками. — Но не люблю: суховато, неуютно.

Зато очень одобрил павловскую гостиную:

— Вот красота: стройно, сообразно, удобно, все для человека. Никакого буля и жакоба не захочешь.

Не меньшим специалистом он проявил себя по части фарфора. Определял с одного взгляда:

— Кузнецов!.. Петербургский императорский!.. Севр!.. Дельфт-батюшка!.. До чего его Петр Великий обожал! Особенно в изразцах.

А в отделе драгоценных камней Афанасьич сыпал горохом: алмазы, изумруды, рубины, гранаты, сапфиры, аметисты...

— Откуда ты все знаешь, Афанасьич? — любовно изумился Иван Сергеевич.

— Я у моего Шефа, можно сказать, окончил институт культуры, — со скромным достоинством ответил Афанасьич.

Словом, хорошо съездили и вернулись домой переполненные впечатлениями, насыщенные идейно, культурно и эмоционально. Афанасьич привез острую занозу в сердце. «Ах, Дина, Дина!» — вздыхал он, возясь на кухне. Иван Сергеевич молча улыбался. Он преклонялся перед человеческими и партийными качествами Дины Алфеевой, но не разделял романтической увлеченности своего друга. Он так привык на все смотреть глазами Берии, что не мог проникнуть за тот заслон, где Афанасьичу открывалась ее женская, а не идеологическая прелесть.

Однажды за чаркой Афанасьич поведал Ивану Сергеевичу, что, помимо той большой и постоянной любви, что осияла его душу, он в разные периоды своей жизни испытывал сильные влюбленности в других недоступных женщин. Так, в юности он был влюблен в английскую королеву и страшно ревновал ее к жениху, сыну вице-короля Индии лорду Маунтбеттену, ставшему принцем-консортом Филиппом; затем его сердцем завладела рослая, носатая, победительная Софи Лорен; эта связь — духовная — длилась долго и оборвалась с появлением на телеэкране журналистки и ведущей Галины Шерговой (ее Иван Сергеевич как-то упустил. «Капитальная женщина!» — резко сказал Иван Афанасьевич, раздосадованный неосведомленностью друга). Уже в недавнее время он был близок к тому, чтобы пасть к стройным ногам Маргарет Тэтчер, но вскоре понял, кто заставляет сильнее биться суровое сердце Железной леди, и не стал встречать между ними. А теперь пришел черед Дины Алфеевой. Иван Сергеевич не понимал, почему его друг так идеален в отношении последней влюбленности, все-таки Дина Алфеева не английская королева, не Софи Лорен, даже не упущенная им Галина Шергова, и крепенький Афанасьич вполне мог бы подкатиться к ней. Но тот предпочитал хрустеть скулами и вздыхать: «Ах, Дина!.. Дина!..» В эту лирическую и чуть элегическую

пору, когда, не выдерживая распирающего чувства, Афанасьич спрашивал мальчишеским голосом: «А ты пошел бы с Диной в разведку?», «А ты стал бы тонуть с Диной?», «А ты остался бы с Диной на льдине?» — и появился этот странный и невыносимый человек-крыса...

Он пришел сам, без зова, просто возник однажды из серого ненастья на даче у Ивана Сергеевича, назвался Михал Михальчем, соседом, и без приглашения уселся за обеденный стол, на котором уже дымилась миска с грибным супом. В этот день у Ивана Сергеевича был грибной обед: суп из сморчков и жареные строчки в сметане. Они с Иваном Афанасьевичем вчерашний день ходили по грибы, а ведь в нынешнее время лесного оскудения не бывает добычливой грибной охоты, поэтому и наготовлено было — дай бог, чтобы на одного хватило. Но делать нечего, раз гость сам себя пригласил, пришлось делиться скудной трапезой. Будь другое угощение, гостеприимный Иван Сергеевич только бы радовался возможности накормить непрошеного гостя-соседа, но тут хотелось побаловать самого себя несчастным лакомством, а на двоих получалось с гулькин нос. Но самое обидное было, что гость, съев две-три ложки пахучего, наваристого супа, отодвинул тарелку, а жареху только поковырял, выбрав картошку. Он, видите ли, не любит грибов, а к сморчкам и строчкам относится без доверия. Ну и отказался бы сразу, зачем пищу поганить?

В общем, Иван Сергеевич сразу не расположился к гостю, хотя, как человек воспитанный, виду не подал. Они выпили, причем гость не закусывал, только занюхивал рюмку черным хлебом с горчицей. Он так сильно вбирал запах косматыми ноздрями, что внюхивал в себя горчицу, и приходилось подмазывать горбушку. Он беспрерывно говорил с какой-то тревожащей, насмешливо-вопрошающей интонацией, словно сам не был уверен ни в одном своем слове. Так, он сообщил, что был старшим следователем Госкомитета, здесь построился в числе первых, но не жил, проводя чуть не круглый год в Старом Крыму, где у родителей

жены был домишко. Жена померла месяц назад, и он перебрался сюда. Со стариками у него контакта не получилось. Все это было подано так, что Иван Сергеевич остался в сомнении, действительно ли гость работал старшим следователем, жил в Старом Крыму, имел и потерял жену, не ужился с тестем и тещей. Ничего невероятного во всем этом не было, но Михал Михальч излагал несложные обстоятельства своей жизни с таким видом, будто и сам не больно себе верил и не ждал доверия от собеседника.

Какая-то сомнительность проглядывала и в его облике. Был он примерно одних лет с Иваном Сергеевичем, но в густой черной шевелюре ни одного седого волоса, лицом так бледен, будто сроду не бывал на солнце, даже подмосковном, не говоря уже о жарком крымском. Во рту у него оставалось два клыка, что придавало ему сходство с вурдалаком Дракулой, фильмы про которого показывали в клубе. Тем же неуверенно-усмешливым тоном Михал Михальч стал расспрашивать о местной жизни: чем люди живут, играет ли кто в шахматы, забивают ли «козла», есть ли компания для преферанса.

Иван Сергеевич был мало осведомлен о том, как проводят время местные жители, знал лишь, что многие увлекаются садом, огородом, достраивают и перестраивают свои халупки, некоторые ходят купаться на пруд, а насчет шахмат, преферанса и других комнатных игр он не в курсе. Можно, конечно, поинтересоваться...

— Да нет, — прервал гость. — Я это так, к слову. Ни в шахматы, ни в преферанс не играю. А «козла» на дух не переносу — занятие для клинических идиотов. Все это епуха. Вы знаете, что такое епуха?

— Н-нет.

— То же, что и чепуха, только куда хуже. Самая чепуховая чепуха.

Ивану Сергеевичу стало не просто скучно, а тягостно и беспокоино. Он не любил кривых и непонятных людей,

загадывающих и словами и поведением какие-то мелкие, пусто обременяющие сознание загадки. До чего же приятно иметь дело с таким прямым, определенным и прочно заземленным человеком, как Афанасьич, и как докучны, утомительны не нашедшие своего места и лица душевные слонялы. «А вдруг он повадится ко мне?» — подумалось с испугом.

Как в воду глядел — повадился! Каждый день заглядывал вурдалак, всегда без предупреждения, всегда не вовремя, но, видимо, даже в голову не брал, что его приход может быть докучен. Говорить им было не о чем, интереса друг к другу они не испытывали.

Иван Сергеевич нарочно изображал занятость, пытаясь внушить гостю, что тот мешает. Он прибывал ненужный гвоздь, предварительно отыскивая его по всему дому, рылся в исправном моторе «жигуленка», иногда залезал под машину и скреб отверткой по жести, дыша бензином и горелым маслом, заменял здоровые пробки и розетки, мыл под краном пустые бутылки, чистил обувь до зеркального блеска, придумывал другие столь же ненужные занятия.

Но добился всем этим непредвиденного результата: он привык к гостю, привык к тому, что тот дышит рядом. Михал Михалыч терпеливо таскался за ним в гараж, во двор, в сад, это раздражало, но не до срыва нервов. Разговорами тот особо не докучал, что-то бормотал про себя и для себя, это было как журчание ручья — пусть себе... Крыса уже поселилась в доме, но пока ее можно было терпеть. Конечно, без крысы лучше, опрятнее, спокойнее, но и так можно жить, ничего страшного.

Это было в пору, когда он довольно часто сопровождал Афанасьича на разные мероприятия патриотического фронта. Афанасьич все глубже уходил в политику, но Ивану Сергеевичу вскоре наскучила однообразная припадочность этих встреч с истошными призывами уничтожить жидо-масонов и утверждать русское начало. Ему долго казалось, что патриоты вот-вот перейдут от слов к делу: устроят погром или

начнут восстанавливать какой-нибудь порушенный храм, старинные палаты. К погрому он относился равнодушно, а поработать киркой и лопатой, вспотеть в общем усилии был не прочь. Но все ограничивалось причитаниями и воплями бешенства, ковырять землю, таскать кирпичи никто не соби-рался. Ему стало казаться, что несколько угрюмый энтузиазм Афанасьича коренится в личной преданности Дине Алфее-вой. Однажды он познакомил Афанасьича с Михал Михаль-чем, чьи маленькие, обметанные красным глаза зажглись интересом, но без взаимности.

Вскоре они собрались в последний раз проведать свой лесок со сморчками. Особой надежды на гриб по уже поз-днему времени не было, но для очистки совести решили съездить. Михал Михальч навязался в попутчики:

— Я грибы собирать не люблю и не умею. Просто в машине посижу.

Он оказался верен своему слову и действительно не вышел из машины. Когда же они, набрав, вопреки ожида-нию, довольно много крепких шоколадно-коричневых мор-щинистых сморчков, вернулись к машине, он спал, закинув голову и приоткрыв свой некрасивый, вурдалачий рот.

Друзья расположились закусить на свежем воздухе и позвали Михал Михальча. Тот не откликнулся. Иван Сер-геевич подошел и шатнул его за плечо. Спящий дернулся, вскрикнул каким-то раненым голосом, попытался вскочить, ударился головой о крышу машины, упал на сиденье и лишь тогда пришел в разум.

— Ну и нервишки у вас! — заметил Иван Сергеевич.

— Нормальные для старшего следователя, — криво ус-мехнулся Михал Михальч.

— Досталось вам! — уважительно сказал Иван Сер-геевич.

— Досталось тем, кого я допрашивал. А с меня, как со всех нас, никакого спроса.

— А какой с нас может быть спрос? — удивился Иван Сергеевич.

— Мы же, по-моему, из одного ведомства? Или я ошибаюсь, и вы — пасечник?

Иван Сергеевич обиделся и ничего не ответил.

А за тихим лесным завтраком на молодой шелковой травке Михал Михалыч, хлопнув две-три стопки, снова начал придираваться:

— Ну, пасечник, выпьем за пчелок.

— Я не пасечник, вам это хорошо известно, — с достоинством сказал Иван Сергеевич. — А вы свои шутки оставьте при себе.

— Фу-ты ну-ты! Какие мы обидчивые!.. Ежели мы такие чувствительные, то выпьем все вместе за покаяние.

— Нам каяться не в чем, — глухо сказал Иван Афанасьевич с набитым ртом.

— Ась? — Михал Михалыч приложил ладонь к уху. — У вас рот полон дикции, милейший.

Иван Афанасьевич, покраснев от натуги, проглотил пищу и внушительно повторил свою фразу.

— Как это не в чем?.. Конечно, если вы в стеклянной банке сидели или палкой размахивали, тогда не в чем... кроме взяток от шоферни.

— Я не орудовец и взятки не брал. Иван Сергеевич тоже.

— Надо же, какие люди!.. Прожить всю жизнь на помойке и не запачкаться!

— А мы на помойке не жили. Мы на стройке жили. А строительная грязь — чистая.

— И что же вы строили?

— Социализм, — спокойно ответил Иван Афанасьевич.

— Да ну? А чего же вы перестраиваете?

— Социализм. Его никто до нас не строил. В каждом новом деле неизбежны ошибки. А что, старшие следователи не ошибаются?

— Ошибки? Вы имеете в виду преступления?

— Ничего я не имею в виду, — угрюмо проговорил Иван Афанасьевич.

— А вы не бойтесь называть вещи своими именами. Вся наша, с позволения сказать, деятельность — сплошное преступление.

— Применяли недозволенные методы на допросах? — показал зубы Иван Сергеевич.

Михал Михалыч уставился на него своими воспаленными глазками.

— Недозволенные? Почему? Вполне дозволенные. Сам великий вождь дозволил, нет, предписал пытаться подследственных. Потом пытки отменили, а мордобой остался. Я-то сам не бил. Хлипковат. Мой подменщик за двоих старался. Да ведь пытаться можно не только физически: конвейерными допросами по шестнадцать часов, ночными вызовами, бессонницей — на этом самые упорные ломались. Человека можно пальцем не тронуть, а довести до животного образа.

— Может, хватит? — сказал Иван Сергеевич. — Зачем прошлое ворошить?

— А вам его забыть хочется? Выплюнуть из себя, будто ничего не было?

— Да что вы привязались ко мне? — не выдержал Иван Сергеевич. — Я никого не пытал.

— Пасечник! — всплеснул руками Михал Михалыч. — Пчеловод, медонос!

Иван Сергеевич пропустил бездарную шутку мимо ушей.

— У каждого времени свои законы. Из сегодняшнего дня нельзя судить прошлое. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте. Человек живет по своей совести и сам за себя отвечает.

— То-то и оно! Жаль, никто отвечать не хочет. Размыли вину на всех — и вышли все чистенькие! А я говорю: покайтесь!

— Ну и кайтесь на здоровье, — сказал Иван Афанасьевич, закусывая шпротами. — Кто вам мешает?

— Я и покаялся. Вы газет не читаете. Живете здесь, как лесные братья. Так покаялся, что все наше ведомство с шариков съехало.

— А, знаю! — воскликнул Иван Сергеевич. — Сам не читал, но слышал. Вас за это из партии исключили.

— вспомнили? — с легким оттенком торжества произнес Михал Михалыч. — Только не за это, а придумали другую причину. Да я плевать хотел на эту нелегальную организацию.

— Почему нелегальную?

— КПСС не зарегистрировалась. Значит, конституционно ее не существует. Она как в подполье. Ладно, подпольщики, за покаяние!

— Нам не в чем каяться, — буркнул Иван Сергеевич.

Иван Афанасьевич допил густое масло из шпротной банки и умасленным голосом сказал мягко, но внушительно:

— Вот что, дорогой товарищ. Критикуйте нас, если охота, а партию не трогайте. Это свято.

— А что свято: ка-пе — эс-эс? — Он хулигански раздел слово. — Или коммунистическая партия России?

— Не дурачьтесь. Этой партии еще нет.

— Но будет, в ближайшее время. А после съезда станет три компартии: эти две и марксисты-демократы. Святая троица, как на иконах. Недаром говорят, что марксизм не наука, а религия. — Михал Михалыч резвился, скаля вурдалячьи клыки. — А как вам нравится объявление, лесные братья: «Меняем квартал на Старой площади на угол в Черемушках»?

— Ладно, — скучно сказал Иван Афанасьевич, — поговорили, и хватит. Пора домой.

Весенний, уже набравший летнюю силу лес звенел. В тонкий, острый свист вплеталось клацанье дроздов, тревожные переклики соек, откуда-то тающей нежностью долетал голосок малиновки, и вдруг ударил во серебряную струну щегол. На верхушку молодой ели, на светлый вертикальный побег, села стройная, изящная птичка с опаловой грудкой и сизыми крылышками и залилась так самозабвенно, что маленький и бедный инструмент ее на мгновение заглушил весь лесной оркестр. А под елочкой вдруг

обнаружился огромный оранжевый мак — откуда он тут взялся? — его широко раскинувшая лепестки чашка открыла желто-лиловую сердцевину.

До чего же хорошо было в этом Божьем лесу, но друзья не испытывали обычной радости. Все огадилось присутствием настырного, исполненного злобы и цинизма человека, который свое презрение к прожитой жизни, трудной, порой мучительной, но прекрасной, высокой по конечной цели, маскирует модным словоблудием. Вишь, каяться надо. А в чем?.. В том, что нищую, отсталую аграрную Россию превратили в самую мощную державу в мире, спасли человечество от фашизма, первыми проникли в космос? Не казнить, а исправлять допущенные в последние годы ошибки надо: ликвидировать жидо-масонский заговор, поднять Российскую республику, доведенную инородцами до полного истощения, создать и укрепить коммунистическую партию России и авторитет Дины Алфеевой, реабилитировать товарищей Сталина и Берия, развернуть соревнование на предприятиях и в колхозах, восстановить Берлинскую стену, помочь братским странам вернуться на путь социализма, победно завершить войну в Афганистане...

Итак, крыса обжилаась в доме. Появлялся Михал Михайлыч в любое время дня, поступая с Иваном Афанасьевичем так же бесцеремонно, как с Иваном Сергеевичем. Он был не только наглой, но и хитрой крысой. После лесного пикника в открытую не кидался, кусал исподтишка, неожиданно и больно, в самое чувствительное место, но так, что не придерешься.

Возмущался как-то Иван Сергеевич очередными происками жидо-масонов, а крыса так вкрадчиво:

— Вы знаете, кто такие русские масоны?

— Как кто такие? Заговорщики, хотели Россию погубить.

— Нет, самые просвещенные и добрые люди. Они хотели нравственно облагородить общество, внушить братскую любовь, взаимопонимание. К масонам принадлежал

цвет нации: просветитель Новиков, писатели Сумароков и Херасков, великий Кутузов, да, да, Кутузов, историк Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин.

— Как?

— А вот так. Вступил в масонскую ложу, когда был в молдавской ссылке. И знаете, масоны были дворяне, из лучших русских фамилий, евреев среди них не водилось.

Притихли оба друга, хлопают глазами. Конечно, у него высшее образование, а что у них? У одного школа лейтенантов, ускоренный выпуск, у другого — ремеслуха и милицейские курсы. Да и поднаторел он в болтовне, привык подследственных запутывать, ему и карты в руки.

В другой раз он бухнул, что никаких сионских мудрецов на свете не было, что это жандармская выдумка. У Афанасьича имелась официальная, типографски напечатанная справка: «Протоколы сионских мудрецов», там приводилась цитата из Ленина, уничтожающая всякие сомнения на этот счет. Михал Михалыч глянул веселым глазом:

— Значит, свидетельство Ленина окончательное.

— Для нас Ильич — авторитет в последней инстанции, — твердо сказал Иван Афанасьевич.

Тогда Михал Михалыч сбегал домой и вернулся с томом Ленина. Он сразу нашел нужное высказывание, только в справке Ивана Афанасьевича оно было оборвано на половине, а если дочитать до конца, то получалось, что Ильич начисто — и в очень резкой форме — отрицал существование сионских мудрецов. Это был тяжелый удар, но ведь Ленин мог в дальнейшем пересмотреть свою точку зрения. Вслух они это не сказали, боясь, что Михал Михалыч прихлопнет их новой цитатой.

О чем бы ни шла речь — о революции, гражданской войне, коллективизации, сегодняшнем моменте, — он высказывал обо всем свое собственное мнение, прямо противоположное тому, чему учит патриотическое движение. Душой они знали, что правда на их стороне, кровь не обманешь, но

спорить с ним не могли, и чисто словесная их неискушенность стала оборачиваться сознанием своего убожества.

Стыдно было, что два старых, проживших большую, насыщенную жизнь человека пасуют перед мозгляком, у которого за душой ничего нет, кроме позорного опыта застенка, где из честных людей делали врагов. Но он, видите ли, покаялся и от других того же требует. А нам не в чем каяться. Мы по-солдатски преданно служили Родине, нам приказывали — мы исполняли, не уклоняясь и не рассуждая. В бою как в бою!

Иван Сергеевич так и выложил ему однажды за домашней сливянкой у Ивана Афанасьевича:

— Это верно: не уклоняясь и не рассуждая. А стоило бы иной раз порассуждать и уклониться. Тогда бы не стал по своим стрелять.

— По каким своим? — не понял Иван Сергеевич.

— А ты же в заградотряде служил. Думаешь, я не знаю? — переходя на «ты», с откровенной злобой сказал Михал Михалыч.

— Да, служил. Но стрелял я не по своим, а по трусам, дезертирам, предателям. И они в меня стреляли. — Он расстегнул рубашку и показал сборчатый белый шрам под левым соском. — Из нашего родного ППШ. Пуля, которая немцам предназначалась, у меня под сердцем прошла. Чудом остался жив.

— Ай-яй-яй! — издевательски заголосил Михал Михалыч. — Кто бы тогда Берии блядей поставлял?

Иван Сергеевич готов был вспыхнуть, но сдержался и спросил свысока, и тоже на «ты», а чего с ним считать:

— Небось знаешь бериевский список? У нас в комитете по рукам ходил. Много ты там видел блядей? Народные и заслуженные артистки, лауреатки Сталинской премии, докторессы, как говорится, наук, член-коррпки академии, депутатки Верховного Совета и жены самых больших людей. Жемчужная нить. А выбирал сам маршал, я тут ни при чем. Мое дело адъютантское.

— Надо же! — плачущим голосом сказал Михал Михалыч. — И не проймешь их ничем. Я-то думал: замаскировались грибки-ягодники, садоводы-огородники, пчеловоды-надомники. Сидят, хвост поджали и крокодиловы слезы льют. А им горюшка мало, расположились на заслуженный отдых, полный кайф — и никакого раскаяния.

— А ты что заносишься? Сам признался, что пытал людей.

— Да, признался. Я сволочь. Преступник и подлец. И хочу, чтобы другие признались. Тогда еще не все погибло.

— Не имеешь ты права ничего требовать, — сказал Иван Афанасьевич. — Каждый сам себе судья. Никто про другого человека не знает, чего у него внутри, и требовать не может.

— А ты бы вообще помолчал, палач! — гаркнул Михал Михалыч и, ощерясь вурдалачьими клыками, заорал на весь поселок:

И палач в рубашке красной
Высоко занес топор!..

Иван Афанасьевич поднял руку, будто защищаясь от пощечины, и вдруг заколотил себя ладонью по губам, казалось, он закусывает воздухом крепкий глоток. Круглая голова его налилась тяжелой кровью и стала цветом в свекольный борщок. Иван Сергеевич испугался, что его хватит удар.

— У меня нет красной рубашки!.. Я сроду не носил красной рубашки!.. Не носил!.. — кричал он, будто это было самым главным в брошенном ему обвинении.

Усмехаясь, Михал Михалыч небрежно плеснул себе в фужер сливянки, выпил и закусил вздрогом гадливого наслаждения.

— Ладно, живые трупы, гуляйте дальше.

И, пошатываясь, вышел из дома.

Друзья долго сидели в угрюмой подавленности, даже выпивка не шла. Все разом огадилось: их дружба, печаль по былому, сегодняшние надежды, преданность идеалам, об-

раз Дины Алфеевой, ленинградская коммунистическая сечь, тихие радости от природы, чистые партийные билеты. Он ничего не пощадил, все забрызгал отравленной слюной. Как жить дальше? Остановится ли он в своей злобе или перейдет к действенной мести людям, ничуть перед ним не виноватым?

— А что он может нам сделать? — как-то робко всохорился Иван Сергеевич.

Афанасьич развел руками.

— В такое мутное время любой мелкий гад становится опасен. Гласность, мать их!.. Он же писучий, сволочь. Ославит так, что за ворота не выйдешь. Много при нем лишнего болтали, считали своим. Какой-нибудь паскудный «Огонек» или «Московский пидер-комсомолец» такую грязь размажет, что не отмоешься. Как бы общему делу не навредило.

— Кишка тонка! — бодрился Иван Сергеевич.

— А кто его знает? Любое невинное слово можно так вывернуть, что сраму не оберешься. Еще садово-огородный участок отберут. Он же следователь, а им честного человека овиноватить — раз плюнуть. И вообще он за сионизм. Такой ни перед чем не остановится.

— Господи! — вздохнул на слезе Иван Сергеевич. — Как хорошо мы раньше жили! Мне бы, дураку, сразу гнать его в шею. Рассоплился, пожалел соседа. Воистину: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы.

— Как ты сказал?

— Не я, а Сталин. Мне Берия часто повторял.

— Мудрые слова. Вся мерзость от человека...

—
5
—

После отвратительного представления, устроенного бывшим следователем, Иван Сергеевич решил сбежать на два дня из поселка. Надо было прийти в себя, да и куча запущенных дел скопилась. Он побывал у зубного, где снял

камни, вырвал разрушенный зуб мудрости и обновил пломбу, сходил попариться в Сандуновские бани, но ожидаемого удовольствия не получил: там царил тлетворный дух Ельцина, перебивавший даже запах березового веника (почему-то голожопые банные политики помешаны на Ельцине), сменил батарейку в электронных часах, отдал постирать постельное белье и получил свежее, оплатил жировки, приобрел кое-что из продуктов и даже побывал в Сокольниках на объединенной редколлегии двух патриотических журналов — «Молодой лейб-гвардии» и «Нашего соотрапезника» — с богослужением, крестным ходом и водосвятием.

После показа документального фильма о разрушении храма Христа Спасителя, шедшего под рыдания и проклятия Лазарю Кагановичу, главный редактор «Нашего соотрапезника», великий поэт и общественный деятель России Янис Шафигулин, прочел поэму «Возмездие», а прозаик Клеопатра Птушкова растерзала сердца присутствующих страшным рассказом «Изверги» о ритуальном злоупотреблении евреями христианской кровью.

Затем главный редактор «Молодой лейб-гвардии» Петров-Сидоров познакомил собравшихся с редакционным портфелем: в ближайших номерах будут опубликованы жития святых-пустынников, Четвы Минеи, наставление молодому поколению: «Юности честное зерцало», поэма Яниса Шафигулина «Даниил Заточник», эпопея Цыбуля «Фрейлина», а из переводной литературы роман маркиза де Сада «Содомский грех».

Не менее богатым оказался портфель «Нашего соотрапезника». Тут были неизданные труды митрополита Даниила, житие Филарета Московского, «Ночные бдения» Иоанна Кронштадтского, роман Петрова-Сидорова «Тень на плетень» о первых годах советской власти в Сибири, баллада о Хорсте Весселе Яниса Шафигулина, историческая хроника Цыбуля «Без лести предан» об Аракчееве и начало труда известного теоретика погрома Олега Запасевича «Антисемитизм как воля к жизни».

Вечер проходил на редкость организованно и стройно, в домашней теплой атмосфере, никому не мешали громко выражать свой восторг, а тех, кто отмалчивался или не аплодировал («Голосование немотой», — остроумно заметил по этому поводу Янис Шафигулин), милиция оперативно и без шума выдворяла. Потом распространился клеветнический слух, что этих людей бросили за решетку. Ни один не был задержан. Сняв показания и отпечатки пальцев, их стукали почками о стену и сразу отпускали. Лишь с одним хулиганом обошлись покруче. Он вылез пьяный на эстраду, обозвал комсомольский журнал «Молодой мафией», а его старшего собрата «Нашим сотрапиздником». Его прикончили прямо на сцене, а труп выбросили на свалку истории.

Уже вечером, когда в сиреневых сумерках зажглись лучинки в металлических светцах, плошки и смоляные свечки, на Козьем ручье митрополит Закрутицкий и прославленный олонецкий словослагатель Савелий Морошкин крестили прихожан «Молодой лейб-гвардии» и «Нашего сотрапезника», которым по дурости и безответственности родителей или приютской власти было отказано по рождению в святом обряде. Среди прочих крестился Олег Запасевич. Конечно, он был крещен, но какое-то недоразумение вышло с его первым крещением в родном местечке под Слуцком, и он возжелал повторения обряда, чтобы уж наверняка. Вожди патриотического движения догадывались, в чем состояло недоразумение: обряд над невинным младенцем произвели не в купели, а на столе синагогального резника, но он был слишком важной умственной силой в движении, богатом чувством и памятью, а не мозговыми извилинами, чтобы придирааться к таким пустякам.

Завершился праздник сжиганием соломенных чучел трех главных жидо-масонов: Юрия Афанасьева, Виталия Коротича и Анатолия Ананьева. На соломенного Ананьева Янис Шафигулин под гомерический хохот присутствующих надел кружевные дамские трусики и бюстгальтер. И хотя

Иван Сергеевич смеялся до колик в животе, он не мог не посочувствовать Ананьеву: после такого позора человеку остается только наложить на себя руки.

Предвкушая, как он будет рассказывать Афанасьичу об этом удивительном празднике, Иван Сергеевич в самом радужном настроении пустился в обратный путь. В поселок он попал уже за полночь. Старая, пошедшая на ущерб луна — пухлая, бледная рожа, приплюснутая с одного бока, выкатилась из-за леса и светила прямо на поселок, на жалкие домики в готических черных тенях, на бельма полиэтиленовых теплиц. За темными окнами не ощущалось жизни, невыносимая печаль скудности и заброшенности исходила от этого места. А в одном из хилых обиталищ затаилась беспощадная злоба, от которой не скрыться. С тяжелым сердцем он вошел в дом. Почему-то он ждал, что из темноты на него глянут красные, раскаленные крысиные глаза. Но дом был пуст, лишь на столе лежала записка: «Жду тебя в 6.30 с машиной». В его отсутствие заходил Афанасьич, у него был второй ключ. Почему он вызывает его в такой ранний час? На рыбалку собрался или за раками? На сердце малость потеплело...

Утром в назначенное время он как штык явился к Афанасьичу.

Тот возился в сарае. Иван Сергеевич вошел в темное — с яркого света — помещение и увидел Афанасьича, рубившего что-то топором на колоде. На нем был клеенчатый фартук, забрызганный кровью. Натёки и пятна крови виднелись на деревянном полу и стенах. Афанасьич зарезал свинью, которую целый год держал на откорме. Что-то поторопился друг — свиней режут осенью. И распорядился неаккуратно: кровь надо было в таз спустить, из нее колбаса — язык проглотишь.

И с мясом Афанасьич поступил как-то странно: распихал его в полиэтиленовые мешочки, оно же задохнется. Склероз у него, что ли? Огорченный, Иван Сергеевич рассеянно смотрел на свиную ногу, которую препарировал

Афанасьич, и, словно в ночном бреду, увидел пальцы с ногтями. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение, и сосредоточил зрачки на чуть искривленном, с грубым желтым ногтем большом пальце человеческой ноги, белой, с тонкой щиколоткой.

Афанасьич отложил топор и засунул части разрубленной ноги в полиэтиленовый мешок. Мельком глянул на Ивана Сергеевича:

— По методу профессора Омельянова.

Ивана Сергеевича начало рвать. Сперва вчерашней едой, потом едкой желчью. Аж наизнанку выворачивало. Тело покрылось потом, ноги омертвели, он схватился за верстак и замарал руку в крови.

— На, выпей. — Афанасьич протянул ему кружку воды. — Какой же ты слабак, а еще фронтовик.

Зубы выбили чечетку на жести кружки.

— Возьми шланг, — сказал Афанасьич. — Замой блевотину и кровь.

Иван Сергеевич повиновался. Действительность перестала существовать, но в пустоте звучал голос Афанасьича, и то была единственная опора, чтобы не перестать быть. Он подчинялся этому голосу, сам того не сознавая: подтащил шланг, пустил воду и принялся отмывать помещение от чужой крови и собственных извержений. Голос указывал:

— Прижми струю пальцем — напор маловат.

Он прижимал.

— Давай вот сюда, чего воду жалеешь? Не в пустыне!

И он давал.

— Гони к порогу. Вот так!

И он гнал...

С каждым разумным, хотя и бессознательным движением возвращалось сознание. Он уже с пониманием отмывал стены, мешки, топор, фартук Афанасьича, свои резиновые сапоги. Постепенно он обрел тело: руки, ноги, спину, крестец; дольше всего в отключке оставалась голова.

Потом он стал различать одобрительные интонации в голосе Афанасьича — они радовали, и наконец обрел себя целиком и одновременно — сарай со всем оборудованием, пыльный луч солнца, проникавший в дверную щель, в перехвате его вспыхивали золотыми искорками летучие насекомые, полиэтиленовые мешочки с расчлененным телом.

Он понял: возникла новая действительность, в которой теперь придется жить. И чем это хуже бериевских дней, когда сожгли в печи изнасилованную вдову маршала Бекаса и двух цыганских девочек? Не сошел же он тогда с ума, а исправно, по-солдатски нес службу. Все дело в неожиданности, отвычке. Он расслабился, потерял форму, боевитость. А время опять такое, что надо себя держать, надо опять стать мужчиной.

— Сейчас загрузим машину, — говорил Афанасьич, — позавтракаем а-ля фуршет и поедем похоронки делать.

На мгновение желудок Ивана Сергеевича спазматически сжался, но уже все было отдано, расслабился и затих.

Сухомятка на бегу иной раз бывает вкуснее обрядового застолья. Иван Сергеевич с аппетитом уплетал крутые яйца, домашнюю ветчину и малосольные огурчики.

— Как ты его завлек?

— Проще простого. Он же писатель, — усмехнулся Афанасьич. — Мемуары тачает. Я попросил почитать. Примчался чуть свет и не удивился, чего мне так рано зандобилось. Авторское тщеславие погубило. А знаешь, Сергеич, рукописи горят.

— Ты хоть заглянул, чего он там пишет?

— Нужна мне эта клевета! Небось вроде Живаги. Я «Фаворита» никак не дочитаю. Хорошо съездил?

— Отлично! Был в Сокольниках на литературно-религиозном празднике. Морошкина живого видел, Петрова-Сидорова, Шафигулина — всю силу.

— Потом расскажешь. Со всеми подробностями. А сейчас надо... этого раскидать.

— Не будут его искать?

— Кому он нужен? Только рады будут, что избавились.

— Здешние могут хватиться.

— Лет через пять. Когда сообразят, что участок пустует. Помнишь, он нас живыми трупами обозвал? Мы и правда живые, о нем так не скажешь.

— Ловко ты распорядился!

— Я считаю — на троечку, — скромно сказал Афанасьич. — Опыта нет. Лекция Омельянова, конечно, помогла. Но сам знаешь, одно дело — теория, другое — практика. Ладно, лиха беда начало.

— Чем ты его?

— Дрыном. Он и ахнуть не успел. Заморил червячка? Возьми бутерброд с собой. Это всегда так: после дела — волчий аппетит.

Они вышли во двор, загрузили багажник. Глупая мысль привязалась к Ивану Сергеевичу: цельный Михал Михалыч ни о чем не вошел бы в багажник, а расфасованный прекрасно разместился. И даже осталось свободное пространство.

Тронулись. Остановились. Заперли ворота. Поехали дальше. Ивана Сергеевича радовало, что он уверенно ведет машину. Руки крепко сжимают баранку, ноги легко находят педали, взор ясен. Да, он растерялся в первые минуты, но быстро овладел собой и выдержал испытание. Он не чувствовал и тени жалости к убитому. Мог бы он жалеть крысу?.. Лишь порой смущающе возникала в памяти белая нога с тонкой щиколоткой. И неприятно было думать, что он весь был телом такой белый, нежный, этот мусорный человек с вурдалачьими клыками. Иван Сергеевич гнал от себя докучные мысли, старался думать о важном, приятном. Как хорошо, что навсегда исчез сгусток злобы, не признававший ничего святого, предавший идеалы, которые неудержимо вели народ сквозь все временные трудности. Дело не в том, что он получил по заслугам, коммунистическая мораль отвергает месть, но он не будет теперь вредничать, наводить тень на ясный день. Кто знает, каких бед могла наделать его «покаянная» книга? В мире столько

враждебных коммунизму сил: сионизм, масонство, Пентагон, израильская военщина, программа звездных войн и программа «Взгляд», демократическая оппозиция и журнал «Огонек». Нельзя разоружаться, надо держать порох сухим. Быть на страже, как Афанасьич.

В эти серьезные, крепкие мысли просунулась опять белая нога с удлиненными пальцами, но она уже не принадлежала следователю-перевертню, а входила в женскую структуру, и вдруг с тошнотворным отвращением Иван Сергеевич поймал себя на том, что он возжеленно препарирует женское тело. Тьфу, гадость какая!.. А ведь расчленение — это омерзительная, но и высшая в каком-то смысле форма обладания. Последняя, окончательная, дальше пустота. Тщетно пытался он вытряхнуть из себя мерзостное видение. Это не жестокость, не кровожадность в нем, а вдруг пробудившееся влечение заиграло в давно остывших жилах, пробужденное нервной встряской. Он старался следить за дорогой, за ухабами и колдобинами, полными гниющей воды, и руки его безошибочно выполняли все положенные движения, а изнутри напирало, застя окружающее, распластанное нагое женское тело, и он погружал в него какой-то острый блеск. Сопротивляться этому безнадежно, тем более что это уже не он, а Афанасьич, вернее, они оба, слившись в одного, расчленяют прекрасное тело Дины Алфеевой. Он воплотился в Афанасьича, как некогда воплощался в Берию, разделяя его наслаждение. Но там был хотя бы видимый стимул: он подглядывал в щелку за любовными утехами маршала, а здесь все совершалось в бес-телесной сфере видений. И, не в силах противиться, ужасаясь и восхищаясь собой, старый человек излил свое наслаждение в воображаемую, любимую его другом плоть.

— Стой! — раздался голос Ивана Афанасьевича.

Он с такой силой затормозил, что кузов кинуло вверх-вперед, и он ударился грудью о руль.

Афанасьич все продумал. Здесь, за топким болотцем, находился небольшой, сплошь заросший ряской пруд — место дикое и ничем не привлекательное. Афанасьич выта-

шил из багажника самый большой пакет, сунул в него ржавый уломок чугунной станины, обмотал изоляционной лентой и взвалил на спину. Они двинулись через болото. Видать, ноша была тяжеленька, Афанасьич проваливался до колен и с трудом выпрастывал ноги из чмокающей грязи. Но от помощи Ивана Сергеевича отказался:

— Не мешай. Одному сподручней.

Иван Сергеевич первым достиг водоема и утвердился на устойчивой кочке. Внезапный мощный шум, показавшийся наступающим топотом бесчисленных ног, обрушился на него, чуть не сбросив с кочки. На мгновение он лишился сознания. С пруда, бия громадными крыльями, поднялся матерый селезень в весеннем пере и, сверкая изумрудом и медью, помчался над водой, выбивая из нее брызги, затем круто забрал вверх и ушел в голубой прозор, оставленный теснящимися вокруг водоема ивами.

— Надо же! — восхитился Афанасьич. — Какой красавец! И не побрезговал грязной лужей.

— Афанасьич, — жалобно сказал Иван Сергеевич. — Ты чуешь запах?

— Нет.

— Сейчас почувешь. Я наклал в штаны.

Афанасьич никак не отозвался на сообщение, опустил мешок на землю, отдышался и утер пот.

— Берись.

Они взяли мешок за четыре угла, раскатали и бросили в воду. В месте падения мешка ряска расступилась, открыв чернильную непрозрачную воду, и почти сразу, плавно колыхаясь, начала стягиваться в зеленый ковер.

— Приведи себя в порядок, и едем дальше. Запозднились.

Афанасьич зашагал через болото. Иван Сергеевич разоблачился, прополоскал кальсоны, выжал, свернул, оделся и поспешил за другом...

Они выехали на заросший муравой и подорожником проселок. Давно не езженные, исчезающие под травой ко-

леи привели их к смешанному лесу. Старые, обросшие по стволам жемчужным мохом березы стояли вперемежку с палевыми осинами и ярко-зелеными елями, уже выпустившими восковистые свечки. Порой деревья расступались, освобождая место заросшим молодой крапивой западкам. Какая-то птица упала на мертвый березовый сук и разразилась захлебным воплем.

— Мать честная! — удивился Афанасьич. — Самец кукушки. Сроду так близко не видел.

Иван Сергеевич тоже не видел и обрадовался, что надсадный привет настиг их в машине. Он не ручался за свой вышедший из повиновения желудок.

Иван Афанасьевич вынул из багажника сверток и шанцевую лопатку.

— Спустись вон в тот овражек. Рой на полметра. Землю не разбрасывай. Потом засыпь и дерн уложи. Чтоб снаружи было незаметно.

— А ты где будешь?

— Да рядом, в крапивке. Не беспокойся...

Когда ехали к новому месту, Иван Сергеевич поинтересовался, почему нельзя было избавиться от всего разом.

— Спроси о чем-нибудь полегче. Я такой же новичок, как ты. Профессор Омельянов рекомендует разбрасывать. Если даже наткнется кто, по одной детали человека не распознать. Я это так понимаю. Давай не заниматься самодеятельностью, а действовать по науке.

— Я разве возражаю? Просто любопытно...

Это оказалась та еще работенка! И обед прошел, а они все колесили по району. Как трудно избавиться от останков человека! При жизни — пигалица, смотреть не на что, а спидометр отмерил триста километров, когда они, уже за границей района, отделались от головы, надежному захоронению которой Афанасьич придавал особо важное значение. Ее опустили в глубокое дупло старого дуба, уходившее далеко под землю, к корневой системе.

Это место им запомнилось, потому что кругом было полно мелких, но удивительно благоуханных ландышей. А в их местах ландыши еще не расцвели. Каких-нибудь сорок километров разницы — и совершенно другой климат. Как любит природа тепло! Иван Сергеевич не удержался и нарвал маленький букетик.

— А ведь они в Красную книгу занесены, — мягко укорил Иван Афанасьевич.

Иван Сергеевич покраснел.

По дороге домой Иван Сергеевич прокручивал в голове события этого напряженного дня. На лице его блуждала извиняющаяся улыбка, которую сам он, разумеется, не замечал. Да, он сегодня дважды осрамился: наблевал в сарае и наделал в штаны на пруду, но все-таки был доволен собой. Оба раза его подвел старый, изношенный организм, не способный противостоять шокowym ударам, но оба раза он сумел взять себя в руки и помочь стараниям Афанасьича. Он не подвел его, был рядом и принял на себя часть ответственности за его мужественный, истинно гражданский, хотя и не соответствующий букве закона поступок. Но на войне как на войне. А сейчас, если называть вещи своими именами, идет война. Как в дни Сталинграда, на карту поставлено будущее Родины, народа, социализма. Афанасьич поступил так, как подсказало ему его честное, бесхитрое сердце русского патриота и коммуниста. И надо опять привыкать к крови, ничего не попишешь, участники антирусского, антинародного заговора добровольно не уступят своей тайной власти над истерзанной гласностью страной. Но сейчас все безмерное терпение народа-мученика иссякло.

Поступок Афанасьича был на двоих. Мог ли он думать, что на восьмом десятке продолжит свой боевой счет...



А терпение народа и впрямь иссякло. Афанасьич привез из города листовку, оповещающую о создании объеди-

ненной организации патриотов России — Патриотического онкоцентра. Почему онкоцентр? Да потому, что гигантская раковая опухоль жидо-масонского заговора поразила незащищенное естество России. Центр ставит целью объединить все русские патриотические силы независимо от партийной принадлежности и политических целей. Сюда открыт путь и беспартийным, и членам КПСС, включая, разумеется, коммунистов России, и эсерам; здесь будут представлены оба крыла «Памяти», монархическая партия, стремящаяся возвести на трон великого князя Владимира, и христиане, мечтающие о религиозном возрождении народа, забывшего, что он Богоносец, все, кроме жидовствующих: «Апреля», «Мемориала» и разномастных демократов...

Для проведения организационного собрания Патриотический онкоцентр, сокращенно ПОЦ, захватил кинозал Центрального дома литераторов в память о героической акции по разгону «Апреля».

Председательствующий был словно залит с головы до пят черным лаком; два белых света — лоб и скулы — выступали из черни волос, бровей, усов и бороды; его статную фигуру обтягивал черный комбинезон, а руки — тонкие черные перчатки. Открывая собрание, он был краток: Россия больна раком. Радикальный метод борьбы с ним один — операция. Мы вырежем эту опухоль со всеми метастазами.

Погасив вспышку оваций черным зигзагом властного жеста, он дал слово представителю монархистов, старому полковнику в голубой форме сумских гусар. Тот сказал:

— Законный монарх Великия, Малыя и Белья России, Его Императорское Величество Владимир I изъясляет патриотам Руси свое монаршее благоволение. Он верит, что многострадальная Родина наша воскреснет из мертвых.

Сквозь бурю аплодисментов неслось: «Слава!.. Виват!» Это орал в матюгальник один из самых неистовых патриотов России Рустам Аршаруни. Он так привык к матюгальнику во время предвыборной кампании великого по-

эта и общественного деятеля России Яниса Шафигулина, что не расставался с ним даже дома. Жена и дети вначале роптали, потом привыкли.

Блестящий ментик, седой пух шевелюры, усов и подусников придали вескость благородного металла простым словам старого гусара — аудитория сразу вошла в высший градус. Рядом с Иваном Сергеевичем сидела хорошенькая девушка с желтой гривкой коротко стриженных волос и зелеными ежиными глазами. Он окрестил ее про себя Ежиком. Она вскочила на стул и сильным высоким голосом запела обретший новую жизнь гимн гитлерюгенда «Хорст Вессель» в вольном переводе Яниса Шафигулина:

Когда вонзишь в еврея нож,
Ненастный день будет хорош...

Высокое сопрано Ежика подхватил мощный, раскатистый бас главного теоретика погрома Олега Запасевича. Он начинал как скрипач-вундеркинд, но в тринадцать лет вдруг потерял слух, а в четырнадцать обнаружил гений Гаусса и Лобачевского. Он выиграл детскую математическую олимпиаду, был принят в университет, который кончал параллельно со школой, но в восемнадцать забыл таблицу умножения и никак не мог вспомнить. С математикой было покончено так же, как с музыкой. На короткое время его приютил философский факультет, но провал на первых же экзаменах — запомнил три источника, три составных части марксизма — заставил его искать себя на путях, далеких от науки. В шестидесятые годы он прославился как диссидент, но, испугавшись ареста, всех заложил и выпал из правозащитного обихода. Возник опять уже в середине восьмидесятых книгой «Антисемитизм как воля к жизни» и был принят с распростертыми объятиями «Памятью», а затем и всем патриотическим движением. К тому же у Запасевича вдруг прорезался великолепный голос, да и слух вернулся так же внезапно, как исчез. Он стал первым запевалой черносотенного хора, а такие люди всегда были на

вес золота в патриотических организациях со времен гитлеровских бир-штубе. Ежик и Запасевич увлекли за собой зал, мощные волны «Хорста Весселя» прокатились по неоккупированной территории Дома литераторов, парализуя страхом многочисленных инородцев.

Затем Председательствующий огласил приветственные телеграммы съезду от Дины Алфеевой, Лигачева, Солженицына, Полозкова, внучатого племянника Пуришкевича, живущего в Боливии, Арафата и Саддама Хусейна. Последнее имя вызвало взрыв противоречивых эмоций, были жидкие рукоплескания и оглушительный свист.

Председательствующий, этот черный ангел, не пытался навести порядок. Зачем расходовать свою власть без настоящей необходимости? Пусть оторутся, отобьют ладони, пересушат рот надсадным свистом, — когда надо будет, он их осадит. Из всех присутствующих он один знал состав и цену аудитории. Трудно представить себе более пестрое собрание. Все возрасты и все социальные пласты делегировали сюда своих представителей: от школьников младших классов до старцев Мафусаилова возраста, помнивших таких титанов антисемитизма, как доктор Дубровин, основатель Союза русского народа, Пуришкевич, Марков 2-й, Дорер. Среди них выделялся седой как лунь и редкостно крепкий для своих девяноста шести лет почтенный старец, бывший охотнорядский мясник, боевик Союза Михаила Архангела, выезжавший на погромы в Киев, Одессу, Гомель, а в августе 1914 года сжигавший немецкие магазины на Кузнецком мосту. Были и юные антисемиты, твердо усвоившие старый, овеванный славой лозунг: «Бей жидов, спасай Россию», хотя никто из них не задумался, почему избиение немногочисленных дрожащих евреев принесет спасение замученной совсем иными силами стране. Впрочем, для большинства из них важна была сама возможность похулиганить и безнаказанно пустить кровь. Было много крикливых, истеричных девиц и нервных климактеричек, принимавших свой сексуальный дискомфорт за

любовь к русскому народу. Было очень много неудачников всех мастей, особенно от искусства и литературы. Мучительно трудно человеку обвинять в своем бесславии самого себя, собственную бездарность, куда удобнее списать все на евреев и прочих инородцев, проникших в поры страны и сделавших доброго, безмерно талантливого, простодушного увальня пасынком в родной стране. Все эти пастернаки, мандельштамы, бабели и гроссманы украли талант у русского Ивана. Славный, милый Иван, никогда ни в чем не виноватый. Даже когда рассекает хорошо заточенной лопатой головы грузинских девушек и беременных женщин, он безгрешен. Его толкают под руку черные тайные силы: каббалистика, сионские мудрецы, по-райкомовски охочие к протоколам, кооператоры и сторонники свободного рынка. Милый Иван, он доверчиво идет убивать, жечь, грабить в другие страны, не сделавшие ему ничего плохого, потому что он дисциплинирован и послушен приказу. Он запойно пьет, ворует, ножебойничает, но виноваты в этом татарское нашествие, крепостное право и Лейба Троцкий.

Как всегда, в толпе было много просто дураков, которым льстили нравственные привилегии, даруемые принадлежностью к избранному народу. Ничего не надо делать, даже носа утереть, а ты вознесен над другими людьми, которые принадлежат к низшему сорту лишь потому, что они инородцы. Толпа ненавидит, когда ей дают задачи, требующие хоть сколько-нибудь усилий ума и души, пуще всего не любит она выбирать. До чего же хорошо и сладко, когда от тебя не требуется ничего иного, как просто быть русским. А еще толпе нужна тайна, без этого ее энтузиазму не хватает крыльев. И тайна есть: сионские мудрецы. От одного звучания этих слов холодеет позвоночник, а рука тянется к ненавистному горлу.

Находились тут и очень смекалистые, знающие, трезвые люди — совсем немного, но они-то и были мотором собрания; люди, не верившие ни в сионских мудрецов, ни в жидомасонский заговор, ни в квасной патриотизм, но по старому

испытанному способу стремившиеся отвести гнев народа от истинных виновников позора России, подставить невинных людей вместо тех, кто подлежал беспощадному суду. Этим умельцам очень ко двору были и Мафусаилы погрома, и бездарные литераторы, и нищие духом художники, аппаратчики всех рангов, напуганные призраком безработицы, списанные в тираж гебешники, охранники и вертухаи, престарелые маршалы и недобравшие наград генералы, пустоголовые юнцы, созревшие для большого насилия, а пока что бестолково расходующие силы в мелкой фарцовке, спекуляции и уличном хулиганстве, их подружки, не преуспевшие в престижной проституции и кинувшиеся в «общественную жизнь», бывшие спортсмены, не нашедшие места в рэкрете, все отребье великой страны, бессильной дать занятие молодежи, спокойствие старости, достойное дело людям, исполненным сил. На глазах оторопелого человечества, полагающего, что в нынешней цивилизации нет места для фашистских бесчинств, как для инквизиции или процессов ведьм, печей Освенцима и сталинских лагерей уничтожения, эти люмпены решили повторить гитлеровский шабаш.

Умелые люди вовсе не стремились к кровопролитию, они охотно бы обошлись без него, будь иной способ сохранить власть. Но они такого способа не видели, как не видели и того, что кровавая баня не поможет им остаться у власти. Это хорошо видел Председательствующий, загадочный черный красавец, он играл свою собственную игру и не сомневался в победе.

Из-за стола президиума выметнулся Савелий Морошкин с растрепанной мусорной бородой. Он вскарабкался на кафедру и пропал из виду. Председательствующий дал знак, два функционера притащили ящик из-под пива и поставили на него Морошкина. Лохматая голова олонцецкого сказителя возникла над кафедрой, и загредел зычный голос, неожиданный в таком ничтожном теле:

— Великий прорицатель Нострадамус предсказал конец России к исходу нынешнего века. И последнего царя

назвал: Михаил Пятно. И сбылось бы его пророчество, кабы на страже России не стояли мы. Не сгинет наша держава, а вот царю дадим по шапке. Но бают сведущие люди: осознал он свою вину перед русской нацией и хочет ее искупить. Пуцай, мы не против. Поставим его во главе дачно-строительного кооператива Общества старых охотнорядцев. А вот насчет Раили Максудовны — извини-подвинься. В клеточку пойдет на общих основаниях. В резервацию для малых народов.

Зал откликнулся дружной овацией. Недаром на Рижском рынке огромным спросом пользуется значок с надписью: «Я не люблю Раису».

Заявление Морошкина напомнило собравшимся об инициаторе переселения малых народов в наши отечественные резервации, писателе-демографе Николае Пичугине. Его захотели видеть и слышать: пусть доложит, подготовлен ли проект.

Председательствующий пригласил Пичугина на сцену. Этот молодой, застенчивый и на редкость исполнительный деятель, ведущий автор «Нашего сотрапезника» и «Молодой лейб-гвардии», никогда не садился в президиум, где ему было зарезервировано постоянное место. Некоторое время зал перекликался: «Пичугин!.. Коля... Николай Угодник!» (так прозвали его друзья за святую чистоту души). Никто не отзывался.

Невозможно было представить себе, чтобы Коля Пичугин, Николай Угодник, пропустил организационное собрание Центра. При его фанатичной ответственности он и полумертвый приполз бы сюда.

На сцену быстрым шагом, почти бегом, поднялся запозднившийся великий поэт и общественный деятель России Янис Шафигулин. Он сказал, глотая слезы:

— Не придет наш Николай Угодник!.. Никогда не придет!..

— Что с ним случилось? — сохраняя хладнокровие, спросил Председательствующий.

А случилось страшное. Пичугин пошел в зоопарк посмотреть, как обеспечивается изоляция диких зверей: клетки, рвы, вольеры. Это было нужно для разборки проекта. Осматривая клетку с орангутангом, он забыл об осторожности — никогда о себе не думал — и сунул голову между прутьями. Огромный злобный (все человекообразные обезьяны в старости становятся злы и опасны) самец оторвал ему голову.

Сообщение потрясло аудиторию. Крики ужаса, боли, бесильной ярости сотрясли кинозал ЦДЛ. Женщина упала в обморок, с другой случилась истерика. Ежик, припав к груди Ивана Сергеевича и обрывая ему лацканы пиджака, словно он был повинен в гибели Пичугина, плакала навзрыд.

Спустившийся было с пивного ящика Савелий Морошкин опять вскарабкался на постамент и кинул в лицо аудитории:

— А вы другого ждали? Дочикаемся, когда Арон Гутанг всем нам башку оторвет!

В яростном возбуждении он подпрыгнул, ящик развалился, и Морошкин исчез за кафедрой. Наблюдательные люди заметили, что он так и не возник. Видимо, куда-то закатился.

Кафедрой вновь завладел великий поэт и общественный деятель России Янис Шафигулин. Недавние выборы испортили его светлый, солнечный характер. Хотя Рустам Аршаруни с утра до глубокой ночи оглушал жителей Свердловского района из своего матюгальника, призывая голосовать за надежду России Шафигулина, поэт набрал всего три голоса. Его предпочли соперникам он сам, жена и дочка. Даже теща-змея отдала свой голос жидо-масону из «Аргументов и фактов». Янис протер запотевшие очки и сказал срывающимся голосом:

— Нет Коли Пичугина. Он не придет, кудрявый наш поэт! (По странной игре природы все верховоды патриотического движения, кроме Председательствующего и Морошкина, были либо плешивы, либо лысы. Не являл ис-

ключения и молодой Пичугин. Но аудитория правильно поняла слова Шафигулина как художественный образ: Пичугин был кудряв в душе.) Дело Пичугина не умрет, тому залогом мы с вами. А инородцам — вот! — Он ударил ребром ладони по локтевому сгибу, отмерив всему российскому мусору его удел.

Поднялся Председательствующий:

— Мы поставим перед церковью вопрос о причислении великомученика Николая к лику святых. Уверен, что наши друзья из патриархии нам не откажут.

Вновь в едином порыве все вскочили, и серебряный голос Ежика повел за собой хор:

Когда вонзишь в еврея нож,
Ненастный день будет хорош!..

Спели, отвели душу. На сцене появился встреченный не аплодисментами, как все другие ораторы, а благоговейной молитвенной тишиной писатель Ефим Босых, величайший певец районной скорби, единственное перо в патриотическом движении, признанное за границей. Даже самый пристрастный, отвергающий погромы человек не мог бы отрицать редкого таланта ранних его книг. Но случилась беда. У него в деревне был пруд с карасями. Какая-то артелька, производящая щелок, отравила воду в пруду своими отходами, и караси передохли. С ними умерло что-то важное в душе Ефима — он перестал писать и все силы отдал борьбе с артелью за уже мертвые воды пруда. Артель не сдавалась, не сдавался и Босых, хотя карасям все равно было не жить в ядовитой среде. По неясной причине гибель карасей пробудила в душе Босых ненависть к евреям, хотя их не было среди артельщиков, да и к пруду, насколько известно, ни один не приближался. Люди этой национальности не умеют ловить рыбу, им не хватает терпения и задумчивости, чтобы часами следить за недвижимым поплавком. И закидывать удочку они не могут, ибо кидают от кисти, а не от плеча. Вот почему побивание камнями в Древней Иудее было сравнительно безопасным наказанием.

Неутихающая скорбь наложила отпечаток не только на душу, творчество (погасив его), но и на внешний облик Ефима. У него неимоверно увеличился череп, а лицо съезжилось в гнилую сливу. Страшен был чудовищный купол, под которым не видно глаз, носа, рта. Босых вышел на трибуну поделиться своими новыми соображениями о ликвидации евреев. О том, чтобы помочь их бегству в Израиль и тем решить проблему, не было и речи. Евреи должны ответить за свои преступления: распятие Христа, Октябрьскую революцию, гражданскую войну, раскулачивание, разрушение храма Христа Спасителя, — на этом сходились все. О методах тоже не было спора: варфоломеевская ночь в масштабах всей страны. Споры шли вокруг сроков и лиц от смешанных браков. Полукровки подлежали уничтожению в первую очередь — самая страшная зараза. А как быть с четвертушками и восьмушками? Иные, ссылаясь на гитлеровский опыт, считали, что их можно оставить, но многим это казалось гнилым либерализмом: русская кровь чувствительная, ее портит даже малая инородная примесь. Иначе не возродить нацию. Был еще один камень преткновения: что делать с евреями-коммунистами? Понятно, что они должны понести особую кару, но какую? Большинство склонялось к четвертованию или сожжению на медленном огне, но подавались голоса за древний русский способ протаскивания голого человека по натянутой воловьей жиле или басовой струне. Смущала громоздкость казни. Конечно, приятно потаскать картавого, носатого изверга по тугой жилке, но, пока перепилишь одного еврея, черт-те что может в мире случиться, уж больно хитрая нация.

А вот лучший писатель России выдвинул совсем новое и неожиданное предложение. Он спросил присутствующих: знают ли они роман Александра Белыева «Голова профессора Доуэля»? Романа никто не знал, но многие помнили одноименный фильм. Там головы умерших жили за счет раствора и электродов и ворочали мозгами. Голова же самого профессора Доуэля делала гениальные научные от-

крытия. Нам не нужны ни тела недочеловеков, ни их головы со шнобелями, нам нужны их мозги. Русский народ-богатырь всегда жил широко и разгульно, не трясясь скопидомно над серым веществом. А евреи не пьют, не гуляют и всячески берегут свои извилины. Значит, надо их мозги отделять, присоединять к электродам, пусть они работают на обновление России, искупают извечную вину хриstopродавцев и новую — революционеров, а возле них будет обостряться русский ум.

У кого другого такое предложение могло бы и не пройти, ибо таилась смутная, но грозная опасность в обилии этих активно действующих еврейских мозгов: а вдруг они до такого додумаются, что обратят русских людей в рабство? Нечто подобное изображено в романе Герберта Уэлса «Борьба миров», там землю захватывают марсианские головы на железных треногах. Но Ефима Босых так любили и так ему верили, что аудитория почти единогласно проголосовала за сохранение еврейских мозгов при полной ликвидации остального телесного состава.

Это опять толкнуло мысль к срокам возмездия. Люди устали ждать. Страна испытывала дефицит терпения. Столько было всего наобещано: реформ, законов, благ, преимуществ, облегчений любого рода, а ничего ровнешенько не дали. Радужные посулы, обещания, заверения обернулись пшиком. Все тонуло в бесконечной, изнурительной болтовне. Хотелось действия, хотелось, чтобы хоть какая-то малость овеществилась — и не завтра, а сегодня, сейчас. Тщетно благоразумные головы убеждали потерпеть: еще немного — и перезрелый плод сам падет к ногам. Председательствующий покусывал бледные губы, он не хотел, чтобы ему диктовали сроки, не из самолюбия, амбиций, а потому, что решать должны не эмоции, а расчет. Сейчас были иные, насущные дела.

На беду, откуда-то вывернулся Савелий Морощкин, пыльный, грязный, с перьями в бороде и волосах, будто отлеживался на помойке. Но подои не дай ему слова! Влас-

титель дум! Опять притащили ящик из-под пива, и опять он завел свою нуду о преступлениях евреев. Как ему самому не надоест?

На этот раз он старался ничего не пропустить. Евреи убили Столыпина, сделали Октябрьскую революцию, прикончили царскую фамилию, разгромили Добровольческую армию, уничтожили цвет русского офицерства, расстреляли Колчака, опрокинули в море Врангеля, ограбили крестьянство через продотряды, ввели нэп, повесили Есенина, застрелили Маяковского, провели коллективизацию и раскулачивание, создали ГУЛАГ, построили Беломорканал, ДнепрогЭС и Магнитку, снесли храм Христа Спасителя, развязали вторую мировую войну, подкупив Гитлера, спровоцировали Освенцим и Бухенвальд, пытались отравить Сталина и всех его соратников на букву «Ш»: Шверника, Шкирятова, Штеменко, затеяли перестройку и гласность, развалили социалистический лагерь, уничтожили Байкал, Волгу, Аральское и Каспийское моря, взорвали Чернобыль, разрушили Берлинскую стену...

— А где были русские? — послышался из зала чей-то звонкий, насмешливый голос.

— Как где? — опешил Морошкин.

— Ну где они были, когда евреи творили все эти чудеса? Где был маленький добрый народ, в какой щели скрывался? — измывался наглый голос.

Морошкин взвыл, дернулся, вторично полетел с ящика и пропал.

— Позор!.. Позор!.. — захлебывался зал.

— Мужчины!.. Где вы?.. Примите меры!.. — пронзительно закричала соседка Ивана Сергеевича — зеленоглазый Ежик.

Мужчины уже принимали меры. В углу зала шла потасовка. Потом толпа навалилась, кого-то сдавила, скрутила и потащила из зала. Иван Сергеевич так и не углядел нарушителя.

Но Председательствующий со своего места видел джинсового парня с молодой белокурой бородой и румяными

скулами и посочувствовал ему. Его самого безмерно раздражала низкая, презренная манера валить все на пришельцев. Татары, поляки, французы, немцы, евреи... Кто был виноват в бесконечных русских бедах? Только не коренные жители страны. Они никогда ни за что не отвечали. Разве позволил бы француз считать кого-либо ответственным за дела своей страны, кроме французов? Да он бы со стыда сгорел. А у нас ни капли самоуважения, гордости — сломанный хребет, растоптанное достоинство. Сейчас этого смелого и симпатичного парня добивают в верхней уборной ЦДЛ. Глядя в зал холодными, спокойными глазами, Председательствующий спросил себя: а мог бы он расстрелять эту гадящую и кровожадную свору — своих сообщников? И ответил убежденно: с наслаждением.

Наверное, потому, что в жилах Председательствующего текла древняя кровь Долгоруковых, он был свободен от расовых предрассудков и расовых пристрастий. До недавнего времени он допускал, что можно будет вообще обойтись без погрома. Большой чести с евреями пока еще никто не нажил: ни Гитлер и его окружение, ни Рюмин с процессом врачей-отравителей, ни Герои Советского Союза: Насер и маршал Омар, ни шустрый король Хусейн, ни иракский вождь-президент, считавший, что атомная бомба у него в кармане, даже Эйхман не отсиделся в Южной Америке. Лозунги лозунгами, они необходимы, ибо укрепляют дух, дают перспективу, помогают решить множество побочных задач, но переход от слов к делу — другой вопрос. И лишь недавно он понял, что без великой резни не обойтись. Свое веское слово сказал вождь-президент Ирака. Он запретил нам принимать закон об эмиграции, чтобы уезжающие евреи не селились на оккупированных территориях. А без закона об эмиграции не могут быть получены торговые привилегии от США. Замкнутый круг. Нет, не замкнутый. Есть евреи — есть проблемы, нет евреев — нет проблем. Между советским народом и американскими товарами затесались евреи. Стало быть, от них надо изба-

виться. Тогда можно принять закон об эмиграции, и к нам придет изобилие. Понимает ли это Буш? Кто его знает? Впечатление такое, что он вообще равнодушен ко всему, кроме собственного здоровья. Европейские лидеры Миттеран и Коль — амбициозные посредственности, которым безумно хочется войти в историю: первому — как создателю европейского дома, второму — объединителем Германии, — предадут евреев с той же легкостью, с какой предали Литву. Любопытно, что исторические примеры ничему не учат, призрак мюнхенского позора не остановил новооявленных Даладье и Чемберлена. Значит, евреи обречены. Но до этого ему надо решить несколько локальных задач: стать Председателем Патриотического онкоцентра и утвердить его платформу.

Расправа над бунтовщиком выпустила пар из толпы, и Председательствующий, пользуясь мгновениями расслабленного затишья, предложил выбрать главу Центра. Аудитория завелась с пол-оборота. Из тысячи луженых глоток прозвучало его имя. Попытаться сообщить происходящему хоть какое-то подобие парламентаризма было делом зряшным. Восторг, неистовство, радение, религиозный экстаз, слезы любви, крики «Ура!», «Виват!», «Слава!», «Хайль!» угрожающе раскачали люстру. Даже Аршаруни со своим матюгальником стал не слышен. И все-таки Председательствующий заставил их поднять руки, не поленясь спросить: «Кто за»? Против? Воздержавшиеся?» — и упростил свое звание, став Председателем.

Поблагодарив избирателей за доверие и поклявшись быть до последней капли крови верным святому делу ПОЦа, он предложил утвердить платформу общества: Держава — Армия — Народность — Православие — Коммунизм.

Предложенный ассортимент был так разнообразен, что собравшиеся растерялись, а это входило в его намерения. И все прошло бы без сучка и задоринки, если б не Ефим Босых. Он не растерялся, ибо был застрахован от всех внешних воздействий глубокой и безостановочной внутренней

работой. Он поднялся и молча пошел к трибуне еще более мрачный, чем в начале заседания. Председателя кольнула мысль, что карасиный заступник слегка тронулся. Он и прежде не был весельчаком, а сейчас вовсе разучился улыбаться. В тени громадного выпуклого лба почти скрылся мысок усохшего личика. Мрачно сжатый рот раскрывался с видимым трудом, и это придавало угрюмую значительность его невразумительной, косноязычной речи. Председателя всегда изумляло, как может человек, так дивно сочетавший слова на бумаге, терять над ними власть в устной речи. Вот и сейчас, поднявшись на трибуну, он долго вертел в руках какие-то бумажки, прятал в карман, доставал снова, мял, иные рвал в клочья. У Председателя мелькнула надежда, что он забыл подготовленную речь. Нет, Босых убрал все бумажки, тоскливо посмотрел в зал, оглянулся на президиум и уронил мрачно:

— Отруба добавьте! — вздохнул и пошел с трибуны под бешеные аплодисменты зала, не понявшего, что он имел в виду.

Но Председатель прекрасно понял. Босых не признавал ни одной русской революции, кроме крестьянской реформы 1861 года; царь-жертва Александр II был его солнцем, убиенный Столыпин — кумиром, а отруба — единственной формой хозяйствования, годной для русского мужика.

— Я думаю, нет нужды расширять формулу, — сказал Председатель, любовно и улыбочиво похлопав Ефиму. — Отруба в ней подразумеваются, ибо в них естественно находит свое выражение народность сподобившегося благодати русского крестьянина. Мы не Швеция, не Южный Йемен, не Антильские острова, мы не поступимся своей самобытностью. Через отруба в коммунизм — вот наш путь, другого не дано. Кто воздержался, прошу голосовать «за», кто против, прошу воздержаться. Итак, кто за то, чтобы сохранить отруба в подтексте? — Он резко вскинул правую руку — вверх и чуть вперед.

Жест, напомнивший бодрое гитлеровское приветствие, а не скучный знак безразличного согласия, увлек аудиторию, и все единогласно оставили отруб в подтексте.

Удивительно, но пребывающий в парениях, отрешенный Босых понял, что его надули, и начал медленно вырастать из рядов. Возникла угроза ненужных осложнений, но неожиданно пришло спасение.

Оно явилось в образе высокого мужчины в собольей шубе на чернобурых лисах и в сияющем лунным светом песцовом малахае. Другого за подобный наряд разорвали бы на куски, но любимого художника Руслана Омлетова зал встретил восторженно (несколько нервных девиц кинулись за тюльпанами). Омлетов только что прилетел с Аляски, где писал портрет губернатора штата. В саквояже у него был сувенир от благодарной модели — полупудовый слиток золота, найденный первыми старателями на Юконе. Он явился сюда прямо с аэропорта, потрясенный очередным надругательством. Купив в киоске «Известия», он обнаружил, что на выборах в Академию художеств ему опять накидали черных шаров — двенадцатая по счету попытка стать академиком провалилась. Омлетов был известен друзьям и недругам как человек, умеющий держать удар, но этот подлый выпад надломил ему душу. Он поджимал свой маленький надменный рот, чтобы не разрыдаться.

Председателя удивляла такая чувствительность в железном человеке. Омлетов был миллиардер (в Европе лишь состояние наследников Онассиса все еще оценивалось выше), он построил шестиэтажный дворец (три этажа снаружи, три под землей — атомное убежище), в гараже стояли «роллс-ройс», два «мерседеса» и гоночный «фerrари», его коллекция икон и культовых предметов превосходила сокровищницу Ватикана, он носил звание Героя Социалистического Труда, народного художника СССР, лауреата всех существующих премий, был ректором Художественной академии, профессором, доктором искусствоведения, имел

доступ в Кремль в любое время дня и ночи по специальному пропуску, но считал себя и заставлял считать других неудачником, гонимым бунтарем, отважным безумцем, почти диссидентом. Он и правда терпел поражения там, где переставал действовать партийно-государственный нажим: до очередного фиаско в академии он провалился на выборах в Верховный Совет, хотя в его распоряжении был не только матюгальник Аршаруни, но и радиосиловая установка, которой в дни войны пользовались на фронте для морального разложения войск противника. Два вынесенных в нищью землю рупора призывали немецких солдат сдаваться в плен, где их ждет «прекрасное обхождение, жирный суп, сытная еда и увлекательная работа». Хотя голос установки распространялся чуть ли не на полфронта, немецкие воины не спешили воспользоваться обещанными преимуществами, сходным образом поступили избиратели, не внявшие голосу правды, что Омлетов спасет Россию. Сам он опускал бюллетень в другом избирательном округе, поэтому не набрал ни одного (!) голоса. Это так ошеломило Омлетова, что он едва не лишился художнического дара. Он привык считать себя любимцем народа — очереди на его выставки в Манеже нередко сплетались с хвостом, тянущимся к Мавзолею, и случалось, что желавшие увидеть «желтый профиль и красный орден на груди» оказывались перед полотнами кремлевского Рубенса, а почитатели его таланта — под мраморными сводами склепа. Чудовищным усилием воли Омлетов сдержал нокаутирующий удар, который уложил бы на месте зубра, и создал великое полотно 2 км на 4 км, куда поместил всех выдающихся деятелей современности от Пол Пота до Полозкова; поскольку он рисовал их с фотографий по клеточкам, затем раскрашивал, все вышли очень на себя похожими. Трудная, но творчески интересная поездка на Аляску (кроме золота и мехов он привез — вот уж не ждал! — несколько превосходных черных досок XII века) окончательно вернула ему форму. И вот, едва он воспрянул духом, такой убийственный свинг...

Пока Омлетов поверял залу свои горести и уязвления, девицы, сбегавшие за букетами, осыпали его лепестками тюльпанов и нарциссов. Приятно, конечно, чувствовать любовь и сочувствие народа, но и самые благоуханные цветы не заменят академических лавров, и Омлетов скис, поник, замолчал.

И тогда раздался звучный голос Председателя:

— Дорогой Руслан, зачем тебе эта замшелая, давно утратившая всякий престиж лавочка? Мы создадим Российскую академию, и ты будешь президентом. Согласен?

Омлетов хорошо держал удар, но лаской не был избран. И вечный борец, протестант, бунтовщик заплакал, хорошо, по-русски заплакал — с воем и соплями. Плача и сморкаясь, он пошел к столу президиума.

Председатель выступил ему навстречу. Они обнялись.

— Я напишу твой портрет, — сквозь слезы пообещал Омлетов и, подумав, добавил: — Бесплатно.

— Это исключено! — отрезал Председатель, чьих предков прекрасные княжеские лица писали Рокотов, Левицкий, Кипренский и Репин.

Что творилось в зале — не поддается описанию. Незнакомые люди обнимались и целовались солеными от умиленных слез губами. Иван Сергеевич, не удержавшись, чмокнул Ежика в горячую щеку, и она приняла это как должное.

Не разжимая объятий с Омлетовым, Председатель крикнул в зал:

— До новой встречи, братья!

Собрание было закрыто, но люди не расходились. Молодежь сговаривалась разгромить пивной зал ЦДЛ, пожилые обсуждали сочувственный адрес Омлетову и гневную отповедь президиуму Академии художеств. Великий поэт и общественный деятель России Янис Шафигулин предлагал послать туда замаранные мужские кальсоны как символ той грязи, в которую академия сама себя закопала, провалив Омлетова. У главного редактора «Нашего соотрапезника» был, несомненно, комплекс нижнего белья.

— А где их взять? — спросил о грязных подштанниках гусар-монархист.

— Я дам свои, — ответил Янис Шафигулин.

Иван Сергеевич обратился к Ежику:

— Хотите, я вас отвезу?

Она засмеялась.

— Куда?

— Куда скажете. Я с машиной.

— Да мне до Гнесинского рукой подать.

Она кивнула своей рыженькой головой и убежала.

Иван Сергеевич растроганно и нежно смотрел ей вслед.

— А я тебя ишу, — раздался голос над ухом.

Он обернулся и увидел черного рыцаря.

Рослый человек был затянут в черную кожу и черное сукно, с плеч свешивался черный бархатный плащ. Большой басконский берет почти скрывал лицо. На груди блестела массивная серебряная цепь.

Он был не то из оперы Верди, не то с картины старых голландских мастеров. Не может быть, чтобы этот сказочный человек обращался к нему.

— Что с тобой, Сергеич? Утомился с непривычки?

Господи, да это Афанасьич! Кем же он стал, до каких вершин поднялся, в какие небесные сферы ушел?

И, словно отвечая на его не высказанные вслух вопросы, Афанасьич заговорил с добрым, застенчивым смешком:

— Форму нам выдали. Красивая, да? Я в охране Председателя. Мне черную сотню доверили. У нас целый полк телохранителей. Мушкетерским называется. Но, конечно, не такой, как у Дюмы. У нас танки, артиллерия, вертолеты, радар, все современное оснащение.

Иван Сергеевич сроду не был завистливым человеком, он любил Афанасьича и был рад его возвышению. И все же сердце сжалось болью на краю той бездны, которая вдруг разверзлась между ними. Афанасьич занял достойное его место — сотник личной охраны вождя национального движения, а он остался в своем болоте — пенсионер-дачник,

никому не нужный и не интересный. Он даже здесь чувствовал свою отсталость, многого не понимал. Как презрительно усмеялся зеленоглазый Ежик, когда он спрашивал, кто такой Вова Бланк или Лейба Бронштейн. Он древний человек эпохи «Краткого курса».

— Идем, тебя хочет видеть Председатель.

— Меня? — Бледная усмешка дернула губы Ивана Сергеевича.

— А чему ты удивляешься? Старый, опытный кадр, такие нужны.

Растерянный, сбитый с толку, Иван Сергеевич поплелся за Афанасьичем.

Вблизи Председатель производил еще большее впечатление, чем со сцены. Около него ощущался какой-то бодрящий морозный холодок, исходивший от бледных скул и серебристых глаз.

— Вот мой друг, о котором я говорил, — в свободной форме доложил Афанасьич, и сразу почувствовалось, как близко стоит он к верхушке власти.

— Иван Сергеевич, не правда ли? — чарующе улыбнулся Председатель. — Вы обманули меня, Афанасьич, вашему другу далеко до пенсионного возраста.

— Эх, если бы так!

Доброжелательность этого большого человека одарила Ивана Сергеевича внезапной раскованностью.

— Иван Сергеевич, ваш друг сказал, что вы наблюдательны. Вы не заметили тут одну девушку? Запевалу хора. С волосами светло-рыжими и короткими, как у куницы.

— Очень даже заметил. Впрямь куничка.

А он-то, дурак, прозвал ее Ежиком. Вот что значит по-настоящему хватчивое око!

— А могли бы вы ее найти? — с обезоруживающей простотой спросил Председатель.

— Когда пожелаете? — вскинулся Иван Сергеевич.

— Ну, я вас не ограничиваю сроком. Дело непростое.

— Сегодня вечером годится?

Иван Сергеевич никак не предполагал, что такой сильный человек может растеряться совсем по-детски. Он даже присел от удивления.

— Вы действительно профессионал высшей пробы! Машина нужна?

— Я на колесах.

— Возьмите мою. «Мерседес» водите?

— Хоть «феррари», хоть «макларен».

— Афанасьич, вы не преувеличили. Ваш друг — чудо.

— Куда доставить?

— Можно очистить Дом литераторов, — раздумчиво сказал Председатель. — Нет, лучше в мою резиденцию. — Он протянул Ивану Сергеевичу карточку и связку автомобильных ключей.

Иван Сергеевич ухватил взглядом адрес, понял, что резиденция находится в Кремле, опустил карточку в карман пиджака, шутливо щелкнул каблуками, подмигнул Афанасьичу и, позвякивая ключами, пошел выполнять задание.

Он был опять нужен, он вернулся в строй...

7

В первом круге ада в нескончаемом хороводе неслись души грешников, повинных в прелюбодеянии. Это был далеко не самый страшный грех и далеко не самое тяжкое наказание. Иные были по-своему счастливы, несмотря на изнурительность кругового полета, пронизывающий ветер, невозможность хоть на миг остановиться, перевести дыхание, испытать покой неподвижности — злые вихри гнали дальше и дальше, и при этом не было главного в движении: овладения новым пространством, они бесконечно возвращались на круги своя. Но Паоло и Франческа не обменяли бы этого бешеного кружения ни на какие радости рая поврозь, — в смерче, в беде, опаляющем холоде, секущем ветре, обрывающем дыхание, они были вместе, в нерасторжимом, не прерывающемся ни на миг объятии, и

не нужно им иного государства. Так же счастливы были грешные дети Ромео и Джульетта с прекрасными лицами меловой белизны от выжегшего всю кровь яда. Не менее, а может, и более счастлива была еще одна странная пара, от которой остальные грешники брезгливо отстранялись (если же кто ненароком приближался, пара начинала злобно лягаться); странность пары заключалась все же не в агрессии, а в том, что, в отличие от других пар, соединявших мужчину и женщину, здесь сплелись в любовном объятии двое усатых мужчин: Сталин и Гитлер. Задрапированный в грязную простыню Сталин держал в объятиях обнаженного Гитлера в узкой набедренной повязке, едва прикрывавшей срам, вернее, отсутствие такового. Сталина, олицетворявшего в паре мужское начало, женский лобок возлюбленного, не оскверненный излишними выпуклостями, не только не смущал, но радовал, ибо давал иллюзию венерина холма. Прижимаясь к атласному заду Гитлера и захватив пятерней его шелковистый передок, Сталин мог обманываться видимостью женской физиологии. Отличие этой пары от других участников хоровода-смерча состояло еще в одном: те были постоянными обитателями первого круга, а Сталин с Гитлером включались в безумную карусель лишь раз в неделю, в остальные же дни принимали муки поврозь в других кругах, где карались убийцы, разбойники, изуверы, предатели, злодеи всех мастей; там они лизали раскаленные сковородки, вмораживались в лед, глодали собственные кости — словом, занимались теми утомительными глупостями, которые мог измыслить жестокий, но ограниченный ум Сатаны. Князь тьмы несколько побаивался этой пары, справедливо видя в каждом из них возможного преемника на своем охраняемом драконами и гарпиями престоле. И то, что он отпускал их на день в круг первый, папахивало заискиванием. Впрочем, блага тут не было. У Гитлера в послужном списке значилась греховная связь с Ремом, которого он потом уколошил, у Сталина — групповое изнасилование (в паре с Берией) вдовы маршала Бекаса — ее тоже прикончили.

Даже самые чудовищные пытки, если они повторяются без счета, как-то притупляются — пластичная человеческая натура приспособляется к ним, тем более что мучениям подвергается не живая и чувствительная плоть, а пустотелая душа, испытывающая, как бы сказать, теоретические муки. Другое дело, что все это однообразно, надоедливо, а главное, смертельно скучно. Ад — пытка скукой, самый близкий образ его угадан, естественно, русским гением, наиболее приближенным к темной сути: деревенская банька с пауками. Но оформлена банька под громадный диснейленд зла. Физические муки нашей пары усугублялись куда худшей болью — тоской друг по другу. Но когда кончались пытки большой процедурной с печами, сковородами, крючьями, пилами, морозильными установками и прочими аттракционами дурного вкуса, они вступали в плотную стихию кругового вихря, сразу находили друг друга и обретали ни с чем не сравнимое счастье, ради которого можно терпеть все остальное.

— Ты слышал последнюю новость? — прокричал Гитлер сквозь завывания ветра. — Германия объединилась. Что я говорил?

— А разве я спорил, любовь моя? — ласково отозвался Сталин.

— У вас тоже хорошие дела — создан нацистский центр.

— Как ты можешь думать о политике, когда мы с тобой? — укорил Сталин. — Опомнись, душенька!

Пристыженный Гитлер взял руку Сталина и потерся о нее носом.

— А у тебя ручки до сих пор кровью пахнут, — умилился он.

— Радость моя!.. Сулико!..

— Хорошо нам с тобой!.. — Но политический зуд не оставлял Гитлера. — Знаешь чертенка третьего круга Чебурашку? Он говорит, что Горбачев повесил у себя в кабинете на Старой площади портрет Полозкова.

— Чепуха, сплетни! — отмахнулся Сталин. — Зачем ему этот мыльный пузырь?

— А чем кончится съезд?

— Ничем, — угрюмо сказал Сталин. — У них все кончается ничем. Импотенты власти! — Глубокое презрение звучало в его тоне. — Неужели тебя волнует эта мелочевка?

— Нет, конечно. Но почему Полозков не назовет свою партию национал-коммунистической? — капризно спросил Гитлер.

— Ты этого хочешь? — Сталин пощекотал ему шею усами. — Я дам указание. А теперь помолчи, балаболка.

Сталин крепче сомкнул объятия и выбросил из головы давно осточертевшие земные дела, которыми он и сейчас должен почему-то заниматься...

ПРИТЧА О МОРДАНЕ

Не помню уже, когда у нас завелся Мордан, вернее сказать, отделился от фона, обрисовался как особь, стал Морданом, а там и кошмаром нашего тихого, дружного двора. Он был сыном управдома, а в те перепуганные времена управдом представлялся всемогущим деспотом, способным казнить и миловать. Знаю, что в иных домах обстояло иначе, там, случалось, обитали люди, которым с высокой горы плевать было на такую мелкую сошку института власти, как управдом. Они даже отказывали ему в этом звучном титуле и называли вязким принижающим словом «домоуправ». Вроде бы одно и то же? Нет, тут есть существенное различие. В слове «управдом» подчеркнут волевой момент правежа. Управа, правление, расправа, бесправие — все это звучит в ударной части слова. В тягучем «домоуправе» акцент падает на слово «дом», что сразу снижает правителя, наместника, диктатора, тирана до ничтожной роли служителя домово́й канцелярии. В соседнем доме, населенном типографскими рабочими, домоуправ был серой мышью, фигурой, чтимой куда меньше нашего общего дворника Валида с парафиновым носом, чистюли и гуманиста.

Но там царил ядреный революционный дух, а у нас тянуло тленцем изнемогающего нэпа, карболовым смрадом тюремных приемных, куда носили передачи, чесночным запахом страха, неуверенности и забитости. Я сам не знаю, почему у нас был такой жалкий дом, где всеми владело смиренное сознание своей вины, хотя виноваты были только в крыловском смысле: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Кому-то хотелось нас кушать и кусали постепенно, что, разумеется, не придавало бодрости остающимся. Бывшие люди (как это ужасно звучит, если

вдуматься), нэпачи, инженеры-вредители, гнилые интеллигенты — на такие категории по жесткой терминологии тех лет делилось население нашего дома. Вне этого реестра оставались сестры-надомницы, делавшие матерчатые цветы, кучер, заведующий шашлычным подвальчиком, цыганская семья (чем они занимались, никто не знал, да ведь быть цыганом — это уже профессия) и семья китайцев: Вэнь работал прачкой, Лю — клеила игрушки из гофрированной бумаги и продавала их на бульваре; и было старичье, неизвестно за счет чего дряхлеющее свою стылую дрожь (ни один из них не назывался пенсионером).

Постепенно мужское население нашего дома, кроме стариков, перемещалось в «казенный дом», а оттуда — в отдаленные студеные земли. Среди моих сверстников воцарялась безотцовщина, что казалось естественным. Я не помню, чтобы кто-нибудь жаловался, возмущался или просто говорил: ах, папа!.. То была форма жизни — результат многократных исторических побудок: молодым родовитым офицерам не спалось, они вышли на площадь, сами не зная зачем, ничего не сделали, но разбудили Герцена. С тех пор и пошло, а последствия всех этих нарушенных снов мы не можем расхлебать до сих пор.

Вон куда завела меня попытка рассказать о паршивом мальчишке, оморочившем наш двор. Его власть над нами шла от отца, а сила угрюмого, всегда глядевшего в землю человека в сапогах до колен, кожаной фуражке и бобриковой куртке питалась социальной квелостью населения нашего дома.

Бугрова-отца мы узнали куда раньше, чем Бугрова-сына. Как потом оказалось, по приезде в наш дом тот последовательно переболел корью, скарлатиной, коклюшем и свинкой.

Бугрова-отца мы боялись. Военные сапоги и кожаная фуражка, упертый в землю взгляд и бодающая воздух голова вселяли робость даже в таких смельчаков, как Алеша Кардовский, внук знаменитого актера, и таких беспечных сорванцов, как Хачек, сын заведующего шашлычной.

Появившись во дворе, Бугров-сын не выказал поначалу тяги к общению. Он терся возле своего крыльца, колошматил палкой по водосточным трубам, оттуда выгрохатывал грязный лед (дело было в исходе зимы), сшибал сосульки, свирепо давил ледок вымерзших луж, что-то орал. Мы рассеянно заметили разрушительный характер однообразных забав большеголового, неуклюжего мальчика с красными толстыми щеками. Интересы он не вызывал.

Наш двор жил содержательной и разнообразной жизнью. Алеша Кардовский всегда что-то придумывал. Раз он появился опоясанный великолепным деревянным мечом, лезвие было покрашено серебряной краской, а рукоять — золотом. Все мальчишки тоже вооружились чем попало, и мы провели упоительный рыцарский день с турнирами, дуэлями, Куликовской битвой, завершившейся довольно вульгарной дракой, в которой этот меч сломался. В другой раз он принес бумажные полумаски, и мы устроили бал-маскарад. Он же совершил первый парашютный прыжок с крыши дровяного сарая; парашютом служил старый дождевой зонтик.

Красавица цыганка Аза — тонкое смуглое личико и черные глазищи в пол-лица — была постоянно занята туалетами. Она немножко картавила:

— У меня тако пляте, тако пляте! И рюшики, рюшики, рюшики!..

Она доставала из кармана цветную шелковую ленту и навивала себе на шею, вплетала в черные вьющиеся волосы или накручивала на руку от кисти до плеча, жеманничая и что-то тихонько напевая. А уж плечами трясла — как только косточки не сыпались!

Был у нас и филателист — Яша. Марки он хранил в папиросной коробке «Таис». Показывая желающим свою скудную коллекцию, Яша священнодействовал. Осторожно, послюнив палец, выуживал он марку из коробки.

— Это Конго, — говорил с придыханием.

На марке был изображен бегемот с разверстой необъятной пастью.

Затем шла марка с крокодилом — Египет, со слоном — Камерун, с кенгуру — Австралия, остальные были не так интересны: королевские профили разных стран. Мы просили:

— Покажи Папскую область.

Наступал самый торжественный момент. Марка Ватикана была маленькая треугольная, сильно замусоленная и, по словам Яши, необыкновенно редкая и ценная. Он отдал за нее чуть не половину своей коллекции. Эту марку он брал пинцетом, подаренным ему дедом-врачом, и осторожно опускал на ладонь. Дотрагиваться до нее категорически запрещалось. Мы почтительно смотрели на грязно-желтый кусочек бумаги с каким-то неясным изображением и, вверяясь Яшиной одержимости, цокали языками.

Простодушный Хижняк собирал фантики. Его мать торговала с лотка сладостями у церкви Успения Богоматери, и у Хижняка хватало конфетных оберток. Он и вообще был куда более удачливым коллекционером, чем Яша. Игрой в фантики увлекался весь двор, а Хижняк был непобедим и в «пристеночек» и в «расшиши». Но он не знал коварной игры «с ладошки», где выступающий первым фатально обречен на проигрыш, и в один черный день спустил всю свою коллекцию.

А вот длинновязая белобрысая и светлоглазая девочка Хейли ничем не увлекалась, но ужасно любила присутствовать. Более благодарного зрителя и слушателя не сыскать. Шумно дыша полуоткрытым ртом, она торчала возле филателистов, производивших свои хитроумные обмены, возле фантичников, лупивших медным пятакон по сплюснутым конфетным конвертикам, старательно хлопала в ладоши, когда цыганка Аза трясла плечами; закатывала светлые речные глаза при очаровательных ужимках этой модницы, сопровождаемых захлебным лепетом «такое пляте, таки рюшики!», но больше всего она любила смотреть, как Хачек гоняет голубей, а маленький Ли запускает бумажных змеев. Она стояла, задрав голову с отвалившейся челюстью

и опрокинутыми глазами в столбняковой завороченности. Алеша Кардовский называл ее в такие минуты «вертикальная покойница». Но без Хейли, без ее ошалелой захваченности, всем нашим мероприятиям чего-то сильно недоставало бы. Она была катализатором, сама ни в чем не участвовала, но активизировала происходящее.

Стоит сказать несколько слов о Хачеке-голубятнике и Ли-змеемоделисте. Я не знаю, гоняют ли армянские мальчишки голубей, Хачек, во всяком случае, не имел об этом ни малейшего понятия. Дворник Валид устроил ему на помойке голубятню — клетку с откидной дверцей. Это скромное помещение, чаще всего пустующее, изредка населялось голубкой, которую Хачеку покупал отец на Трубном базаре. Хачек горделиво показывал новоселку, как-то очень ловко, профессионально держа ее в руке, затем, выждав появление голубиной стаи в небе над соседним домом или над куполами церкви Скорбящей Богоматери (вокруг нас обитали настоящие голубятники), подкидывал голубку вверх. Случалось, она тут же опускалась на кормушечную полку голубятни, но чаще взмывала в небо и летела к стае. Хачек пронзительно свистел в два пальца, сам же прятался за помойку с концом веревки в руке. Мы тоже прятались кто куда, лишь Хейли замирала в столбняке, но ее недвижимая фигура не могла спугнуть голубей опасным проявлением жизни. Хачек, очевидно, ждал, что голубка завлечет чужих голубей в ловушку, но всякий раз сизари и чистые противников сманивали голубку. Хачек не переживал потери, любя обряд гона и находя какое-то странное удовлетворение в самой неудаче. «Опять обхитрили, черти полосатые!» — говорил он гортанным голосом, в котором звучала не обида, а восхищение ловкостью соперников. Хачек считал, что он сам малый не промах и непременно рано или поздно сманит все стаи, козыряющие в небе.

В отличие от него, змеемоделист Ли, с глазами-щелочками, был виртуозом своего дела: его хвостатые, ярко раскрашенные змеи стремительно взмывали ввысь, па-

рили и кувыркались над крышей дома, а Ли управлял их полетом, сжимая в кулачке хвостик длинной крученной веревки.

И был среди нас мозгляк, которого мы снисходительно допускали в наше избранное общество: мелочь пузатая, еще под стол пешком ходит, а уже хвостун. Он уверял, что родители скоро купят ему шведку. Вначале мы и внимания не обращали на его лепет, а потом кто-то узнал, что шведка — низкорослая гривастая лошадка, вроде пони, только еще меньше и мохнатая. Тут мы всполошились: ну-ка и впрямь купят. У его отца когда-то собственный выезд был. Надо же, только развежишься: у Хачека очередную голубку увели, Яшу опять на обмене марок надули, у Хижняка фантики сперли, Хейли коленку ушибла, словом, никто не имеет над тобой никакого преимущества, как вдруг приковыливает этот гаденыш и картавит:

— Шведку... шведку почти купили.

И прямо жить не хочется. Все-таки не удержишься, спросишь:

— Дашь покататься?

— А ты мне чего дашь?

— В рыло.

Не помню почему, но я как-то пропустил явление Мордана народу. Свою кличку, единственно возможную, он получил до того, как состоялось знакомство. Во дворе все происходит быстро, и, когда я столкнулся с ним, он уже чувствовал себя старожилом. Мордан перехватил меня по пути на помойку, где Хачек гонял голубей, и, кривляясь, пританцовывая, стал орать:

— Большой, а без гармошки!.. Большой, а без гармошки!..

Выздоровев, он как-то раздался, распахнулся, шапка на затылке, вид бравый, вполне годный для получения по уху.

— Большой, а без гармошки! — надрывался Мордан.

Я не понимал дразнилки. Какой же я большой, может, на год всего старше Мордана, ну, чуть повыше ростом. Но если б у меня даже была гармошка, мне бы не

растянуть мехов слабыми моими руками. И наконец, кто во дворе играет на гармошке? Даже среди взрослых парней нет гармонистов, один бренчит на гитаре, другой на балалайке, есть еще студент музыкальной школы, он на скрипке учится. А гармошка — это деревенский инструмент. Бессмыслицу несет Мордан, и обижаться нечего.

Но оказывается, оскорбление вовсе не обязательно должно бить в цель, чтобы уязвить человека. Важны намерение и подача. Я начал раздражаться уже по пути к помойке, а там окончательно рассвирепел. Услышав idiotские выкрики Мордана, мои друзья с удивительной легкостью предали меня и стали подпевать.

— Большой, а без гармошки! — хихикнул Хижняк.

— Большой, а без гармошки, — бестемпераментно констатировала Хейли.

— Большой, а без гармошки, — вынув изо рта два обмусоленных пальца, прогортанил Хачек.

И даже кротчайший, отвлеченнейший филателист Яша молвил с задумчивым осуждением:

— Большой, а без гармошки.

Один только Ли молчал, потупив голову.

— Ребята, ну чего вы?.. — проговорил наконец я. — С ума посходили? Разве у кого есть гармошка?

— Большой, а без гармошки! — взвизгнул Мордан.

— Большой, а без гармошки, — подтвердила Хейли.

— Большой, а без гармошки! — лыбился Хижняк.

— Большой, а без гармошки, — осудил Хачек.

— Большой, а без гармошки. — В голосе Яши пробились нотка сочувствия.

— Мне купят шведку, — упало в короткую тишину, и это сообщение доконало меня.

Людам лошадей покупают, а у меня даже гармошки нет!.. Да что это со мной, какая еще гармошка? И меня опутала липкая мордановская глупость. Надо с этим кончать. Я поступил простейшим образом — дал Мордану в

нос, похожий на свиной пяточок. И едва отнял руку, как оттуда двумя струйками потекла кровь. Мордан задрал голову и, оглашая двор истошным ревом, потащился к своему подъезду.

Вечером нас навестил управдом Бугров, и одним нравственным устоем: ябедничать нельзя — в моей душе стало меньше. Спрятавшись в кухне за плитой, я видел, как дед провожал его к двери.

— Принимайте эти капли, и все пройдет, — сказал дед.

На миг у меня мелькнула спасительная мысль, что Бугров обратился к деду просто как к врачу.

— Сам виноват, — прохрипел Бугров. — Зачем вышел без кашне.

Дверь захлопнулась за ним.

— Он вышел без кашне! — потрясенно проговорил дед и застучал костяшками пальцев в лоб. — Почему, почему мы не остановились в феврале?.. — и, резко оборвав патетику, сказал устало: — Пойдем поговорим.

Мордан не только наябедничал, но и сильно преувеличил свои уязвления. Деда не интересовало ни как все было на самом деле, ни причина распри.

— Не смей его трогать. Я не хочу больше объясняться с Бугровым.

— А если он опять пристанет?

— Отойди. Не связывайся с ним. Играй с другими детьми.

— Я с ним не играл. Он сам полез.

— Не обращай внимания. Ему надоест — отстанет.

— А почему я должен ему уступать?

— Потому что твой папа сидит в тюрьме, а его папа сидит у нас на голове. Ты что, не можешь понять, кто тут хозяин?

Я этого правда не мог понять, я думал, что мы все тут хозяева, вся наша ватага.

— Он мне морду будет бить, а ему ручки целовать?

Казалось, глаза деда выкатятся из орбит.

— Нет! Тогда ты его убьешь. А я убью Бугрова. И твоя мама будет носить передачу уже троим. Мы с тобой, по крайней мере, будем знать, за что сидим.

Я дал слово не трогать Мордана, уверенный, что он сам больше не полезет. Он хорошо получил, опозорился перед всем двором и не захочет повторения. Я плохо знал Мордана. Когда на другой день я вышел во двор, он встретил меня ликующим воплем:

— Большой, а без гармошки!

И наше бедное стадо подблеяло Мордану:

— Большой, а без гармошки!

Я сделал вид, будто это меня ничуть не трогает, и заговорил с Хижняком о фантиках новых конфет «Дюймовочка».

— Большой, а без гармошки! — стучал в ушные перепонки ненавистный голос.

— Большой, а без гармошки! — уныло подтягивал хор.

Я быстро шагнул к Мордану и замахнулся. Он сразу громко и бесстыдно заревел.

— Чего дерешься?.. Скажу отцу!..

— Вали отсюда!

Но Мордан уже понял, что я его не ударю. Он перестал сочиться, вытер сопли и нагло залыбился всей толстой рожей.

— Большой, а без гармошки!

Наверное, я нарушил бы слово, данное деду, если б внутри меня не возникла какая-то слабина, чувство неполноценности, будто я и впрямь обделен чем-то важным. Меня доконал не Мордан, а его подголоски — мои друзья, позволившие превратить себя в покорное стадо.

Отвлек Мордана маленький Ли, выбежавший во двор с новым змеем в руках.

— Ходя, соли надо? — деловито спросил Мордан.

Ли посмотрел на него из своих щелок, и было в его взгляде что-то необычное, не из обихода детства, а из недоступной нам тайны — мольба, деликатная угроза, ну, это может, слишком, — предупреждение. Я твердо знаю, что

все мы ощутили ознобливающий вей чего-то нездешнего, все, кроме Мордана.

— Чего уставился?.. Моя не прачка, моя шпиона?..

— Пожалуйста, — тихо и нежно проговорил Ли, — не надо. Спасибо... извините.

Мордан загоготал.

— Во дурной!.. Ходя, соли надо?

— Ходя, соли надо? — с отсутствующим видом сказала Хейли.

— Ходя, соли надо? — приснул Хижняк.

— Ходя, соли надо? — печально пропел Яша.

И тут со мной случилось что-то непостижимое: кто-то разжал мне челюсти и вытянул из гортани оцарапавшие ее грязные слова:

— Ходя, соли надо?

Ли внимательно посмотрел на каждого из нас.

— Я не буду запускать змея. — Вот, оказывается, в чем заключалась та страшная месть, на которую намекал его моляще-угрожающий взгляд.

Похоже, Мордан тут только заметил хрупкое сооружение из гофрированной цветной бумаги, которое Ли держал под мышкой. Он ухватился за ленточный хвост.

— Пусти, пожалуйста, лазолвешь. — Ли, как и все китайцы, не выговаривал буквы «р».

— Лазолвешь! — покатывался Мордан. — Говорить сперва научись! Чего прищурился, ходя? — И он сильно дернул змея за хвост.

— Не надо, — попросила Хейли. — Правда, разорвешь.

— Заткнись, чухна белоглазая! — И Хейли получила новое имя.

Мордан снова потянул за ленточку, гофрированная бумага стала с хрустом разглаживаться. Змей все вытягивался, какой же он длинный! — потом вовсе утратил свою красивую ребристость, стал колбасой и вдруг лопнул сразу в нескольких местах. Ли отпустил его огнистую голову, труп змея упал в талый снег.

Ли подошел к Мордану:

— Дай мне, пожалуйста, соли.

— Какой тебе еще соли?

— Ты отнял у меня змея. Дай мне соли.

— Он что — дурной? — спросил Мордан.

— Ли очень дульной, когда ему плохо. Вот здесь плохо. — Ли показал на грудь.

А потом он что-то сделал, мы едва уловили короткое стригущее движение двумя кистями, Мордан сложился, как перочинный ножик, отрыгнул желчью и, почти падая с каждым шагом, заковылял к подъезду.

— Ли, хочешь, отдам тебе шведку? — послышался с земли голос.

Ли наклонился, поцеловал лошадника в макушку и убежал.

Мордан появился во дворе через неделю. А еще раньше исчезла семья Ли. Исчезла, как не бывала. Да и были ли они в самом деле: стриженный бобриком Вэнь со стопкой чистых рубашек на ладони, большая Лю с крошечными ступнями, вся жужжащая, трещащая, шелестящая диковинками из сухой бумаги, щепочек и сургуча, и был ли маленький повелитель змей, добрый и гордый мальчик, не прощающий зла?

Мордану понадобилась еще одна крепкая затрещина, чтобы окончательно подмять под себя двор. Алеша Кардовский был самый большой, сильный и самый добродушный из нас. Для него Мордан приготовил стишок: «Немец; перец, колбаса, тухлая капуста, слопал в »супе волоса и сказал: как вкусно!» Пока в этой нелепице упражнялся один Мордан, Алеша просто не обращал внимания, но, когда к солисту присоединился хор, он решил выяснить отношения.

— Что это значит? — спросил он нас. — Какой я немец?

Мы молчали, подавленные собственной глупостью, а Мордан завел как ни в чем не бывало:

— Немец, перец, колбаса, тухлая капуста...

— ...слопал в супе волоса и сказал: как вкусно!.. — тупо подхватили мы.

«Мы», ибо и мой голос звучал в хоре. Что мною двигало? Желание быть как все? А почему Алеша никогда не дразнил меня? Очевидно, он принадлежал к тем избранным натурам, которые лишены стадного чувства. И все же я и сейчас не понимаю до конца, почему мы пошли на поводу у Мордана. Дети многое делают из духа подражания. В отличие от самого Мордана, мы не вкладывали злого чувства в придуманные им дразнилки и прозвища, а подпевали ему за компанию. Все кричат, и я кричу, зачем мне быть в стороне. Но ведь раньше нам не требовалось хорошее подтверждение нашего единодушия. Каждый занимался своим, но каким-то образом это свое становилось общим и объединяло нас. Мордан пробудил что-то рабье в нас и превратил в стадо.

Алеша сделал попытку пробиться к разуму Мордана.

— Ты имеешь в виду моего отчима? Хансены — выходцы из Дании. Но я-то не Хансен, я Кардовский.

— Немец, перец, колбаса, тухлая капуста!.. — ликующе завел Мордан.

— ...слопал в супе волоса и сказал: как вкусно! — от души грохнули мы.

Ссылкой на таинственного Хансена Алеша только напортил себе. Мы понятия не имели, что у него где-то есть отчим, да еще выходец из Дании. Он никогда не бывал в нашем доме. Выходит, Мордан действительно что-то пронюхал.

Мне не забыть затравленного выражения Алешиного лица. Достаточно сильный, чтобы расправиться со всей нашей тщедушной бандой, он испугался нас. Испугался непробиваемой глухоты, безнадежной тупости. И заплакал. Беззвучно, одними глазами. И от стыда за свою слабость, от беспомощности и чувства потери ударил Мордана. Тот привычно накачал воздух в легкие и разразился душераздирающим ревом.

Позже мы спрашивали Алешу, приходил ли управдом Бугров к его деду. Он отмалчивался. Он вообще стал крайне сдержан и молчалив, не участвовал больше в наших «утехах и днях», а, направляясь по своим делам, быстро пересекал двор, успевая получить вдогон от Мордана «немца-перца-колбасу». Он не оборачивался.

Мордан торжествовал победу. Редкий случай возвышения в ребячьей компании не за счет силы, а за счет слабости. Хотя теперь он, случалось, поколачивал таких хиляков, как Яша, любитель шведок или безответная Хейли. Он открыл в каждом из нас какой-то изначальный ущерб: Хижняк оказался Хохландией, Хачек — Карапетом, Хейли — чухной белоглазой, Аза — вшивой цыганкой, Алеша — немцем-перцем, Яша — зидой-гнидой, были еще недорезанные буржуи и гнилая «интеллихенция». Один Мордан был без изъяна и щербинки.

Он ничем не интересовался, ни во что не играл, ничего не собирал, не гонял голубей, не держал домашних животных, зато всем мешал. Стоило появиться Азе с очередной ленточкой, он начинал чесаться и орать, что она напустила на него вшей. Девочка с плачем убегала. Яше он настоятельно советовал уехать «в свой Бердич».

— В Бердичев, — благожелательно поправляла Хейли, за что получала тычок, «чухну белоглазую» и распоряжение как можно скорей укатывать в Чухландию.

Мордану не хватало жизненного пространства, он хотел избавиться от посторонних. Кое-какого успеха он в этом достиг. Дворник Валид, которому Мордан каждый день показывал свиное ухо, перестал появляться в нашем дворе, где в скором времени воцарилась мерзость запустения.

Отняв у нас привычные игры, Мордан одарил нас новым развлечением. Теперь мы каждый вечер травили возвращающегося с работы доктора Лисюка, «зиду маленькую», как окрестил его не слишком изобретательный в прозвищах Мордан.

Я прожил долгую жизнь и всего навидался, но никогда не встречал более жалкой и горестной фигуры, чем доктор Лисюк. Наверное, из-за этой жалкости его и преследовали так беспощадно. Порой мне кажется, что травле подвергался не он сам, а то смирение перед жизнью, которое он олицетворял. Человек не может быть таким немощным и обобраным, покорным и безгневным. Впрочем, это не относится к Мордану, тот травил зиду-маленькую, ничуть не смущаемый памятью о человеке, врачевавшем его от бесконечных болезней.

Низенький, тощий, со всосанными щеками и подслепыми, словно плачущими глазами, он стоял посреди лужи в старом порыжелом пальтеце с обвисшими плечами, с тяжеленным облезлым портфелем в опущенной руке. На голове у него была на редкость не идущая к его печальному облику капитанка с лакированным козырьком. Бог его знает, где он раздобыл и почему носил лихой головной убор уличной вольницы, может, какой пациент подарил, а ему было совершенно все равно что носить. Он стоял, медленно переводя воспаленный взгляд с одного мучителя на другого.

— Зида маленькая! — надрываясь, улюлюкали мы. — Зида маленькая!

Все мы были его пациентами, он выстукивал молоточком наши грудные клетки, теплыми пальцами осторожно мня больные животы, нащупывал пухлые железы, заглядывал в обметанное горло, прописывал микстуры, пертусин, аспирин и пирамидон, ставил горчичники. Он тащился к нам ранним утром, украв час у бессонницы, а вечером — после трудного дня в амбулатории, и неизменно приводил к полному выздоровлению.

Он терпеливо смотрел на пляшущих вокруг него, орущих дикарей, силясь понять тайну такой неблагодарности. Они топчутся в луже, набирая воды в калоши, и опять будут простуды и ангины, опять будет он склоняться над маленьким пышущим жаром телом, чувствуя его муку, как свою собственную.

— Зида маленькая!.. Зида маленькая!..

Да, зида, что поделаешь, таким уродился. Да, маленький, слабогрудый, сутулый, откуда было набрать стати в полутолом местечке? И в чем моя вина перед вами, дети? Особенно перед тобой, мой внучек, жалкий дурачок? Сознаешь ли, что ты кричишь это деду, который не надышится тобой, который выпрашивает у пациентов красивые марки, единственная мзда всей «частной практики»? Ты безотчетный подголосок этого хора, и ты не понимаешь, бедный, глупый мальчик, что и тебя не минет моя ноша. Ты безвиновен в своей детской слепоте, да и много ли тут виновных? Но и для них все, что здесь происходит, не испарится бесследно. Они возьмут с собой в жизнь этот гнилой простудный вечер и все остальные вечера, когда издевались над старым, больным, усталым человеком с заслугой бескорыстной службы. От этих детей тянуло гарью грядущих огневиц, и ему было больно.

Вот почему так долго стоял в луже старый врач, вместо того чтобы скрыться в подъезде. Он думал и провидел.

Избавление от Мордана пришло к нам самым неожиданным образом. В один прекрасный — воистину прекрасный — день широко распахнулись запертые с дней революции парадные двери, ведущие на улицу. И нам не нужен стал двор, давно потерявший всякую притягательность. Мы ринулись в широкий мир, где сады, скверы, бульвары и дороги во все концы.

Отныне весь большой двор принадлежал Мордану. Он мог считать, что сбылись его мечты отправить Яшу в Бердич, Хачека в страну Карапетию, Азу в табор, Хейли в Чухландию, Алешу к колбасникам и тухлой капусте. Маленького лошадирика тоже не стало. Он заболел дифтеритом, и впервые врачебное искусство доктора Лисюка оказалось бессильно. Малыш ускакал на своей шведке в то далекое, откуда не возвращаются.

Но где же твое счастье, Мордан? Занять себя было нечем и угнетать некого. Он томился. Мир за парадными

дверьми отпугивал, нужен был двор, и только двор, иного жизненного пространства он не хотел.

Однажды, слоняясь в каиновой тоске по опустевшему двору, он обнаружил незнакомое существо, неуклюжее и большеголовое. Незнакомец кого-то мучительно напоминал, но Мордан не мог сообразить кого. Он стал следить за ним и вскоре понял, что пришелец так же пристально, хотя и украдкой, следит за ним. А затем ему почудилось нечто и вовсе несуразное, будто он выслеживает самого себя. Мордан встряхнулся, скинул наваждение и решил: изгнать наглеца. Но возникло непредвиденное затруднение, связавшее ему язык: как к нему обратиться? Тот не был ни зидой-гнидой, ни чухной белоглазой, ни ходей, ни Карапетом, ни Хохландией, ни немцем-перцем, ни чучмек-ком... Он был вторым Морданом, и не существовало для него клички, которая сразу ставит человека на место.

— Пошел вон! — сказал Мордан Мордану.

— Сам пошел вон! — ответил Мордан Мордану.

Мысль, что под небом места хватит всем, была им чужда. Они стали описывать сужающиеся круги, кровеня белки ненавистью. Они могли бы спастись, будь на кого броситься сообща, но лишь два их косматых сердца бились посреди пустынного двора. И, взыв от ярости, тоски, страха и безысходности, они сцепились насмерть.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО...

Минувшим летом я приобрел избу в деревне Вербово Калужской области, на берегу знаменитой Угры. «Стояние на Угре» — под таким названием вошла в историю освободительная война Ивана III, положившая конец шестисотлетнему татарскому игу. Странная война, где не сверкнул меч, не пролетело ядро, не прозвенела стрела, а исход ее был куда важнее самых блистательных битв, воспетых летописцами.

На тихих, поросших лозняком берегах быстрой и чистой речки с просвечивающим на мелководье песчаным дном, с утренними и вечерними туманами, русалочьими играми в полнолуние, таинственными криками ночных птиц решился великий спор. Степнякам все тугошнее крепко не нравилось: туманы, русалки, стоны выпы и уханье сов в подступающих к воде лесах, одрожающая стужа рассветов, оскудевшая кормами еще в исходе лета глинистая земля, молчаливое, недвижимое, непонятное русское войско. Его было много, куда больше, чем татар, — почему же оно не нападает, почему не пытается прогнать нерешительных пришельцев? Не веря в победу, давно перегорев духом, татары хотели быть разбитыми, рассеянными, изгнанными, только бы кончилась эта неопределенность, эти дальние, изнурительные, бесцельные походы в холодную, голодную страну, переставшую подчиняться.

Их быстрота, удаль, бесстрашие перед смертью завязли в русском неповоротливом, упрямом бездействии. Великий князь Иван III, первым принявший сан царя, никогда никуда не спешил. Можно подумать, что неким таинственным путем ему ведомы были ходы истории и обреченность прежде всемогущих врагов. Не надо ни помогать, ни

мешать predeterminedенному ходу вещей. Он так поступал всю жизнь, и у него все получалось. Медленно, тяжело, неторопливо свершился поворот исторического руля. В одно туманное, седое утро задрожала земля под копытами татарской конницы, и, не потеряв ни одного человека убитым или раненым, не причинив и неприятельской рати даже малого ущерба, степняки унеслись в пустоту своей никому уже не интересной судьбы.

И, думая об этом по утрам в просквоженном солнцем деревянном щелястом домике деревенской уборной с краю небольшого огорода, поступившего в мое владение вкупе со всей усадьбой, я перекидывался мыслью к сегодняшним дням и спрашивал себя: когда же новая злая сила, покрывшая Русь всего семь десятков лет назад, но dokonавшая куда сильнее татар, поймет, что ее историческое время истекло, и перестанет гадствовать, цепляться за призрак былой власти, мимикрировать, выворачиваясь наизнанку, и ускачет в свою пустоту? В дремотном бредике мне представлялось, что я должен пересидеть ее здесь, в смрадной крепостце на берегу Угры, в мудром Ивановом ожидании, явив миру после великого угринского «стояния» столь же великое угринское «сидение». Возможно, после всех событий последнего времени у меня слегка поехала крыша...

Человеку, измученному крошечными и скверными городскими уборными, особенно в совмещенных санузлах, где ты зажат между холодной фарфоровой скулой умывальника и облупившейся стеной, балансируя на шатком, готовом рухнуть унитаза и почти всегда оторванном, сползающем, выдирающемся из-под тебя стульчаке, понятно будет то наслаждение, которое дарит утреннее посещение просторной, уже согретой солнцем, но приятно продуваемой ветерком деревянной смолистой наземной скворечни. Хотелось остаться там навсегда, независимо от социальных, политических расчетов, по-лермонтовски забыться и уснуть, чувствуя дремлющие в груди силы и свою тихо вздымаемую дыханием грудь.

Но, жертвы цивилизации, мы не можем перемогать жизнь в блаженной отключенности от той нервной, перенасыщенной информацией суеты, которая подменяет нам душевную жизнь. И я стал вытаскивать из ящика для бумаги — пепифакса, естественно, не было в деревенской глуши, как, впрочем, и посреди шума городского, — машинописные листы и читать их. Меня не удивила эта письменность — второй экземпляр рукописи, аккуратно перепечатанной на качественной финской бумаге, поскольку покойный хозяин избы был литератором. Во всяком случае, считался таковым, сотрудничая в патриотических изданиях: «Наш сотрапезник», «Молодая лейб-гвардия» и военной газете «Утро». Писал он все больше по национальному вопросу, столь дорогому для этих изданий, совершал экскурсии в историю, углублялся в классическую и современную литературу, исправно участвовал в митингах и культурных мероприятиях патриотов, вечерах с песнопением, водосвятием и преданием анафеме инородцев, но был мало приметен на общем сером фоне заединщиков. Лишь раз привлек он внимание общественности коротким бурным романом с одной из тех горластых литературных климактеричек, которыми почему-то богато русское движение; эти беспокойные дамы принимают свой половой дискомфорт за любовь к простому народу. Как положено в этом кругу, роман завершился мордобитием, врезанием нового замка в дверь, доносами и разбирательством на парткоме — песнь любви была пропета до конца. Потерпев моральный и материальный ущерб, кавалер вернулся к старой жене, на тихий берег Угры, но вскоре отбыл в лучший мир, чего в худшем никто и не заметил.

Словом, это был типичный представитель того не умственного, не духовного, не социального, не политического, а чисто физиологического движения, суть которого в утробной ненависти к мифическим жидо-масонам.

Я, конечно, его не читал. Но поскольку все патриоты пишут об одном и том же и совершенно одинаково, имел

отчетливое представление о его литературе. И меня несколько не удивило, когда на первой же попавшейся странице я наткнулся на рассуждение о еврейских кознях, приведших ко второй мировой войне. Ничего оригинального тут не было: буквальный пересказ «открытия» шизанутого историка Климкова, потеснившего со страниц «Нашего соотрапезника» крупнейшего теоретика погрома Запасевича. Климков «доказал», что войну развязали евреи руками евреев же: Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Розенберга, Риббентропа, Бормана, Гесса, Кейтеля, Кальтенбруннера и, для отвода глаз, одного немца Геринга, правда женатого на еврейке. Дьявольски коварный план состоял в том, чтобы геноцидом, печами Бжезинки, Освенцима, Бухенвальда, Майданека, Маутхаузена вызвать в мире сочувствие к евреям и на этой моральной базе создать государство Израиль.

Я прочел эту галиматью и с удовольствием использовал листок по назначению.

Другой раз я вычитал рассуждение — опять-таки по Климкову — на тему первой мировой войны. Ее развязали, естественно, все те же евреи, захватившие немецкий генеральный штаб и царское правительство. В России вообще все оказалось в руках евреев: царский дом, министерства, армия, флот, промышленность, сельское хозяйство, искусство, литература, журналистика, образование. Возле трона остался лишь один русский человек, старец-праведник Распутин, но был зверски умерщвлен жидо-масонами Эльстоном и Пуришкевичем. Листок был отправлен по назначению.

В очередной раз я обласкал свой зад, как выражался малыш Пантагрюэль в беседе со своим маститым отцом Гаргантюа об утреннем туалете, размышлением об Октябрьской социалистической революции, содеянной еврейским синедрионом во главе с Бланком и Бронштейном по прямому указанию Сиона. Все это были старые запетые мотивы. В который раз, знакомясь с сочинениями патриотов, я удивлялся, почему они так унижают великий народ. Если верить им, русские не были участниками собственной

истории, так и просидели на скамейке запасных, пока ино-родцы гоняли мяч по их полю.

Обратило на себя внимание и то, что автор называет творцов и распорядителей бесовских акций не сионистами или жидо-масонами, как положено, а Вечным жидом. Такой прием естествен в художественной литературе, но странен и не вполне корректен в научном исследовании. Впрочем, суть от этого не менялась, равно как и предназначение листка бумаги с письменами. Непонятно было и само назначение трактата. Климков изложил свое учение настолько простыми, общедоступными словами, что ничуть не нуждался в адаптации, комментариях, расшифровке, переводе на какой-то еще более примитивный язык. Да этого и нет, слово автора из уборной гуще, плотнее и труднее прозрачной климковской хрестоматии для умственно отсталых.

Но следующий визит в отхожую читальню принес неожиданность. Случайно я выхватил из ящика первую страницу рукописи и с удивлением прочел заголовок: «Ничто не вечно...» С еще большим — идущее с отточия начало текста: «...даже Вечный жид». Я стал читать дальше и с каждой строкой все больше убеждался, что передо мной не научный труд, не публицистика, не популяризация, а художественная проза — большой рассказ, написанный весьма уверенной рукой, в манере обстоятельного, неспешного, едва ощутимо ироничного повествования. Проза художественная не только по намерению, но и по отчетливым беллетристическим способностям автора.

Я стал читать и зачитался настолько, что не обратил внимания на неоднократные попытки кого-то из домашних сменить меня на посту. Очнулся от мощного дробного шума на задах кабины. Это мой молодой шофер, не выдержав, справлял малую нужду, расстреливая, как из пулемета, тугие, гулкие листья лопухов.

Тогда, забрав рукопись и сожалея о произвольно сделанных купюрах, я покинул убежище.

Прочтя же рассказ, я перестал жалеть о потере нескольких страниц — то был непереваренный в горниле художественного творчества публицистический материал. То ли автор еще предполагал работать над рукописью, то ли специально не перевел в беллетристику рассуждения Климова для придания пародийного научного правдоподобия своей занятой ахинее.

Но, вообще говоря, это не пародия на историческое повествование, ибо тут нет намерения высмеять какую-либо литературную манеру, стиль, способ мыслить. Иногда кажется, что автор вполне серьезен, что он сам верит — дневному разуму вопреки — в то, что выводит его рука. Тогда это некий беллетристический юдофобский апокалипсис — порождение ужаса от явленного воочию будущего землян. А порой проглядывает откровенное издевательство над теми, чьи взгляды он разделял и поддерживал, над союзниками, братьями по духу и высоким истребительным целям.

Мелькнула и такая бредовая мысль: что, если, начав в сатирическом тоне, с язвительной улыбкой в уголке тонких губ, он сам поверил в свою невероятную выдумку, испугался и кончил вполне серьезно? Прodelал путь от Ильфа и Петрова к св. Иоанну от антисемитизма? Пусть читатель сам судит об этом.

Я не мог восстановить уничтоженные куски, но, думаю, потеря невелика, и без них все ясно.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО...

...даже Вечный жид. Однажды он нахамил Христу (он был тогда не вечным, а самым обычным смертным, пошлым иерусалимским обывателем) и понес за это странное, немислимое наказание: его приговорили к вечной жизни.

Вначале он не поверил: обычные фокусы самозванных пророков и предсказателей, которые пронзительно ясно видят, что будет через тысячу лет, но не знают, что случится завтра. Пойди проверь, действительно ли будет он жить

вечно или по истечении положенного человеку на земле срока отправится к праотцам. Мужик он крепкий, сплошные мускулы, никогда ничем не болел, и к тому времени, когда отдаст концы, едва ли кто из свидетелей останется в живых, стало быть, и некому будет проверить предсказание, если вообще сохранится о нем память, что маловероятно.

По прошествии полутора десят лет он начал думать: пусть насчет вечности Иисус и хватил лишку, но жизнь ему выпала и впрямь долгая. В сто пятьдесят он был свеж и подтянут, как на половине житейского пути. Он удивленно спрашивал себя: в чем наказание? Жить долго — приятнейшая штука, особенно когда ты отменно здоров и каждое утро с удовольствием приветствуешь солнце. Он всегда был хорошим ходоком и сохранил крепость колен, упругость икр, он не злоупотреблял вином, но по-прежнему любил услаждать нёбо и язык пряным самосским, он не был прелюбодеем, но мог весьма пылко приласкать не слишком алчную блудницу. Жадность юной жрицы любви, будь она прекрасна, как Суламифь, убивала в нем желание, даже если он был при тугой мошне.

А надо сказать, Вечный жид не нуждался. Он умел делать деньги во все эпохи, при всех режимах, при любых, даже самых неблагоприятных для его нации поворотах истории, хотя начинал как скромный сапожник.

Тем памятным днем он стоял у своего домишки с колодкой в руках, в холщовом фартуке, волосы подвязаны кожаным ремешком, когда со стороны Делароза надвинулось шествие. Впереди, согнувшись под тяжестью креста, ковыляла молодой человек с рыжей бородкой, за ним по обыкновению четко печатали шаг римские солдаты, дальше толкалась челядь и рабы первосвященника и бездельные жители Иерусалима, замыкали шествие плачущие и поддерживающие друг дружку женщины и несколько мрачных мужчин. Сапожник не сразу сообразил, что осужденный и есть тот Иисус из Назарета, который называл себя ца-

рем иудейским и проповедовал в храме. Шествие тянуло на лысый холм — Голгофу, где совершалась казнь способом распятия на кресте.

Иисус остановился у его дома, уронил крест на землю и сделал движение, словно хотел прислониться к стене. Агасфер увидел терновый венок у него на голове и капли засохшей крови там, где шипы впились в кожу. Он не питал ни зла, ни симпатии к этому молодому человеку, о котором говорили разно: одни прислушивались к его убежденным и туманным речам и даже допускали, что он пророк Илия, вновь вернувшийся на землю, другие пожимали плечами, а книжники и фарисеи люто ненавидели, ибо он посягал на их авторитет. В Иерусалиме слухи распространяются раньше, нежели возникнут. Агасфер уже слышал, что римский прокуратор Понтий Пилат, соблюдая закон, предложил толпе на выбор: помиловать безвредного самозванца — «царя иудейского» или разбойника Варраву, и все единым рыком выбрали последнего. Агасферу ни к чему было идти против общественного мнения, тем более что он собирался сменить профессию. Надоело возиться с вонючими кожами и дратвой, режущей ладони, хотелось открыть меняльную контору. Он кое-что подкопил сам, сочетая трудолюбие с бережливостью, ловко давал деньги в рост, кое-что ему досталось от недавно умершего родственника — мытаря. То, что осужденный на позорную казнь выбрал его домишко для отдыха, пришлось Агасферу не по вкусу. Еще подумают, что сапожник его последователь. А толпа, злая, как и всякая толпа, низко мстя за вчерашнее поклонение тому, кого сегодня предала, осыпала осужденного бранью и насмешками. Благо бы прислужники Кайафы. Нет, благонамеренные иерусалимские жители — торговцы, портные, плотники, пекари, шорники, жестянщики, ювелиры, писцы, сборщики податей. Иные из них станут клиентами новоиспеченного финансиста, и негоже ему с ними ссориться. И он сказал идущему на Голгофу:

— Ступай отсюда. Здесь не подают.

Осужденный на распятие поднял измученное, залитое потом лицо с провалившимися темно-кариими глазами. Сухие, растрескавшиеся губы медленно разомкнулись:

— Нет, я останавлиюсь. А ты пойдешь.

Агасфер не был ни палачом, ни злодеем, ни даже жестоким человеком. Он был обывателем, то есть приличным человеком рядовых чувств и поступков, но ради своего блага мог в какую-то минуту оказаться и злодеем и палачом. Сейчас на кон была поставлена меняльная контора, и он не знал колебаний. Да и какое ему дело до этого преступника, осужденного и римской и местной властью? Он громко, чтобы быть услышанным и стражниками и толпой, крикнул:

— Ты идешь на смерть, так иди! — и толкнул его двумя кулаками в грудь.

Странно, что этот истомленный, худой человек не только не отлетел прочь, но даже не пошатнулся. Он сказал тихо:

— Я пойду. Но ты не умрешь раньше, чем я вернусь.

— Значит, я никогда не умру, — усмехнулся Агасфер, далекий от мысли, что в эту минуту стал Вечным жидом.

Свое затянувшееся пребывание на земле он считал игрой природы, пока ему не исполнилась тысяча лет — так долго еще никто не жил, за исключением библейских мафусаилов. Но они принадлежали легенде, а он был нормальным, из плоти и крови человеком, когда-то сапожник, после меняла. Давнее происшествие возле дома иерусалимского сапожника душным пасхальным днем обрело звучность и стойкость легенды. Несомненно, осужденный обладал волшебной силой и заколдовал Агасфера. Ведь ему и раньше приписывали разные чудеса: исцеление парализованных и бесноватых, даже воскрешение из мертвых уже загнившего в склепе Лазаря. Почему же, обладая таким сильным и редким даром, он не воспользовался им для самого себя? Непонятно было и другое: в чем состояло наказание, наложенное им на Агасфера? Жить долго не

плохо, особенно когда ты полон сил, желаний, любопытства к окружающему и, прожив десять веков, готов повторить все сначала.

Истомленный рыжеватый, кареглазый бедолага раскрутил великую карусель: создал новую религию. Согласно этой религии, он пошел на крест, чтобы искупить грехи человеческие, а потом вознестись на небо, в чертог отца своего Господа Бога, и разделить с ним власть над всем сущим. Там, правда, был еще кто-то третий, какой-то Святой Дух, он же голубок, но тут крепкий, практичный разум Агасфера отказывал. Откуда взялся этот голубок и где он был раньше? А еще на небе находилась мать Иисуса, еврейка из Назарета Мария, — целая мешпоха заправляла мирозданием. Привыкший иметь дело с деньгами, а следовательно, с цифрами, которые не лгут и не обманывают, Агасфер терялся перед расслабляющей сложностью христианской конструкции.

Насколько убедительнее, проще, цельнее и потому доступнее человеческому сознанию была еврейская религия с единым Богом — гневливым, сварливым, мстительным и вместе уютным Ягве. А христиане — это те же язычники: у них куча богов, только, в отличие от язычества, где существует полное разделение труда: есть боги по сельскому хозяйству, торговле, ремеслу, военному делу, искусству и любви, — в христианстве все перепутано и непонятно, к кому обращаться. Ну, Мария ведает милосердием, а чем персонально занимаются Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой? И Агасфер, даже поверив в вечность, которой наказал его оскорбленный им новый Бог, не сменил религию, сохранил веру предков. Если же всерьез, то он вообще ни во что не верил, кроме денег, а религия сводилась для него к обрядам и обычаям. Он соблюдал субботу, справлял се-дер, ходил в синагогу — там, где синагога была; он очень много странствовал и часто оказывался в местах, где не имелось ни культового дома, ни даже кошерной пищи. Он не вкладывал в религию сердце. Этот чувствительный ор-

ган он вкладывал в деньги, в их приобретение, помещение и приумножение.

С годами, вернее, с веками, поверив в свое бессмертие, он стал бережнее относиться к далекому воспоминанию, заслуживающему попасть в историю, но разменянному на недостоверные и противоречивые легенды.

Каждая эпоха, каждая страна имела свой вариант происшедшего. На его родине, в Греции, и вообще на востоке Европы были ближе всего к правде. Тут хотя бы называли точно его имя — Агасфер и профессию — сапожник. Сохранились в народной памяти слова, которыми они обменялись с Иисусом, и тычок, отпущенный им осужденному. Но дальше начинались небывлицы. Потрясенный якобы исходом и преобразованием казненного, оказавшегося сыном Божьим, он крестился и принял имя Бутердей (бутер — бить, дей — бог), то есть Ударивший Бога. Надо быть полным и законченным идиотом, чтобы, поверив в божественность Иисуса, увековечить в своем имени позорный поступок. Агасфер не считал Иисуса сыном Бога и вообще вскоре забыл о встрече с ним, хотя до него доходили темные слухи о похищении из гроба тела убиенного, и ему не с чего было креститься и принимать новое имя взамен данного ему при рождении.

Затем его спутали с привратником претории Картафилом, который действительно обругал и ударил Христа, когда того прогоняли из дворца прокуратора. Но и другие челядинцы поступали так же, и непонятно, почему сомнительная слава досталась одному Картафилу. Он, кстати, крестился впоследствии и стал праведником. Может, за это ему подарили легенду?

Впоследствии путали Агасфера и с рабом первосвященника Анны Малком, которому апостол Петр отсек ухо в Гефсиманском саду, когда арестовывали Христа. Тот пришел по долгу службы, слова дурного не сказал, но попал под горячую руку слишком нервному апостолу и лишился уха. Оскорбил же Иисуса словом и делом Фалас, раб Кайа-

фы, чтобы выслужиться перед хозяином. Но в предании он обернулся сотником Лонгином, прободившим копьем Иисуса на кресте. А этого в свою очередь спутали с тем трясуном, которого Христос когда-то излечил, но тот не признал целителя в распятом на кресте и ударил его по ланите. Из этой тройцы молва слепила Вечного жида.

Минули века, и Агасфер без остатка растворился в долгожителе Иоанне Девотра Деи (Иоанне Преданном Богу) — оруженосце короля франков Карла Великого. Славный оруженосец прожил двести пятьдесят лет, родился же он через восемь веков после Голгофы.

Испанцы присвоили этого уникама себе, переименовав в Иоанна Надежду на Бога. Агасфер только презрительно сплевывал, слушая все эти байки, порожденные праздным и беспокойным человеческим умом.

И почему людям так угодна пуганица? Даже арест Иисуса в Гефсиманском саду происходил прилюдно, а на всем крестном пути от претории до Голгофы его сопровождала толпа, не разошедшаяся до его последнего вопля и вздрога на кресте. Так почему все было искажено, перевернуто, перевернуто? И началось это вранье чуть не на следующий день после казни. Но может, это не вранье, а бессознательное, неуклюжее творчество народных масс, не удовлетворяющихся грубой очевидностью происходящего? Истина не нужна людям, ибо она однозначна. Интересна лишь муть, дающая возможность поиска (так люди называют заморочивание головы себе и окружающим), угадок, предположений, споров, опровержений, всей той мелочной суеты мнимодуховной жизни, до которой падки не только книгочеи, но и уличные торговцы, слуги и женщины.

Агасфер не был ни честолюбив, ни тщеславен, да и чем было тщеславиться? Оскорбил и ударил беспомощного человека? Но историю надо уважать, и в песне важна каждая строка. Время само выбирает из человечьей несметы тех, кто должен сыграть на его подмостках. Христу положено было испытать еще одно унижение, наиболее для

него горькое, ибо было нанесено не рабом, не челядинцем, не воином-латинянином, не слабоумным, а свободным гражданином в расцвете сил и соотечественником. Жест Агасфера обрел значение символа — Иисуса отверг коренной Иерусалим, который он уповал обратить в свою веру.

Агасфер — никто иной — сделал это и был наказан бессмертием. Все остальные претенденты на роль Вечного жида — вольные или невольные шарлатаны.

Его наказание не ограничивалось бессмертием, он был обречен на постоянное движение. Вот что значили слова: «...я останавливаюсь, а ты пойдешь». Он и пошел, стал скитальцем, вечным странником, без постоянного жилища, без семьи и привязи к чему-либо. Подобное должно быть мучительно тучному, задышливому коротышке, ленивцу, лежебоке, преданному семьянину, домоседу, которому и за порог ступить боязно, но не поджарому атлету, перекаати-поле, начисто лишенному семейных добродетелей: ему ходьба всегда была в удовольствие, а перемена мест — в радость. Он и с ремеслом своим сидячим мирился до поры лишь потому, что тачал обувь, в которой человек исхаживает землю. Но он всегда завидовал мытарям: ведь им по долгу службы надо много ходить; завидовал странникам и бродягам. Новая его профессия позволяла ему свободно перемещаться в пространстве. В меняльных лавках он оставлял надежных людей, а сам бродил по земле, при каждой возможности учреждая новую контору. Все были в выигрыше: сбывалось предсказание пророка, он вел здоровый, подвижный образ жизни, финансы процветали.

Если в первые двенадцать — тринадцать веков дела заставляли его обуздывать охоту к перемене мест, то с умножением банков в Европе и странах Леванта он получил полную свободу. Конечно, он не пустил свою финансовую империю в свободное плавание, но при нажитом громадном опыте, безошибочном нюхе и легкой руке мог не перенапрягаться и вольно служить бродячей страсти. В его владении находился и капитал Иуды, отдавшего ему перед самоубийством трид-

цать сребреников — цену предательства — с правом распоряжаться ими по своему усмотрению. Правда, с одной оговоркой: деньги можно пускать только на добрые дела. Но поскольку Вечный жид еще ни разу не столкнулся с таким делом, которое мог бы от чистого сердца считать добрым — все происходившее на его глазах было двусмысленным и этически сомнительным, — проценты росли на проценты и тридцать монет давно превратились в миллионы. Словом, Вечный жид не нуждался в деньгах.

От всех невзгод, преследующих человека, Агасфера защищали бессмертие, железное здоровье и несметное богатство. Он не был мучеником страстей и неутолимых стремлений. Человек довольно уравновешенный, он спокойно пил из убывающей чаши бытия, исполняя все свои желания, не ведая ни в чем отказа. И естественно, ему не удалось избежать того, что рано или поздно постигает баловней судьбы, — пресыщения. Жалкие мотыльки жизни — римские императоры, французские короли эпохи абсолютизма, английские аристократы успевали испытать это чувство за свой короткий век. Вечный жид держался чуть ли не восемнадцать столетий, хотя первые признаки недуга ощутил куда раньше, когда понял, что нельзя доверяться новизне, кажущейся многим надежным гарантом перемен. Конечно, что-то новое появляется порой, но стоит взглядеться внимательней, и чаще всего под блестящей оболочкой обнаружишь старые лохмотья. И он понял, что время надо насыщать пространством. Когда время, такое медленное в часах и днях, такое мимолетное в годах и столетиях, открывает тебе неведомые миры, ты его не замечаешь. Не скупен никакой путь: ни пеший, ни конный, ни на осяти, ни на высоком горбу верблюда в дремотно-медлительном ритме каравана, если протекает мимо тебя пространство. С прекращением движения останавливается время. Движение надо понимать шире, чем собственное перемещение: если ты потягиваешь зеленый чай в бухарской чайной напротив Биби-Ханым, время не стоит, как не стоит оно, когда ты куришь трубку с опиумом напротив Импера-

торского дворца в Пекине или посреди шанхайского базара, равно когда ты наблюдаешь молитвенную церемонию тибетских монахов в Лхасе или дремлешь в объятиях стройной черноокой синьорины на берегу океана в Мар-дель-Плато...

Но наступает пора, и время замедляет свой бег, а там и вовсе останавливается. Это значит, что мир стал для тебя не просто прочитанной, но зачитанной до дыр книгой. Ты прошел и объездил его вдоль и поперек во все четыре сезона: в весеннее пробуждение, летний зной, осеннее увядание, зимнюю спячку. Тебе уже не хочется никуда, ты исходил все дороги, пересек все пустыни, облазил все горы, спустился во все ущелья, переплыл все океаны, моря, озера, реки. Ты стыл на Севере, в царстве вечных льдов, ты жарился в адской печи Сахары, на твоих зубах хрустел песок Каракумов, ты купался в кишашей крокодилами Амазонке, измерил шагами всю Великую китайскую стену...

Пространство исчерпано, а время, как ни тужится, уже не в силах дать тебе свежих впечатлений. Костлявая черная птица долбит в висок железным клювом: «было, было, было». Меняются лишь декорации и костюмы — суть одна и та же: борьба за власть, ничего больше. Борются могут отдельные личности — честолюбцы, прикидывающиеся народными радетелями (редко такой радетель выступает без маски); борются нации, сословия, сообщества, партии, церкви. Власть притягательна сама по себе и тем, что всегда приносит богатство, хотя сам властолюбец может быть бескорыстен до аскетизма. Ему достаточно знать, что никто не зачерпнет из его казны, а сам не протянет руки к жирной грязи денег. Еще меняются слова — два-три, не более; но куда чаще совершенно разные по направленности и целям исторические деяния (сходные лишь в одном — аморальности) прикрывают одними и теми же пусто-возвышенными словесами.

Какое бы ни творилось бесчинство, оно всегда ради величия и преуспевания народа, ради святой и праведной веры, ради всеобщего мира и счастья. Иногда это велеречие за-

меняется одним, столь же беспредметным словом «свобода», тогда начинается самое страшное. Ради святого дела свободы отбрасываются последние приличия и моральные ограничения, кровь льется потоком, головы летят, как березовые листья в сентябре, безмерно множится число несчастных и обездоленных, трещат переполненные тюрьмы, тупятся ножи гильотин. Это страшно надоедает, когда смотришь один и тот же спектакль из века в век. И войны надоели, и бунты надоели, и осатанелые революции, и ложь сильных мира сего, и пыл ораторов, и фальшивые клятвы вожаков, и бесцельные подвиги глупцов, и хитрое самосохранение умных, и мастерство палачей, и вопли женщин всех времен, и гибель невинных младенцев, всегда оказывающихся там, где не надо. Осточертела грязь праздной и беспокойной человеческой души. Мнимые перемены никому не принесли счастья, если говорить о людских массах. Всегда остается верх и низ. И те, что внизу, после всех жертв, страданий и крови пребывают в том же бесправии, нищете и заброшенности.

Как угнетает это однообразное зрелище! Не то чтобы Агасфер чрезмерно убивался над участью несчастных — для этого он был слишком индивидуалистом и считал, что каждый спасается, как может, но он уже слышать не мог торжествующее хрюканье победителей и жалкий скулеж тех, кто всегда проигрывает. «Было, было, было», — стучал в висок железный клюв.

За столько веков случилось лишь одно подлинно историческое событие: евреи лишились своей земли, своей родины и растеклись по всему свету. Древнейший народ (впрямую от первожителей: Адама и Евы), давший столько славных имен, сложивший непревзойденную поэму «Ветхий завет» («Новый» тоже неплох, но нет в нем таких вершин, как «Книга Руфь», «Притчи Соломона», «Плач Иеремии»), избранный Богом народ, перенесший невыразимые страдания и рабство, отстаивавший себя в непосильной борьбе с бесчисленными врагами, совершивший чудеса храбрости

от дней Иисуса Навина, повергшего стены Иерихона, до Бар-Кохбы, на котором осеклись победоносные римляне, осиянный древней верой, сохранивший в мучительных испытаниях святость обычаев, волнующую мощь языка и музыку души, изможденный римлянами и добитый арабами, оказался рассеянным в мировом пространстве, всюду гонимый, преследуемый, презираемый и ненавидимый.

Евреев презирали испанские идалго, которых они ссужали деньгами для борьбы с маврами...

Их презирали голоштаные французские рыцари, которые не могли отправиться ни на войну, ни на турнир без еврейской мощны...

Их презирали тугодумные голландцы, которым они подарили величайшего мыслителя Баруха Спинозу...

Их презирали англичане даже в те дни, когда Бенджамин Дизраэли спасал Британскую империю...

Их презирали немцы, которым они в пору полного опошления нации сделали прививку спасительной ирони Гейне...

Их ненавидели поляки, хотя не Шопен, а евреи научили их играть на скрипке, а ничему большему поляки так и не научились...

Их ненавидели русские, за которых они умирали...

Презирали, ненавидели, завидовали, гнали, убивали...
Всюду, всегда, во всех землях, во все времена... За что?.. Вечный жид не находил ответа. Кому это выгодно? Конечно, верхам, а не низам — что им делить с евреями? А вот тем, кто наверху, опасно соперничество евреев в финансах, торговле, науке, предпринимательстве, политике — слишком способная нация. Но главное все же не в этом. Евреи помогают держать в узде быдло, человечью протерь, именуемую в нужный момент народом. Евреи дают любому народу, в толще которого укрываются, ощущение своего хозяйского превосходства. Надо только это народу объяснить. И когда такая беспредметная спесь появляется, правители могут делать с народом что угодно: раком поставить, на-

бить пасть дерьмом. Все стерпит бедолага и будет хранить гордый вид, потому что есть жида, которых можно топтать; он так вознесен над этими париями, что не замечает собственного ничтожества, нищеты, бесправия, грязи. Что и требуется...

И Вечный жид, когда ему стало неважно от скуки, после тщетных попыток самоубийства: веревка лопнула, яд лишь испортил ему желудок, кровь не вытекла из перерезанных склерозированных сосудов, кинжал миновал сердечный мускул, — нашел себе жизненную цель: положить конец унижению своих соплеменников. Возродить былое величие царства Иудейского — безнадежная затея. Та крупица земли, где еще ютились несчастные, заторханные, но стойкие в своей вере и обычаях евреи, была так зажата арабами, что смешно было думать создать тут самостоятельное государство. Если даже оно когда-нибудь возникнет, то будет вроде княжества Люксембург — географическая нелепица, не видная на карте. Естественной жизни у него не будет, ибо не собрать ему на своей пустынной, каменистой, а главное, малой земле рассеянное по всему свету население. Да и не позволит этого агрессивное арабское окружение. Это будет псевдожизнь на искусственном дыхании.

И Вечный жид решил в одиночку устроить судьбу своего народа, который был ему так долго безразличен, а с наступлением старости вдруг стал слезно дорог. Может показаться безумием, что он замахнулся на деяние, перед которым все подвиги Геракла — детская игра. Он не имел чудовищных бицепсов сына Зевса, над ним не простиралось покровительство олимпийцев. Он был пожилым евреем чуть выше среднего роста, жилистым и довольно крепким для своих лет, с намечающимися брылями усталости и печали. Но у него было одно важное преимущество перед Гераклом: проклятие Христа — вечная жизнь, ставшая величайшим благом, когда появилась цель. Геракл обрел бессмертие на Олимпе после страшной своей гибели и погребения.

бального костра. Лестно, конечно, но не то. Вечный жид был неуязвим и бессмертен здесь, на земле, а не в горних высях. И тюрьма была ему не страшна. Даже самый жестокий режим рано или поздно выдыхается и открывает двери узилищ. Вечный жид убедился в этом на собственном примере. Сорок лет провел он в венецианской тюрьме Пиомби под свинцовой крышей Дворца дожей. Это случилось в пору, когда он уверился в своей бессмертии и перестал куда-либо торопиться. Он еще не впал в отчаяние, но подутратил несколько вкус к жизни и потому позволил венецианцам держать двери узилища на запоре, сколько им заблагорассудится. Для владеющего вечной жизнью сорок лет промелькивают как один день. Когда он наконец вышел, то не заметил перемен в окружающем. Так же прекрасны и холодны были дворцы, так же вонюча и грязна вода каналов, так же легкомысленны, злы, пусты и алчны люди. Он ни о чем не жалел: натруженные ноги получили хорошую передышку и опять сучали по дорогам. Все же он позаботился о том, чтобы на будущее избавить себя от подобных каникул.

Для осуществления своего грандиозного проекта он располагал, помимо времени и здоровья, еще одним немаловажным фактором — деньгами в неограниченном количестве. Последнее, на что он рассчитывал, — знание жизни, знание людей, их страстей, пороков, слабостей, страхов. Он знал также, что имеются редкие исключения из правил, странные существа с незримой Божьей отметиной, на которых не распространяются общие законы низости, но их можно не принимать во внимание в больших житейских расчетах. Ибо в пестром и безобразном человеческом хороводе эти святые вырожденцы ничего не стоят, их значение равно нулю, хотя окружающие притворяются, будто чтут их как нравственных кумиров и делают с них свою жизнь.

Он понимал, какую тяжкую ношу готов взвалить на себя, и чувствовал, что она ему по силам. Он ожида-

вит весь мир, все человечество до последней особи. Превратит в евреев жителей пяти континентов, туземцев Океании, обитателей существующей наособь Гренландии, снежного человека Гималаев, даже больших обезьян, собравшихся в люди, если верна теория Дарвина, еще не появившаяся на свет в пору первых размышлений Агасфера о его миссии, но он так долго жил, так много думал и знал о существе сущего, что научился помнить не только «назад», но и «вперед».

Превратить многонациональную планету Земля в Землю Евреев — этим будет заполнена его жизнь в ближай-
шие столетия.

Чтобы рассказать о том, как достиг Вечный жид своей цели, надобен даже не роман, а эпопея во много раз большая, нежели сериал Эжена Сю «Агасфер». Но автор, взявшийся поведать о странном чуде, сотворенном одним старым евреем, не только не в силах создавать эпопеи, но даже читать их, в том числе считающуюся безмерно увлекательной эпопею Эжена Сю. В нежном отроческом возрасте, приобретя на деньги от похищенных на винном складе пустых бутылок все шесть пухлых томов «Агасфера» в нарядном издании, он не смог их осилить, сомлев уже на втором томе. И чтобы не служили они ему вечным укором, позволил школьному товарищу украсть поочередно все шесть аппетитных томиков. Кроме того, что даст такое вот подробное исследование? Опыт Агасфера не имеет никакой ценности для окружающих, ибо больше не может быть применен. Великое деяние исчерпалось в самом себе.

То была неустанная, кропотливая, растянутая в веках работа, отнюдь не романтическая, безжалостно жестокая, костоломно бесчеловечная, ведь история иначе не делается, она каждый свой храм ставит на крови. Самый неблагоуханный из подвигов Геракла — очистка Авгиевых конюшен — куда опрятнее небрезгливых трудов Агасфера.

Все собиралось по крупицам, и поначалу неприметно было даже малого успеха, хотя бы продвижения к постав-

ленной цели; напротив, казалось, что Вечный жид совершает движение в обратную сторону. Надо отдать ему справедливость, он не впадал в уныние от крупных провалов, а спокойно начинал все сначала. Он старался тщательно продумать, рассчитать каждый шаг, но и это не гарантировало успеха. Он стойко держал удары, терпеливо вносил коррективы в свои расчеты, но характер у него портился.

Прежде такой подтянутый, сдержанный, всегда соответствующий обычаям, этикету, правилам вежливости той страны и той среды, где ему приходилось действовать, он стал неряшлив, груб, небрежен в словах и жестах. Оказалось, все это совершенно не нужно для того дела, которое он задумал, как и ловкая политичность, тонкая лесть, умение очаровывать. Его оружием стали деньги, деньги и деньги, затем интриги, силовой напор, в основе которого, как правило, лежал шантаж, умелая и грубая игра на социальных и расовых противоречиях. Можно душить с нежной улыбкой, можно ставить человека на колени, щадя при этом какие-то хрупкие ценности в его душе. Вечный жид прежде так и поступал, но потом сбросил маску. Впрочем, трудно сказать, была ли это маска. Возможно, он стал другим, в нем сменилась кровь. Быть может, он лучше узнал людей, прежде всего власть и силу имущих, и преисполнился великого презрения к ним. И еще он узнал, что заинтересованного в тебе человека невозможно обидеть. А поскольку все люди чего-то хотят друг от друга, человечество не обидчиво. Он умел этим пользоваться.

Чтобы понять, как менялась повадка Вечного жида, достаточно сравнить его обхождение с Людовиком XIV в исходе семнадцатого века и с Николаем I в середине девятнадцатого. Исторически хорошо известны тесные отношения Короля-Солнца с банкиром Бернарром, но едва ли кому ведомо (в том числе самому Людовику и его морганатической супруге г-же де Ментенон, часто делившей интимные ужины монарха с банкиром), что мнимый Бернар — французское имя не могло скрыть сильный подмес восточной крови — был

Агасфером. Он ссужал короля деньгами для бесконечных, затяжных и несчастливых войн — пора блистательных побед Конде и Тюренна давно миновала — и помогал устройству разрушенных финансов. Агасфер не испытывал пиетета к крошке королю, поднявшему себя на котурны, как древнегреческие актеры, но не обретшему величия. Единственный человек при дворе, на кого Людовик мог смотреть сверху вниз, был его брат, злобный карлик-педераст герцог Орлеанский. Наверное, этим превосходством и объяснялось стойкое расположение короля к этой мерзкой личности. Людовик был очень неглуп, проницателен, легко угадывал в людях талант, ум, работоспособность и не мешал проявляться этим качествам, чему и был обязан блеском своего царствования. Сам же был ленив, тщеславен, сластолюбив и фанатично привязан к строгому и запутанному этикету, им же разработанному. Кажется, то было единственным его самостоятельным деянием.

Вечный жид не играл на слабостях короля, полагаясь на честную силу денег и полезность своих мудрых финансовых советов. Он не жалел для фанатика этикета глубокого, изящного поклона, изысканно подходил к руке мадам де Ментенон, тоже нуждавшейся в деньгах для каких-то своих личных дел, был почтителен без скованности, тонок в выражениях без жеманства, и король испытывал эстетическое наслаждение от его визитов. И конечно, охотно удовлетворял все ходатайства Бернара за разных предприимчивых людей, которых тот собирал в Париж со всего света. Людовик быстро смекнул, что эти люди, несмотря на испанское, немецкое, итальянское, греческое звучание своих имен, были сплошь евреями. Но король был равно чужд и расовых и религиозных предрассудков. Он отменил Нантский эдикт не из ненависти к гугенотам, а под чудовищным давлением католической церкви во главе с папой Иннокентием.

Конечно, Людовику было неведомо, что банкир Бернар закладывал тот слой, из которого позднее вышли банкиры Ротшильды. Сколько бы другой еврей, Марсель Пруст, ни

иронизировал над сэром Руфусом Израэльсом, едва терпимым в свете (прообразом его был барон Жорж Ротшильд), могучий и разветвленный род проник в высшие круги Франции, Англии, Германии, породнился с Монморанси, Мальборо, Гогенштауфенами, изрядно подпортив им кровь.

Как все ленивые люди, Людовик любил и умел слушать, а банкир Бернар был поразительным рассказчиком. Все его рассказы шли от первого лица, даже если это касалось разрушения Иерусалима, битвы в Товтобургском лесу или Столетней войны. Людовика восхищала дерзкая и, как ему казалось, насмешливая манера рассказчика. Как-то раз мадам де Ментенон сказала с тем далеким, глубоким светом в ореховых глазах, которым изредка напоминала о себе ее уснувшая душа, что банкир Бернар и в самом деле был свидетелем давних событий, о которых повествует.

— Сколько же ему лет?

— Не знаю. Долгожителю известны в мире. Вспомните оруженосца Карла Великого.

— Надеюсь, мы производим на него хорошее впечатление? — изволил пошутить король.

Мадам де Ментенон, как всегда, поняла с полуслова:

— Неужели вас волнует мнение потомков?

Людовику было на это наплевать. Человек, воплотивший в себе суть эпохи («Государство — это я», — сказал совсем юный монарх, едва выйдя из-под опеки кардинала Мазарини), мог быть спокоен за место в истории.

Госпожа де Ментенон тоже была спокойна, но по другой причине: она опасалась не этого долгожителя, а мемуариста герцога Сен-Симона, пронюхавшего, что Лозен, будущий маршал Бирон, прятался у нее под кроватью...

Совсем иной тон Вечный жид взял через полтора века с русским самодержцем Николаем I. В эту пору Агасфер уже вовсю неглижировал как внешностью, так и манерой поведения, тем более что Николай ему резко не нравился: коломенская верста, хвостун, удачник, дуботол и скрытый трус.

Агасфер приходил к нему в самом непотребном виде, всегда голодный и недовольный. Впоследствии, когда он прочел «Бесы» Достоевского, его веселило, что он предвосхитил манеру поведения Петра Верховенского с Кармазиновым (карикатура на другого знаменитого русского писателя — Тургенева, которого Вечный жид не мог осилить); тут нет ничего удивительного: Достоевский мастерски изобразил тип парвеню, личину которого надевал и Агасфер.

— Как дела, отец командир? — похохатывая, спрашивал Николай, маскируя смехом свой страх перед жутким посетителем.

— Я тебе не дурак Паскевич, — хамил Вечный жид.

Николай проходил военную службу под командой будущего князя Эриванского и навсегда сохранил пиетет к нему.

— Жрать хочу, — продолжал Вечный жид, развалившись в кресле и швырнув на стол свой местечковый картузик. — И вели вина самосского подать, а не вашу кислятину.

Разумеется, Николай не сразу принял этот стиль отношений. Первый раз он попытался в палки прогнать наглеца, но Вечный жид, поднаторевший во всех видах единоборств, в два счета обезоружил призванных государем служителей, отколотил их и замахнулся на Николая, будто желая огреть его по голове. Тот присел, закрыв лысину руками.

В следующий раз Агасфера схватили при выходе из дворца, оглушили (так показалось нападающим) и бросили в Неву. Отличный пловец, он спокойно переплыл на тот берег и полюбовался оттуда прекрасным силуэтом Петербурга, где не бывал с петровских времен. Но тогда города еще не было — сплошные строительные леса, где лишь местами проглядывали контуры грядущего чуда. Он примчался сюда, чтобы предотвратить казнь знаменитого барона Шафировва, осужденного царем за лихоимство и поставку гнилого сукна армии. Агасфер остановил карающую руку и сохранил для России первого, но далеко не послед-

него еврейского барона. Его не интересовали ни государственный ум, ни деловая хватка барона, он нужен был ему лишь как опылитель русских красавиц — Шафиров не пропускал ни одной юбки.

Когда солнце потонуло в Финском заливе и белая ночь щемяще высинила окна Зимнего дворца, Вечный жид тем же водным путем вернулся во дворец и в мокром платье прошел в кабинет государя, напугав того чуть не до смерти и безобразно заследив навощенный паркет.

Третья карательная операция была проведена на высшем полицейском уровне. Вечного жида схватили у входа во дворец, чего он никак не ожидал, явившись неожиданно, но группа захвата дежурила круглосуточно вот уже второй месяц. Его связали, заковали в кандалы, отвезли в Петропавловскую крепость и бросили в подвал Алексеевского рavelина.

В начале нашего века в Соединенных Штатах прославился фокусник Гудини. Вершиной его престижистического искусства было умение освобождаться от всех пут и выходить невредимым из любого узилища. Так вот, ловкий американец был ребенком малым перед Вечным жидом. Человек не долго ходит под солнцем, он не успевает раскрыть своих истинных возможностей. Он куда сильнее, пластичней, ловчее, изобретательней, чем принято считать. То же относится и к познанию внешнего мира. Он ухватывает кое-как лишь грубую очевидность вещей и явлений. А ведь куда интереснее на той, скрытой стороне; мы живем в одной сфере, а их множество — одна в одной, одна за другой, там таятся от слабого сознания временщика бытия самые жгучие тайны. Мы возимся с домовыми, лешими, водяными и прочей бытовой скучной нежитью, когда так близко хрустальные дворцы деймонов. Вечная жизнь дает представление о скрытой мощи человека. Но это о другом...

Из рavelина Вечный жид ушел с той же легкостью, с какой обрадованный его пленением Николай облачился в

свежие лосины, чтобы проведать юную фрейлину Лопухину. Когда-то Агасфер терпеливо мотал бессрочный срок в венецианской тюрьме Пиомби, что возле моста Вздохов, но с тех пор он совершил несколько побегов из таких крепостей, что не чета обветшалой Пиомби, откуда без труда ушел даже рослый и неуклюжий Казанова. Вечный жид бежал из Тауэра при Генрихе VIII, из подземелья Эскуриала при Филиппе II, из Консьержери в разгар террора. А здесь была русская темница с разболтанными запорами, расхлябанной стражей, полупьяными офицерами — он почти стыдился побега. Но все же ушел из рavelина, не пробыв там и четверти часа, и сразу явился во дворец, повергнув расфранченного и надушенного Николая в глубокий шок.

— Я тебе не декабрист, — сказал ему Вечный жид. — Со мной такие номера не проходят!.. — Что-то кольнуло его в пах. Он сунул руку в штаны, извлек вошь и гадливо ее прикончил. — Русские свиньи, так запустить тюрьму!..

И все-таки не это сломило упрямый дух русского императора с одной шестнадцатой русской крови. Будь у него этой материи побольше, он выдержал бы и то последнее страшное унижение, которому подверг его загадочный мучитель, а он сгорел. Многовато было в нем немецкой суши, не хватило спасительной русской сырости, того болотца, где все гаснет.

В один из вечеров Николай добрался-таки до постели фрейлины Лопухиной. Он только покинул нагретые любовью простыни, когда услышал за дверью грубоватый смех императрицы. Он как раз пытался с помощью возлюбленной натянуть лосины на свои могучие ляжки. Охнув, фрейлина скрылась за потайной дверью, а растерявшийся Николай прыгнул в большой кованный сундук и захлопнул крышку. В спальню вломилась императрица, ведомая Вечным жидом, только что заставшим ее в алькове с молодым Трубецким. Александра Федоровна думала, что погибла, слухи о ее близости с Трубецким уже достигли ушей рев-

нивого и самолюбивого супруга. Но странный человек со сросшимися в одну черту черными бровями схватил ее за руку и куда-то потащил. В спальне фрейлины она мгновенно поняла все, обрадовалась спасению и не стала противиться страстному порыву спутника и собственному мстительному чувству, когда тот завалил ее на сундук. Так, на голове у Николая, Вечный жид наслаждался его женой, после чего увел ошалевшую от восточных сладостей даму.

Чудовищное унижение сломило гордость императора. Подхалимничая перед Агасфером, он жалко мстил ему, называя про себя «Вечно жидовской мордой».

И вот сейчас «Вечно жидовская морда» опять расселась в кабинете, вытянув худые ноги в грязных, разношенных сапогах, и потребовала еды противным, тягучим голосом.

— Сейчас сделаем, — отозвался император с готовностью расторопного полового. — Ростбиф пойдет?

— Кошерный? — спросил Вечный жид.

— Откуда же кошерной пище взяться, отец командир? Вы бы предупредили.

— Я иду с фиордов. Как мог я предупредить?

— Может, рыбки? Лабарданчика, семужки или сига онежского?

— Гефилтер фиш.

— За щукой посылать надо на рынок. Вы подождете?

Агасферу есть не хотелось, он вообще мог обходиться без пищи сколько угодно. Но неизвестно почему, войдя в образ Петра Верховенского, он не мог из него выйти. А Верховенский отнял котлетку у Кармазинова и вином заставил поделиться нетароватого писателя. Кроме того, ему приятно было мучить Николая русским языком, которым тот плохо владел. Он говорил: «пушай», «надысь», «ложить», «арьмия». Удивляться тут нечему: французскому его обучал бежавший от революции обитатель Сен-Жерменского предместья, а русский он постигал преимущественно в девичьей. После долгих ломаний Агасфера сговорились на гурьевской кашке. Николай отдал распоряжение, после чего за-

нялись делами и, к великому облегчению царя, перешли на французский язык.

Агасфера интересовало, как идет внедрение евреев в дворянские роды. Николай подготовил список. С удовлетворением отметил Агасфер *Абрамовича* Баратынского, бесконечных *Абрамовичей* по материнской линии у национального русского поэта Пушкина, даже один Исакович затесался.

— Хорошенько проверь этих Абрамовичей, — наказал он Николаю. — У вас в России ни на что нельзя положиться, сплошной бардак... О чем я еще хотел спросить?.. Лермонтова убрали?

— Будет сделано, отец командир. Соломоныч уже заложил пулю.

— Не тяни, Николая. Такие, как Лермонтов, рыба кость в горле еврейского народа.

— Почему? — удивился царь.

— Он против шинков. Не дает спойть богатыря.

Николай внимательно посмотрел на Агасфера, которому как раз подали гурьевскую кашу, благоухающую ванилью, и он начал неопрятно, чавкая, есть. Что он несет? Неужели и этого колдун постигло старческое слабоумие?

Но Вечный жид знал, что говорит: следуя на Кавказ, Лермонтов, по свидетельству сопровождавших его офицеров Монго Столыпина и Кoko Бурляева, агитировал против шинков. Николай успокоил Агасфера: богатырь прекрасно обходится кабаками, трактирами, кружалами, пивными, полпивными, кроме того, гонит домашнее вино вопреки всем запретам и не нуждается в помощи шинкарей. Русская бочка полна до краев. Вечный жид немного отмяк. Где пьянство, там половая распущенность, а тут не до чистоты крови.

После этого Вечный жид собрался на покой. Ему завтра в Китай двигать — путь не близкий и не торный, надо хорошенько выспаться. Николай поинтересовался, как идет жидофикация Небесной империи. Тут нет затруднений. Вечный жид еще в прошлом веке пригнал туда полсотни

галер с еврейскими рабами и, дав им вольную, запустил в китайское население. Они расплодились с невиданной силой. Китайские дамы в один голос утверждают, что с обреченными кавалерами приятнее иметь дело; кроме того, дети от смешанных браков рождаются с узкими глазами и вполне сходят за китайцев. Но ему надо проследить, чтобы еврейская кровь не слишком разжижалась.

Николай предложил положить Агасфера в малом кабинете.

— Нет, в египетском зале Эрмитажа. Хочу завтра вывести себя оттуда, как Моисей евреев из Египта. И люблю я высокие потолки, они напоминают мне небо Израиля.

Николай не знал, как реагировать на слова Агасфера, содержавшие шутку и ностальгическое чувство. Он усмехнулся и тут же утер слезу, что не произвело на Вечного жида никакого впечатления.

...История порой шла навстречу Вечному жиду — так было с Америкой, страной смелых, чистых духом индейцев, захваченной испанскими авантюристами. К испанцам, потеснив их, присоединилась голландская, французская и английская протерь. В конце концов англичане выставили всех и создали самостоятельное государство, как-то незаметно превратившееся в Ново-Иудею. Во всяком случае, когда Агасфер там появился, то сразу понял, что здесь ему делать нечего. Все шло своим путем, в нужном направлении.

Но чаще всего Агасферу приходилось строить историю; особенно много хлопот доставляла ему Россия. Куда более сложные, порой головоломные проблемы решались с завидной легкостью, а здесь он увязал, как в болоте, в русской простоте. Жидофицировать Африку с громадным арабским населением, исконно враждебным евреям, оказалось вовсе не так сложно. Помогало и то, что местные евреи ничем не отличались от коренного населения: смуглый цвет кожи, темные глубокие глаза, курчавые волосы, длинные жесты, идущие как бы из живота. Иное дело Россия!..

Агасфер не любил поэзию, считал, что она расслабляет, уводит от практики жизни, но стихи читал, ценя в них случающуюся порой взрывчатую афористичность мысли. Он помнил наизусть поразившие его строки. Так, он постоянно повторял тютчевское: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Что верно, то верно: пытаться понять Россию умом — гиблое дело. Скорее поймешь ее тем, что в мошонке, желудком, печенью, прямой кишкой и даже сердцем, хотя это самый ненадежный орган в человеческом организме, но ни в коем случае не надо привлекать к роковой загадке мозг, ибо он может свернуться набекрень или поехать, как сорванная ветром крыша. Поразительно, что ее огромный, смекалистый, широко одаренный, мудреный и лукавый народ органически не способен управлять собой сам и вечно ищет вождей на стороне. Идет это от предельного неуважения друг к другу. Русскому куда легче признать над собой чужую власть, нежели власть своих соплеменников. Поэтому, едва выйдя из дремучих лесов и почувствовав возможность стать народом и страной, они тут же призвали иноземцев — загадочных норманнов «володеть и править» ими. Никто толком не знает, кто такие норманны: шведы, норвежцы, финны, немцы, датчане, бриты или выходцы из Нормандии? Русские вообще ничего о себе не знают, не знают даже, почему они русские. Коренное население этой земли — славянские племена; почему они вдруг стали русскими — смешались с норманнами, что ли? Так чего им так гордиться чистотой крови, если тут заведомая смесь? Они не знают, что значит слово «Москва», какого оно корня. Они люто ненавидят евреев, но по неведению признают своим покровителем капернаумского еврея Андрея Алфеева, брата апостола Петра, на котором Христос основал свою церковь. Больше всего в своей истории они тщеславятся победой над псами-рыцарями на Чудском озере. Но не было на свете псов-рыцарей, как не было и такой битвы. Шестьсот лет мирились они с татарским игмом, и ни разу народ не восстал. Взбрыкивались изредка князья,

наиболее удачно это сделал Дмитрий Донской, но и после этого Россия оставалась под татарами. С Ивана III началось агрессивное паломничество иностранцев в Россию. Но если итальянцы захватили лишь искусство, то пришедшие им на смену немцы простерли свои притязания на торговлю, ремесла, науку, государственные и военные посты. Поляки действовали проще, они попытались присоединить Россию к Речи Посполитой. Французы сперва завоевали русских дам, потом все высшее общество, заставив говорить по-французски, но попытка утвердить штыком свои завоевания не удалась — едва унесли ноги. К этому времени Россией прочно правили немцы, взявшие фамилию Романовых, в последнем русском царе Николае II 1/256 частица русской крови. После апокалиптической революции власть взяли евреи, а затем надолго воцарился грузин, неизмеримо превзошедший в кровоядстве самого страшного, а потому и самого любимого, самого воспетого благодарным народом царя Ивана Грозного. Сталина любили еще сильнее, с его именем шли умирать.

Нет, не понять умом эту страну и этот народ, объявивший себя невесть с чего Богоносцем, хотя равнодушнее его к религии на свете нет. Только в ересях и сектах проявляют русские непохвальную горячность.

Но у этого раздрыганного народа был силен бессознательный комплекс самозащиты. Чувствуя наступление иудейской стихии (перестарался малость Вечный жид), они создали ряд охраняющих законов (в том числе черту оседлости и процентную норму в учебных заведениях), когда же увидели, что и это не помогает, то объединились последним усилием в Союз русского народа. Широкие крыла Михаила Архангела простерлись над измученным народом, взблеснул его светлый меч надеждой на избавление. Но Вечный жид не дремал и спровоцировал первую мировую войну. Отлетел Архангел с опаленными крыльями, полегли на галицийских скорбных полях его воины-охотнорядцы. Известно, что на войне гибнут лучшие люди, незаполняемая брешь разверзлась в народном теле.

Ну а когда цвет нации был уничтожен (евреи, естественно, уцелели, ибо, даже попадая на фронт вольноопределяющимися, они тут же устраивались в плену), Вечный жид произвел революцию, даже не одну. Не дав стране оправиться после свержения несчастного царя, он прислал в запломбированном вагоне Ульянова-Бланка, более известного под псевдонимом Ленин, и тот устроил революцию уже по-настоящему — с резней, расстрелами, гражданской войной. И закрутился на одной шестой части земной суши тот ошеломляющий шабаш, который расшатал и оморочил весь мир...

Здесь идет первый большой пропуск — по причине, изложенной в издательском вступлении.

К сожалению, кто-то еще «читал» эту рукопись: текста пропало больше, чем я ожидал. Ушли в зловонную яму обе революции, о чем не стоит особо жалеть. Повествование продолжено с послереволюционных дней.

От века чуждые политической жизни евреи устремились в политику. Другие сели на коней и стали размахивать шашкой, это не соответствовало намерениям Вечного жида. Ему вовсе не хотелось, чтобы еврей стал всемирным пугалом, его ампула — страдалец, жертва, а не торжествующий дракон-проvizор. Вообще к всеобщему, единому и вечному еврейскому царству на земле, которое создавал Агасфер, вели иные пути. Евреи вышли из повиновения, надо было срочно обуздать их.

Вечный жид остановил свой выбор на выходе из Грузии, агенте царской охранки, грабителе и убийце Сосо Джугашвили и начал готовить его в диктаторы. Выстрелом Фанни Каплан он несколько примирил общественность с евреями и вывел из игры главного заправилу, расчистив место для Сосо.

Тому достаточно было легкого толчка, и развернулись редкие способности дворцового интригана — хитрого, за-

таенного, терпеливого и безжалостного, в совершенстве носившего маску тупой посредственности, которой нечего опасаться. Самое любопытное заключалось в том, что он действительно был туп, банален, усреднен во всем, кроме властолюбия и вытекающей из него готовности к любому преступлению. Тут проглядывало что-то психопатическое. Последовательно и беспощадно Сосо прикончил весь ленинский синедррион.

Покончив с коллективным Нахамкисом, Сосо взялся за осуществление главного плана Вечного жиды: уничтожить кормильца России — крестьянина и мысль России — интеллигенцию. И в том и в другом он отменно преуспел. Будучи человеком осторожным, Сталин до поры скрывал свой антисемитизм. Он постоянно держал при себе на самых видных ролях омерзительного еврея Кагановича, который потом жил так долго, что пошел слух, будто он и есть Вечный жид. Оскорбленный Агасфер прихлопнул старого клопа где-то на сотом году его ползучей жизни. Никогда не было столько смешанных браков, как в сталинские времена; люди, по обыкновению доверчивые и неосмотрительные, верили его трепотне о дружбе народов, интернационализме и прочих марксистских благоглупостях. Используя еврейский энтузиазм, слепую преданность революции и зашоренность восторга соучастия в государственной жизни, Сталин многие грязные дела делал их руками, а потом уничтожал. Вечный жид терпимо относился к этой игре, поскольку жидкая струя еврейской лимфы не шла в сравнение с потоком русской крови. Важно было ослабить, обескровить, одряблить, оглушить могучую Россию, а это Сталин делал неукоснительно.

Вечному жиду пришлось с ним несколько раз встречаться, и он был поражен душевной незначительностью величайшего в мире злодея. Для глобальных злодейств вовсе не требуется великая личность. Разрушать, губить, убивать, истреблять — совсем не хитрая наука, гораздо труднее создать даже малый элемент добра, для этого нужна хоть какая-то одухотворен-

ность. Все крупные политики в той или иной степени подонки, ибо задолго до Маккиавелли руководствовались правилом: цель оправдывает средства. Стало быть, ни о какой морали не может быть и речи. А человечески значительно лишь то, что лежит в сфере нравственности. Но если забыть об этом, то большие политики и государственные люди чаще всего незаурядны. Вечный жид был знаком со многими из них. Как живописны были Нерон, Домициан, Диоклетиан и другие деспоты-императоры! А Ричард III, Иван Грозный, Петр I, Елизавета Английская!.. Все личности. Как полководец Наполеон не много стоил: он использовал истерический подъем французской революции, все еще не напившейся крови, марш своих противников и счастливый случай (позже, когда ситуация изменилась и отвернулась удача, он терпел поражение от тех же противников), зато какая сила мысли, какое остроумие, пронизательность и редчайший талант законодателя! Фридрих Великий — еще больший профан в военном деле (только нахрап и фортуна) — прекрасно играл на флейте и хорошо писал; обладала литературным даром и неиссякаемым фригидным темпераментом Екатерина Великая; Петр I был великолепен в своей монструозности; Дизраэли — занимательный романист; Черчилль — отличный пейзажист, но преуспевал и в натюрморте; Ленин был гений разрушения; де Голль увлекал рыцарственной любовью к Франции, — у каждого что-то имелось за душой. Сосо был пуст, как сгнивший орех. Он пришел на готовое: и метод, и рычаги истребления уже были созданы его картавым предшественником, от него ничего не требовалось, кроме готовности убивать. Этой готовностью он обладал. Его плоский, схематический умишко не родил ни одной мысли, ни одного острого слова: скучный, бездарный, необаятельный, с плохой речью, он был внешне безобразен и плюгав.

Но Сталин был нужен Вечному жидам для осуществления самого крупного и подлого замысла: второй мировой войны.

Пора было резко двинуть вперед еврейское дело, которое начало топтаться на месте. Нужен был, как говорится

в классическом марксизме, революционный скачок. В невероятной деятельности Вечного жида не было ничего равного по дерзости и масштабу. И что самое замечательное: вплоть до начала девяностых годов, когда безвестный доселе ученый Климков опубликовал на страницах «Нашего соотрапезника» (самого страшного для Вечного жида издания) свое открытие, никто не догадывался об истинных пружинах мировой бойни. Только тогда люди узнали, кто были на самом деле так называемые «истребители евреев», творцы геноцида, создатели лагерей уничтожения и камер смерти...

Здесь опять обрыв рукописи, но смысл уничтоженного текста сообщен во вступлении.

...Военные действия мало интересовали Вечного жида. Его главные заботы были связаны с геноцидом, поэтому он лично следил за организацией лагерей уничтожения. Считалось, что там сжигали главным образом евреев, остальных же лишь за лагерные провинности: бунт, попытку бегства. Ничего подобного. Патриотическая печать разоблачила очередную сионистскую утку: сжигали русских парней, а евреев лишь подмешивали для вида. И это естественно, поскольку все лагерное начальство, охрана, надзиратели и палачи были евреями. Ведь в эсэсовские части, как и в гестапо, как и в личную охрану Гитлера, брали только евреев. Без пятого пункта туда и соваться было нечего.

Умело направляемая Вечным жидом пропаганда делала свое дело. О придуманной еврейско-голландской девочке Анне Франк раскричали на весь мир: книги, фильмы, спектакли, оратории. О настоящих жертвах молчали в тряпочку.

Вечный жид выиграл вторую мировую войну. Советские хвастуны, сидя на развалинах своей страны, трубили о победе, союзники были куда скромнее, но тоже славили викторию (кроме Черчилля), и лишь десятилетия спустя стали робко поговаривать, что войну, похоже, выиграли побеж-

денные: Германия и Япония. Это чепуха, настоящий победитель был один: Вечный жид. Он извел невесть сколько прекрасных русских и немецких парней, опасных для его подлого дела, заразил весь мир сочувствием к евреям, а немцев — мукой непреходящей вины и раскаяния; из черных дымов лагерных печей создал государство Израиль, о котором нечего было бы мечтать, если б не мнимый геноцид; открыл шлюзы еврейской эмиграции в Америку, Израиль, Германию, заодно наводнил евреями такую чистую прежде страну, как Италия; через американских евреев военной базы на Окинаве повел половое наступление на японский народ и с подобных же баз — на филиппинцев и киприотов. А еще он сделал евреев модными, чем невероятно увеличил количество смешанных браков. Прежде коренное население многих стран, мирившихся с присутствием евреев на их территории, но державших их на расстоянии, было жидоустойчиво, теперь же под укоризненными взорами девочки Анны Франк и учителя Корчака все как полоумные кинулись в еврейские объятия. Австрия объевреилась окончательно, не отстало и княжество Лихтенштейн. Берлинская стена долгое время охраняла хоть часть Германии от еврейского напора, но Вечный жид ее опрокинул. Впрочем, еще до этого там хорошо похозяйничали укрытые Вечным жидом от возмездия эсэсовцы и гестаповцы, сплошь, как мы знаем, евреи.

Под видом возвращения на свою историческую родину советские евреи ринулись в Америку, по пути обсеменив все перевалочные пункты великого переселения избранного народа. На диком бреге Атлантического океана они облюбовали местечко Брайтон Бич, осели там, укрепились, возвели часовые мастерские, лавочки и аптеки и повели атаку на бело-черно-красное население страны. На западном побережье они создали свой центр в Сан-Франциско, взяв, таким образом, в клещи всю страну.

Америка все-таки попыталась подставить ножку Вечному жиду, хотя и не ведала о его существовании. То, о чем

сейчас пойдет речь, не было рассчитанной акцией со стороны американцев. Нет, — инстинктивная самозащита народа, почувшавшего, что ассимиляция чужаков приведет к исчезновению еще не успевшей до конца сформироваться нации. Аборигены страны устремились на Аляску, бежав от своих новоявленных бледнолицых братьев с южным темпераментом. Те за ними не последовали: когда у тебя в руках вся теплая страна от Брайтон Бич до Сан-Франциско, зачем тебе суровый, холодный северный край?

Наиболее близко расположенная к Аляске земля — Чукотка, населенная милым и простодушным народом чукчей, героев многочисленных анекдотов. В свое время, предчувствуя опасный поворот событий, Вечный жид придумал для этого народа, лишенного письменности, национального писателя — красивого, представительного ленинградского еврея, скуластого, с темной кожей и узким разрезом ночных глаз. Он стал единственным писателем и единственным читателем маленького окраинного народа. Когда он приехал на Чукотку, ему были оказаны божеские почести. Так, он должен был переночевать в каждом чуме, разделив ложе с хозяйкой. В результате этого «чумового» гостеприимства народонаселение края увеличилось вдвое и стало наполовину еврейским. Когда пал «железный занавес», оказалось, что Чукотку от Аляски отделяет лишь тоненькая полоска воды. Доверчивые аляскинцы, не ведая о кознях Вечного жида, поторопились навести мосты дружбы с милыми соседями. Начались встречи, игры: «Дорогие, а мы к вам пришли. Золотые, а мы к вам пришли», совместные заплывы и переплывы, пиры у костров, распахнулись объятия, разверзлись ложесна и зажужжали жидовские шаррики в крови аляскинских красавиц. От чего бежали, к тому и прибежали. Предусмотрительность Вечного жида одержала очередную победу...

И снова Россия, великая, непредсказуемая, загадочная Россия, которую не понять умом, не измерить общим аршином, тяжело озадачила величайшего в мире интригана.

Настали новые времена. Пришли добрые силы, растворили ей темницу, дали ей сиянье дня, изгнали оморочивающий дух чернобрового коня, и встрепенувшийся народ глубоко задумался умами своих лучших представителей, как покончить с евреями. А если это споро пройдет, то и с остальными инородцами. Оказалось, что нет важнее, насущнее, благороднее и возвышенной задачи. Так ныл про себя старый иерусалимский лукавец, будто не понимал глубочайшей мудрости и проникновенности народной задумки. Если по-простому сказать: прищемили ему хвост.

Хотел он всех под свой устав подвести, а патриотические силы разгадали черный умысел; пусть по-прежнему слепо возводили его к мифическим сионским мудрецам, но все остальное высчитали безошибочно. Даже то, что Агасфер считал навеки похороненным в его темной душе. Прозрели свежий ум и девственное сердце: национал-социализм еврейского корня, геноцид — еврейское преступление. В чудовищном цинизме своего плана видел Вечный жид гарантию тайны, но она открылась просветленным. Всполошным звоном прозвучали голоса патриотических изданий; очнулся, расправил затекшие члены богатырь и захотел, чтобы его скорее вели к свету.

Вечный жид и оглянуться не успел, как осиянный богатырь возжаждал живой воды погрома. И прозвучал весенним грозовым раскатом старый испытанный клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Он вызвал радостный подъем в несмети тех, кому дорога русская честь, и панику в стане жидовствующих. Смертельно перепугалась вся заживевшая и разнежившаяся в русской ласке еврейчатина. Началось паническое бегство, в первую очередь, конечно, в Америку. Это противоречило намерениям Вечного жида, и он быстро перекрыл шлюзы, заставив конгресс установить жесткую квоту на эмиграцию. В Америке дела и так шли отлично, там практически была завершена полная жидовизация страны, а евреев еще надо было использовать в России, где оставались белые и белесые пятна: в Якутии, Ханты-

Мансийском округе, на Памире и Вологодчине. Да и маленький Израиль начал задыхаться под наплывом наглых, скандальных, по-гойски разленившихся и требовательных выходцев из Страны Советов.

А патриотические силы взялись за дело крепко. И гнусная акция Вечного жида, повесившего в тюремной камере великого патриота, златоуста и буревестника, по-детски наивного Осташвили, не только не запугала патриотов, напротив — мобилизовала, зарядила до отказа гневом, болью, жаждой возмездия.

«Память» проводила последние учения, отработывая приемы испарывания перин, выбрасывания мебели из окон, уничтожения домашней утвари, группового изнасилования хаек (в качестве спарринг-партнерш предложили себя несколько самоотверженных литературных ветеранш, немало натерпевшихся в долгой и трудной половой жизни от евреев). Вообще замечательно, что в намечающемся первом погроме российского восстановления вдохновителями и предводителями были писатели. Редкий пример духовного ренессанса интеллигенции. Штаб-квартира погрома находилась на Комсомольском проспекте, в помещении СП РСФСР, участковые опорные пункты — в редакции «Нашего соотрапезника», «Молодой лейб-гвардии», «Литературной Руси», «Московского борзописца». Перед самым выступлением о всемерной поддержке очистительной акции заявила влиятельная военная газета «Утро», которой командовал старый афган политрук Прохвостов. Митрополит Закрутицкий прислал повстанцам священную хоругвь.

Все шло как по маслу, уже был объявлен день «битья стаканов», а члены «Куняевюгенд», молодежной организации при «Памяти», помечали крестиками двери евреев, метисов и квартеронов, подлежащих уничтожению в первую очередь, когда все рухнуло.

Феноменальная и коварная предусмотрительность Вечного жида разрушила столь тщательно и вдохновенно разработанные планы спасителей России.

Вечный жид знал, что в чистой России нет места стерильнее, чем ее северная окраина, называемая Поморьем. Здесь не знали ни татарского, ни польского, ни французского нашествия, ни крепостного ига, не видели ни псоврыцарей, ни остзейских, голштинских, мекленбургских и прочих немцев, ни евреев, ни чечено-ингушей, никакой инородной нечисти, сохранив прозрачную кровь, в которой пела соль Ледовитого океана. Недаром же отсюда пришел дивный холмогорский мальчик и создал отечественную науку, реформировал стихосложение, возродил пребывающее в упадке русское художество, основал Академию наук, сформулировал закон сохранения вещества.

И вот туда заслал Агасфер рыжего, голубоглазого провизора, маленького, худенького, розовощекого блондинчика, сластолюбивого, как павиан, и неотвязного, как репей. Не хочется говорить о постыдных подвигах этого любострастника среди простодушных и доверчивых дочерей тихой, как ночной шепот, стороны. Когда же поняли те, что этот вкрадчивый оболститель ко всем своим подлостям еще и женат и никогда не бросит верную Сарру с кучей жидинят, упрятаных в Беловежской пуше, то стали бегать от него, как черт от лада-на. Но упорен был охальник. Одна девушка бежала от него на неоседланной лошади, потом на оленях, впряженных в легкие нарты, наконец, на собаках-лайках, но так и не могла оторваться от преследователя. Против острова Вайгач она соскочила с саней, перешагнула через павших от усталости псов с высунутыми потными, стекленеющими языками и ступила на зыбкий лед. Она почти достигла острова, когда на последней льдине провизор достиг несчастную и на заплеске, давнив ее тело в ледяную стужу, овладел девичеством. И тут же повернул назад. Не утруждая себя сдачей аптеки с остатками тройчатки, касторового масла, детских клистиров и пластыря, он умчался сперва на лошадях, потом на чугунке в свою пушу.

Поморы живучи, бедная девушка добралась до берега и после мучительных странствий нашла приют у добрых

ненцев. Вернуться домой она не решилась, не уверенная в том, кого произведет на свет. Ведь мог же младенец унаследовать отцовский шнобель, торчащие уши, картавость. Бог милостив: справным родился сыночек. На круглой мордашке торчал нос пуговкой, аккуратные ушки прижаты к голове, глазки лазурные — славянские, хотя унаследованы от папы-еврея, как и светлые волосы, — мать была кареглазой шатенкой. Когда подрос, открылось, что он и не картавит нисколечко, любо-дорого было слушать его звонкое «р». Куда хуже оказались другие дары папы-провизора своему сыну: крошечный рост и чрезмерная склонность к женскому полу, обнаружившаяся в весьма нежном возрасте. И вторичные признаки пола соответствовали его ранней мужественности: в шестом классе он запустил густую золотистую бороду и лихие усы. Маленький бородатый школьник вызывал любопытство, смешанное с легким ужасом. Школу он не кончил, пришлось срочно бежать от разгневанных оленеводов, чье завидное долготерпение сын провизора сумел взорвать, обрюхатив всю школу.

Таким образом, Вечный жид темным своим наитием походя решил проблему Крайнего Севера — уже не остановить было отравленной струи.

Мать и сын решили проложить между собой и оскорбленным северным народом много длинных русских верст, бежали они до самого Олонцака близ Ладоги и лишь там отважились остановиться. В школу юный Савелий Морошкин — он носил фамилию матери — не пошел, ибо пережитое потрясение вывело наружу тот поэтический дар, который в самом непродолжительном времени принес ему всесоюзную, а там и мировую славу.

Опасное женолюбие с годами увяло, вытесненное другой страстью — к вину, унаследованной от материнских предков. Это ничуть не марало репутации Морошкина, напротив, делало его нежно, слезно, по-есенински близким читателям-соотчичам. От матери унаследовал Морошкин и лютую ненависть к евреям. Естественно, что он стал лиде-

ром и трубачом патриотического движения. Но никто не предполагал, что он окажется миной замедленного действия, которую Вечный жид почти наугад подложил под будущее России.

Это случилось в те незабвенные дни, которые могли стать началом конца жидо-масонского заговора через повальное истребление и самих заговорщиков, и той среды, что питала заговор.

Уже была объявлена дата выступления, наточены ножи, набиты свинчаткой палки, изготовлены велосипедные цепи, напильники, валики с мокрым песком, запасено и горячее оружие с боеприпасами, баллончики с «черемухой», веревки и крючья, и вдруг все рухнуло.

Некоторое время назад допившийся до полной несостоятельности Морошкин стал блюстителем добрых нравов, охранителем священных заветов домостроя. Корень зла Морошкин видел в растлевающем исконную русскую нравственность влиянии 'инородцев. Натура страстная и безудержная — а только таким бывает истинный поэт, — он стал требовать, помимо ликвидации евреев, сожжения проституток, в первую очередь валютных, как в средневековые сжигали на кострах ведьм. Этого его призыва всерьез никто не принимал, считая поэтическим перехлестом; даже проститутки не обижались на своего любимого певца. Но однажды во время его публичного выступления, исполненного огнепальных заклинаний, девица с платиновой головой крикнула из публики новоявленному Торквемаде: «Пить надо меньше!» И это ходячее, пустое, истасканное выражение вдруг оглоушило Морошкина. Он разом уверился, что алкоголь — главная причина порчи нравов и заката России, а инородцы — потом. И разразился программной статьей на тему пережитого озарения. В своем манифесте он потребовал полного запрещения всех алкогольных напитков, включая пиво, и смертной казни для самогонщиков. Перепуганный народ, увидев, куда ведут его патриоты, сказал решительное «Нет!» Варфоломеевской ночи. Лучше оставь-

ся с жидами и с водкой, чем без того и без другого. Это был нокаут патриотическим силам...

И тогда Вечный жид взялся за осуществление третьей по значительности и размаху акции, которая вошла в историю под американским названием «Война в заливе». Через свое доверенное лицо, Арафата, которому он поручил возглавить палестинское освободительное движение, он договорился с честолюбивым авантюристом и дураком Саддамом Хусейном о захвате Кувейта. Агасфер полностью финансировал эту операцию и отдельно оплатил Саддаму бомбардировку Израиля баллистическими ракетами. Наглый, но осмотрительный Хусейн опасался, что Израиль ответит атомным ударом. Свою бомбу Ирак еще не успел доделать. Вечный жид успокоил диктатора, что ответного удара не будет, и ракеты посыпались на кроткую, незащищенную страну, так жалостно поднявшую кверху лапки, что мировое сердце затрепетало от сострадания, и евреи, успевшие всем надоесть, вновь стали любимы.

С Хусейном дело иметь не сложно, имея помощником хитрящего Арафата; куда труднее было убедить жестких израильских военных, застоявшихся с дней своих победоносных войн, не прикончить бадду-агрессора, который во всеоружии допотопной советской техники был столь же неуязвим, как Дон Кихот в картонных латах, с медным тазиком для бритья на голове.

Но убедил вояк Агасфер, даже на человеческие жертвы заставил пойти — и в результате одержал очередную победу: потрясенный новыми жертвами многострадального народа, мир опять раскинулся перед евреями, как интердевочка перед японским клиентом. Увеличение американской эмиграционной квоты было вовсе не нужно Агасферу, но дрогнула жидоустойчивая Австралия, из-за которой, собственно, и загорелся весь сыр-бор. Пятый континент слишком долго был местом добровольной и не добровольной ссылки всякой английской протери: от жалкого обнищеванца мистера Майкобера до каторжников и убийц; и,

начав всерьез строить свою государственность, австралийцы стали крайне разборчивы в допуске на родину коалы и кенгуру ищущих пристанища бродяг. Вечного жидка это не устраивало, и он кардинально решил проблему. Примеру Австралии последовала Новая Зеландия, Фиджи и все острова Океании. Евреи хлынули на новые тучные земли...

Мы рассказали о нескольких героических событиях в долгой борьбе Агасфера за создание Планеты Жидов, наметили пунктиром его путь вплоть до исхода двадцатого века. Были у него трудности — порой немалые — и после войны в Заливе. Но мы не пишем историю этого невероятного строительства, задача наша куда скромнее: поведать читателям о горестной судьбе самого прораба.

В середине двадцать первого века Агасфер завершил свой труд, завещанный ему отнюдь не от Бога. Хотя кто может наверное знать? Даже самому Вечному жиду не было доподлинно ведомо, возникла ли его дерзновенная идея спонтанно или была подсказана ему мудреным Ягве. Ему казалось, что он действует от себя, не было никаких видений, явлений, он не слышал тайных голосов, не видел вещей снов. Но разве это так уж важно? Важно другое: теперь землю населяли сплошь евреи, хотя не исчезли и прежние наименования наций: англичане, французы, немцы, русские, китайцы и т. д. Но они значили куда меньше, чем выражения исхода двадцатого века: «американские негры», «американские итальянцы». Там все-таки подчеркивался разный состав крови, а здесь состав крови у всех был един. И Вечному жиду захотелось обозреть творение рук своих и сказать, как Господь Бог в шестой, последний день творения: «Это хорошо!»

Он решил устроить нечто среднее между знаменитым шествием поезжан к Ледяному дому в царствование Анны Иоанновны и Первым всемирным фестивалем молодежи в Москве. Он выбрал русскую столицу, ибо ни с одной страной не было столько осложнений, трудностей, мук, сколько с Россией, особенно когда на сцену выступили патриотиче-

ские силы. Если бы годы что-то значили для Вечного жида, он мог бы пожаловаться, что борьба с заединщиками отняла у него немало жизни. И конечно, надругаться над московской святыней — Красной площадью входило в его коварные замыслы. Итак, парад народов мира, ставших единым еврейским народом, но сохранившим в этом общезидии свои традиционные имена. Тысячи людей, съехавшихся со всех концов земли, прошагают по старинным торцам мимо Мавзолея, изменившего свое назначение: прежде он был усыпальницей вождя — ныне стал музеем большевистских злодеяний; главный экспонат — мумия в пиджачном костюме. Далекой предрыночной порой, спасая свое имущество, партия приватизировала Мавзолей, а затем сдала муниципалитету под музейное помещение.

Пока шла церемония, стоявшие на Мавзолее главы государств с любопытством и бессознательным уважением обращали взгляды к пожилому, статному, смуглолицему человеку с глубоко запавшими глазами и густыми черными бровями в одну полосу. На нем были белые легкие одежды, белый тюрбан, заколотый драгоценным камнем, на шее золотая цепь, длинные музыкальные пальцы унижены перстнями. Усталым покоем веяло от его выразительного лица. Порой на уголок глаза набегала слеза, он скидывал ее мизинцем с длинным, чуть загнутым ногтем. Они не могли взять в толк, кто такой этот экзотический человек, какую страну он представляет; никому из стоящих на Мавзолее он не был известен. Какой-нибудь магараджа, шейх, султан, эмир, но почему он так по-хозяйски занял место среди первых людей Америки и Евророссии? Спросить его никто не решался, было в нем что-то величественное, таинственное и неприступное.

Агасфер смотрел своими острыми, как у орла, глазами с небольшой, но охватистой высоты Мавзолея на проходящих стройными рядами евреев и не замечал, что губы его шепчут: «Так совершенны небо и земля и все воинство их!..»

Он имел право на эти слова из книги «Бытия», коими восславлены дела Господа, создавшего этот мир, ибо дал завершенность и единство творению Вседержителя.

И все-таки он не мог не признать, что примесь чужой крови подпортила чистый русский тип. У еврейских красавиц широкий таз, выпуклые глаза, крупноватый нос и складка горечи терпения в уголках губ. Наверное, нужны тысячелетия, чтобы стерлась древняя скорбь гонимости. Ничего, время все лечит... Хотелось бы чуть большего разнообразия в лицах. Это касалось не только женщин, но и мужчин. У последних одинаковости способствуют пейсы и горбатый нос. Даже плоские, словно раздавленные сопатки африканцев слегка оклювились. Что-то неприятное шевельнулось в душе, и, гоня прочь внезапную смуту, он снова окинул взглядом всю необъятность площади.

Мощный крик: «Шолом!.. Шолом!..» — потряс землю и небо.

И отозвался слезой на крепкой скуле Агасфера.

Язык землян сильно унифицировался в конце двадцатого века в связи с мощным проникновением Америки в поры мировой жизни; в последние десятилетия американизмы отступили под напором иврита, наложившего приметный отпечаток на все языки и наречия. Но ничего похожего на эсперанто не возникло: все нации продолжали говорить на своем, хотя и сильно приправленном евреизмами и певучей интонацией языке. А вот сердечное приветствие «Шолом» стало повсеместным.

Сейчас это выкликали высоченные, сухопарые суданцы звучными глотками. За ними, пущенные по контрасту — это выглядело удивительно трогательно (слава церемоний-мейстеру!), — семенили крошечные пигмеи и своими птичьими голосами тоже кричали: «Шолом!.. Шолом!..»

Они были в очень коротких шортиках и в жилетках. Плоские угольно-черные лица обрамлены жесткими кудельками пейсов. Жилетки получили такое же повсеместное распространение, как и традиционное еврейское привет-

ствие; они были из разного материала: кожаные у североамериканцев, замшевые у европейцев, шелковые у жителей экваториальной Африки, Австралии, Океании, меховые у эскимосов, ненцев, чукчей, из ситцевого заменителя у россиян. Причину этого увлечения Агасфер понял позже, когда началось свободное гулянье поезжан. Лишь два снежных человека обходились без жилетов, они были совершенно голые, в собственном жестком волосе, с забинтованными после недавнего обрезания членами, чем простодушные дети Гималаев очень гордились, стараясь привлечь внимание окружающих к своим забинтованным культам. Пейсы были и у них. Опять Вечного жида что-то кольнуло. Он был слишком индивидуалистом, чтобы спокойно воспринимать унифицированность.

Вся площадь вскипела аплодисментами. Колонны расступились, образовав широкий коридор. И по этому коридору в коляске на дутых шинах провезли ветерана черносотенного движения, крупнейшего теоретика погрома, последнего из могижан-восьмидесятников, когда так ярко разгорелся в глухой ночи перестройки патриотический факел, прославленного Олега Запасевича. Ему недавно стукнуло сто двадцать лет. Предвечному пришлось удлинить ему срок земной жизни, чтобы провести его сквозь чащу заблуждений к свету истины. Он прошел долгий и трудный путь: некогда крупный ученый, он наступил на горло собственной песне, чтобы другой ногой наступить на горло «малому народу», как он остроумно называл евреев в своих блистательных эссе, манифестах и программных речах.

Пожалуй, не было у Вечного жида более сильного противника, чем этот сутулый, хилый, слабый плотью кабинетный ученый, нашедший в критическую для страны пору огненные слова трибуна. Сейчас Агасфер почти с любовью смотрел на скрюченного в кресле старикашку; под черной ермолкой морщилось печеным яблоком крошечное личико, торчали седые пейсики двумя мышинными хвостами. Будучи во всем максималистом, Запасевич в пору своих

искренних заблуждений при каждом удобном случае принимал святое крещение; вернувшись в лоно своего народа, он сделал вторичное обрезание (первое, совершенное при рождении, он скрывал) и отхватил почти всю оставшуюся плоть. Известно, что раскаявшийся грешник стоит десяти праведников, оттого и был так велик всеобщий восторг.

Вечером гулянье охватило весь центр столицы. Жгли костры и на Красной площади, и на Театральной, и на площади Звезды Давида — так переименовали площадь Революции, и на Манежной, и на площади Жертв террора (бывш. Дзержинского, еще ранее — Лубянская), и на Пушкинской, против синагоги, ставшей на месте кинотеатра «Россия». Жарили шашлыки, купаты, кебабы, цыплят, рыбу, пекли пироги, кнедлики, готовили под открытым небом всевозможные экзотические блюда, но тонкий нюх Агасфера сквозь все богатство запахов и мощной обвони оливкового масла улавливал стойкий дух чеснока. А попробовав разной снеди у дружеских костров, мангалов, печурок, он обнаружил, что кошерное мясо, в каком бы виде его ни готовили: на сковородках, шампурах, в листьях винограда или капуста, наштипованным, наструганным, вареным, печеным, жареным, — было кисло-сладким, как это от века принято у евреев, а за всеми разносолами угадывались гевилтер фиш и цимес — блюда, которые Агасфер органически не переваривал, как и мацу, заменившую нынешним землянам хлеб. По виду хлеб был разным: халы, франзоли, бригет, калачи, лаваш, чурек, ситный, бородинский, пеклеванный, на деле же — тем самым, которым пророк Моисей накормил евреев в пустыне. И это было скучно, как пейсы, смыывающие индивидуальное выражение, как жилетки, заменившие прежнее богатство национальных костюмов.

Но еще скучнее ему стало от песен и плясок поезжан. Что бы ни плясали, ни танцевали посланцы мегаполисов, городов, деревень, американских прерий и затерянных в океане островов, обнаженной Африки и за-

кутанного в меха Севера — это был фрейлехс. Он мог называться танго, вальсом, фокстротом, румбой, ламбадой, дробцами, гопаком, лезгинкой, русской, чечеткой, танцем верблюда, кенгуру, страуса, он мог идти в сопровождении джаза, гитары, балалаек, бубна, кастаньет, волюнки — это был фрейлехс. Не зря все мужчины носили жилетки: вступая на танцевальный круг, они по-ленински закладывали за борт большие пальцы.

И что бы ни пели поезжане, это была «Идише мама». Все тарантеллы, баркаролы, грузинские застольные, армянские свадебные, русские народные, мадагаскарские ритуальные, «Плач ковбоя», «Типирери» — все отдавало скорбной «Идише мама». Даже когда одесские евреи грохнули свою любимую с далеких нэповских дней «Ужасно шумно в доме Шнеерсонов», то сквозь лихой мотивчик пробилась «Идише мама». Впервые в жизни у Вечного жиды закружилась голова.

Невероятно стойкая в еврействе изначальная библейская тоска отравила их песни и пляски, даже одесскую бесшабашность, поселилась в зрачках. Вечный жид уже не мог любоваться красотой женщин, со всех лиц — белых, черных, желтых — глядели выпуклые, унылые, близорукие глаза еврейских отличниц.

Казалось, в небе затерялся старенький биплан «ПО-2» — рокотало еврейское «р».

И стало скучно. Мир утратил свое многообразие. Казалось, он утратил и свое разноцветно, стал каким-то изжелта-серым. Исчезли тайны, игра, неожиданность, вспышки, все можно было высчитать и предугадать.

На другой день он узнал о происшествии под стенами Новодевичьего монастыря, где поставили свои хижины посланцы страшных Соломоновых островов. Их долго осаждала пожилая проститутка из Кунцева, навязывая свои услуги. В конце концов она так надоела им, что они прикончили ее и сожрали. К стыду своему, Вечный жид обнаружил, что эта людоедская выходка не противна ему, но даже

радует, как нарушение осточертевшего стереотипа. Но он погрузился, узнав, что они приготовили ее кошерно.

Вместе с тем до него дошло, что государственные люди, возглавляющие делегации своих стран, решили не терять даром времени и занялись политикой и бизнесом. И тут обнаружились немалые противоречия, амбиции, счеты, неоправданные притязания, как в недоброе старое время. Известно, что принадлежность к одной национальности нисколько не смягчала нравов коммуналок в пору цветущего социализма. Всеобщее еврейство не укротило противоборствующих страстей мировой коммуналки. Значит, и войны могут быть, и верховенство одних над другими? А стало быть, и ненависть не исчезнет на планете? Зачем же он старался? Быть может, до войн дело не дойдет, но мира под оливами тоже не будет. Зачем, к примеру, евреям острова Тобаго понадобилось термоядерное оружие? Но они делают все возможное и невозможное, чтобы в обход международных запретов раздобыть урановое сырье.

«Шолом!.. Шолом!.. Шолом!..»

А что за этим добрым и невыносимо надоевшим приветствием? Что скрывают все эти люди в пейзажах своей души?.. И все же сильнее тревоги угнетало однообразие..

Утро четвертого дня праздников застало Вечного жида на скамейке Яузской набережной, в одном из самых скучных, словно навечно опечаленных мест столицы за Андрониевым монастырем. Он прибред сюда ночью, спасаясь от надоевших праздничных толп. У него были апартаменты в лучшей интуристовской гостинице «Европейская Россия», на месте Малого театра, снесенного в перестройку за нерентабельностью. Но его воротило от праздничной толпы, фрейлехса, «Идише мамы», раскатов гортанного «р», плачущих глаз, тонких, ироничных ртов, от унылой безунывости людей, которым он подарил земной шар.

Теперь уже Вечный жид твердо, смиренно и печально знал, что этого ни в коем случае не надо было делать. Мир прекрасен своим разнообразием, противоречиями, непред-

сказуемостью, вспышками эгоистических стремлений. Подстриженный под одну гребенку, он стал скучен. А если засучить рукава и разьеvреить человеческое стадо? Но как это сделать? Разве есть сейчас на свете хоть один не еврей? Даже если найдется затерянное в складках мироздания племя, или община, или одна-единственная семья, у него уже не хватит сил для такой чудовищной работы. Он устал. «А был ли иной путь устройства мирового еврейства, рассеянного в чуждом мире?» — задумался Агасфер. Нет, еврей всюду будет инородным телом, особенно в странах с низким интеллектом, а таких подавляющее большинство. Где есть еврей, всегда будет антисемитизм. Это тень еврея на мироздании. И тут ничего не поделаешь. Израиль — искусственная выдумка. Еврею не нужна страна, ему нужен мир, он знает, что его миссия в рас се я н и и. Ибо он, как приправа, сам по себе несъедобен, но придает вкус кушанью: пресной жизни народов, под которыми есть страна.

Что случилось, то случилось. Теперь уже ничего не поделаешь. Он выдохся, но присутствовать на этом еврейском базаре ему невыносимо. Самое лучшее — уйти из жизни. Но он приговорен к бессмертию. Только сейчас ощутил Вечный жид весь ужас проклятия Христа. Что делать? Уйти в пустыню? Но где ты найдешь сейчас настоящую пустыню? Или приплетется бедуинья рвань с пейсами, или налетят суетливые и картавые по-местечковому туареги, или навоняют бензином и пошлостью участники «песчаного ралли». В нынешнем мире не спрячешься, пора пустынников миновала безвозвратно, особенно при таком активном, всепроникающем населении.

Где-то растворилось окно, в утреннюю тишь и свежесть ликующе хлынул фрейлехс. Закричали вспугнутые вороны ржавыми, картавыми голосами, снялись с парапета и куда-то бессмысленно понеслись, хлопая черными рваными крыльями.

Звонко цокая копытами, подошла лошадь в соломенной шляпе, запряженная в шутейный фургон, заставивший Веч-

ного жида содрогнуться. Лошадь остановилась и, повернув морду, с иронической ухмылкой выложила на асфальт горку дымящихся темных яблок. Обмахнулась хвостом и зацокала копытами дальше. Налетела стайка воробьев на редкое угощение и зачирикала восторженно. Агасфер вздрогнул: похоже, птичья городская протерь чирикала: «Сегодня шумно в доме Шнеерсонов». «Я, кажется, схожу с ума», — подумал Вечный жид.

Он хотел встать, но какая-то тяжесть навалилась на плечи и опустила назад на скамейку.

— Я вам не помешал? — послышался тихий, вежливый голос, принадлежащий то ли женщине, то ли ребенку, отчетливый и словно бы лишенный плоти звука.

Вечный жид поднял голову. Перед ним находилось существо такое же странное, как и его голос. Небольшого роста, с длинной шеей и маленькой головой, накрытой белым платком и черным арабским обручем; просторное белое одеяние скрывало очертания фигуры, но все равно было заметно несоответствие узких плеч и широкого таза, длинного туловища и коротких ног. Нижняя половина лица была прикрыта шелковой косынкой, а верхняя — массивными очками с сильными линзами, карикатурно увеличивающими радужки. Из-под халата выглядывали деревянные туфли, вроде кломпов, превратившие ноги в гусиные лапы. Да и вообще незнакомец напоминал диснеевского Дональда-дака.

Вопреки очевидности, Вечный жид определил его как взрослого мужчину.

«Откуда этот фронт? — подумал Агасфер, так и не сумевший преодолеть в себе недоброжелательность к бывшим арабам. — Кой черт занес его сюда? Это место за праздником, здесь печально и пустынно и пахнет той Москвой, какой она была век назад. И еврейские голоса птиц, и тонкая ухмылка кобылы не могут окончательно опохабить ее. Зачем он вторгся в мою скорбь со своей житейщиной, этот жалкий потомок гонителей моего народа, обернувшийся Дональдом-гусем?»

— Иди своим путем, прохожий, — сказал Вечный жид. — Оставь меня наедине с моими думами.

— У меня есть к вам предложение, — своим неокрашенным голосом произнес незнакомец. — Вы не участвуете в празднике, вам плохо и хочется умереть. А я предлагаю вам вариант другой жизни. Она будет почти как смерть, ибо лишит вас всего, к чему вы привыкли: этой земли, этого солнца, этого неба, этих людей, этих птиц, зверей и растений. Она даст другой упор вашим стопам, другое светило, другое небо, все, все другое. Не знаю, принесет ли это вам счастье, ведь счастье внутри человека, а не снаружи, но даст покой душе и пищу ненасытному уму.

— Откуда ты знаешь, какой у меня ум?

— О, я много знаю. Я инопланетянин. Представитель высшей формации. — И он протянул Вечному жиду из длинного широкого рукава не руку, а щупальце, похожее на слоновый хобот, и коснулся его плеча.

Агасфера трудно было озадачить, но тут он не удержал вздрага. Он был наслышан об инопланетянах, зачистивших на Землю в исходе двадцатого столетия, но так и не вошедших в контакт с людьми. Агасфер считал, что рассказы о знакомстве с инопланетянами, о «каботажных» полетах с ними по околоземной орбите — сплошная брехня или плод расстроенного воображения. Но летающие объекты из иных миров видели не раз и даже фотографировали. Впрочем, нельзя полностью исключить, что кого-то они увезли с собой. Есть списки таинственных исчезновений, которые не объяснишь киднепингом, убийством или самоубийством. И вот, оказывается, это правда — инопланетяне ходят по земле. Но тут в нем заговорила природная недоверчивость:

— А где же ваша... ракета?

— На территории подпольного райкома бывшего Дзержинского района, — без запинки ответил инопланетянин.

— Что это значит? — надменно сказал Агасфер, решивший, что стал объектом недостойной шутки.

Инопланетянин говорил серьезно. Представление о том, что партия (ее верхушка, разумеется) целиком ушла в бизнес, воспользовавшись приватизацией и за бесценнок скупив заводы, фабрики, рудники, копи, нефтяные скважины, алмазные россыпи, промыслы, дворцы, гостиницы, издательства, магазины, земли, парки, озера, реки, все, обладающее хотя какой-то ценностью, не соответствует действительности. Конечно, бизнес во главе угла, но были и другие заботы. Так, партия пыталась распространить опыт израильских киббуцев на весь мир и тем возродить колхозное движение с радостью коллективного труда, звонкой еврейской песней, отсутствием запасных частей для тракторов и комбайнов, горючего для машин и гниющим в поле урожаем. Из этого ничего не вышло, тогда партия сосредоточилась на идеологии. На пустырях, свалках, в заброшенных домах и усадьбах, в подвалах разрушенных церквей идет напряженное изучение «Краткого курса» с упором на четвертую главу; кроме того, партия уделяет большое внимание наркобизнесу, международной проституции, неофициальной медицине, экстрасенсам и космосу. На огромной захламленной (где надо, хорошо расчищенной) территории правобережного Лефортова, разрушенного обводной скоростной трассой, которую закрыли, когда московский Петергоф был полностью уничтожен, находился самый надежный из космодромов для межпланетных сообщений. Все службы его, как и самого райкома, располагались под землей. Вообще подпольные владения партии в Москве превосходили систему Метрополитена. А во дворе, на площадке, ожидает готовая к отправке ракета.

Ликовал фрейлехс над недвижимой, грустной, мертвой рекой, опьяневшие от конского навоза воробьи чирикали «Шнеерсона» уже со словами, переругивались, картавя, вороны, маленькая грязная собачонка подбежала к высохшей липе и вскинула ножку, от ушей у нее спускались пейсы. Здесь нечего делать.

— Я готов! — сказал Агасфер...

Но, лишь приняв решение — со сбоем сердца и холодным потом, — он понял, какая ему привалила удача. Ведь, не появившись этот инопланетянин из подпольного Дзержинского райкома, он узнал бы всю тяжесть проклятия Иисуса. Самоубийство тоже заказано для него — «для бессмертного нет смерти»; стало быть, он обречен вариться в этом котле до второго пришествия — да будет ли оно? — мучиться в еврейском раю, что для него невыносимей ада. Уж не стал ли он антисемитом? Этого еще не хватало! Вечный жид — черносотенец. Так далеко не зашла начальная смехотворность мира. Он спас гонимый народ, ничуть не раскаивается в содеянном, но не хочет ни плодов своей победы, ни благодарности. Короче, не хочет фрейлекса. Вот и все. Он не хочет настолько, что готов покинуть Землю, даже не взглянув на отчий край, что дал ему жизнь две с лишним тысячи лет назад. Ему не с чем прощаться и не с кем прощаться — у него нет ни одной близкой души. Скорее прочь отсюда, на райкомовскую свалку, где, заваленная картонными ящиками из-под японских телевизоров, ждет нацеленная на чужую галактику ракета.

...В уютной, хоть и тесноватой кабине ракеты Вечному жиду открылась еще одна — решающая — удачность его поступка. Нравственно убитый провалом великой миссии, тем, что торжество обернулось поражением, он мечтал о смерти. Но сейчас, упорядочив свои чувства, он понял, что далеко не исчерпал интереса к жизни, что его крайне занимает новая, весьма обещающая авантюра.

Мысли о смерти не только покинули его, но снова, как в пору возникновения великой и обманчивой цели, ему захотелось жить. И не до Страшного суда, а вечно, не подыхать никогда, и все тут! Только бесконечная жизнь имеет смысл, а в любой долгий, но ограниченный срок человек ничего не успевает. Агасфер поймал себя на том, что допускает Христа не только как великого пророка, но как божественное явление и допускает... да нет, верит в Страшный суд. Но вот где собака зарыта: Христос всемогущ лишь

в Божьем мире, в мире человека, созданного по образу и подобию Божьему, но не в мире существ, созданных по образу и подобию мультипликационного гуся. Страшный суд — это для людей, у них свой договор с Богом, а у обитателей космического Диснейленда свой бог, не важно, как они его называют, и свой договор с ним. Правы толкователи речей Иисуса, говорившего лишь притчами и обиднями. «Ты не умрешь раньше, чем я вернусь» — подразумевает второе пришествие и Страшный суд. Но туда, куда они держат путь, врезуясь в звезды, Христос не придет. Значит, бесконечна твоя жизнь, Агасфер...

Ликующее чувство Вечного жида вдруг поблекло, когда он представил себе, что навсегда обречен видеть вокруг себя таких уродов, как его пилот. Да так ли уж он уродлив? У него длинные стрельчатые ресницы над лягушачьим пучеглазьем, но цвет этих буркал — изумрудная синь, как небо Тьеполо; у него долгая, по-ящеричьи морщинистая шея и по-гусиному присадистое туловище, почти без ног, но движения плавны, успокаивающе ласковы, прикосновение щупальца было нежным и уж никак не омерзительным. К ним можно привыкнуть. У них немало преимуществ перед землянами: они не носят ни пейсов, ни жилетов, не картавят, не поют «Идише мама» и не танцуют фрейлехс, не едят кошерно и не увлекаются фотографией, а в глазах у них не застыла вековая скорбь. А ящеро-гусиная наружность, ей-же-ей, не лишена шарма!

Внезапно Вечного жида осенило, что там, куда они придут, роли переменятся: он будет инопланетянином, а его хозяева — коренниками. Нет, на это он не согласен. Что же, опять становиться изгоем, уже не планетным, а вселенским? Пусть они как хотят, но он будет называть их про себя по-прежнему инопланетянами. В этом решении было что-то жалкое, но и утешающее.

Полет проходил без приключений. Они миновали красный, будто раскаленный шар, и оказалось, что это Марс; долго полыхал за иллюминатором чудовищный пожар

Юпитера; вдруг на ракету обрушился каменный дождь, отчего загудела обшивка. Какой-то шутник швырнул вкось пространства плоскую соломенную шляпу. Вечный жид узнал Сатурн, чьи кольца казались полями канотье. Затем появилось прекрасное хвостатое существо, плавно плывущее в глубь бездны, которое Агасфер принял за гигантскую вуалехвостку, и вдруг сообразил екнувшим сердцем, что это старая его знакомая комета Галлея, которую он наблюдал из века в век в небе Земли; на нее грешили люди: заденет она нашу планету своим роскошным хвостом и спалит дотла. И тут впервые его сердце тронулось печалью об оставленном. Он все-таки привык к своему старому дому за две с лишним тысячи лет. Но то было короткое чувство, исчезнувшее раньше, чем дивная рыба отвалилась в мировую пустоту.

...Они плавно опустились на белый, залитый сиренево-серебристым светом космодром. Очевидно, их ждали: едва ли ради одного космонавта собралась гигантская толпа белых колышущихся фигур, запрудившая огромную площадь.

Отпахнулась низенькая дверца ракеты. Вечный жид нагнулся и вышел наружу. Маленький трап из блестящего голубоватого металла надежно принял его ступню. Не торопясь, с достоинством представителя великой цивилизации Агасфер сошел вниз.

Три инопланетянина, видать старшие среди своих, выступили ему навстречу. Длинное щупальце протянулось к его руке.

— Шолом! — звучным голосом сказал инопланетянин.

— Зей гезунд! — подхватила толпа.

Вечный жид отшатнулся, схватился за сердце, упал и умер.

В те короткие мгновения, которые отделяли смерть сердца от смерти мозга, он успел понять, что перестарался. Зараза вышла из земных пределов и пронизала все мироздание до последних галактик. Вселенная оказалась замкнутым пространством. Выхода нет...

Любовь вождей

Сатирические рассказы

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ

На сцене они были белыми лебедями, и оперение их сверкало в лучах софитов. Но в мусорной, промозглой, полутемной артистической, в тоскливом ожидании выхода они походили на общипанных синюшных цыплят. Их стираное-перестираное, все в штопках трико из белого превратилось в грязно-серое; кое-как припудренные грубой пудрой плечи, грудь, шея и руки отдавали трупной бледностью. Но они притерпелись к своей неопрятности: к сношенным балеткам с истертыми, навозного цвета подошвами, воняющими карболкой и мастикой, к мятым, плохо сидящим пачкам, складчатому под коленями и на щиколотках трико, к запаху потного тела (душевые в театре не работали), к колтуну в волосах (шампуня не достать, а простым мылом черта с два промоешь набитую вековой пылью подмошток шевелюру), к облезлому лаку на ногтях, к общему ощущению несвежести, которое они перестали замечать, поскольку оно распространилось на всю жизнь.

Мужчины трупы выглядели куда свежее и сытее: зады налиты, как у холеных жеребцов. Но жеребцами были далеко не все, лишь те, кто еще в дни войны пристроился к соломенным или настоящим вдовам высшего комсостава, впрочем, и полковничиха могла подкормить молодого, с крепкими ляжками молодца. Другие стали жопниками при московской верхушке, этот промысел почему-то необыкновенно расцвел, может, из-за обесценивающей доступности женщин. А на кой ляд бабам замок вешать, если за-

муж все равно не выйдешь? Побили всех стоящих парней, да и нестоящих тоже. А эти коты и пидеры на своих даже не смотрят. Но их тоже понять можно: сколько перетаскали на себе тощих, костлявых, потных, вонючих баб, будешь нос воротить.

Так, не сговариваясь, лениво перебирали в слабых головках одни и те же обрыдлые мыслишки две балетные в антракте тоже обрыдлого «Лебединого озера», ожидая выхода на сцену, на привычное обрыдлое место «у воды».

— Хватит в молчанку играть!.. Расскажи... — тягучим голосом, скрывавшим любопытство, обратилась одна балетная к другой.

— А чего рассказывать? — нехотя отозвалась та.

— Ну, как все было?..

— Как всегда, так и было. Кино не показывали.

— Скрываешь? — Голос напрягся энергией злобы.

— Было бы чего скрывать!..

Она жалела, что доверилась Верке. А не довериться было невозможно. Когда это случилось в первый раз, то казалось, ее разорвет на части, если она не расскажет кому-то, какая ей выпала карта. Распирало так, что она могла выложиться первому встречному: дворнику, автобусной кондукторше, вахтеру, буфетчице-стукачке, председателю профкома — кому угодно. Верка все-таки ближайшая подруга: и в туалет, и в буфет всегда вместе, и на автобусе вместе — соседки-замоскворечницы, обе с Серпуховской. И та ее не заложила, раз никуда не тягают. Наказано было строго: протрешься — башку оторвем. Вот уже второй год пошел, а башка при ней, значит, Верка — могила, черный гроб. Ведь даже бабке, единственно родному человеку на свете, пригревшему ее после смерти родителей в украинский голод, слова не молвила. Старуха, конечно, поняла, что у нее кто-то есть, раз дома не всякий день ночует, и стала пытаться: кто да что? Да никто — друг, а что — прикажешь свечкой пользоваться? Хотелось, конечно, жахнуть ей по мозгам именем друга, да, слава богу, удержалась. Та бы из

нее душу вынула, добиваясь всяческого навара от такой ослепительной связи, и не убедить старую, что она вовсе ничего с этого не имеет. И не потому, что больно гордая — какая гордость у нищих? — но выходит ей за все потные труды ноль целых хрен десятых. Может, это честью считается, или общественной нагрузкой, или комсомольским поручением, пойди разберись. А она-то думала!..

Поначалу, правда, она ничего не думала, поскольку знать не знала, куда ее везут. Ясно было, что к какой-то шишке: вызов в первый отдел, многозначительные туманные речи, намеки, предупреждения, потом — машина, сопровождающий, но она высоко не заносилась, знала, чего стоит, да и машина, куда ее впихнули, выглядела не больно казисто: приземистая, тесная. Правда, внутри обита кожей — иномарка. Сопровождающий, молодой еще хмырь, держал рот на замке. У него над верхними челюстями желваки закаменели, так крепко стиснул зубы. На нее даже не взглянул. Она решила проучить его за хамство, так не ведут себя с молодой женщиной, и притворилась, будто приняла его за того, кто пожелал ее видеть. Недомолвки начальника первого отдела давали ей такую возможность. «Вас хочет видеть одно лицо. Вы понимаете?..» — и, приложив указательный палец к губам, проел ее глазами до затылка, причем во взгляде его — это вспомнилось много позже — сквозь тяжелую государственную свинцовость пробилось странное, таинственное и восторженное мерцание.

Подъерзнув по гладкому кожаному сиденью к своему спутнику, она положила руку на колено, обтянутое армейской диагональю, хотя плащ на нем был штатский, и побежала пальчиками вверх. Он не шелохнулся, только весь напряжился. Она хотела продолжить игру и вдруг отдернула руку. В промельке света от уличного фонаря она увидела его лицо, искаженное нечеловеческим ужасом. Вытаращенные глаза уставились в спину шофера, нижняя губа отвисла, подбородок мелко дрожал, казалось, он сейчас взвояет или заорет безумным голосом. «Вон как боится хозяина! — удивилась она. —

Вдруг шофер накапает, что мы играли. Кто же этот хозяин, если молодой, здоровенный парень враз естества своего лишился? Наверное, генерал».

Это не слишком взволновало. Ее и прежде привозили на хитрые квартиры, где гуляли важные люди. Бывали среди них и генералы, но чаще штатские в коверковых кителях. Ей давали выпить водки, закусить из остатков харчей (потом мучила изжога от свечного жира остывших шашлыков), после чего кто-нибудь уводил ее в спальню. Друг другу не передавали и вообще ничего лишнего себе не позволяли. Было в этом что-то стерильное, как в лечебной процедуре: массаже или банках. И себя она чувствовала медсестрой «скорой половой помощи». Потом в сумочке всегда оказывались деньги, на которые ничего не купишь.

Она относилась к этим вызовам так же терпеливо и спокойно, как и ко всем остальным докучностям жизни: репетициям, спектаклям, шефским концертам, уборке снега вокруг театра, собраниям, подписке на заем. Это ее жизнь, другой нет и не будет. Могло быть еще хуже у деревенской круглой сироты. А тут, откуда ни возьмись, явилась бабушка, пусть не родная, материна тетка, но с комнатой в Москве, и в хореографическое училище сразу приняли, а по окончании — в лучший театр страны. Сравнить с другими, так она еще довольно счастливая. Конечно, мечтать никому не заказано, и ей порой грезилась прочная связь с солидным старичком, который бы подарки делал и вообще поддерживал материально. У некоторых балетных были такие покровители, которые жили с ними как с женами и даже отдыхать с собой брали. Случалось, и однокомнатными квартирами награждали. А одна своему пожилому хахалю пацана родила, так он вовсе ее из театра забрал и всю озолотил. Ну, это, конечно, чересчур, такое только в сказках бывает, но чем она хуже Машки Чухловой, которая с замминистра уже семь лет живет, или Вальки Курнавиной — ее сожитель-полкан до маршала дорос.

Мучить своего спутника она больше не стала — отодвинулась от него. Если подумать, он такой же подневольный, статочное ли дело молодому, здоровому бугаю девок начальству возить! А ведь учился в школе, красный галстук носил, пел «Взвейтесь кострами, синие ночи», в комсомол вступил, рубал под строевой шаг военные песни и видел себя героем, а угодил в холуи — поставщики живого товара. Ему бы самому девок раскладывать после крепкого и полезного рабочего дня, а он?.. Может, его охолостили, как гаремного евнуха, чтобы не льстился на хозяйское добро? Надо бы проверить, но, вспомнив перекошенное мукой страха лицо, она не стала этого делать. Зачем издеваться над таким же бесправным, как ты сама?..

Эта Аська Козодоева, о которой идет речь, вовсе не была злым человеком, она была бы доброй, если б жизнь позволила ей чем-то стать. Но такого позволения не было дано. Надо иметь хоть что-то свое, чтобы определиться, обрести контур: свой угол, свой час в дне, свои привычки, мизернейшую возможность для своеволия, на худой конец — сны. Она ничего этого не имела, лишившись дома и родителей в личинковую пору, когда происходящее не успевает стать памятью. Даже такого малого и необходимого созревающему существу своеволия, как детские капризы, не помнила она за собой. Возможно, они были, но до памяти. После короткого черного провала меж смертью родителей и появлением бабки, на диво быстро отыскавшей ее в сиротском приемнике, началась жизнь на бабкиной площади, по бабкиным правилам и привычкам. Она была смирной по природе своей, как смирен и весь родившийся у земли народ, пока не впадает в дикое свирепство, и без звука приняла бабкин порядок жизни, на который потом наложился порядок школьный, после — училищный, наконец — театральный. День ее был весь расписан и уплотнен без щелей. И уже с детства она так уставала, что спала без снов, не зная даже такого обманного выхода из рутины дневных обязанностей. Так живя, характера не накопишь.

Обошлась она и без любви в немятежной своей юности. Первая близость с мужчиной, как положено в московской молодой бездомности — у помойки, — неловкая, неумелая и болезненная: уходящий на фронт лейтенантик едва ли обладал большим опытом, нежели она сама, — не привлекла ее к науке страсти нежной. Науку — без нежности и страсти — она обрела позже: на выездах, став солисткой балета. А лейтенантика того она видела всего несколько раз и не успела к нему привязаться. Он был довольно симпатичный с виду, но какой-то суматошный и напуганный. У него все время скапливался пот в складках узкого лба. Потом Ася поняла: он боялся фронта, и не зря боялся — его убили чуть не в первом же бою. Асе пришла похоронка. Она очень удивилась, потому что не давала ему своего адреса и до похоронки никаких вестей от него не имела. Но, видать, она что-то значила для него, если он указал дать ей последнее оповещение. Она хотела опечалиться, попереживать, но даже слезинки не выдавила. От ее короткого романа ей помнилось лишь потное озабоченное лицо, селечная вонь помойки и острая, долго не проходившая боль в промежности.

Подобных Асе полуспящих людей много, куда больше, нежели ощущающих жизнь как определенное состояние, тревожащее и к чему-то обязывающее. Ася же лишь пребывала в жизни, совершая много всяких действий, ей самой вроде бы и ненужных: она прибирала комнату, ходила в магазин, на репетиции и спектакли, иногда ездила в дом отдыха и там обязательно сблизалась с кем-то, без желания и любопытства, просто потому, что все так делают. Без участия души и сознания она обслуживала и утомленных войной боевых и штатских генералов.

Она была бесцветной, почти альбиносской, с бледной кожей и волосами много светлее льна. Но до красных кроличьих глаз дело не дошло: радужки были голубые, а белки чистые. Кукольно курносый, сильно вздернутый нос сообщал детскость, наивность, нетронутость ее не слишком све-

жему лицу, что, наверное, и привлекало мужчин. Впрочем, на цыганистую костлявую Верку спрос был не меньше, странно даже, почему им не предпочитали других, видных, красивых девок. Наверное, какая-то молдаванка, оторви и брось, больше волнует усталую мужскую кровь, чем безликая пригожесть.

Верку в любой толпе углядишь, Ася же была почти невидимка, и удивительно, как ухитрялись высмотреть ее «у воды» будущие клиенты. А может, никто и не высматривал, просто в парткоме, профкоме или первом отделе — кто их разберет! — решили, что с ней осечки не будет — обязательно пригланется подвыпившему и срочно нуждающемуся в чем-то мягком, женском деятелю и, уж во всяком случае, сойдет на один раз. Кстати, у нее крайне редко случались повторные вызовы, а после последнего все другие разом отпали.

Сидя в низенькой, обитой гладкой серой кожей машине, Ася ни о чем не думала и после короткой вспышки карликового бунта, когда она стала провоцировать своего угрюмого спутника, ушла в сохраняющий слабые силы полусон. То не было исключением из действительности, мозг механически отмечал подробности путешествия: машина притормаживала у светофоров, обгоняла другие машины, чуть не сшибла выскочившую из-за троллейбуса тетку в деревенском платке, — но не силился угадать, где они едут, в каком направлении. Какая разница?.. А потом границы улицы раздвинулись — они выехали на шоссе, тут Ася немного встряхнулась — загородные рейсы случались не часто. Вскоре они куда-то свернули и оказались возле высоких запертых ворот. Из караулки вышел военный, заглянул в машину, и одна из створок ворот отпахнулась. Потом были еще ворота и караульный, Ася поняла, что ее привезли в сильно засекреченную воинскую часть. Машина подъехала к невысокому деревянному строению и остановилась. Сопровождающий вышел и жестом указал ей следовать за ним.

Они вошли в дом, миновали полутемную прихожую и оказались в почти пустой комнате, где за маленьким столиком сидел пожилой человек в коверкотовом френче с пустым бабьим лицом.

— Здравствуйте, — сказала Ася на всякий случай.

Человек с бабьим лицом не ответил, скользнул по ней пустым взглядом, кивком отпустил сопровождающего, подошел к двери, обитой дерматином, и поцарапался в нее. Получив, видимо, ответный сигнал, чуть приоткрыл и одним лишь смещением тухлых глазных яблок указал Асе: проходи.

Асю разозлила эта игра в молчанку. Можно подумать, великое государственное дело вершат, а не подносят живой товар чиновному похотнику. Она с независимым видом прошла мимо коверкотового стража, толкнула дверь носком туфли и оказалась в скудно освещенной комнате, служившей и кабинетом и спальней. На письменном столе стояла лампа под зеленым абажуром, она и дарила свой тусклый нездоровый свет остальному помещению. Еще были два шкафа: один застекленный книжный, другой с глухими дверцами, небольшой круглый столик, несколько стульев и застланная тахта.

За столиком сидел старик и ел куриную ногу. Он держал ее двумя руками за мослы и выхватывал мясо зубами. Он был в кителе с широкими погонами, брюках с лампасами и высоких генеральских сапогах. Так и есть — генерал. Да не из важных: погон приютил только одну звезду. Стоило наводить такую секретность, у ней куда выше рангом бывали, а не выкаблучивались. Сутулый, с худым, решетчатым от оспы лицом и рыжеватыми, проточенными седьмой волосами, генерал выглядел весьма неавантажнo. И ел он неопрятно: рот в сале, пальцы вытирает о скатерть. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Генерал решил, что ее пристальный взгляд относится к курице. Он повертел куриную ногу и с некоторым сожалением положил объедок на тарелку.

— Хочешь — дожди, — проговорил он горловым, показавшимся знакомым голосом, в котором отчетливо прозвучал восточный акцент.

— Я сытая, — машинально ответила Ася.

Внутри нее происходила странная работа: ее тайная душа о чем-то догадывалась, в то время как сознание, не вмещая в себя эту невероятную догадку, гнало ее прочь. Она бредит... Какая чушь!.. Опомнись, шиза, у тебя струя в глазах... Тот большой, красивый, черноволосый, с чистым смуглым лицом, с мудрым и ласковым взором, а не тщедушный рябой старикашка с сальными ртом и пальцами.

Старикашка взял из лежащей на столе пачки казбечину, чиркнул спичкой, до одури знакомо склонил голову и закурил. В короткой вспышке мелькнул золотой погон с большой маршальской звездой, и на стене и потолке задержалась огромная тень его головы. И тень эта совпала один к одному со знакомым образом.

— За Родину, за Сталина!.. — выпалила Ася из глубины своей бывшей комсомольской души и без сознания упала на тахту.

Когда она очнулась, вождь, отложив папиросу, догладывал курицу. Увидев, что она пришла в себя, он вытер пальцы о скатерть и сказал:

— Раздевайся. Ложись.

Сам же семенящей походкой прошел к шкафу с глухими дверцами, достал бутылку коньяка и стопку. Аккуратно наполнив стопку, он осушил ее медленными глотками, потер грудобрюшную преграду и убрал коньяк в шкаф. Он опустился на тахту и стал снимать сапоги. Делал он это неловко, натужно, и Ася заметила, что одна рука у него меньше другой. «Сухорукий!» — как-то испуганно догадалась она.

С сапогами вождь все-таки справился, а вот китель почему-то не снял, она же, дура, осталась в чулках, думала, так соблазнительнее, и, конечно, порвала их о маршальские звезды. Это была последняя целая пара. Она чуть не со слезами отмечала: одна петля полезла, вторая, третья...

«Я скажу ему, чтоб были мне чулки!» — хорохорилась она под скучным, но странно грузным телом. Когда же эта возможность представилась, она не нашла в себе отваги, только нарочито медленно подтягивала расползшиеся черные чулки на своих худых стройных ногах. Но он и внимания не обратил на эти жалкие маневры. Вообще было такое ощущение, будто он ее не видит. Он ни разу не поцеловал ее, не погладил, не обмолвился ни одним ласковым словом. Видать, не понравилась, решила без малейшего сожаления Ася. И тени пережитой ошеломленности, захлебного комсомольского восторга не было в ней. Холодный, жесткий, несимпатичный старик. И хорошо, если на этом все кончится.

Но когда она оделась, поняв, что в ее услугах больше не нуждаются, он сказал своим негромким, неокрашенным, медленным голосом:

— Первое: не надо комсомольских лозунгов. Второе — не суетиться. Третье... — Он задумался, и Ася задержала дыхание, вдруг ощутив историзм минуты, при ней рождалось нечто вроде шести условий Сталина, которые она изучала в школе. — Третье... — Мысль после большого физического напряжения работала туго. — Надо следить за собой. Некрасиво, когда на женщине рваные чулки.

И тут она не решилась сказать: да я же о ваши звезды их порвала. Она сказала только:

— Слушаюсь, товарищ Сталин.

Он подошел к стене и отколол прищипленную кнопками репродукцию картины «Грачи прилетели». «Неужели он хочет подарить мне эту дрянь?» — ужаснулась Ася, но он вовсе не собирался ее одаривать. Просто решил перевесить картинку на другое место. Пока он этим занимался, за ней пришли.

Везли ее домой в той же машине тот же шофер с тем же сопровождающим. Она задремала и сквозь дрему услышала:

— Разрешите закурить?

Когда она ехала сюда, шофер дымил вовсю, не спрашивая разрешения. Она сказала небрежно:

— Курите. Только в форточку.

Ее высадили, немного не доезжая до дома. Машина, круто развернувшись, умчалась. Она поглядела ей вслед. Над продовольственным магазином висел длинный лозунг: мелом на кумаче, она проскользнула его взглядом, не думываясь в смысл, которого не было, и задержалась на подписи: «И. Сталин». Правее магазина находился агитпункт, по сторонам входной двери были прибиты узкие, обтянутые кумачом щиты с высказываниями за той же подписью. А с витрины писчебумажного магазина на нее смотрело прекрасное, мужественное и мудрое лицо пожилого красавца военного, и это был Сталин. Он уделил свой чеканный профиль крыше нового, еще не заселенного десятиэтажного дома. Он был повсюду: справа, слева, спереди, сзади, внизу, вверху, на небесах, с его именем жили, умирали, совершали трудовые подвиги, шли на кинжальный огонь противника и под топор палача, он был во всем, он был всем, и ее опять зашатало, замутило, закружило, когда она представила, что об это несказанное величие она разодрала свои чулки.

Вежливой фразой шофера исчерпались блага, полученные ею от высокой связи. Правда, на первое время ее освободили от кружка по изучению биографии товарища Сталина (руководящему этими занятиями секретарю театральной партийной организации как-то смутно вообразилось, что она изучает предмет факультативно), но затем ее вызвали в партком, наорали за филон и пригрозили уволить, если еще раз пропустит. Словом, в ее положении ровнехонько ничего не изменилось: она осталась «у воды», по-прежнему наравне со всеми ходила скалывать лед и убирать снег, на заем подписали на сто пятьдесят процентов и лишь отменили другие ночные вызовы. Наверное, все это делалось для запудривания мозгов окружающим, чтобы не возникло порочащих вождя слухов. А слухов действительно не было — до обидного. Единственно посвященная Асей в

тайну Верка молчала, как мертвая, и, надо полагать, не из верности подруге. Начальство Асю вовсе узнавать перестало, лишь особист, будто случайно столкнувшись с ней в коридоре, бросал, не разжимая губ: «Вас ждут». Значит, серая приземистая машина стоит в обычном месте, в тупике за театром.

Тревожили ее не часто. Иногда по месяцам не трогали, и она с облегчением думала: ну, кажется, все. Ан нет... Снова в полутемном коридоре настигает ее голос чревовещателя, которому не нужен рот: «Вас ждут...»

Все свидания были похожи одно на другое. Обычно он что-то дожевывал, но уже не предлагал поделиться обедком. Неужели он не знал, что она после работы и не жрамши? Да его это просто не касалось. Он ни разу не назвал ее по имени, знал ли вообще, как ее зовут? Прежде подобная чепуха не занимала Асю, но ведь тут была не «разовка», а связь, которая худо-бедно длилась уже второй год. Она слышала от него лишь две фразы: «Займемся дэлем» (делом) и «Хорошенького понемножку», чем отмечались вспышка и исход страсти. А ей так хотелось о многом спросить его: и о продуктах, и о промтоварах, и чего дальше будет, и как вообще, но она не решалась.

Ася никак не могла понять, что в нем внушает страх. Глаза у него были тяжелые, но они почти никогда не останавливались на ней; и, даже попадая случайно в сектор обзора, она чувствовала, как ее субстанция обретает прозрачность стекла. Он не улыбался, но и не хмурился, двигался медленно, плавно (лишь изредка, видимо, теряя контроль над собой, сбивался на старческий семенящий шаг), и все движения его были неторопливы и плавны, но почему-то это не успокаивало, а настораживало, томило дурным предчувствием. Может, она сама себя накручивала: когда всю твою сознательную жизнь тебе в уши, в мозг, в душу ломит одно и то же имя и с именем этим связаны все неслыханные свершения, достижения, блистательные победы и приход сияющего будущего, разлив народной

любви и чумовой страх, то очень трудно поверить в образ хмуроватого, но тихого старичка, который трудолюбиво и неспешно занимается с тобой «дэлем».

При всей сухости, неудовлетворительности их отношений, при том душевном неуюте, который всегда постигал Асю в его присутствии и был безотчетным страхом, она к нему привязалась. Физически их близость ей ничего не давала. Он, как будто нарочно, делал все, чтобы она не разделила его удовольствия, лишал ее всякой самостоятельности, сам же устраивался как-то так неудобно, тяжело и неуклюже, что остатка ее сил хватало лишь на сохранение дыхания и целостности костей.

Ася его жалела. Он казался ей одиноким и заброшенным на этой пустынной, угрюмой даче, где было столько охраны и ни одной живой, близкой ему души. Денщик с бабьим лицом не шел в счет, равно и пожилая женщина, готовившая ему невкусную пищу. У него были дети, но их существования в этом жизненном пространстве не ощущалось. Ася жалела его одиночество. Она всегда помнила, как в их первое свидание он грыз куриную ногу и косил в ее сторону подозрительным взглядом, словно боялся, что отнимут кусок, как он перекалывает на стене цветные картинки или срывается на стариковский семенящий шарк. «Ах ты, дурачок! — вздыхала она. — Все науки превзошел, всех врагов победил, а живешь как рак-отшельник, несогретый, необихоженный!» Разумеется, эти чувства она хранила глубоко в себе.

Иногда он бывал другим, когда являлся с дружеских попок. Пьяным, правда, она его никогда не видела, но крепко выпившим случалось. Тогда от него кисло-горько пахло вином, луком, бараньим шашлыком и какой-то травой. Он не становился ни общительней, ни добрее, но одно в своей повадке менял, ложась в постель, раздевался. Он не любил, чтоб на него смотрели нагого, а зря: тело у него было странно молодое, крепкое и смуглое. И еще он не терпел, когда касались его сухой руки, на ощупь почти неотличимой от здоро-

вой. Раз она, забывшись, нарушила негласный запрет, он грубо вырвался и ущербной рукой смазал ее по лицу. У нее потом целую неделю глаз слезился.

В эти ночи он не отпускал ее до утра, что было мучительно, поскольку он сильно переоценивал возможности своего нетрезвого желания, подогретого вином. И все же он всякий раз доводил «дэля» до конца. Тяжело было слышать его срывающееся в хрип дыхание, но Ася чувствовала, что он доволен собой, победой характера над старой плотью. И хотя сама была как раздавленная гусеница, гордилась им.

Но с некоторых пор даже эта нечеловеческая воля стала давать сбой. И тут начались странности, которые крайне озадачивали и огорчали Асю. А главное, она ни черта не могла понять в происходящем. И в тот день, с которого мы начали наш рассказ, Ася, вяло уклоняясь от наседающего любопытства Верки, вдруг подумала: почему бы не открыться подружке, раз самое главное той все равно известно? Коли до сих пор не проболталась, значит, будет и дальше молчать, а глядишь, даст дельный совет. Верка — ушлая, быстроумная, во всех котлах варенная. Где бы только место найти для разговора? С некоторых пор Асе стало казаться, что за ней следят. Ну, «следят» слишком громкое слово, скажем — приглядывают. Стоит ей с кем-нибудь разговориться, тотчас рядом третий: о чем секретничаем, девочки? А какие там секреты? Пустая бабья болтовня о шмотках или обычные театральные сплетни. А вот общение ее с Веркой внимания не привлекало. Они были признанные подружки, и раз от Верки волны не пошло, значит, беспокоиться нечего. Ася так и не нашла места для высоких переговоров — позвали на сцену, «к воде»...

А искать-то было нечего. В тот же вечер, возвращаясь домой в холодном, почти пустом, автобусе, они смогли обо всем поговорить, не опасаясь доглядов и прислухов.

— Не пойму, что с ним происходит, — сказала Ася, едва они уселись на задние места и мозжащий холод обитых рваным дермантином сидений проник в тело.

Верка — умная — не спросила: «С кем?» — не вытирашила своих цыганских глаз, а ведь едва ли заданный ею в антракте вопрос мог протянуться ниточкой в автобусную студию, столько было всего за эти часы — спектакль доиграли с обычными мелкими происшествиями: у кого-то что-то отстегнулось, порвалось, партнер Машки Чухловой оступился и чуть ее не грохнул; церемониймейстер на балу, разводя свою торжественную трахомундию, то и дело хватался за отклеившийся ус, и гостей Владетельной принцессы едва не разорвало от загнанного в живот смеха, позже успели в буфете по пачке печенья схватить, трепу по горло наслушались, за автобусом, срывая сердце, бежали, и при всем этом Верка мгновенно усекала, о чем речь. «Только без имен», — шепнула она и, отвернувшись, стала протаивать дырочку в подернутом наледью окошке. Но ее маленькое смуглое ухо над вытертым до мездры кротовым воротничком нацелилось на подругу микрофоном.

И в этот микрофон Ася выложила свои горести. С некоторых пор Хозяина не узнать. Перемена эта обозначилась, когда он получил звание генералиссимуса. Он и раньше неохотно расставался с мундиром, а сейчас вовсе перестал его снимать, заваливался во всей форме, даже в сапогах. Он производил впечатление человека, который ждет вызова и не хочет, чтобы его застали врасплох. Да ведь это чушь, кто может его вызвать?

— А смерть?.. — Это слово прилетело к Асе рикошетом от оконной наледи, куда вышепнула его Верка, и холодом кольнуло лицо.

— Нет, он о смерти не думает, — сказала Ася, удивляясь собственной уверенности.

Дело было вовсе не в том, чтобы встретить смерть при всем параде, а не в подштанниках или вовсе голым, с убогой сухой рукой. Если б в нищем Асином лексиконе было слово «суетность», она бы сказала, что тут не смертью веет, а суетностью жизни.

Он не остался равнодушен к звонкому званию, которого не носил никто в мире, и даже за выправкой стал больше следить. Асина бабка, разглядывая в газете портрет новоявленного генералиссимуса и не подозревая, что это внучкин любовник, заметила пренебрежительно: «И чего выдупился? Подумаешь, генералист! Сам же себе и присвоил. Брал бы выше: архистратиг!» «Какой еще архистратиг?» — не поняла Ася. «Архангел Михаил, архистратиг небесной рати. Это он Сатану и все его воинство осилил». «Ну и что ж тут такого? — строго сказала Ася. — Мог бы и это звание взять. Он тоже осилил Сатану и все его воинство». «А нешто я что говорю? — вдруг залебезила бабка и любовно воззрилась на портрет. — Архистратиг и есть».

Асе же в который раз вспомнилось первое свидание с будущим генералиссимусом и как он ел курицу. Может, он за мундир с громадным погоном так же опасается, как за куриную ногу?

Да плевать она хотела — пусть заваливается в форме, она тоже перестала раздеваться, чего он, кажется, не заметил. Куда мерзее то, что потом происходит. Промучив ее без толку с полчаса, а то и больше, он почти весь переползает на свою подушку, оставаясь соединенным с ней лишь в одной точке, как те псковские близнецы, о рождении которых недавно сообщила «Вечерка». Правда, маленькие скобари в отличие от них срослись задиками. Нечувствительная к его бессильному рвению в нижней части ее тела, Ася верхней половиной себя жила самостоятельной жизнью и как бы со стороны наблюдала происходящее. Ее партнер страстно обнимал подушку, зарывшись в нее лицом, и, обычно такой молчаливый, непрерывно бормотал. Он то ли жаловался, то ли сердился, то ли упрекал, то ли просил, а может, все это присутствовало в страстном, непонятно кому обращенном мычании. Во всяком случае, не к Асе. Она находилась в его полном распоряжении, и ни просить, ни укорять, ни бранить ее не было повода. Он

вообще забывал о ней в эти минуты, она была просто воронкой, куда ему предстояло излить страсть, обращенную к другой. И с этим покорное Асино существо не могло смириться.

— У него кто-то есть, — заключила она свой рассказ.

— Дура, — дыхнуло студью ледяное стекло. — На кой ляд ты ему тогда?

— А может, она не дает?

— Ты что, сказалась? Разве это дозволено?

Ася и сама понимала, что это никому не дозволено. Но дело даже не в том: дозволено — не дозволено. Разве есть такая женщина, которая пошла бы против его желания? Дико и думать об этом!

Оказывается, не так дико. Верка, зная все на свете, поверила ей одну довоенную историю. Вождь, как и все правительство, ходил только на «Лебединое озеро», а тут вдруг выбрался на «Кармен» и полюбил золотоволосую скромную Микаэлу. Был у них долгий роман, и вождь настолько к ней привязался, что дирекция театра подала в правительство проект заменить яркой оперой Бизе осточертевшее всем «Лебединое озеро» на торжественных спектаклях в честь зарубежных правительственных делегаций. Думали угодить, но промахнулись. Вождь оказался выше личных пристрастий: знатным иностранцам надо показывать произведение русского национального гения, а не заграничную муру. Кого-то посадили за низкопоклонство перед Западом, кого-то расстреляли, и «Лебединое озеро» осталось в официальном репертуаре, а вождь, чью мысль возвратили к давнему спектаклю, вдруг вспомнил о смуглой, жгучей Кармен и пожелал ее видеть. И тут нашла коса на камень. Кармен была родом из тех же мест, что и сам вождь, а там замужние женщины отличаются исключительной гордостью и постоянством. Ничего особо плохого с ней не случилось: обошли очередным званием при групповом присуждении (Микаэла отхватила народную РСФСР)

и тихо сплывали вместе с мужем на Кавказ. Больше о ней в Москве не слыхали. А Микаэла постепенно увяла в объятиях вождя и была отставлена в том же звании.

— Может, он о Кармен тоскует? — высказала предположение Верка. — У мужиков так бывает. Откроется старая рана неудачной любви и болит, не дает покоя.

Ася готова была согласиться с подругой и вдруг неожиданно для самой себя сказала решительно:

— Нет, он не по живой переживает. Это точно!

— А ты почему знаешь? — От Веркиного отраженного дыхания пахло жаром. Ее распалившееся нутро согнало ледяную корку и нагрело стекло.

Ася не могла толком объяснить, откуда пришло наитие. В интонации голоса, в жалобе нерасслышанных, тонуших в подушке слов было что-то такое, что сейчас вот, нахлынув, исключило мысль о живой женщине. В его столах и бормотании была безнадежность.

— Неужели он по жене-покойнице скучает? — разволновалась Верка. — Красавица, говорят, была. Померла молодой, когда мы с тобой под стол пешком ходили.

Но Асе не верилось, что он мог надрываться из-за столь далекой потери.

— А может, Кармен очурилась? — осенила Верку новая догадка. — Надо будет спросить в театре, ее многие знали.

— Он какую-то фотку из ящика достает, — выдала Ася еще одну подробность, о которой ей почему-то не хотелось говорить. — Ерзает, ерзает, весь искочевряжится, а потом фотку вытащит и ну ее мусолить. Так и доезжает до конечной остановки.

— Чего же ты раньше молчала? — вскинулась Верка. — Неужто не могла подсмотреть?

— Не дает, — угрюмо ответила Ася.

Она попыталась раз и получила такой охлест по глазам от сухой его руки, что едва зрения не лишилась. С месяц, поди, окружающее красным туманом застилось.

Верка принялась втемняшивать ей, что мужика ничего не стоит надуть, если разыграть пылкую страсть.

— Во-первых, это всем мужикам лестно, даже самым замороженным, во-вторых, он решит, что тебе не до подглядываний.

— Он сторожкий, как зверь, — сказала Ася, — а зрение у него осиное — видит, что сзади.

— Чепуха! Все можно сделать. Только не будь дурой, не торопись. Выжди, когда он зайдет, и сама сыграй балдеж. Глаза закати, разинь хлебало, будто в отключке, вертись, мотай башкой, и ты подловишь момент.

Ася приняла совет подруги. Но осуществить его оказалось совсем не просто, хотя теперь ее вызывали куда чаще, чем прежде, случалось, по два раза в неделю. Чем неспособнее он становился, тем сильнее палила его эта загадочная мучительная любовь, и тем нужнее становилась Ася для провокации наслаждения, которого он не получил от другой, оставшись навсегда с тоской, болью, укором. Но он был начеку и бдительно охранял свою тайну. Как ни изгалялась Ася, он зорко следил за ее судорожными перемещениями на малом пространстве спартанского ложа и не давал увидеть хранимое. Менее осмотрителен он стал в речах, которые уже не глушил подушкой, задыхаясь от нехватки воздуха, и в бормоте, стогах, в взвоях они звучали достаточно отчетливо и громко. Ася слушала и поражалась, откуда этот сухарь находит такие красивые слова. Если сложить все подслушанное, исключив повторы — он часто пользовался раз найденными оборотами нежности и страдания, — то получился бы такой монолог:

— Где ты?.. Отзовись!.. Я не верю, что тебя нет. Такие, как ты, не умирают... Я хочу к тебе, где бы ни витала твоя душа... Пусто мне. Я одинок, как горный орел над снежными вершинами. Никого вокруг. Всё какие-то страшные свиные рыла, как говорил наш выдающийся сатирик Гоголь... Гоголи и Щедрины нам нужны. Но нужнее всех ты. Я иду к тебе. Начнем сначала. Не будем делиться. Я все отдам

тебе, ты все отдашь мне. Сердце мое!.. — Тут он переходил на грузинский, и она принимала в себя субстанцию его страсти, предназначенную другой..

Все-таки она добилась своего. В тот раз от него крепко пахло коньяком, чего последнее время не случалось, и в движениях проскальзывала какая-то неуверенность. Он все делал правильно, но словно бы чуть запынаясь. Ася сразу почувствовала это ослабление жесткой собранности и сказала себе: сегодня или никогда. Пусть он излупит ее, выбьет глаз, который так безошибочно находила его сухая рука, пусть посадит, упечет в лагерь, расстреляет перед строем, лишь бы покончить с неизвестностью. Она должна увидеть ненавистные черты соперницы, а там будь что будет. Может, она вернет его, может, навсегда потеряет, только бы призрак обрел лицо, не то с последнего ума съедешь. Она все больше склонялась к мысли, что это Кармен, ведь Микаэлу ему не в чем было упрекнуть. Но кто знает, ведь и прынуре Верке далеко не все ведомо.

В тот раз осечки не было. Когда совместные труды, распаленное воображение и самогипноз речей уткнули его, стонущего и хрипящего, в подушку, Ася вывернулась из-под неуклюжего тела, перевалилась через него и увидела зажатую в руке фотографию. Так кто же — жгучая, неистовая Кармен, белокурая домашняя Микаэла или неведомая ведьма-разлучница?.. Ни то, ни другое, ни третье. Все еще в плену оперных ассоциаций, она пыталась выбрать между солдатом Хозе, сержантом Цунигой и тореадором Эскамильо, как вдруг обухом по голове пришло прозрение: косая челка до брови, оловянные глаза, чаплинские усики, серебряные зигзаги молний на воротнике мундира — на нее в упор смотрел Адольф Гитлер в эсэсовской форме.

«Не суждено, чтобы сильный с сильным соединился в мире сем», — вздыхал поэт, и никогда еще волны собственной поэтической правоты не становились так державно волнами всеобщей правды. Как беспощадно разорвала судьба союз двух сердец, созданных друг для друга! Как слепо раз-

минулись они, вместо того чтобы стать единым вселенским сердцем. И ведь был близок к догадке один, когда костлявая схватила его за горло, и понял все другой, когда уже ничего нельзя было исправить, и зашелся в лютой Каиновой тоске.

«Елена, Ахиллес — разрозненная пара...»

В АНГЕЛЬСКОМ ЧИНЕ

Все понимали, что это конец, и быстрее, отчетливее всех это понял, как всегда, Гитлер. Но остальные тоже доперли постепенно и, как положено низким душам, стали искать спасение в предательстве. Один Геббельс готов был стоять до конца. Кто бы мог подумать, что тщеславный, самолюбивый, как все калеки, красной журналист (правда, блестящий красной и талантливый журналист) явит рыцарскую верность общему делу и фюреру, а «наци № 2», бесстрашный ас, рейхсмаршал и кавалер всех существующих орденов, скурвится, как скурвятся в свой час и «железный» Гиммлер, и любимец партии Борман, и все шишки поменьше. Это дало Гитлеру повод для одного из тех звонких высказываний, до которых он всегда был горазд, но особенно разохотился в пору падения. «От меня отрекаются все, как от Христа. Только Христос — выдумка изощренного иудейского ума, я же воплощен великим напряжением природы». Ева Браун записывала теперь каждое его слово. Сознание своего умственного превосходства над старым любовником, которое она испытывала в пору его величайших побед и успехов, начало таять, все убыстряясь, в дни поражений и неумолимо надвигающейся гибели. Ей всегда казалось, что он подгоняет свои озарения к ситуации, которая долго благоволила ему в силу глубоких исторических причин, а вовсе не из-за его ошеломляющих расчетов и предвидений. Теперь же он изрекал такое, что противоречило очевидности, но обладало если не завораживающей, то смущающей ее практичный ум силой.

Так, он говорил, что Германия достигла целей, ради которых развязала войну. В доверительных разговорах с ней он давно отбросил демагогическую ложь, что войну навязали миролюбивому рейху жидо-масоны и большевики. Он ставил целью сокрушить империализм и добился этого. Две величайшие империи рухнут, как карточные домики, едва замолкнут пушки. От Великобритании останется паршивенький островок за Ла-Маншем. Франция лишится мосульской нефти Индокитая и всего африканского песка. Эти великие державы станут второстепенными даже в Европе.

— А кто же будет первенствовать в Европе? — взволнованно спрашивала Ева Браун.

— Германия, как всегда, и страна, условно называющая себя Советским Союзом. Германия лежит в развалинах... Да какую это играет роль? Я научил моих милых немцев делать чудеса. Они восстановят страну со сказочной быстротой и опять будут заказывать музыку.

О, несовершенство женского ума, даже такого сильного, как у Евы Браун! Она все-таки ничего не понимала.

— Позволь, но ведь есть же еще Америка?..

Он становился рассеянным: Америка его не интересовала. Но она настаивала.

— Я не собирался воевать с Америкой. Они сами полезли не в свое дело. Проблема Америки — дело далекого будущего. Но если ты настаиваешь... Америка тоже лишится своих заморских владений, прежде всего Филиппин, на что ей наплевать. Она поиграет во все международные игры, потерпит несколько чувствительных поражений, ибо совершенно беспомощна и в войне, и в иностранной политике, переживет глубокое разочарование и вернется к своему традиционному сепаратизму. Вот почему она меня не интересуется. В мировой игре есть три карты: Европа, Азия, Африка. Их мы и разыграем.

— Кто это «мы»?

— Германия и восточный колосс.

— У него есть название: СССР.

— В том-то и дело, что только название. В этом моя главная победа. Россия вступила в войну, дожевывая утопическую марксистскую жвачку, а кончает ее законченным национал-социалистическим государством.

Еве стало неудобно: похоже, он бредит. С ним и раньше случались мозговые приступы — не до конца искусственные, хотя большей частью он сам доводил себя до срывов и пены бешенства. Это входило в большую игру: Михелю, чтобы завести его, нужны сильнодействующие средства. Бесноватость, над которой столько издевались враги, служила Гитлеру добрую службу, когда от Михеля требовалось что-то невероятное: самозабвенный подъем духа после сокрушительного поражения (Сталинград), очередные жертвы, а жертвовать уже нечем, и дырки на затянутом до отказа ремне, новый оголтелый рывок навстречу гибели под истошный вопль: «Хайль Гитлер!» Тут ничего не стоили и такие сокрушительно грубые ораторы, как Геринг, и такие изошренно-проникающие, как Геббельс, лишь беснования фюрера: хаос заклинаний, проклятий, истерического напора, напрочь пренебрегающего элементарной логикой, доказательствами, умственной и душевной опрятностью, — вздымали дух обессиленного народа.

Но ведь она-то, Ева Браун, не народ, не быдло, которое можно охмурить смесью наглости и расчетливого безумия, она величайшая актриса, в которой нашел совершенное воплощение трагический гений нации, многолетняя подружка-сподвижница, в глазах толпы любовница фюрера — отношения между ними остались идеально чистыми, как у Зигфрида и Брунгильды, хотя они никогда не клали между собой меча на брачном ложе, ибо не были в браке и не делили ложа.

Мысли Евы Браун обратились к самому болезненному в скруте страданий последних дней. А что, если она такая же трагическая актриса, как Гитлер пророк и спаситель отечества? Его фиаско обернется и ее позорным провалом. Но все

овации?.. Чего они стоят! Венки от раболепствующего сената и рукоплескания неразборчивого к зрелищам народа убедили Нерона, что он великий актер. Даже в свою смертную минуту он пожалел не об уходящей сверкающей жизни, не о себе — человеке, не о себе — императоре необъятной Римской империи, а о себе — лицедее. «Какой великий актер погибает!» — было его последнее рыдание, перешедшее в кровавой захлеб, когда меч Спора пронзил ему грудь. Но где сказано, что Нерон плохой актер? Его натура была насквозь пронизана артистизмом, жизнь казалась ему подмостками, он и Рим сжег не по злодейству, а в эстетическом упоении, и римляне оценили эту смелую режиссерскую находку. Ладно, с Нероном все в порядке, а с ней?..

И она талантлива, редкостно талантлива, быть может, гениальна, но этого мало для истории. Нерон уходил императором, она же не стала императрицей, и суд современников будет беспощаден. Чернь ценит и уважает лишь состоявшиеся судьбы. Ее главная роль была не на театральных, а на исторических подмостках. И она с ней не справилась. Что такое подруга фюрера? Это как-то звучит для узкого круга близких людей, знающих об их чистых отношениях, но для толпы она потаскуха, забравшаяся в постель холостяка фюрера. И в благодарной памяти потомков пребудет потаскухой, которую и на сцену-то выпускали из жалкого сервизизма. Тут есть доля истины: только бездарная актриса не могла за столько лет сделать мужем близкого человека.

Но сейчас ее волновало другое: нужна ли ей эта лучшая, венчающая карьеру роль? Роль жены политического, идеологического, государственного и военного банкрота? Пошла бы Жозефина за Наполеона перед отправкой его на остров Св. Елены? В такой роли есть, конечно, своя изюминка. Но кислотоватая. А ведь Наполеон был признан гением даже своими врагами и победителями. Недаром ему, сыну кровавой революции, убиийце герцога Энгиенского, лучшего украшения дома Бурбонов (уничтожение сотен

тысяч солдат и мирных жителей, разумеется, никто в вину не ставил), сохранили жизнь даже после страшного урока Эльбы. С фюрером церемониться не станут — все-таки не Наполеон, малость не дотянул, да и времена другие — холодные, расчетливые, лишённые всякой патетики. Его будут судить и расстреляют, хуже — повесят. Конечно, он этого не допустит, уйдет заблаговременно, не даст врагам и радости глумления над трупом — необходимые распоряжения уже отданы, но стоит ли ей травиться ядом, разбросанным для несостоявшихся героев и крнс? Она не представляла себе жизни вне сияния, излучаемого фюрером, но и не хотела смерти лишь из верности затянувшемуся двусмысленному партнерству. Красиво и трагично уйти в историю — это достойно ее титанической жизни: Брунгильда, Медея, Федра не умирают в мешанской кровати с облегчающими клистирами и суетней врачей-шарлатанов, но стоит ли связывать судьбу с тем, что на глазах превращается в грязную историю? Вот почему она с такой жадностью, надеждой и недоверием вслушивалась в рассуждения фюрера в их «семейном» бункере, жаря ему яичницу на дровяной печурке.

В убежище было полно еды: астраханская икра, дальневосточные крабы, тающее на языке украинское сало, байкальский омуль, грузинские разносолы — все, чем так щедро снабжал Германию в пору дружбы верный Сталин, было к их услугам, но время требовало не чревоугодничества, а жертвенного аскетизма. Яичница Евы Браун станет достоянием эпической поэзии, если таким будет сочтено время, завонявшее вдруг помойкой. Но охочие разглагольствования Гитлера при всей их парадоксальности, отдающей безумием, дарили хрупкую надежду, что — вопреки очевидности — вход в историю, в ту самую, что в пудовых, торжественных, золотообрезанных фолиантах, еще не заказан.

И когда они вечером вновь остались вдвоем в своем бункере — Ева называла его «подземной кельей»: на стене висело старинное деревянное распятие (стоило немалых

трудов уломать безбожника Гитлера на присутствие в их укромье предмета религиозного культа),— последнем убежище с грубой дубовой мебелью, устланной шкурами панд, уссурийских тигров, белых медведей, с выложенным диким уральским камнем камином (электрическим и потому бесчадным), с серебряными старинными кубками и обливной посудой на полках, все это в представлении обитателей «кельи» обращало мысль к нибелунгам — легендарным предкам немецкого народа-мученика и героя (деревенская яичница хорошо вписывалась в этот эпический обстав), — Ева вернулась к прерванному разговору.

Ей раздражающе непонятно было то прекраснодушие, с каким Гитлер рассуждал о стране, чьи танки и остервенелое воинство ломят на Берлин, сея смерть и уничтожение.

— А кого они, собственно, уничтожат? — каким-то бытовым голосом сказал еще не разогревшийся Гитлер. — Нас с тобой? Это, конечно, неприятно. Но ведь благополучные концы бывают только у назидательных, тошнотворно скучных пьесок. Высокую трагедию венчает гибель героев. Ты представляешь себе остепенившуюся Федру или Медею, простившую Язона? В моем спектакле это невозможно. Ты великолепно сыграла главную женскую роль. Я был тебе достойным партнером. Убьют еще некоторое количество обывателей. Но обыватели для того и созданы, чтобы поставлять статистику массовых смертей: от войн, революций, землетрясений, морских бурь, извержений вулканов, поездных крушений, шахтных завалов, пищевых отравлений и эпидемий гриппа. Ты видела, чтобы мир по-настоящему опечалился из-за всех этих убылей? Чтобы хоть на минуту прервал свой шутовской танец? Впечатляюща — и то крайне редко — смерть одного человека, когда в ткани времени образуется дырка. Но и это ненадолго. Что еще плохого могут они сделать? Разрушат Берлин, подумаешь, Афины или древний Рим! Никто и оглянуться не успеет, а чахлые липы на Унтер-ден-Линден опять выпустят свой лишний цвет. Разделят Германию? Тоже не беда: разъедини-

ли — соединили. Вон Польшу сколько раз делили и смывали с политической карты Европы, а она опять возникала с чахоточным Шопеном, истерической скрипкой Венявского и лошадью под кавалерийским седлом.

— Есть нечто более страшное, чем разделение страны, — важным голосом сказала Ева, — крах идеологии.

— Какой идеологии? — удивился Гитлер.

— Не притворяйся, Адольф. Национал-социализма, ты же сам прекрасно понимаешь.

— Похоже, я говорю на ветер. — В голосе Гитлера прозвучало раздражение, которого он обычно не испытывал в общении с Евой, а если даже испытывал, то не показывал виду. У него были недостатки, как у каждого человека, но он всегда оставался безукоризненным джентльменом.

— Не сердись, дорогой! — Ева улыбнулась глубокой женственной улыбкой Иокасты, еще надеющейся, что Эдип простит себе и ей невольный кровосмесительный грех. — Мой слабый женский ум не в силах охватить... — она поймала себя на декламации, разозлилась и рухнула в прозу, — твои околичности.

Гитлер, настроившийся на волну Софокла, не поспел за этим бытовым снижением и не обиделся.

— Когда я ликвидировал банду Рема, Сталин был восхищен. Он увидел свой почерк. Я и сам считал себя его учеником. Но потом он ушел далеко вперед. Я уничтожал только врагов, он — в первую очередь — друзей и сподвижников. В сущности, мне это было на руку: чем меньше большевиков, тем лучше. Настроил меня против него Муссолини, без конца твердивший: «Он кровожадный зверь, но подлость его человеческая». Несчастный моралист и запрограммированный неудачник! Молодчага Скорцени его выкрал, а он умудрился...

— Бог с ним, с Муссолини. Речь идет о Сталине.

— Да, да, Сталин... Он пил за мое здоровье в Кремле. Риббентроп говорил, что у него была искренне теплая, расстроганная интонация. И знаешь, я ведь решил: когда заво-

ую Россию, то оставляю его правителем, конечно, под нашим глазом. Только он умеет обращаться с этим паршизым народом. Но это уже после. А тогда я поверил, что со Сталиным можно иметь дело всерьез. И возник пакт Риббентропа — Молотова, этих эфемеров. Конечно, все понимали, что это пакт Гитлера и Сталина. Надо было всерьез держаться друг друга. Меня сбили с толку два обстоятельства: танки и Финляндия.

— Прости, Адольф, я опять не поспеваю за тобой. При чем тут танки?

— Новые танки, принятые на вооружение Красной Армии. Они могли передвигаться только по хорошим дорогам, каких в России в помине нет. Сталин выдал себя: он хотел обрушиться на Германию, когда мы истощимся в войне с союзниками. Меня возмутило это восточное коварство. А тут еще бездарная, позорная война с Финляндией. Стало ясно, что Красная Армия доведена Сталиным до полного ничтожества. Как было не добить ее? Но вмешался русский бардак, прости за грубое слово, и спутал все карты. Мы захлебнулись в потоке пленных, эту деморализованную массу надо было куда-то девать, а тут еще бездорожье, растянутые коммуникации и ранние морозы. Блицкриг сорвался. И все-таки не Сталин победил, с ним мы бы все равно справились, нас доконала американская промышленность, разрушившая наш военный потенциал.

Ева Браун зевнула. Она ждала откровения, а он пересказывал передовицу из «Фелькишер беобахтер» с набившими оскомину аргументами, тошнотворной белибердой, призванной оправдать полное банкротство.

— Все понятно. Цепь роковых недоразумений, и Сталин в Берлине.

— Да, но какой Сталин? Мой лучший ученик. Роли переменились. Теперь он подражает мне и доведет дело до полного торжества двух систем. И стало быть, победит национал-социализм, только его центр временно переместится с берегов Шпрее, Эльбы и Рейна на берега Москвы-

реки, Волги и Енисея. И это хорошо. Германия слишком зажата в Европе, Россия уходит в Азию, в ее беспредельность и тайну. Возможности там бесконечны. Я недооценивал Сталина, считал его хитрым, но ограниченным восточным деспотом. Он оказался способен вылезти из своих пределов. Социализм — это воля к смерти, он обречен, ему не выиграть соревнования с капитализмом. Только национал-социализм жизнеспособен, и Сталин это понял. Он разогнал Интернационал и тихой сапой выводит русский народ в господствующую нацию. И это в многонациональном государстве! Какая смелость и какое презрение к основополагающим догмам марксизма! Мне доносили об антисемитизме в Советской Армии, вскоре он охватит всю страну. Сталин уничтожит евреев и сделает это решительнее меня.

— Ну, куда уж решительнее, Адольф!.. К тому же Сталин сам из национальных меньшинств.

— Совершенно верно! Тем необходимей антисемитизм, чтобы русские простили ему грузинское происхождение, акцент, шашлычный дух. У меня нет личной ненависти к евреям, как нет ее у Геринга, потому что оба мы настоящие немцы. Евреев не переносят прибалт Розенберг и скрытый жид Заукель. Конечно, евреи антипатичны. Эти ироничные рты, непрерывное остроумничанье, всезнайство, глаза попрошаек, омерзительная приспособляемость и живучесть!.. — Гитлер побледнел, глаза его стали опрокидываться.

«Неужели он немец только по матери? — подумала Ева Браун. — То-то мне всегда был подозрителен папаша Шикльгрубер».

— Что же касается немецкого народа, — краска вернулась к щекам Гитлера, он справился с приступом, — то он не столько ненавидит евреев, сколько хочет любить себя, восхищаться собой, считать себя выше. Но выше кого может быть бездарная, тупая, пропахшая пивом и капустой шушера? Выше Круппов, Мессершмиттов, Тиссенов, Кейтелей, Рейхенау, Ваг-

неров, Гауптманов, князей индустрии, науки, войны, духа? Конечно, нет. Выше фуксов, заксов, зильберов, либерзонов. Выше в силу того лишь, что у них немецкая фамилия и арийская кровь в жилах. Ради самоуважения Михеля возжег я свой великий костер, ибо возвышенный до небес Михель дает веревки из себя вить. Сталин поступит так же. Он назовет русский народ львом и сделает из него осла. Вознесенные над жидками и всеми малыми народами, самые закабаленные из рабов будут весело греметь цепями и славить родного отца. Великодержавный шовинизм наполнит свежей, бодрой кровью иссякшие артерии выдохшегося социализма. Слышишь выстрелы? Это стучится в нашу дверь не враг, а союзник. Мой лучший ученик Иосиф Сталин. В этой войне, как на Олимпийских играх, нет побежденных — победила дружба. Прости, Ева, это дешевое, чисто еврейское остроумие, но мне в самом деле хочется обнять Сталина. Как быстро он всему научился! Я оставляю наше дело в надежных руках.

Он еще что-то говорил, ступая в увлечении в свой собственный след, обыгрывая без конца любимую тему о бескорыстии народа, перед которым поставлена высокая цель. Но чтобы не иссякло скотское терпение народных масс, их энтузиазм, надо подкармливать еврейчатиной. Евреи — палочка-выручалочка всех крепких режимов, одухотворенных избранничеством...

Ева уже не слушала. Ее удивляла банальность аргументации Гитлера. Сама мысль была прекрасна, ибо обещала жизнь после смерти, но ей хотелось бы в доказательствах больше от Вотана, чем от Геббельса. Она никогда не задумывалась прежде, как плоски и тривиальны произносимые им слова. Мощь и завораживающую пространства залов и площадей убедительность им придавал волевой напор лающего голоса, оснащенного акустическим всепроникновением. Но без прогоркло-взволнованного дыхания толпы, в тесном пространстве бункера, гасящем подъем, магия исчезала, и Еву, воспитанную на звонкой меди Софокла, Еврипида, Шекспира, Расина, коробило это пусто-

звучие... «Да какого мне еще рожна нужно?» — прервала она мысленный поток с той грубостью, что необходима для принятия решений. Ее возлюбленный победил вопреки очевидности, глава истории, начатая им, не кончится с физической смертью зачинателя, которую, увы, избежать невозможно, хотя это не самое главное, следовательно, надо доиграть свою собственную игру, чтобы хорошо, достойно, даже величественно шагнуть в вечность... Но как внушить Гитлеру сознание открывшейся ей непреложности, о которой он с чисто мужским эгоизмом — одновременно и бескорыстием — не догадывался? Он сам помог ей.

Дожевывая свою жвачку, он достал из нагрудного кармана пожелтевший газетный лист с портретом Сталина. То был старый номер «Франкфуртер цейтунг» дней безмятежной дружбы, наставшей после приезда Молотова в Берлин. Ева вспомнила, что Молотов щеголял в белых лайковых перчатках, которые были ему велики и непривычны; с этими белыми лапами он напоминал метерлинковского Кота из «Синей птицы», фальшиво ласкового, но готового зашипеть.

— Он, наверное, постарел, — говорил Гитлер, любовно глядя в портрет Сталина. — Год войны идет за три. А ведь мы похожи. У него усы, у меня усы, он бреет подбородок, я брею...

— У него нос, у тебя нос! — подхватила Ева Браун. — Ты устал, Адольф, тебе надо отдохнуть.

— Где тут отдыхать? Русские у стен Берлина, а ничего не готово к их приходу.

— Не завезены цветы? Не выучены приветственные речи?

— Ха-ха, — сказал Гитлер. — Надо подготовить город к уличным боям, все заминировать, что-то взорвать.

— А не лучше ли просто сдать город, без лишних жертв? Он замахал руками.

— Господь с тобой! Сталин будет разочарован, если не положит еще полмиллиона человек. Я хочу до конца

оставаться хорошим спаринг-партнером. Этого требует моя честь.

— А не требует твоя честь узаконить перед концом наши отношения?

— Что ты имеешь в виду? — скучным голосом спросил Гитлер, возбуждение его погасло, и взгляд потускнел. — И что незаконного в наших отношениях?

— Если бы ты читал Библию, то знал бы: Фамарь пошла за Иудой, братом Иосифа Прекрасного, желая попасть в историю. Я в нее попаду независимо от моего желания: мы столько лет неразлучны. Но я хочу войти в нее с гордо поднятой головой, как твоя жена. Я величайшая актриса Германии, а не театральная дива.

— Фи, Ева, откуда такая вульгарность?.. В историю пускают не по паспорту.

— Вот ты и попался! Истории всегда нужен документ. Она отвергает любую реальность, если та не подтверждена записью летописца или круглой печатью современности.

— Но я не чувствую себя готовым к браку, — вяло сопротивлялся Гитлер.

— За годы нашей связи ты вполне мог подготовиться.

— К чему такая спешка?

— К тому, что твой лучший ученик не даст нам отсрочки. Я столько ждала, могла бы еще подождать, но мы исчерпали наше время.

— Это правда, — вздохнул Гитлер, но как-то беспечно.

Еву в который раз поразила его способность подчиняться — безоговорочно, с полным самообладанием — принятому решению. Он подписал смертный приговор себе и ей и отбросил всякие волнения по этому поводу: предстоящее стало оправданной жизненной необходимостью, и нечего рефлексировать. Точно так же поступал он во всех остальных случаях: принято — к исполнению! Но по поводу их брака он никаких решений не принимал. И уж подавно не было прямого обещания, хотя она неоднократно давала ему понять,

что не ждет иного от его рыцарственной природы. И вот он мямлит, юлит, жениться ему явно не хочется. Господи, да чему это мешает, если на безымянном пальце, когда рука потянется за чашей с ядом, будет обручальное кольцо? Вот для нее в этом золотом ободочке весь смысл прожитой жизни, ее честь и слава. А вдруг он был женат в пору своей беспутной молодости и брак для него невозможен? Неужели судьба решила так жестоко посмеяться над ней?

— Я девственник Ева, — пробормотал фюрер.

— Не бойся, — с глубоким облегчением сказала Ева, — это совсем не больно.

— Ну, если ты так настаиваешь...

Не дав ему закончить, она склонилась в старинном поклоне-подседе и голосом ёмче органа, голосом, вобравшим мощь чувства всех Иокаст, Медей, Федр, Брунгильд, при этом ничуть не напрягая связок, качнула хрустальные подвески люстры:

— Я принимаю ваше предложение, мой фюрер!..

Свадьбу сыграли по-домашнему, таково было категорическое требование Гитлера. Еве хотелось пышно и торжественно отпраздновать свой триумф, но помимо нежелания фюрера этому препятствовали объективные обстоятельства: в Берлине не оставалось ни одного зала, пригодного для свадебного торжества, да и носа на улицу не высунуть. Вот и остались в бункере, в тесном кругу испытанных друзей. Открыли шампанское, большую банку со сталинской икрой. Кальтенбруннер, отличный пианист, сыграл «Лунную сонату»; Геббельс читал из Ленау и Гельдерлина, потом показывал карточные фокусы; генерал-полковник Иодль спел тирольский иодль, у него оказалась поразительная фиоритура; Ева прочла последний монолог Медеи. Когда же шампанское ударило в голову, Заукель стал сыпать уморительными еврейскими анекдотами о показательном лагере Аушвицце. Гитлер оставался тих и задумчив.

С обычными послесвадебными шуточками гости наконец разошлись по своим бункерам. Гитлер обвел глазами

опустевшую комнату, наполненную табачным дымом, запахами еды и вина, и сказал с отрешенным выражением:

— А Сталин так одинок!..

— Вот и женился бы на нем, — съязвила Ева. Став законной женой, она уже не считала нужным скрупулезно подгонять свои часы под часы фюрера.

Гитлер оторопело посмотрел на нее и промолчал.

Человеконенавистник Луи Селин с присущим ему цинизмом осрамил таинство первой ночи: «Гости ушли, и новобрачные остались одни, чтобы заняться гадостями». Наступила эта минута и для обреченных молодоженов под землей сотрясаемого взрывами Берлина.

— Наконец-то мы остались одни, — сказала Ева после тщетной попытки найти свежие слова для столь значительного и поэтичного события.

Теперь каждое ее слово, движение, жест прямиком попадали в историю, это требовало продуманности, собранности и осмотрительности. А фраза получилась мещански нищей и даже смешной, поскольку в блаженное одиночество любящих, как нарочно, вторгся третий: близкий разрыв советской бомбы, от которого треснул потолок, посыпалась известка, закачалась и погасла люстра. Свет почти сразу загорелся, хотя и вполнакала. Так даже лучше, подумала Ева Браун, чья избыточная плоть не стала юнее и свежее в годах ожидания возле фюрера. И еще она дала себе слово найти более удачную фразу для дневника, который давно вела, оставив за собой выбор сохранить его для потомства или предать огню.

Отвернувшись, она освободилась от белого воздушного платья, напоминающего греческую тунику, стянула ажурные чулки и ловко, одним движением гибко занесенной за спину руки, распустила молнию на «грации» — матерчато-резиновом доспехе; уронив ее на пол, как хорошо послуживший на турнире панцирь, она наградила фюрера ослепительным видением обнаженной спины и ягодиц и скользнула под пуховое одеяло.

Гитлер, словно не заметив этих маневров, отрешенно стоял посреди бункера, то ли погруженный в раздумья, то ли ошеломленный бомбовым взрывом.

— Адольф! — позвала Ева.

— Да? — очнулся Гитлер и посмотрел на нее.

— Что же ты не ложишься?

— Ах да...

Он расстегнул мундир и повесил на спинку стула. Рука его неуверенно затеребила брючный ремень.

— Может, ты отвернешься? — сказал он застенчиво.

— Я твоя жена, Адольф. — И Ева отбросила одеяло, представ взору избранника во всей царственной наготе.

Ева знала, что в лежачем положении, с ладонями, несущими тяжесть грудей, белотелая и гладкая, она выглядит весьма убедительно.

Гитлер присел на край кровати, ловко стянул сапоги, снял брюки и остался в егерском мышиноного цвета белье. В таком виде он хотел возлечь рядом с Евой и уже потянул на себя одеяло.

— Мышонок ты мой! — ласково пожурила она. — Ты же не в казарме. Надо снять все.

— Да, да! — С торопливым послушанием Гитлер освободился от рубашки и кальсон.

В большой и сложной жизни Евы Браун было немало потрясений, кризисов, падений и взлетов, провалов и неожиданных спасений, она не один раз, а множество проходила огонь, воду и медные трубы, но ничего подобного не испытывала. Какой-то задушенный крик умер у нее в груди, и ощутилось томящее, ознобливое перетекание субстанции жизни внутри организма, а может, это душа отслаивалась от плоти?..

У фюрера ничего не было. То есть вовсе ничего, гладкое место, как у тех резиновых голышей, которых кидают младенцам в ванну, чтобы те тискали их, теребили, кусали за голову и не замечали проникающую в зажмуренные глазки мыльную пену. «А если он ангел?..» — пронеслось в смятленном мозгу женщины.

Пригвожденный к месту ее диким взглядом, Гитлер застыл с растерянной полуулыбкой, вроде бы чувствуя какую-то свою вину и не понимая, в чем она состоит.

Ева Браун недаром была испытана во всех страстях: подлинных и мнимых. Она столько раз пронзала на сцене собственную грудь, убивала своих детей, возлюбленных и мужей, кровосмесительствовала, губила душу, проваливалась в ад, что натренировала характер, как чемпион-тяжелатлет — мускулы. «Спокойно, спокойно, — твердила она себе. — Величайшие люди оплачивали свое избранничество неладами с полом: Христос был андрогином, Сафо — лесбийкой, Леонардо — идеальным гомосексуалистом, Микеланджело и Шекспир — материальными, Челлини насиловал малолеток, Кант мастурбировал, Гоголь был бесполом, а Ницше бесполом, к тому же сифилитиком, Чайковский, Пруст, Уайльд и Андре Жид — воинствующими мужеложцами, Пикассо — садист, Сальвадор Дали — половой маньяк. Фюрер в своей обобранности, по крайней мере, безгрешен, как младенец». Ева справилась с шоком и попыталась взять под контроль ситуацию.

— Что это значит, Адольф? — В голосе прозвучала ненужная строгость. Она сняла ее шуткой.— Где же ты так истрепался?

Он искренне и долго не понимал, о чем идет речь. Пришлось обратить его внутренний взор к дням далекого детства. Там что-то смутно брезжило: да, да, он баловался — писал через забор с дворовыми мальчишками. А куда это девалось? Он не знал. Неужели его не удивляло отсутствие того, что положено иметь мужчине? Он как-то не задумывался над этим, не до того было. Его занимали иные проблемы: то Гинденбург, то Рем, то Чемберлен, то Сталин, то евреи, то генералы-заговорщики. Возможно, ему казалось, что все в порядке вещей: было и прошло, как флюс или опухоль, его всегда мало занимала физиология. И вдруг он разом прекратил все бесплодные домогательства Евы и собственный полуоправдательный лепет.

— Это не единственная моя потеря. Я все отдал партии, все отдал борьбе.

И в самих словах, и главное — в тоне, каким они были произнесены, Ева ощутила величие, снявшее всю трагическую курьезность ситуации. Жаль, что чеканная фраза пропадет для истории, все должно остаться между ними, ведь обывателям не вышагнуть из юмористического контекста. Но какое ей дело до человеческого отребья? Отхлынули горе, разочарование и злая досада, фюрер вернул ей горные выси, куда стремился ее дух. Бессмертия ради было затеяно запоздалое бракосочетание. Не детей же собиралась она рожать на старости лет, да и трясти ложе с человеком, физически ей безразличным, тоже не входило в ее намерения. На это и так было растрчено столько сил, что теперь лишь приближение нежной женской сути могло вызвать легкое волнение в усталой крови. Она, конечно, думала о ритуальном акте соития с мужем, но вне всякой физиологии. Не вышло, и ладно, важно лишь, чтобы никто об этом не узнал. Это уж ее забота. А провести брачную ночь с ангелом тоже заманчиво, тут есть что-то библейское, из самых странных и сладостных сказок христианства.

Ева приняла слегка озадаченного, но полного самообладания мужа в постель и, охваченная внезапной материнской нежностью, прижала к себе эту великую Богову нелепицу, дарящую ей столь ослепительный конец, а с ним — бессмертие, почти вобрала его в себя, в свою мощную плоть, словно желая родить наново, и не то запела, не то заурчала, не то застонала, то ли баюкая, то ли наслаждаясь, то ли корчась в первых предродовых схватках.

— Мамочка!.. — в блаженном забытии всхлипнул фюрер.

И она впервые поверила, что он был ребенком, сосал материнскую грудь, засыпал под колыбельную, тряс погремушкой, тискал мокрого голыша, ковылял из рук матери в отцовские руки, щекотал небо звуками первых простых слов, а не появился сразу с косой челкой, чер-

ным квадратиком усов, большими, тяжелыми ногами и лающим голосом.

Пусть ее женское чувство не было удовлетворено, она испытала другое, более ценное в своей неведомости — чувство матери.

Ева Браун знала, что сжечь их с фюрером трупы поручено самому доверенному и преданному фюреру человеку Карлу Гноске, который в настоящее время выполнял обязанности истопника бункера. Когда-то он был при Гитлере чем-то вроде денщика, но Ева этого времени не застала. Она подозревала, что преданный Карл принадлежит к племени тех вкрадчивых паразитов, что, ровным счетом ничего не делая, умудряются производить впечатление незаметности, образцовой исполнительности и такой собачьей верности, что им прощаются ворчба, лень, насупленно-недовольный вид, расхлябанность и беспамятство. Во всяком случае, бункер отапливался плохо, но сутулая озабоченная спина Карла все время мелькала перед глазами, и Ева, то ли по инерции втемяшенного в нее представления о неустанном труженике, то ли от неосознанного желания отделаться от него, все время что-то подбрасывала Карлу: то старое платье, то наскребыш зернистой икры, то остаток куриного паштета, то пачку крепких русских папирос. Получив дар, Карл мгновенно исчезал, чтобы сожрать без помех и соблазна для окружающих съедобное, схоронить носильное или подымитить всласть. Этому человеку Ева и решила дать ответственное поручение. Она не сомневалась, что Карл выполнит приказ фюрера: мертвых не обманывают, если в этом нет особых выгод, а продать труп фюрера русским — не только сложно, но и опасно. Вот если бы Берлин взяли американцы, Карл мог бы сделать хороший бизнес, но с русскими лучше не связываться: денег не заплатят, а самого прикончат как гитлеровского холоуя. К тому же Еве казалось, что Карлу будет приятно произвести это маленькое аутодафе, слишком долгая преданность нуждается в разрядке. И у Евы состоялся конфиденциальный

разговор с истопником. Она объяснила преданному слуге, что он должен расстараться и сжечь их как следует, особенно фюрера, чтобы мстительные азиаты не смогли глумиться над пощаженными огнем останками.

— Вы прислуживали фюреру столько лет, Карл, и, возможно, знаете, — зеленые глаза Евы впились в непроницаемо преданную маску, — что судьба ко всем прочим дарам наградила его необычайной мужественностью?

Карл этого не знал и, похоже, ничуть не интересовался мужской доблестью своего хозяина.

— Вы понимаете, какое будет удовольствие этим дикарям, у которых даже в языке царит фаллический культ, произдеваться над благородными органами нашего вождя? Вы должны, Карл, вылить ему на гульфик... на ширинку целую канистру бензина, чтобы там хорошенько выгорело... Вы сделаете это, Карл?

— Конечно, сделаю, госпожа.

— Спасибо, Карл, иного я не ждала. Вот вам на память обо мне. — Ева сняла со среднего пальца перстень с великолепным бриллиантом и протянула Карлу.

— Напрасно, госпожа. Я сделаю это из любви к фюреру, — заверил растроганный Карл, беря перстень.

И он сделал так, как хотела Ева. Но прежде чем опорожнить канистру, раздел фюрера и снял с него тончайшее и теплейшее егерское белье. У каждого человека есть свой пунктик, Карл обожал шерстяное белье. Кряжистый верзила был мерзляком и даже летом носил теплые подштанники. Раздев фюрера, Карл, естественно, обнаружил то, что хотела скрыть Ева, хотя проблема заключалась как раз в том, что скрывать было нечего. Карл присвистнул, натянул на покойника форму и честно выполнил обещанное, чтобы останки фюрера не навели кого-либо на обидные для его мужского достоинства подозрения.

Карл был от природы скрытен и молчалив, но в старости стал попивать и выболтал тайну, столь бережно хранимую Евой Браун, автору этой правдивой истории за столи-

ком в пивной Бухенвальда, где на покое коротал дни близ знаменитого лагеря уничтожения, ставшего музеем. У него сохранились обожженные страницы дневника Евы Браун, помогшие прояснению кое-каких сопутствующих обстоятельств. Кстати, рукописи все-таки горят, от дневников немного осталось. Кювье мог по одной косточке восстановить весь скелет животного. Автор не в силах тягаться с великим французским натуралистом, но в его распоряжении оказался целый набор фактов, так что он смело ручается за полную достоверность всего вышеизложенного.

ЦЫГАНСКОЕ КАПРИЧЧИО

На северо-западе Москвы находится место, которое старожилы города до сих пор называют Коптевым. Когда-то там стояло большое Старое Коптево, давшее название Коптевской улице и Коптевскому бульвару, а выселки из этого села стали еще в прошлом веке улицей Коптевские выселки. Не помню, с какого времени Коптево облюбовали цыгане-лудильщики и осели там.

Однажды меня занесло туда каким-то ветром, я помню смуглые горбоносые лица, кудрявые патлы, жилетки поверх ситцевых рубаш с закатанными рукавами, прожженные фартуки из мешковины, помню пестрые юбки женщин, черные лакированные головы грязных детей. А может, я ничего этого не помню, просто населил цыганский квартал привычными образами цыган. Добавив им фартуки — атрибут ремесла.

Но даже ложная память не помогает мне вспомнить, как выглядело Коптево. Наверное, как всякая московская окраина тех лет: двухэтажные кирпичные оштукатуренные домишки, иные с деревянным верхом, угрюмые низенькие подворотни, ведущие в замусоренные дворики с вонючей помойкой, деревянные облезлые заборы, из-за которых свешивают не густо облиственные ветви чахлые городские деревья. Булыжные мостовые и щербатые тро-

туары. Но для нашей истории все это не суть важно. Конечно, если положить остаток жизни, можно разыскать материалы, дающие отчетливое представление об этой части города в начале пятидесятых, да жаль уходящих дней, которых впереди совсем немного.

Удовлетворимся тем, что Коптево выглядело неважно, ничего там не было привлекательного, радующего и умиляющего глаз, ничего, кроме цыган, сообщавших живописность и экзотичность скучной, неопрятной, запущенной московской окраине.

Впрочем, нынешняя новостройка с ее высокими, плоскими неразличимыми домами, прямыми улицами, редкими изнемогающими деревьями, какой-то экзистенциальной пустотой выглядит еще скучнее и безнадежнее, поскольку исчезла единственно освежающая краска — цыгане. Куда они подевались? Может, ушли табором, наскучив оседлой городской жизнью, может, рассосались по бесчисленным ансамблям, которых в середине пятидесятых расплодилось, что дождейков после солнечного ливня. Не знаю. А знаю — совершенно случайно — о судьбе двух местных жительниц — девочек-цыганок, о чем и собираюсь рассказать.

Началось с того, что в Коптево забрела серая «Победа». В ту пору Москва уже порядком заполнилась этими машинами, но в Коптеве легковухи и вообще появлялись не часто: старые «эмки», трофейные развалюхи, иногда новенькие «Москвичи», а «Победам» здесь нечего было делать, поэтому машина, естественно, привлекла внимание прохожих, что нервировало водителя, плечистого лысоватого блондина средних лет в черных очках. Апрельское слабое солнце не слепило, и очки мешали водителю, он то и дело снимал их, промаргивался и надевал опять. Похоже, он кого-то искал, кружа по кварталу и раз за разом возвращаясь к двухэтажному дому с мезонином, примыкавшему к баням.

Оттепельная мокрая весна уже кончилась, тротуары подсохли, и девочки играли в классы. Два прыжка на одной ножке, потом вразножку, снова на одной, разножка и по-

ворот прыжком в обратную сторону. Некоторые при этом еще перегоняли из класса в класс плоскую стекляшку. Как и во всяком деле, тут были свои мастера, середняки и неумехи.

Из бани вышел распарившийся до арбузной спелой красноты парень и влюбленным взглядом прилип к «Победе».

Ну чего уставился? — затосковал водитель. Все равно не купишь. Так нечего пялиться. Шел бы помалу в пивную, после парилки лучше нет холодненьким пивком остудиться. А почему вообще в разгар рабочего дня столько народу в бане парится? Этому разопрёвшему сейчас бы у станка вкалывать, или в конторе штаны просиживать, или за прилавком шуровать, а он банный день себе устроил. И в который раз затревожила мысль, сколько лишнего народа в Москве околачивается. Говорят, много на войне побили, а не чувствуется. Жителей куда больше, чем нужно для дела. Слоняются по улицам, торчат в пивных, толкуются в магазинах, мнут бульварные скамейки, нахлестываются березовыми вениками на полках. Устроить бы облаву на всех бездельников, заполняющих дневную Москву, наберется целая трудовая армия для мест, где рабочих рук нехваток.

Он обдумывал эту горячую государственную мысль без ожесточения, потому что обладал мягкой натурой, настроенной на доброе и покровительственное к окружающим. Он любил человека как часть народа, занятого общим доброделием своей стране. А этот парень, прилипший выпученными глазами к машине, выпал из народа и был неприятен, даже враждебен водителю по фамилии Пешкин, а по имени Иван Сергеевич.

Пресекая очевидное намерение зеваки обсудить с ним достоинства новой автомобильной марки, Иван Сергеевич включил скорость, дал газ и поехал дальше. В зеркальце он видел обиженно-разочарованную рожу парня.

Если он сейчас не обнаружит искомое, то сделает быстрый круг и часочка на два оставит Коптево. И так уже в глазах прохожих цыган мелькало недоброе любопытство.

Они, видать, с недоверием относятся к проникновению чужаков в их мир. Он ничего не боялся, никто не мог причинить ему вреда, но при его службе недопустимы даже малые осложнения и шероховатости.

Плохо и бедно одетые дети играли в классы. Он как-то не обращал поначалу внимания на их одежду. Цыганские девочки выделялись какой-нибудь яркой тряпицей: косынкой, платком, пестрой юбкой из-под ватника. Он внимательно приглядывался к ним, но не слышал угадывающего толчка в сердце.

Когда, описав круг, он вновь приблизился к бане, то еще издали узнал тех, кого искал. Две цыганские девочки лет четырнадцати, похожие друг на дружку, как только близнецы могут быть похожи, играли в скакалку. Они крутили длинную бельевую веревку, а через нее прыгала белобрысая русская девочка с запасливыми бурундучьими щечками. Она прыгала — руки в боки, с застывшим взглядом, ловко меняя ноги: правая — левая, правая — левая... Все было сказано ему — по делу: три подруги — близнята-цыганочки и русская, и место верно указано — дом с мезонином рядом с банями, только игра оказалась другой.

Иван Сергеевич остановил машину вплотную к поребрику, в шаге от играющих. Переместился на правое сиденье и опустил боковое стекло. Девочки были так увлечены, что не заметили его маневров. Он понял: цыганочкам хотелось, чтобы прыгунья ошиблась, запуталась в веревке. Они то крутили с убаюкивающей равномерностью, то вдруг делали несколько бешеных оборотов — веревка успевала трижды за один подскок проскочить под ногами прыгуньи, затем как-то устало обмякали, веревка чуть не выскальзывала из ослабевших рук, и снова — взрыв. Но белобрысая девочка с застывшим взором была начеку и всякий раз угадывала смену ритма. Она прыгала, как тугой резиновый мячик и так же безустанно.

Иван Сергеевич молча смотрел на играющих, боясь спугнуть их неосторожным словом. И высмотрел, что тре-

бывалось. Через несколько минут сестры-цыганочки перестали крутить веревку и подошли к машине. Белобрысая девочка с надутым видом поплелась было за ними, но вдруг раздумала и заскакала прочь, сильно охлестывая тротуар свернутой веревкой. Тем лучше, не придется ее отшивать.

— Чего смотришь? — гортанным голосом спросила одна из сестер.

Иван Сергеевич догадался, что она старшая. Ведь близнецы не рождаются парой, всегда один выскакивает чуть раньше другого, на секунды, на минуты, а бывает — на часы. И тот, кто появился хоть на миг раньше, неизменно оказывается ведущим в паре. Иван Сергеевич понял, что должен ориентироваться на эту девочку.

— Тебя как зовут?

— Аза, а ее Зара, — ответила та ломаясь. Она прижималась острым подбородочком к плечу, крутила бедрами, вскидывала голову и рукой отбрасывала черные, перевитые красными ленточками косы.

— Ага, я Зара, — подтвердила сестра.

— Держите, Аза и Зара. — Иван Сергеевич достал из перчаточницы две конфеты «Грильяж» и протянул сестрам.

Те взяли конфеты быстрым, хищным движением, не жеманясь, как русские дети, и сразу отправили в рот.

— Чего же бумажку-то не сняли?

— Так больше, — стрельнула глазами Аза.

— Твердая, — заметила Зара.

— А ты старушка — зубы проела? — пошутил Иван Сергеевич. — С орехами, вот и твердая.

— Дядечка, дай рубль, — сказала Аза, покончив с конфетой.

— Ишь, хитрая какая! Погадай, тогда дам.

— Позолоти ручку — погадаю.

Иван Сергеевич рассмеялся, скрыв в добродушном смехе нежелание расставаться с рублем.

— Хотите, прокачу?

— А что нам за это будет? — холодново спрашивает Аза.

— Погодите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток, — пробормотал Иван Сергеевич, сбитый с толку этой внезапно и грубо проявившейся взрослостью. Может, они куда старше, чем кажутся? Кто этих цыган разберет. Вон и мониста у них на руках и сережки в ушах. Да нет, девчонки. Нахватались у взрослых попросайничьих фраз и ужимок.

Он распахнул дверцу:

— Залазьте!

Цыганочки, толкаясь, полезли в машину. Сейчас они опять были детьми, наивными, нелепыми и милыми в своем смешном соперничестве.

Аза забралась первая.

— Хочу к окошку! — захныкала Зара.

— Дура вшивая! У тебя свое окошко, у меня свое.

— Твое лучше. Тебе близко видно, а мне далеко.

— Не ссориться, девочки! — Иван Сергеевич вручил им по большой, красивой конфете — «Мишке».

— С золотцем, — сказала Аза, распеленав конфету, и сестре: — Отдай фантик!

— Фигу в нос! Мне самой нужен.

— Зачем?

— Зачем тебе, затем мне, — уклонилась несмекалистая Зара.

— Отдай, паршивка!

Послышалась возня, какой-то задушенный писк Иван Сергеевич направил зеркальце и увидел, что девчонки дерутся из-за фантика. Осилила, конечно, Аза и стала разглаживать на остром колене помятую бумажку. Зара забилась в угол и метала в сестру стрелы ненависти из своих черных глаз. Глаза у сестер казались такими большими на худеньких лицах, будто маскарадные полумаски.

Если они и дальше будут выяснять отношения, к тому же ногтями, будет не здорово, обеспокоился Иван Сергее-

вич. Хозяин терпеть не может склок. Он хочет отдохнуть, разрядиться от своих неоглядных трудов. На износ работает, а как же иначе, раз он отвечает за все ключевые проблемы. Его сильной натуре требуется не расслабляющий отдых в кругу семьи, с дачным гамаком, безотвальным застольем, возней с внуками и пустой домашней болтовней, а горячая, потная любовная борьба. Тогда из него выходят шлаки усталости, он возвращает себе свежесть и способность дальше тянуть непомерный воз. Смогут ли цыганки потрафить Хозяину? Вообще это не его забота. Выбор, как всегда, произвел сам Хозяин, не доверявший чужому вкусу. Как мог он напасть на этих чернявок, что ему было делать в Коптеве? Неисповедимы пути!.. Но ведь был, и видел, и запомнил, и точные указания дал. А не случилось ли промашки: что, если он взял не тех девчонок? Ведь Хозяин сказал, что они играют в классы, а эти — в скакалку. Иван Сергеевич даже вспотел. Неужто обмишулился? Он ведь сроду не имел дела с детворой, к тому же цыганского звания. Чепуха, зря он тревожится. Никакой ошибки нет. Он увидел этих девочек глазами Хозяина и угадал ту потайную притягательность, какой не ощущал собственным сознанием. Ведь за эту способность перевоплощаться в Хозяина и приблизили его, сделали поверенным самых тонких интимных дел. Он ни разу не подвел Хозяина, а главное, не подвел самого себя. Порой ему следовало отыскать тот или иной объект по столь обрывочным, смутным данным — какие-то промельки сквозь толстые линзы на близоруких глазах Хозяина, к тому же из мчащейся по осевой машины, — что это казалось физически невозможным, а он находил. И Хозяин не считал это чудом — только так надо было служить ему. Иван Сергеевич понимал, что Хозяин мерит людей по себе. Но как можно с ним тягаться? Он по всем статьям первый: по своему положению возле Сталина, по влиянию на партию, по работоспособности, по разносторонним дарованиям, по уму и памяти, по власти над окружающими, по мужской силе и неутомимости, по

знанию людей и успеху у женщин, даже по умению носить шляпу, кто еще может так элегантно и низко надвинуть ее на лоб, что лица не углядеть, а ему все видно, как из укрытия. На его крутой волосатой груди можно грецкие орехи колоть, а заросшие рыжеватым пухом пальцы легко стгибают медный пятак.

Иван Сергеевич изо всех сил тянулся за Хозяином, прекрасно сознавая, как он мал и ничтожен рядом с ним. Но, взяв себе высокий образец, он сумел многого добиться. Доставляя Хозяину его подруг, он никогда не прибегал к угрозам, ни тем паче к насилию, только ласковый напор. То было правило самого Хозяина, который, в отличие от иных своих коллег-женолюбков, презирал грубые силовые методы. Аббакумов, скажем, может избить, даже искалечить, не говоря уже о том, что, хороня концы в воду, отправляет своих недолгих наложниц в места не столь отдаленные. Ни одна из подруг Хозяина не только не пострадала, но почти все были награждены. Без материальных знаков благодарности оставались лишь те, кто видел высшую награду в самой близости с таким человеком, как Хозяин, и к тому же ни в чем не нуждался. Женщины любили его за нежность и страсть, любили его хриплый, волнующий голос, его близорукий тяжелый взгляд, жесткое тело и неутомимость. Но Хозяину нравилось одаривать тех, кто доставлял ему радость и утешение. Он и квартиры однокомнатные преподносил, а если ребеночек находился, то и двухкомнатные, и драгоценностями одаривал, почетные звания давал, Сталинские премии, ордена. Других отправлял в заграничные командировки вместе с мужьями, последних продвигал по служебной лестнице. К мужьям он был рыцарственно щедр. Сколько новых академиков и член-коррвов возникло, народных артистов СССР, депутатов Верховного Совета, членов ЦК!

Правда, был один печальный случай, когда женщина, прекрасная, удивительная женщина, лучшая из всех, что переступали порог уютного дома по Вспольной улице, тя-

жело пострадала, но тому были особые причины, а исключение лишь подтверждает правило.

Иван Сергеевич, пронизанный мощными токами Хозяина, его желаниями, интересами, вожделениями, всегда находил тот единственно правильный тон, тот способ поведения, что действовали безотказно. Где-то требовалась полная откровенность, чуть ли не с выдвижением условий, конечно, не впрямую, а в намеках, где-то — покров тайны, едва приоткрытой, чтобы снять испуг и повысить любопытство, где-то надо было вложить в уговоры страсть — тень той страсти, которую испытывал Хозяин, где-то — тон доброго совета, а порой, чего греха таить, не обходилось без сладкой лжи, того возвышающего обмана, что дороже тьмы низких истин. Ивану Сергеевичу приходилось надевать и плутоватую маску Лепорелло, и плащ романтика Сирано де Бержерака, завоевавшего для друга возлюбленную пером и словом. Иван Сергеевич умел быть красноречивым, как носатый мушкетер, но главное его оружие — способность внушать самым разным женщинам чувство безграничного доверия. И странно, что при этом ни одна из них не проявила даже мимолетного интереса к личности посланца любви, обладавшего несомненной мужской привлекательностью. Возможно, они чувствовали, что это всего-навсего пробник, а настоящий жеребец бьет копытом в царских конюшнях. В данном же случае трудность была одна: не ошибиться в выборе среди туземок Коптева, остальное получится само собой. И все же надо держать ухо востро, чтобы не пробудить цыганской подозрительности. А для этого — не выходить из роли славного, бесхитростного дядечки, эдакого доброго волшебника с мешком, набитым шоколадом. Просьба дать рубль немного сбила его с толку, — слишком прагматично для простодушных сладкоежек. А может, рубль — какой-то цыганский символ, вроде откупа? Стоило дать им этот несчастный рубль, а не затыкать рот «Мишками». Ладно, все это поправимо...

Сейчас они вели себя как обычные дети, которым редко выпадает счастье прогулки в автомобиле: глазели в окошки, то в свое, то в чужое, переговаривались, хихикали, вскрикивали, смеялись, кого-то передразнивали; порой вспыхивали мгновенные ссоры, они шипели, как ядовитые змеи, и вцеплялись друг дружке в косы. После этого Зара недолгое время куксилась, даже стонала, а победительница Аза мстительно приговаривала: «Что, получила?..» Затем вновь наступал лад и мир.

Они приближались к центру, Иван Сергеевич стал давать пояснения, как заправский экскурсовод. Вот там, впереди, Кремль, знаете? Знаем, на папиросах видели. А это университет, здесь студенты учатся. Никакого отклика. Так же безразлично были восприняты Большой и Малый театры, «Метрополь», несколько оживил их ЦУМ, бывший Мюр-Мериз, о нем девочки слышали.

Иван Сергеевич призадумался. Везти их к месту назначения рановато, они еще не были подготовлены, кипели, как суп, возбужденные уличной жизнью. Переключить их на тихий, сосредоточенный интерес к достопримечательностям Москвы не удалось. Волновали прохожие, автомобили, троллейбусы, лоточники (уже было куплено по палочке эскимо), продавцы воздушных шаров (и по шарик у они получили и даже успели дважды обменяться, после чего Аза свой шарик выпустила в окошко, а Зара случайно проколола), витрины с манекенами, очереди, разные мелкие происшествия: милиционер освистал нарушителя, кто-то за кем-то погнался, пьяный наскочил на фонарный столб, кошка пыталась сцапать голубя, сорвалась троллейбусная дуга, метнув ослепительную молнию, крошечная, безногая собачка, прижимаясь к ногам хозяйки, яростно облаивала громадного равнодушного дога. Эта мельтешня возбуждала без утоления. Надо было нагрузить им душу, чтобы перевести в более спокойный регистр.

Выехав на Бульварное кольцо, он тихо повел машину в направлении Цветного бульвара.

— Девочки, милые, чего бы вам хотелось еще увидеть?
Они молчали, глядя на него огромными черными озадаченными глазами, потом Аза выпалила:

— Коней!

— Ага, — подтвердила Зара. — Лошадок.

— Каких лошадок? — растерялся Иван Сергеевич.

— Хороших. Вороных. Горячих, — сказала Аза.

И вдруг Зара вырвалась из сестриных тенет:

— И чтоб звездочка на лбу!

Цыгане — завзятые лошатники, вспомнил Иван Сергеевич. Но девочки выросли среди оседлых ремесленников, сроду не ходивших с табором, не торговавших конями на ярмарке. Откуда может быть такая тяга к лошадям? Голос крови? И тут он вспомнил одну трагикомическую историю, наделавшую много шума в Москве. Артист театра «Ромэн» Яниковский, брат премьерши этого же театра, человек в годах, спокойного нрава и хорошей репутации, угнал коней с ипподрома. И проделал эту дикую, дерзкую, заранее обреченную на провал операцию с невероятной ловкостью и сноровкой, словно всю жизнь был конокрадом. Отбив косяк, он не пытался его скрыть, тем паче продать, просто скакал в никуда во главе своего дивного табуна и горланил песни. При аресте не сопротивлялся, а на суде с мечтательной улыбкой выслушал приговор: десять лет лишения свободы. Перестарались, конечно, искалечили мужику жизнь за ребяческую выходку. Ладно, где лошадей раздобыть? Вроде бы на сельскохозяйственной выставке был конский павильон.

— Поехали к лошадам, — сказал Иван Сергеевич, беря нужный курс.

Но тут вышла осечка. Экспозиция выставки не была еще полностью развернута, и в павильоне «Лошади» раскинул шатры Госполитиздат — выставка политической книги.

Это как раз то, что надо его цыганочкам. И во всем так или еще не открыто, или уже закрыто, или переучет, или

ремонт, или санитарный день, или переезд. Даже самое скромное желание нельзя осуществить. Впрочем, есть одно место, где исключены непредвиденные проколы, ибо счет там идет на живые деньги, — ипподром. Пусть в межсезонье и нет состязаний, тренаж продолжается, и лошадей можно увидеть не только в конюшнях, но и на рысистой дорожке. Он купил девочкам по липучему леденцовому петуху на палочке и заверил, что лошади будут.

После короткого визита в спецотдел все двери и ворота ипподрома широко открылись перед Иваном Сергеевичем и его «племянницами-молдаванками». Они вышли в ветряную стужу ипподромного пространства. Куда ни глянешь, всюду кони: вороные, гнедые, соловые, серые в яблоках, огненно-рыжие, горячие и спокойные, добрые и злые, гордые и равнодушные, вышколенные и с заскоками — меряют широким шагом дорожку в плоских радужных лужах. Девчонки пришли в ужасное возбуждение. Они перебрасывались короткими, сердитыми цыганскими словами, закатывали глаза, щипались, бренчали монистами. Аза взяла в рот косу и стала грызть.

Подъехал на американке с велосипедными колесами старый наездник Ратомский, которого Иван Сергеевич знал еще с довоенных лет. Ему пришлось заниматься одним делом, связанным с тотализатором. Наездник снял голубой, с большим черным козырьком картуз и поздоровался глубоким старинным поклоном. Конь у Ратомского был чуть мелковат для русского рысака, но, похоже, добрых статей. Девчонки так и запорхали вокруг него, обволакивая птичьим причитанием и сетью дробных жестов. Потом стали прикладывать ладошку к его глазам и храпу.

— Недурной конек! — тоном знатока сказал Иван Сергеевич.

Ратомский махнул рукой:

— Калека. Плечевые мышцы ни к черту. Чуть напряжется, так падает. Будем списывать.

— Надо же! А с виду хорош.

— Не везет мне, — грустно сказал старый наездник. — Ни одного путного коня в отделении. О призах и думать забыл.

— Плохая лошадка! — вдруг сказала Аза и плюнула на землю.

— Плохая лошадка! — с гримасой отвращения подтвердила Зара.

Девчонки не слышали их разговора. Да и что можно было понять на расстоянии с осипшего на ветру голоса наездника? Почему же они забраковали коня? Ивану Сергеевичу стало неудобно — он не любил мистики.

— Нагаделись? — спросил он хмуровато. — Может, еще какие желания есть?

Они помолчали, переглянулись и сказали в один голос:

— Жрать!

Это почему-то его обрадовало.

— Всё! Поехали жрать.

Знакомый всем москвичам особняк и при этом как бы не существующий — о нем никогда не говорили, в его сторону не смотрели, мимо него не ходили — возвышался над глухим забором крышей и печными трубами. Уютный сытый дом путался в черных голых ветвях старых лип. Из будки выглянул часовой, узнал машину и тут же скрылся. Иван Сергеевич посигналил, ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы «Победа» прошла впритирку, и сразу закрылись. Он краем глаза наблюдал за своими пассажирками. Вся эта таинственность не производила на них никакого впечатления. Девочки были настолько далеки от московского быта, что все принимали за должное: значит, так принято в этом чужом, незнакомом и влекущем мире.

Иван Сергеевич предложил сестрам принять ванну перед едой и переодеться в чистое: им были приготовлены ситцевые халатики и мягкие туфли без каблуков. Они неохотно согласились, хотя, судя по рукам, шеям и косам, большой дружбы с водой не водили. Мраморная ванная в полу была такая большая, что могла приютить не только двух

худеньких подростков, но и всю цыганскую семью. Девочки быстро разделись, ничуть не стесняясь Ивана Сергеевича, опасливо погрузились в воду и стали плескаться.

Иван Сергеевич дал им порезвиться, а потом взялся за дело. Хорошенько промыл им головы шампунем, отдраил жесткой мочалкой худенькие смуглые тела. Они не противились, только постанывали жалобно. В них странно и трогательно сочеталось детское с взрослым: ручонки худые, ребрышки торчат, острые мыски лопаток, а в гибких спинах и узких бедрах — женственная грация.

Девочки ели жадно и неопратно. За едой неутомимо ссорились, хватали один и тот же кусок, чуть не подрались из-за бутылки сидра. Уступая сестре в инициативе и сообразительности, Зара пыталась ни в чем не уступать ей в обстоятельствах материальной жизни. Поэтому она спорила из-за места в машине, вцепилась в ненужный ей фантик, затевала склоки за столом. Ивана Сергеевича это раздражало, но он надеялся, что сытный обед несколько угмонит страсти. Так и оказалось. Вскоре он отвел наевшихся до отвала и порядком осоловевших девчонок в спальню. Тут была застелена четырехспальная кровать. Он уложил их и велел не баловаться. Вскоре придет Хозяин дома, он добрый, но строгий, его надо во всем слушаться, тогда они получат замечательные подарки.

— А рубль он даст? — спросила Аза.

— Без рубля пусть не приходит, — подхватила Зара.

Будь неладен этот рубль! Хозяин любит дарить, но терпеть не может попрошаек. Иван Сергеевич вынул из кармана портмоне стародавического вида и достал оттуда две рублевые бумажки.

— Вот я кладу рубль тебе в кармашек и рубль Заре. И чтобы я больше об этом не слышал. Не то рассержусь.

Он вышел с ощущением, что его поняли, хотя разве можно поручиться за этих дикарок. Двойственность их была не только телесной. Хотелось думать, что они восприняли его наказ взрослой частью сознания. И все же смутное беспокой-

ство не оставляло его. Помыв посуду и убрав оставшуюся еду в холодильник, он подошел к двери, отделяющей столовую от спальни, и заглянул в тайный глазок. Об этом глазке не знал сам Хозяин, Иван Сергеевич проделал его на свой страх и риск. Не ровен час, среди партнерш Хозяина окажется «народная мстительница» и придушит доверчиво прикорнувшего у ее плеча возлюбленного. Или вдруг ему станет плохо — все-таки не мальчик. Была и другая корысть: иной раз, соскучившись, он приоткрывал глазок и наблюдал любовные игры Хозяина, большого выдумщика в постельном деле, и, случалось, делил не ему предназначенное наслаждение. Но малолетки его не трогали, он просто хотел убедиться, что они не набедокурили. Он приткнулся к глазку.

Облокотившись о заднюю спинку кровати, сестры рассматривали висевшую напротив огромную картину Иллариона Тупадзе «Сталин и Берия в гостях у Кеке». Эту картину маститый и глупый, как баран, художник преподнес Сталину. Берия рассказывал Ивану Сергеевичу в одном из приступов доверия, которые на него порой находили после особенно хорошо проведенной ночи, что Кеке, довольно соблазнительная в молодости бабенка, была известной в городе шлюхой, чего ей не мог простить самолюбивый сын. Знала б, бедная, что станет матерью вождя народов, замок бы повесила. В полотне основоположника грузинского художественного сервизма было столько же правды, сколько в байках народного плута Шервашидзе. Получив непрощенный дар, Сталин рассвирепел и велел Берии немедленно убрать эту мазню. Тот с большим удовольствием взял картину и повесил над своим ложем, предоставив грешной Кеке и добродетельному Сосо наблюдать вакхические пиры плоти. Видимо, это его возбуждало. Иван Сергеевич понял, что за собачьей преданностью вождю, которую Берия не уставал демонстрировать, таились страх и ненависть. Но это его не касалось.

Глазок одарил Ивана Сергеевича поразительным открытием: цыганочки не узнавали не только Берию, но и Ста-

лина. Невозможно поверить, что есть в Москве человек, который не знал бы, как выглядит Сталин. Он смотрит с каждой витрины, заменяя нередко товары, с каждого газетного листа, а по большим праздникам даже с неба. Но цыганским детям он остался неведом. А что же им виделось в облаках? Воздушный змей с человеческими чертами или цыганский бог? Не менее интересным оказался разговор сестричек.

— Ты с кем хочешь спать? — спрашивала Аза.

— А ты с кем?

— Нет, скажи, с кем ты, я буду с другим.

— Ну, с этим! — ткнула Зара пальцем в Иосифа Виссарионовича.

— Вот и хорошо! — фальшиво обрадовалась Аза. — А я с этим. Какой красивый дядечка! — почти пропела она и вся потянулась к розоволицему, умильно улыбающемуся Берии, которого домовитая Кеке потчевала айвовым вареньем.

— Нет, я с ним! — вскричала Зара и зашипела позмеиному.

— Ну и пожалуйста, — смиренно уступила Аза. — Я буду с усатым.

Покорно цыганское сердце злодейскому черному усу, ведь и Зара живым чувством хотела усатого. Зря ссоритесь, девочки, забудьте о черноусом, грядет иной жених...

Жизнь очень грубый драматург, обожающий неестественные совпадения: дверь в спальню отворилась, и вошел Берия. В красном атласном халате с кистями, красной феске и шлепанцах с загнутыми носами на босых ногах. Ему, наверное, казалось, что так должен выглядеть соблазнительный цыганский кавалер.

Иван Сергеевич закрыл глазок, надо было позаботиться о легком ужине, который он подаст в кровать, «в белье», почему-то говорил Берия, нетвердый в русском языке.

Довольно быстро управившись с хозяйственными делами, Иван Сергеевич пошел взглянуть, как обстоят дела на

переднем крае любви. Постель была в диком раскардаше, а маленький сектор обзора, предоставленный глазком, не позволял составить общей картины. Приняв за ориентир красную феску, Иван Сергеевич обнаружил, что она сидит на голове Азы, а сама Аза сидит верхом на Берии. Последний был зрим лишь толстым волосатым животом и крупным пористым носом, торчащим из подушек. Он долго не мог отыскать Зару, пока по сторонам обозначенной носом головы Хозяина не возникли две тонких, словно щупальца, ноги, уподобив его крабу. Весь состав был налицо, все при деле. Иван Сергеевич успокоился.

Он задремал в кресле, и его разбудил звонок. Бодро вскочив, он повязал белый крахмальный фартук, пригладил волосы и повез уставленный всевозможной снедью и соками столик в спальню.

Его появление вызвало взрыв веселья. Девчонки тыкали в него пальцами и прямо валялись от хохота. Иван Сергеевич знал, что производит комическое впечатление в белом с кружевами фартучке и воинских брюках, заправленных в хромовые сапоги. А Хозяин еще наколку хотел на него напялить, чтобы волосы не падали в пищу. Хозяин не настаивал именно на таком обличье Ивана Сергеевича — официанта, но был требователен к внешнему виду прислуживающих ему людей. Человек должен и внешне соответствовать своему занятию. Он предлагал на выбор: шальвары, которые любят заливать пеной красных вин сонные грузины, шелковый пояс и жилет, белый индийский парадный костюм или брюки дипломата при черном пиджаке, как у метрдотелей дорогих ресторанов. «Я боевой офицер, — твердо и печально сказал Иван Сергеевич, — а так вон пиджак ношу. Оставьте мне хотя бы воинский низ. И зачем мне наколка на лысую башку, а фартук я надену, в том стыда нет». Иван Сергеевич почти всю войну провел на фронте в заградотряде и расстреливал в упор наших бойцов, которые наступали не в ту сторону. Эти отряды появились после знаменитого, хотя и секретного, приказа

Сталина, где говорилось, что советский народ проклинает Красную Армию. То было летом 1943 года, когда немцы, прорвав нашу оборону, устремились к Волге и Кавказу. Исполнившись священной ненависти к красноармейцам, показывающим врагу зад, Иван Сергеевич уничтожал их беспощадно. Три боевых ордена отметили его воинский труд. Он окончил войну в звании капитана, а уж до полковника дослужился при Берии. Скромное, офицерское достоинство беспомощного перед ним человека вызвало уважение маршала госбезопасности, он согласился. Надо сказать, у обычных клиенток двусмысленный вид Ивана Сергеевича вызывал разве что мимолетную улыбку, но это же девочки, дикарки, что с них взять!

— Чаю или кофе? — спросил он.

— Мне кофейку, — ответил Берия, утирая потное лицо пододеяльником.

— И мне! — воскликнула Аза.

— И мне! — обиженно присоединилась Зара.

— Нельзя маленьким девочкам кофе, — отечески строго сказал Берия. — Сердечко тук-тук будет. Налей им чаю не очень крепко, не очень слабо.

Иван Сергеевич выполнил указание, после чего удалился до конца ужина, успокоенный за исход операции: у Хозяина было хорошее настроение, стало быть, цыганочки потрафили.

Потом он вывез стеклянного официанта, хорошо потрудившаяся команда умяла все до крошки, поставил питье на ночной столик, включил тихую музыку и удалился до утра.

Как бы ни провел ночь Берия, он вставал ровно в восемь. После душа и легкого завтрака заходил в кабинет для звонков, после чего отправлялся на работу.

Как положено, без четверти девять Иван Сергеевич зашел в кабинет. Он принес показать Хозяину говорящих кукол в коробках, приобретенных по его распоряжению.

— Что такое? — раздраженно поморщился Берия, он был уже в пальто и низко надвинутой фетровой шля-

пе. — Ах, эти!.. — И вдруг будто харкнул в лицо: — В пропускник!..

Иван Сергеевич опешил. Он ожидал чего угодно, только не этого. Ведь все было так хорошо, накануне Хозяин казался веселым и довольным. Что же случилось за эту ночь?.. Что они натворили?..

В дверях Берия оглянулся, сверкнули стекла очков.

— Они не целки! — бросил своим хриплым, непрокашлянным голосом и захлопнул за собой дверь.

Господи, да ведь он уже вчера знал, с кем имеет дело, но его это ничуть не трогало. А чем они виноваты? У цыган любовь рано начинается. Нашел где искать девственниц. Шел бы тогда в детский сад.

Этот «пропускник», как называл его Берия, существовал при доме еще до прихода сюда Ивана Сергеевича, но за исключением одного-единственного случая использовался для иных нужд, чуждых маршальскому досугу. Случай тот был связан с красавицей Ариадной Петровной, вдовой маршала Бекаса. Еще во дни Царицына приглянулся Сталину бравый, расторопный фейерверкер и постепенно был возвышен до маршала. Сталин вверил ему всю артиллерию Красной Армии. Он не получил никакого военного образования, но Сталин полагал, что рядом с такими великими полководцами, как Буденный и Ворошилов, бывший фейерверкер освоит высшую воинскую науку. Не освоил Бекас и во время Отечественной войны позорно провалил две ключевые операции. Был разжалован до подполковника и от огорчения умер. И тогда Берия вспомнил о красавице вдове.

За время своей службы у Берии Иван Сергеевич наглядился на красивых женщин, но все они казались горняшками рядом с Ариадной Петровной. У нее была царственная осанка, а двигалась она плавно, словно под водой. Ее фисташковые глаза, когда она приспускала веки, становились лиловыми. И мужчине, на которого падал взгляд этих переливающихся глаз, хотелось немедля совершить подвиг. Она была аристократка, дочь финляндского генерал-губер-

натора. Видимо, это обстоятельство, равно и то, что первый муж был расстрелян как враг народа, заставило ее укрыться под крылом дуботолы Бекаса.

Ивану Сергеевичу было приказано доставить бывшую маршалшу в дом на Вспольной. Она не выразила ни удивления, ни смятения, будто ждала этого вызова. Только спросила с улыбкой, медленно раздвинувшей ее темные, незнакомые с помадой губы: «С вещами?» Он смешался: «Нет, нет, какие вещи... зачем?» — «Можно мне попрощаться с дочерью?» — «Зачем?.. Вы же ненадолго». Оказалось, навсегда.

В первый и последний раз Берия пригласил Сталина. Они вдвоем всю ночь занимались Ариадной Петровной, а наутро, когда прощались в кабинете, Берия спросил: «Продолжение следует?» Сталин отрубил: «Ликвидировать!» Иван Сергеевич прибирал в ванной комнате и, белый от ужаса, слышал весь разговор. «Кому она мешает?» — спросил Берия. «Некрасиво старым большевикам развлекаться с женой врага народа». — «Бекас — враг народа? Просто старый дурак». — «А ты молодой дурак. Я о первом муже — расстрелянном. И отец у нее губернатор. Может, тебе все равно? Твое дело. А вождю народов это ни к чему». — «Я все же не понимаю...» — «То-то и оно. Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». Сталин говорил спокойно, медленно, как бы расставляя знаки препинания, но Иван Сергеевич почувствовал в его голосе угрозу. И Берия это почувствовал. Проводив Сталина, он вызвал успешного спастись из ванной Ивана Сергеевича: «Поставить на хор и в пропускник!» Пытаясь сохранить Ариадну Петровну, Берия дал слабину и сейчас хотел реабилитировать себя в беспощадных глазах вождя. То, что Сталину будет все известно, не вызывало сомнений.

Вспоминать об этом Иван Сергеевич не любил, но не было у него слаще и пронзительнее воспоминаний. Он прошел вторым после печника Николаши. Женщи-

на лежала, как мертвая, но нутро ее было насыщено электричеством. Ивану Сергеевичу казалось, что он или умрет, или закричит страшным голосом, или заплачет. Его пришлось стаскивать, он был почти без памяти. А вот Ариадна Петровна, когда все кончилось, оказалась в полной памяти. «Вставай!» — сказали ей, и она встала. Мокрая от чужих трудов, но сохраняющая странное достоинство. Все происшедшее словно бы ее не касалось. В каком-то смысле так оно и было. Она спросила ровным голосом: «Теперь куда?» Она все знала...

И вот опять «пропускник». Тогда было понятно, так хотел Сталин, а сейчас зачем? Чем опасны Хозяину эти жалкие девчонки, к тому же из цыганского закута, не имеющего связи с остальным городом? Иван Сергеевич не мог тогда знать, что и тут не обошлось без Сталина. Впоследствии кое-что приоткрылось.

Берия должен был ехать на доклад к Сталину вместе с академиком Курчатовым. Вождь интересовался, как обстоит дело с атомной бомбой. Он позвонил, чтобы получить подтверждение вызова. «Академик уже здесь, — сказал Сталин тем тягучим голосом, который появлялся у него, когда он делал гадость. — Ты нам не нужен. Мы немножко сами разбираемся». И положил трубку. Не нужен... Вот те раз! А кто курирует бомбу и всю атомистику? Сами разбираемся!.. Большой специалист — «Занимательную физику» с трудом одолел. Чего он хочет? Оттереть его, присвоить себе весь успех. Обычная манера. Он отнял гражданскую войну у Троцкого, Отечественную у Жукова, отберет у него бомбу. А может, Курчатов интригует? Зря он предпочел этого бородача Алиханову. Тот бескорыстный, отвлеченный, рассеянный, настоящий ученый, а этот пробивала, ловкач, карьерист... У него, кажется, большое сердце?.. Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. С Курчатовым он разберется. Потруднее со Сталиным. Что-то ты задумал, генацвале, будем на страже. Вот уж не ко времени затеял он баловство с цыганскими

девчонками. Сталин этого терпеть не может. Наверное, из-за дочери. Подумаешь, чистоплюй. И у других есть дочери, да получше, покрасивей рыжей, конопатой недотепы. Ладно, это все дешевая лирика. Нет человека — нет проблемы. Кому нужны испорченные девчонки?..

Иван Сергеевич довольно долго просидел в каптерке, переживая внутри себя распоряжение Хозяина, потом начал жить дальше. Он сходил за выстиранной и выглаженной одеждой девочек, вынул из коробок кукол, синеглазых, розовощеких, с льняными волосами, послушал скрипучее: «Мама!» — и пошел в спальню.

У двери он остановился, услышав тонкие, жалобные звуки. Прислушался. Девочки пели маленькими, сиповатыми голосами. Пели по-цыгански. Некоторые слова повторялись, он их отчетливо различал, не понимая смысла:

Бидома... бидома... ай, бидома-а-а!
Чавента... чавента... ромалэ... ой-ей-ей!..

Странно, что дети могут петь с такой надрывной печалью. Они, конечно, ее не чувствуют, просто подражают взрослым.

Бидома... бидома...
Чавалэ... ой-ей-ей!.. —

бились два голоса.

Иван Сергеевич толчком ноги отворил дверь и вошел, держа кукол в вытянутых руках.

Девочки перестали петь, черные глаза расширились испугом. Но, увидев кукол, засмеялись, заверещали, засуетились каждой косичкой, спрыгнули с кровати и выхватили подарки из рук Ивана Сергеевича.

— Сейчас пойдете в душ, — сказал он. — Потом оденетесь, и я отвезу вас домой.

Девочки не слушали, занятые куклами. Аза делала вид, будто кормит свою грудь, прижимая ее ртом к титечке под халатом. А Зара наслаждалась крякучим: «Мама!» — отзываясь: «Чего скулишь? Здесь мама, здесь».

— Пошли! — сказал Иван Сергеевич.

Они повиновались машинально, глухие и слепые ко всему, кроме своих нарядных «дочек». У Ивана Сергеевича мелькнула дурная мысль, что кукол следовало бы отобрать, зачем даром пропадать чудесным игрушкам, из-за которых он обрыскал всю Москву. Да ведь едва ли они скоро понадобятся, а может, и вообще не понадобятся, да и девчонки почуют неладное.

Они двинулись длинным коридором. Девочки баюкали «дочек», Иван Сергеевич бережно нес свертки с ненужной одеждой. Ну и длинный же коридор, конца не видать.

Вот и хозяйство Николаши, а вот и сам Николаша со своей детской улыбкой на толстом добродушном лице.

— Чего вы так поздно? — сказал Николаша. — Я еще не завтракал.

— Вместе позавтракаем, — деревянными губами проговорил Иван Сергеевич.

Почему девочки вдруг всполошились? Не было ничего зловещего, ничего подозрительного. Вошли же они вчера без всякого колебания в ванную комнату. Что им здесь не показалось?.. Да ведь они были дикарками, зверюшками, с безошибочным инстинктом зверя. И чем-то им пахло из-за толстых стен, какой-то тайный шепот толкнулся в сердце. Уперлись, ни в какую. А потом пытались бежать, не выпуская из рук кукол. Пришлось Николаше взять их в охапку и силком втолкнуть в газовую камеру.

После, за завтраком, Николаша уверял, что жертва не испытывает мучений, циклон действует практически мгновенно. Возможно, так оно и есть, хотя кто это проверял?..

А Хозяин нисколько не сердился на Ивана Сергеевича. Он позвонил среди дня и велел доставить вечером жену профессора Коробчинского, известного ларинголога. Она и сама была ученой дамой, преподавала историю музыки в консерватории. В шесть часов вечера серая «Победа» медленно вползла с улицы Герцена во двор консерватории и остановилась неподалеку от служебного входа.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Он хотел покататься на своем чудесном «феррари», но ему опять не разрешили. Вернее сказать, разрешили, но только в качестве пассажира, мол, гололед, опасно. Он в гробу видел такие поездки. Ему нужно сжимать в руках руль и мчаться по своей Москве, пусть не такой большой, как всамделишная — она была выкроена из его участка на Воробьевом взлобке, — но не менее увлекательная для езды: с перекрестками, светофорами, дорожными знаками, придирчивыми постовыми, неосторожными пешеходами, выпархивающими из-под серебряного носа машины. Эту маленькую Москву построили для Генсека, когда он захотел сам водить новую машину — великолепный полугоночный «феррари», подаренный ему итальянскими безработными. Регулировщики попадались такие въедливые, что от них не отделаться было штрафом, не откупиться лишней десяткой, приходилось дарить экземпляр последней его книги «Ренессанс» с автографом. Сейчас одрожливая боязнь лишиться шоферских прав, заискивание перед орудовцами, унижительные взятки вспоминались с удовольствием, то была настоящая жизнь, азартная и горячая, а не сонное переползание изо дня в день. Случалось, он вообще переставал замечать, что живет. То ли его усыпляли, то ли настолько ослабляли все функции организма, что он выпадал из сознания. Считалось, что все это делается для его же блага, чтобы он в нужную минуту восстанавливал форму, необходимую для руководства государством, борьбы за мир во всем мире, окончательного построения социализма в одной отдельно взятой стране, а также для приема иностранных правительственных делегаций. Он столько женщин не перецеловал за всю свою долгую и богатую летучими романами жизнь, сколько начмокал за последние годы мужских лиц — белых, черных, желтых. Раньше он целовался в аэропортах — он любил эти поцелуи на свежем воздухе, под огромным аэродромным небом, в грохоте про-

греваемых моторов, но сейчас встречи и расставания происходили в Кремлевском Дворце — торжественно и пышно, но в этих объятиях не было прежней сладости. Уж больно строгий режим установил ему академик Берендеев, кстати, куда он исчез?.. Сейчас кто-то другой распоряжается командой здоровья, но и его почти не видно, а заправляет всем хамоватый парень по кличке Член. Эта уникальная спасательная команда была создана главой советской медицины Берендеевым специально для Генсека из отборных молодых людей. Каждый мог подменять один из больных, изношенных органов Генерального секретаря: желудок, почки, печень, сердце, легкие, поджелудочную железу, мочевой пузырь и т. д.

Бедный, умирающий, брошенный соратниками Генсек не знал многих обстоятельств, сопутствующих его угасанию. Так, ему неизвестно было, что честолюбивый Берендеев не удовольствовался Ленинской премией за открытие «эффекта Устюжина» (кстати, на дельта-концентрическую мышцу в форме олимпийского символа — трех колец в заднем проходе слаботочника Устюжина наткнулся не он, а рядовой проктолог из районной поликлиники) и пробил себе Нобелевку — не без успеха. Во всяком случае, была достигнута договоренность со Швецией о приобретении Советским Союзом каравана барж с протухшей треской. Шведские академики — люди бескорыстные, неподкупные, за все сокровища мира не пошли бы на сделку с совестью, но открытие и впрямь было из ряда вон выходящее, к тому же, истинные патриоты, они превыше всего ставили интересы своей суровой и милой родины.

Вместо себя Берендеев оставил своего зама по Академии медицинских наук, и тот, пользуясь отсутствием шефа, старался выловить последние крупницы с того золотого дна, каким оказалась для научного мира устюжинская задница. Он подписал договор на книгу «Открытие века» и другой — на брошюру о жизни и деятельности Устюжина. Помимо гонораров, он твердо рассчитывал схватить за эти работы пре-

мию имени Ленинского комсомола. Небогато, конечно, но что поделаешь, если ты попал к шапочному разбору.

В его отсутствие — почти постоянное — за старшего оставался видный парень с бритым затылком по боксерской моде тридцатых годов, осуществляющий функции пениса. Это ученое и жеманное слово никак не соответствовало его внешности, простой и мужественной, как тот орган, который он представлял в команде, и друзья звали его Членом или еще более коротким, исконно русским словом. Невоспитанный, грубый по природе, он был непозволительно резок с Генсеком, который то ли не замечал этого в своей омороченности, то ли не хотел замечать. Иначе ему было бы страшно. Генсек привык к роли всеобщего любимца, баловня, всякое иное отношение привело бы к губительному стрессу.

Сквозь пелену маразма, опутавшего его разрушенный мозг, он ощущал смутные вей каких-то перемен, но не мог их постигнуть. Раньше было лучше. А чем лучше?.. Пользуясь чужими органами для пищеварения, он по-прежнему вкусно ел и пил, что всегда было для него одним из главных наслаждений. Берендеев не мучил его диетой, лишь слегка ограничил в количестве. И в остальном не знал он никакого ущемления. Его мемуары переиздавались каждый месяц, и критики не скупилась на восторженные рецензии, его осыпали отечественными и зарубежными наградами (парадный мундир со всем металлом весил более двух пудов) и не только в передовицах, но и в глаза стали величать «великим коммунистом». Случалось, и на трибуну выпускали, где он разевал рот под фонограмму, наговоренную артистом-имитатором Дудником. А главное, без его поцелуя не покидал страну ни один глава иноземных государств. Жискара д'Эстена шесть часов в приемной продержали, потому что у Кишечника случился запор, обернувшийся острой непроходимостью у Генсека. Да ведь нельзя же было отпускать ни с чем президента дружественной Франции.

Казалось бы, все оставалось по-прежнему, нет, исчезло бывшее тепло, без которого чувствительная душа Генсека чувствовала себя сироткой. А тепло не излучалось на Генсека по той простой причине, что его перестали бояться. От него теперь ничего не зависело, напротив, он зависел от решения соратников длить или прекратить затянувшуюся агонию. Они не давали ему умереть из страха друг перед другом. Лишь один этот еле живой труп препятствовал вспышке властолюбивого соперничества.

И все же Генсеку и туг повезло: он выпал из рассудка ровно настолько, чтобы не знать ни мучительного ожидания конца, ни предсмертной тоски. Впрочем, от легкого волнения, вызванного тенями мыслей, он почувствовал неудобство в мочевом пузыре. Давно вернувшись к младенческим привычкам, он хотел освободиться от тянущей боли простейшим способом, не тревожа окружающих, но, как ни тужился, все тщетно.

— Чле-ен!.. — позвал он жалобно.

— Ну, чего еще? — нелюбезно отозвался тот.

— Пи-пи!..

— Эк же разывает! Сто раз на дню. Что за жизнь проклятушая! — Член оглянулся на товарищей. — Пузырь, давай, родной!

Эту операцию нельзя было проделать в одиночку, приходилось звать на помощь Мочевой пузырь — толстого, неповоротливого флегматика, который все свободное время раскладывал пасьянс «Одноглазый стрелец». Пасьянс никогда не получался, что усиливало тоскливую флегму Мочевое пузыря. Услышав призыв, он с покорным видом смешал карты и поплелся к Генсеку.

Член быстро свинтил его с Генсеком, затем вытащил из штанов того другую трубку, подсосал из нее, как шофер, переливающий бензин из канистры в бак, и присоединил к своей системе. Под креслом Генсека находилась резиновая утка, но Член с присущим ему цинизмом, ничуть не стесняясь коллег (близость к академику Берендееву быстро

освобождала людей от чувства стыда и приличий), стал мочиться в кадку с лимонным деревцем.

Как и обычно в последнее время, Генсек проводил свой послеобеденный отдых в зимнем саду среди высаженных в кадки среднерусских и субтропических растений и роскошных кустов роз, насылавших тяжелыми волнами свой густой аромат. Он плохо видел и слышал, почти утратил речь и координацию движений, но сохранил нюх и всегда радовался дневному запаху роз и вечернему — табачков. Освободив мочевой пузырь, он глубоко вобрал ароматный воздух и в некотором просветлении обрел на мгновения окружающее. Он увидел лимонные и апельсиновые деревья, и его склонный к обобщениям мозг, очнувшись, дал им определение «цитрусовые», увидел цветы, траву, кактусы, жимолость и объединил все в одобрительном — «озеленение», увидел оживляющие пейзаж фигуры здоровенных бездельников, подменяющих его органы, и обрел непосильную задачу: напрашивающееся «народ» к ним никак не шло, это было ясно даже тому комочку серого вещества, которое сохранилось в черепной коробке, неожиданно возникшее слово «требуха» озадачило, отяжелило, а там и во все задавило слабый проблеск сознания. Он погрузился в бессмысленное, чисто физиологическое блаженство от сладких запахов, игры красок и света, птичьего щебета в склерозированных сосудах.

И скрывавшемуся за колонной человеку стало до озноба страшно, что от этого полутрупа зависит та громадная сумасшедшая жизнь, что начинается сразу за фрагментом искусственной Москвы и продолжается во все концы настоящего якобы, а на деле такого же призрачного города, где в гигантских каменных коробках сотни тысяч людей ткут из воздуха, изымают солнечный свет из огурцов и, превзойдя лапутинцев, добывавших питательные вещества из экскрементов, обращают в экскременты все, чудом уцелевшее на погубленной ими земле: дары полей, лесов и вод, алмазы и золото, железо и медь, уголь и нефть, идеи и

нравственные ценности, искусство и литературу, детство, отрочество и юность, зрелость и старость, любовь и дружбу, честь, совесть и достоинство. А чем дальше от столицы, тем страшнее фантазмагория: льется кровь — своя и чужая — в стране, которая никогда не была нам врагом, и зеленые мальчишки с перекошенными страхом лицами убивают, жгут, грабят нищее население, осаживаются спиртом и наркотиками, учатся быть подонками; мчатся эшелоны, груженные ничем, с надписью «Хлопок» на вагонах; потоком утекает в страны, которых и на карте не найдешь, устаревшее оружие и дефицитная пшеница; останавливаются, загнивают реки, иссыхают моря, гибнут озера, засоливается, умирает чернозем, и, убивая последнюю веру молодежи, бесцельно и тупо тянут нитку одноклейки по тысячеверстной таежной зыбкой пустынности. Разбой гуляет по городам, весям и кладбищам, проворовались и спились все от мала до велика, никто никого не любит, а по обезумевшим городам мчатся в черных пуленепробиваемых машинах, парализуя уличное движение, безжалостные, вульгарные, одичавшие от власти и безнаказанности оккупанты собственной страны.

Генсек меж тем загрезил, а когда вновь обрел некоторый контакт с окружающим, то увидел прямо перед собой нечто круглое, тугое, крепкое, как яблоко, и настолько аппетитное, что захотелось попросить кусочек. Эта малая и привлекательная подробность жизни обладала цветом, определить который было не по силам Генсеку: что-то синевато-голубовато-сероватое. Новым постигающим усилием он понял, что смутный и приятный цвет принадлежит ткани, а ткань облегает полусферу, наделенную признаками жизни, она крутилась, трепыхалась, вибрировала, и почему-то движения эти отзывались сладким замиранием внутри Генсека.

— Задница! — громко и отчетливо произнес Генсек и засмеялся от радости, что ему удалось выразить безошибочно точным словом самостоятельное наблюдение.

Да, перед оживившимся взглядом Генсека телепалась обтянутая джинсовой тканью аппетитная попка Селезенки. Возбужденная манипуляциями Члена по освобождению мочевого пузыря Генсека, она пыталась соблазнить его.

— Слышишь? — сказала Селезенка. — По-моему, он меня кадрит.

— Не удивлен, — слюбезничал Член. — Ты и мертвого расшевелишь.

— Товарищу!.. Молодой человек!.. — позвал его Генсек.

— Спятил он, что ли? — взорвался Член. — Сколько можно?.. Не пойду!..

— Молодой человек, я вас зову. — Голос прозвучал так отчетливо, что Член струхнул. — В Афганистан захотели? Берендеев вам поможет.

— Этого еще не хватало... За все мои труды... — горько бормотал Член, выбираясь из кресла.

— Нет, нет!.. — закричал Генсек. — Не надо... Ты погляди на нее!.. Лапонька... рыбонька!.. — Донельзя взволнованный, он ерзал, взмахивал руками, словно пытаясь взлететь, вертел головой, сучил короткими ножками.

— Мать честная!.. — ахнул Член. — Да он токует. Это ж надо! Как рассластился старый пес.

— Я скажу Берендееву... Он не откажет... Золотые Пески... море... солнышко... Только помоги мне, милый!..

— Две путевки, — грубо сказал Член. — В Бургас.

— Да... да... только послужи...

Член быстро свинтил себя с Генсеком, проверил, подключен ли тот к сердцу и легким — не ровен час, концы отдаст в порыве страсти, — и сообщил Селезенке, что им светит Бургас, если они угодят старичку.

— Неудобно вроде, — сказала Селезенка, обведя взглядом помещение.

— Чепуха! Нас не видно. Джинсы оставь, только спусти.

— Паровозиком? — спросила Селезенка.

— Еще чего! Ему и визуально хватит.

— Я такого способа не знаю.

— До чего ж ты темная дура! Визуально значит вприглядку.

— Так бы и говорил! — разозлилась Селезенка. — Больно забурел. Подумаешь, начальник. В гробу я таких видела.

Переругиваясь, оскорбляя друг друга, они устроились в кресле и принялись отрабатывать путевки в Бургас.

Генсек тихо и мелодично стонал, глаза сузились в щелочки, а все лицо опустилось в брыли.

«Боже мой, до чего же счастливая жизнь! — думал человек за колонной. — Как расточителен Господь к самым недостойным. За что ему все?.. Уже за чертой, уже покойник, а до чего же ему сейчас хорошо! За свою долгую жизнь он не сделал ни на грош добра, пустышка, даже без настоящего честолюбия, одно жалкое тщеславие, лягушка, раздувшаяся в вола. Манекен с орденскими планками. Хладнокровный покровитель всяческого зла, корысти, бесчестности. Ему плевать на Россию, все только для себя и своей пошлой семьи. Говорят, он не любит крови. А мясорубка Афганистана? А погибающие в лагерях диссиденты? А Машеров и Цвигун? Конечно, будут валить на окружение, как валили на бабника Ягоду и плясуна-карлика Ежова — жалких приказчиков смерти».

Любовный полет завершился: бурно, со слезой — у Генсека, хладнокровно — у исполнителей.

— Это все? — разочарованно спросила Селезенка. — За что тебя Генсек держит?

— Доберешь с Берендеевым, — съязвил Член и отключился от Генсека.

— Кончен бал, — прошептал незримый человек. — Лучше быть не может. Пусть уйдет, как жил, на вершине блаженства.

Из-за колонны показалась нога в генеральском сапоге и наступила на трубку, ведущую к сердцу Генсека. Тот трепыхнулся, как воробей, настигнутый кошкой в миг по-

гружения в благость свежей навозной кучи, и перестал быть. Но отсвет последнего наслаждения запечатлелся на его огромном и ужасном лице.

Эту ухмылку не могли стереть никакие косметические ухищрения кремлевских похоронных гримеров. Вызвали художника Мылова, автора последнего и самого удачного портрета Генсека, где он изображен в маршальской форме верхом на коне. Самого коня не видно — Мылов умел писать только двуногих животных, но богатое кавказское седло удалось художнику не меньше лица модели: дивно молодого, лихого, отважного, с мудрой складкой меж черных полумесяцев бровей. Мылов долго мудровал над покойником, Генсек вышел из его рук накрашенный и напомаженный, как интердевочка, но неприличная улыбка все так же скашивала дряблый рот. Хотели послать за первым кремлевским маляром Омлетовым, он находился в творческой командировке — писал полковника Каддафи в кругу семьи, но, зная щепетильный нрав ливийского прогрессиста, не решились. К тому же, несмотря на весь труд потрошителей-муляжистов, Генсек стал отчетливо припахивать, подобно старцу Зосиме, что дало возможность придворному поэту Пречистенскому тонко намекнуть в прощальной поэме на святость покойного; кривую ухмылку поэт щедро приписал свету в конце туннеля, которым награждает праведников упоение.

Торжественные, грандиозные похороны собрали всю Москву. Но что-то двусмысленное проглядывало в них, как и во всем долгом, пышном царствовании. Излишняя общительность и нервозность отличали возглавлявших кортеж ближайших соратников — интриги продолжались и у гроба. Ситуация была как после Смутного времени: не назван преемник, и каждый мог питать надежду, по-мичурински не ожидая милостей от природы.

В колонне студентов МГУ молодые голоса довольно громко пели под траурную мелодию шопеновской сонаты номер два:

Умер наш дядя, не оставив ничего.
Умер наш дядя, не оставив ничего.
Тетя хохотала, когда она узнала,
Что умер наш дядя, не оставив ничего!..

Может быть, чуткое ухо вдовы расслышало непочтительный хор, и ей померещилось в глубокой скорби и непомерной алчности, что «дядя» в самом деле обделил семью. Оттолкнув зятя, она выскочила из рядов и в обгон лафета проскочила к колонне генералов, несших на бархатных подушках ордена и звезды покойного числом более пятисот. Цапнула рукой в митенке орден Победы и спрятала в сумочку.

На другой день в газетах был опубликован указ, что отныне орден Победы остается в семье героя. Поскольку у нас закон если даже имеет какую-то силу, то лишь обратную, никого не удивило, что им оправдан задним числом смелый жест вдовы. Это было хорошо придумано: отобрать похищенное все равно не удалось бы, а в будущем никаких потерь отечественная сокровищница не терпела — ушел последний полководец, удостоенный высочайшего ордена державы.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Рассказ

—
1
—

Когда это было? Во второй половине семидесятых, точнее назвать трудно да и не нужно. Сейчас это время называют застоем, таким оно, конечно, и было — из дали лет. Но ощущал ли я и близкие мне люди — за других я не могу ручаться — это время как застой? По-моему, нет. То была наша единственная жизнь, а в ней все, ради чего рождается на свет человек: любовь, дружба, путешествия, охота, семейные драмы — без них было бы пресно, творчество, да, да, и оно было — это сейчас кажется, что там зияла пустота, а еще творил Тышлер и строил на бумаге свои фантастические города Эрнст Неизвестный, были поэзия и музыка. И были диссиденты для успокоения нашей совести. Быть может, утомленный перестройкой, я хочу сказать, что то было прекрасное время? Упаси господь! Время было ужасное, и мы это тоже знали, но и сейчас ужасное время, хотя по-другому — насквозь заполитизированное, совсем не творческое: нашу духовную пищу мы получаем из прошлого или из-за бугра, отечественные соловьи молчат, порой издают странные для соловьев скрежещущие звуки злободневного наполнения, которые называются публицистикой, безобразные расхристанные телеклипы — наши Моцарт и Бетховен, а главное, нет душевной жизни, никто никого не любит. Значит, нет и глубины бытия, оно крикливо, бесстыдно и плоско, как бездарный плакат. Это двухмерное бытие, без психологии и без тайны, без тишины и задумчивости, без нежной памяти и

слез, но с испугом и с тем, что называют чемоданным настроением. Одни бегут, другие думают о бегстве, третьи куда не собираются, но чемоданы почему-то уложены. А еще немало таких, кто хочет крови. Быт исчез. Люди не ходят в гости: застолья не соберешь, такси нет и опасно поздно возвращаться. Все — и стар и млад — сидят у телевизоров, тупо уткнувшись в безобразные съездовские шоу. Ни одного самоубийства из-за любви, ни одной дуэли, не звучит серенада в уголовной ночи разрушающихся городов.

Неужели тогда было, как у Пушкина: «Много крови, много песен для прелестных льется дам»? Немного, конечно, но лилось. Сейчас льется неизмеримо больше, но дамы тут ни при чем. И все же я не хочу туда назад. Нет, лучше наше безлюбье и пустые полки. Кстати, со жратвой в застое уже было плоховато. Нефтяной бум мог сделать нас самой богатой страной в мире, но все миллиарды ушли в эпохальные долгострой и в экологические преступления, которые назывались в песнях преображением земли.

Во всяком случае, Анна Ивановна Наседкина (имя вымышленное, хотя человек действительный), секретарь Усвятского райкома партии (название тоже вымышленное, хотя район лежит посреди России, ближе к северу), была сильно озабочена, как, а главное, чем принять группу из Академии педагогических наук, которая следовала автобусом через ее Палестины. Это непривычное слово применил третий секретарь обкома, давая ей по телефону партийное поручение: принять, накормить и обласкать выдающихся московских ученых с женами. Они объездили всю область, знакомясь с достопримечательностями древней Русской земли: промыслами, ремеслами — тут при всеобщем разоре сохранились кружевницы, резчики по дереву, керамисты, плотники-виртуозы, реставраторы икон, — с монастырями, украшенными дивной росписью, с деревянным и гражданским зодчеством. Они возвращались домой по ее владениям, чтобы еще раз глянуть на Калистратов монастырь, расписанный несравненным Феоносием с сыновьями.

Довольно большой район, доверенный попечению Анны Ивановны, доставляя ей, помимо обычных секретарских хлопот с разваливающимися колхозами, убыточными совхозами, убогой местной промышленностью, с пивным заводиком, на который алчно смотрела вся область — еще бы, свое пиво! — с жилищным кризисом, нехваткой учителей в школах, врачей и медсестер в больницах, транспортными и энергетическими кошмарами, еще одну мучительную, пусть и лестную доuku — всемирно знаменитый Калистратов монастырь. Хотя это был музей всесоюзного значения и ведало им Министерство культуры, практически он существовал попечением и муками Анны Ивановны. К примеру: после долгих слезных просьб, бесконечных проволочек Министерство присылало хранителя коллекций, научного сотрудника или экскурсовода, но, кроме весьма скромной зарплаты, ничем его не обеспечивало. Специалист оказывался в положении Робинзона: у него не было ни жилья, ни средств и материалов, чтобы это жилье построить, равно и никакого обзаведения. Монастырские кельи были давно заселены, а дом для сотрудников, запланированный еще в пятидесятые годы, строить не собирались — смешно в Державе тратиться на подобную мелочевку. Были дела поважнее и помасштабней: прикончить тайгу, погубить Байкал и великие сибирские реки, убрать с карты России Аральское море, остановить течение Волги, ликвидировать чернозем. Если специалист приезжал с семьей, положение его оказывалось вовсе отчаянным. Но, как правило, специалисты были людьми одинокими, они знали, что их профессия — искусствовед никому не нужна, почти не оплачивается, а следовательно, не позволяет завести семью. Похоже, тут нарушался главный экономический закон, установленный еще Адамом Смитом, но это никого не волновало. Конечно, нищенствующий музей не мог помочь даже одинокому специалисту, не говоря уже о семейных, и тогда за дело бралась Анна Ивановна. Всеми правдами и неправдами она раздобывала лес или кирпичи,

железо или тес, уговаривалась с мастерами, кого улещивала, кого подкупала, кого брала на силовое давление: дом складывали, подводили под крышу, как-то обставляли, и возникал очаг — ячейка жизни. Специалист начинал сеять разумное, доброе, вечное, а потом, глядишь, бросал свое бездоходное занятие и пристраивался к чему-то более выгодному. Жилье он, конечно, не освобождал, и мученические труды Анны Ивановны шли прахом. Вместо духовного наставника район получал еще одного паразита. Музей запрашивал нового специалиста, томительная канитель начиналась сначала. А ведь музей нуждался не только в работниках. Его надо было отапливать, подсушивать — почвенные воды точили старый разрыхлившийся камень, ремонтировать: трескалась, покрывалась плесенью настенная живопись, чернел металл паникадил, обваливались ступени лестниц. Министерство, похоже, считало монастырь действующим и молчаливо возлагало все заботы о его поддержании на трудолюбивых иноков. Но святых отцов не было в помине, была Анна Ивановна, и лишь ее неустанностью как-то спасалась старинная обитель. Не поймешь, как и на какие шиши, но дело делалось. Залатывали дыры, снимали плесень, укрепляли краску, заставляли работать вентиляцию и обогрев, дабы сияла бессмертная (в духовном, но не в физическом смысле) живопись Феодосия и угрюмился на потолке грозный смуглый Спас, далекий от прощения. И текли беспрерывным потоком людские толпы, восторгаясь, замирая, плача, крестясь, сморкаясь, зажимая рукой трепещущее птенцом сердце в груди, становясь светлее и чище; среди добрых, верующих в Бога или в Искусство, шли и пустоглазые, ни горячие, ни холодные, перед которыми отступал и душесокрушитель Феодосий, да ведь человечья протерть всюду проникает, и не о ней речь.

Никто из паломников не думал, что своим умилением, восхищением и очищением он обязан маленькой сутуловатой женщине средних лет, настолько замороченной, загнанной, не имеющей времени для себя, что забыла она о

своей женской сути, о том, что у нее красивые глаза и волосы (плохо, кое-как уложенные) и при легкой сутулости крепенькая, стройная фигура, о чем, правда, не легко было догадаться из-за нелепой, случайной одежды.

Не думали об Анне Ивановне и те местные, равно приезжие люди, которым доводилось освежаться местным кисловатым, но все равно благословенным в жару пивком. Заводик, заложенный еще в петровские дни, не развалился и давал продукт только благодаря фанатичной. — на житейский взгляд, а для нее естественной, как дыхание, — въедливой ответственности этой женщины. На заводике то не хватало овса (пиво тут варили овсяное, а не ячменное), то впадал в длительный запой главный мастер-пивовар, то не присылали стеклотары, и пиво приходилось пускать распивочно в ларек, а поскольку кружки давно побили или порастаскали, то пили из полиэтиленовых мешочков, как испанцы — вино из бурдюков, а случалось — стыдно сказать — даже из глубоких калаш. Но такие перебои не бывали часты и длительны — Анна Ивановна включала третью скорость и находила выход, опять пенилось в чистых чанах золотое пиво, наполняя бутылки, и район заливал холодной горьковатой благодатью горячий жар готовых котлет. Их бесперебойное производство на местной фабрике-кухне для уличной продажи тоже наладила Анна Ивановна.

Не стоит утомлять читателя другими примерами хлопотливой деятельности Анны Ивановны. Названные трудоемкие объекты были довесками к обычному набору секретарских забот, охватывающих все, без исключения, стороны районной жизни: от сельхозработ и производства до школ и профтехучилищ, от спортивных площадок и больниц до аптек и вытрезвителей. Казалось, яблоко с дерева не упадет без ведома и участия Анны Ивановны.

Как и в других районах области, в избытке тут имелась только водка, плодово-ягодное вино, грибы и голубика в лесу, сосновые шишки для самовара, в иные годы — клюква. Все остальное принадлежало державе чудес, но Анна

Ивановна управляла этими чудесами, обеспечивая их носительную регулярность. И район жил: работал, ел, во что-то одевался, любил, целовался, смотрел телевизор, слушал музыку по радио и через транзисторы, ловил рыбу и раков, охотился, ходил в кино, а когда болел, то лечился (Анна Ивановна верила в народную медицину и не обижала травниц, наговорных женщин, знахарок и колдунов).

Анна Ивановна работала на полный износ, но разве можно сделать так, чтобы все были довольны? И Анну Ивановну ругали — случалось, в лицо, но больше за глаза, донимали доносами. Она не обращала на это внимание и не меняла благожелательного отношения к людям, пишущим кляузы, жалея их ущербные души. Равно Анна Ивановна не задерживалась мыслью на том, почему она должна все делать сама, почему без нее люди шагу не могут ступить, не способны ни сеять, ни жать, ни варить пиво, ни тачать сапоги, ни учить детей, ни посещать музеи, ни получать почту, ни покупать товары, какие хочется (этого они не могли и с ее помощью), ни ездить в автобусе, ни подтереть задницу мягкой бумажкой. Вся ее деятельность была для нее столь же естественна, как для домашней хозяйки работа по дому и у плиты. Разве задумывается русская женщина, почему она должна успевать так много: поить, кормить, одевать, обстирывать семью, шить, мыть, штопать, чинить, чистить-блистить, стоять в очередях, выхаживать больных детей, возиться с пьяным мужем, самой вкалывать на производстве, в поле или конторе? Так надо. Иначе рухнет домашняя жизнь. Анна Ивановна воспринимала весь район как свой дом, на который у нее уже не оставалось времени. Выручала ее старуха мать, да и муж был хозяйственный и непьющий. Он заведовал столярной мастерской, работал от и до и, являясь мужем секретаря райкома, не мог ни воровать, ни химичить с пиломатериалами. Поэтому он приносил в семью немного, зато считал своим долгом подсоблять по дому и с детьми. К деятельности жены он относился двойственно: уважительно, но с

оттенком иронии. Уважение отдавалось жене, ирония — системе, в которой она надрывала свои бедные женские силы. Муж задумывался над тем, о чем никогда не думала жена в силу своей полной замороченности: почему она должна заниматься пахотой, севом, сеноуборочной, жатвой, пивоварением, строительством домов и ферм, школьным преподаванием и музейной работой, не имея ни о чем понятия? Почему не оставить это тем людям, которые знают дело профессионально, почему крестьяне не могут сами крестьянствовать, артельщики делать замки, учителя учить, портные шить, строители строить? Почему всюду должна мелькать ссутулившаяся от забот, а некогда прямая, как былинка, фигура его жены? Долгое время он считал, что она только мешает, и стыдился за нее. Потом понял, что без нее все остановится и наступит паралич, конец света в одном отдельно взятом районе, и зауважал ее. Но одновременно он понял, до самого дна души понял несостоятельность системы, которая и дня не просуществует без толкачей вроде его жены. И никому — даже Анне Ивановне — не признаваясь, поставил крест на этом мироустройстве. Не должна сложная, противоречивая, ориентированная на собственные силы жизнь идти на бесконечной подкачке, словно старая, износившаяся шина, когда-нибудь она лопнет, разлетится на куски. Конечно, такой громозд изнашивается медленно, пройдут не то что годы, а десятилетия, но конец будет один. Хорошо бы неизбежный финал наступил не раньше, чем Анна Ивановна выйдет на пенсию или ее спишут. Он боялся, что удар настигнет ее на всем разгоне, тогда не выдержит усталое сердце. Пусть она раньше сойдет на обочину — прозрение окажется не столь сокрушительным. Понял он также, что, пока она на своем месте, уют и тепло не вернуться в дом, как бы этого ни хотелось им обоим. Что не будет и прежней ночной близости с безмерно утомленной женщиной, проваливающейся в сон, как в смерть, хотя они и любят друг друга. Осталась лишь видимость семьи. Их хорошая девочка Варя

растет не дочкой при родителях, а внучкой при доброй недалекой бабушке, парень и вовсе отбился от дома — матери он не видит, тусклый отец ему не указ, хорошо хоть босяком не стал — милый далекий чужак. Жизнь отняла у семьи жену и мать, и ничего тут не поделать. Он умел подчиняться обстоятельствам, начисто не умея их ломать, и завел себе женщину на стороне, надежно обеспечив свой роман от сплетен. Анна Ивановна не знала о существовании его пассии, а если б и услышала, все равно бы не поверила. Она любила мужа, привыкла к нему, чувствовала его преданность и надежность и была совершенно спокойна за свои тылы — вполне справедливо. Муж мог за нее помереть, он только жить на холоду не умел.

Но не надо думать, что Анна Ивановна была белкой в колесе — маленьким, не сознающим мира вокруг, безмозглым существом, включенным в систему вечного движения, при котором не постигается и сантиметра пространства. Она искренне считала, что вся ее утомляющая тело, мозг и душу деятельность нужна не только сегодняшнему дню, но и далекому манящему будущему. Она была незаменимым человеком для диктатуры: все принимала на веру, особенно — идеи, мгновенно очаровываясь любым зигзагом верховной мысли, ничего не подвергая проверке, оценке, и ломала во всю мочь туда, куда ее поставили передом. При этом оставалась нравственным человеком: любила, жалела людей и, не жалея себя, трудилась им на пользу и радость. Последним Анна Ивановна резко отличалась от стоящих, вернее, сидящих над ней, отчасти у нее на голове, ибо верхние люди обслуживали только самих себя. В системе их ценностей значились лишь предметы очевидного наслаждения: хорошая жилплощадь, дачи, пайки, сауна, машина, летний отдых на море или в горах, заграничная техника, обеспечение своих детей всем, что имеют родители, в самом начале жизненного пути. Был у них и момент духовный: ощущение власти, что едва ли не нужней для сладости бытия, чем зарубежные новинки, впрочем, и про-

игрыватель «Грюндиг», и магнитофон «Филипс» напоминают очевидностью своего блеска и совершенства, кто ты есть и чего достиг.

В полубреду бессчетных дел, в замороченности спешкой, противоречивых и неиссякаемых требований Анна Ивановна была не то чтобы счастлива или довольна, но покойна тем самым важным внутренним, глубоко запрятанным покоем, когда человек находится в ладу с самим собой, даже если не все получается, когда он делает то, что должен делать, и не сомневается в прямоте своего пути. Правда, до дна сознания она доводила это редко, а так все больше тревожилась, задыхалась, сбивалась с ног и, как ей самой казалось, ничего не успевала. Иногда мир в ее глазах становился размытым, текучим, как в подводном царстве, она протирала глаза, не догадываясь, что влага на пальцах — слезы. И опять кидалась в бой — стойкий оловянный солдатик эпохи бесконечного обмана и надругательства над человеком.

Но все это из области высоких материй, хотя что тут высокого, в сущности, речь идет об искалеченной повседневности. А сейчас перед Анной Ивановной встала новая конкретная задача: принять и накормить группу московских путешественников. С питьем затруднений не оказалось: она купила на свои деньги несколько бутылок водки и два ящика пива, благо заводиком работал. Больше заботили ее продукты, которые помещаются не в бутылках. Хлеб, масло, консервы «Частик», конфеты-подушечки, сахар и чай она приобрела в сельпо, кое-что оказалось дома: десяток яиц, картошка, зеленый лук, огурчики.

Неожиданная забота настигла Анну Ивановну в разгаре подготовки к уборочной. Готово, разумеется, почти ничего не было. Комбайны обещали стать на ход, но комбайнам на мелких лесных косых землях района не разгуляться, лишь в одном совхозе поля лежали цельно, гладко и удобно для большой машины, остальной хлеб придется брать жатками, а на особо неприступных местах — вручную.

Серпом, украшающим наш герб, уже никто не владел, значит — косою. Потеря, конечно, при косьбе больше — выбивается зерно из колоса, но, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Жатки кое-как подготовили, куда хуже обстояло с тракторами — вечная нехватка запчастей, и вовсе гибло с автотранспортом: резина — слезы. А машина не человек, босиком не пойдет. Положение казалось безвыходным, но ведь таким же безвыходным оно было и в прошлом, и во все предшествующие годы, да ведь как-то убирали хлеб. В районе же Анны Ивановны вовсе обходились без приписок: убирали все подчистую, и клинышка не оставляли жестианеть и бронзоветь на осенних утренниках. Хлеб губили уже в других местах: при перевозке к элеваторам, в самих элеваторах, где он если не сторал вместе с самим хранилищем, то прел, гнил, прорастал, но туда власть Анны Ивановны не простиралась.

Ужасны и ошеломляющи новые неизвестные болезни, вдруг обрушивающиеся на вчера еще здоровый организм, а с врожденными или застарелыми недугами человек сживается. Горбун не помнит о горбе, слепой от рождения не страдает в своей тьме, и даже те, кого регулярно постигает радикулит, «укус ведьмы», приступы печени, равно хроники-язвенники, не паникуя, перетерпывают боль, а порой настолько сживаются с ней, что пребывают в полном комфорте.

Так и Анна Ивановна: она надрывалась, осаживала голос по телефону, куда-то мчалась на своем «козле» по страшным местным дорогам, кого-то уговаривала, кому-то грозила, у кого-то валялась в ногах, отважно шла к злым, крикливым, ругательным и все равно чудесным бабам, почти всегда находя у них поддержку, а душу не теряла. Хуже обстояло с внеочередным поручением. На ленивых райкомовцев рассчитывать нечего: пообещают, надуют и отбредутся. Да и на своих положиться нельзя: попросила Варю собрать грибов: та принесла ведро червивого мусора.

Даже понять трудно, где она такую дрянь отыскала. Места тут на редкость грибные. Белых не так чтобы очень,

но подберезовых и подосиновых — завались. Выйди, оглянись, и ведро само заполнится крепенькими чистыми грибочками. «Что же ты?» — только и вздохнула Анна Ивановна. «Мне уроки готовить надо», — в нос, что было признаком крайнего нерасположения, отозвалось дитя. Вот так во всем, положиться не на кого.

Пришлось братья самой. В обеденный перерыв она подкатилась к бабке Суслихе — первой грибнице, ягоднице и травнице в районе. За моток шерсти бабка согласилась съездить с Анной Ивановной в лес, в свой секретный грибной рай, заручившись партийным словом секретаря, что та не только никому не скажет, но и сама сроду туда не пойдет. Думала Анна Ивановна, что далеко ехать придется, в Кашеево царство, в бабы-яги государство, а заповедное место оказалось чуть не в самом райцентре, в заросшем мусорным леском, сильно выгоревшем после пожара овраге. Поблизости находилась свалка в ярко сверкающем на солнце обводе из консервных банок и битой стеклотары. И здесь, в гиблом, безобразном месте, где не виднелось ни одной осинки и лишь редко-редко среди немощных елочек и обгорелых сосен белела одинокая березка, две охотницы мигом набрали четыре ведра отборных подберезовиков и подосиновиков. А потом Суслиха отвела Анну Ивановну в ложок, где по склонам они взяли с десятков крупных темно-коричневых боровиков. «На похлебочку больно хороши!» — заметила Суслиха.

Уже по пути назад Анна Ивановна принялась чистить грибы. С такими крепышами хлопот нету, да уж больно их много, глядишь, не управишься. Теперь жарехи на всех хватит, а есть ли что вкуснее свежих, жаренных на костре грибов с картошечкой и лучком!

Закуска кое-какая собралась, теперь следовало позаботиться о сюрпризе к столу. Можно предложить гостям такое угощение, что разглядятся морщины на самых суровых официальных лицах — вареных раков! Если, конечно, удастся их наловить. Раки, хотя и мелкие, водились в речке в изо-

билии, а часто ли по нынешним временам ты встретишь за столом классическое сочетание: пиво — раки! Анна Ивановна радовалась, что доставит удовольствие людям. Она их уже любила за те хлопоты, которыми они, сами того не желая, ее нагрузили. А еще ей хотелось поджарить рыбы. В реке водилась плотва, густера, окуни, язи, щуки, но взять рыбу можно было либо сеточкой, либо бреднем, на удочку разве что пескариком за день разживешься. Тут требовалась мужская рука. Она поделилась своими планами с мужем. «Стоит ли так выкладываться? — спросил он с жалостью, глядя на ее измученное, опавшее лицо. — Мало тебе своей мороки? Ты ведь не знаешь этих людей. Может, это дрянь, мелочь пузатая?» — «Типун тебе на язык! Стали б из обкома звонить? Самые ценные люди. Академики. Педагоги!» Он слегка дрогнул: «Ты в этом так уверена?..»

Наверное, стоило помочь, но его раздражало, что надо корячиться ради чужих и случайных людей, которых они никогда больше не увидят. Да и лень, признаться. К тому же ее уход на всю ночь, раньше не управится, открывал возможность навестить приятельницу без обычной вороватой спешки, и он сказал фальшивым голосом: «Я бы подсобил, да из принципа не хочу. Нельзя, чтоб на тебе так ездили». — «А я и не рассчитывала, — сказала Анна Ивановна, чтобы облегчить ему отказ. — Я Трофимыча попрошу». — «Только бутылку дашь ему погодя, — посоветовал муж. — А лучше сама с ним пойдя. Он мужик хороший и реку знает, но без царя в голове. За все берется и ничего до конца не доводит». Что это я так разболтался? — одернул он себя. — Анька доверчивая, но не дура. Почует, что дело не чисто. И добавил ворчливо: «Да плюнь, не мучай себя».

Анна Ивановна уже не слушала. Не захотел помочь, и бог с ним. К тому же позвонили из города и сказали, что путевка в Цхалтубо обеспечена. Стало быть, пьяница-кузнец Сухов с авторемонтной будет вкалывать субботу и воскресенье. Такой у них был уговор. Считай, еще два грузовика выручены для уборочной. Настроение резко подня-

лось. Она переделалась в старенькое, сунула в карман бутылку и отправилась на «козле» сперва к Сухову, потом за Трофимычем.

С Суховым управилась быстро. Он называл свою болезнь «люмбаго», гордился ею и утверждал, что единственное средство против нее, кроме водки, — это целебные грязи курорта Цхалтубо. Узнав, что путевка в кармане, сказал коротко: «Буду как штык!»

А вот Трофимыч оказался не в духах и принялся ворчать:

— Раков захотела? А решето у тебя есть? А мяса тухлого захватила?

Анна Ивановна ни о чем таком не подумала, полагая, что у Трофимыча, речного человека, найдется всякая снасть и заманка. Поломавшись, Трофимыч достал из чулана драное решето, другим одолжились у соседки — вдовы музейного сторожа. Анна Ивановна пообещала ей помочь с дранкой для курятника. А вот тухлого мяса у старушки не оказалось, она забыла, когда вообще видела мясо в последний раз.

Продуктовый магазин был уже закрыт. Оставалась надежда на райком. Анна Ивановна заметила, что из холодильника, стоявшего в углу столовой для сотрудников, сильно несло. Возможно, подпортились готовые котлеты, которые она запасла для предстоящего семинара пропагандистов.

Лучше бы они не ездили в райком: от котлет остался только запах, кто-то их умял, а вот на телефонный звонок нарвалась. Во вторник в обкоме совещание по вопросу подготовки к Дню танкиста. «Зашиваюсь я с уборочной», — жалобно сказала Анна Ивановна. «Все зашиваются, — разумно ответил обкомовский голос. — Почему для вас должно быть исключение? Совещание крайне важное». — «Хлеб важнее». — «Не занимайтесь демагогией!» — И трубка шмякнулась на рычаг.

Увидев расстроенное лицо Анны Ивановны — мяса тухлого не нашла, а на разговор тухлый нарвалась, — Трофимыч сменил гнев на милость.

— Не печалься, Анна Ивановна. Мотанем на Никишкин пруд, лягух наловим. Рак, он после тухлого мяса больше всего дохлую лягуху обожает.

Поехали на пруд в сторону заката. В натихшем просторе оглушительно громок был хор гортанных грассирующих голосов на пруду. В дело шла только дохлая лягушка, поэтому Трофимыч вооружил Анну Ивановну палкой, а свою десницу оплел поясным ремнем с пряжкой. В считанные минуты картавый французский хор лишился десятка певуний.

Поехали на реку. Почему-то заветные места вовсе не таятся в таинственных далях, а находятся под носом. И до леска Суслихи было рукой подать, и раковая пучина Трофимыча оказалась неподалеку от плотины. Анна Ивановна отпустила машину, наказав водителю за ней не приезжать, отсюда до поселка было минут десять хода.

Трофимыч привязал к решетам по крепкому суку, напихал туда дохлых лягушек и пристроил под бережком.

Солнце зашло, но небо еще светилось утомленной белестью, и нагустели тени. Плескалась рыба, выпрыгивала из воды за мошкарой, расходились медленные круги.

— Головель играет, только его не взять, — заметил Трофимыч. — Надоть с бредышком пройтись. — И стал снимать штаны.

Анна Ивановна разулась, сняла чулки, а юбку заправила в лиловые дамские штаны, подтянула повыше нижние резинки. Занимаясь туалетом, она рассеянно прикидывала, сколько Трофимычу лет. Думалось о нем как о дедушке Трофимыче, а ведь был он далеко не стар и пенсию получал по военной инвалидности, а не по возрасту. У Трофимыча плохо разгибалась перебитая пулей левая рука, другая пуля сидела у него внутри, обеспечивая ему вольную жизнь шабашника. Нигде не служба, Трофимыч был всегда при деле. На деньги не жадничал и все тянулся к реке.

Трофимыч пустил Анну Ивановну ближе к берегу, но все равно она промокла до пояса, а долговязый Трофимыч

едва замочил подол старой гимнастерки. Анна Ивановна не была больно спора в рыбацком деле, хотя в детские годы хаживала с бредышком, поскольку большая семья, потеряв кормильца на войне, нуждалась в пищевом подспорье. И хотя Трофимыч ворчал и покрикивал, она его не подвела. С первого захода взяли пяток плотиц, подъязка и ерша. А при повторном им, помимо мелочи, и щучка приличная попалась.

Вода у берега хорошо прогрелась за день, и, хотя кончили они рыбачить уже в сумерках, ноги и поясница почти не застыли, чего побаивалась Анна Ивановна, у которой с некоторых пор погуживало в коленях.

Щуку посадили на струнку, остальную рыбу сложили в сетку, которую привязали к лозе и спустили в воду. Проверили рачьи ловушки. Анна Ивановна ахнула, как полно набилось каждое решето черной в прозелень шевелящейся массой. Раков собрали, обновили приманку и пошли на берег обсушиться и попить чайку.

Анна Ивановна сняла все мокрое, повесила на лозняк сушиться, вытерлась и натянула ватные брюки.

— Надел бы штаны, Трофимыч.

— Мне не холодно, — отозвался тот, подтаскивая ветви для костра. — Мы привычные.

— Ты-то, может, привычный, а я нет. У тебя чего-то телепается.

— Не бойсь, Анна Иванна, — сухо сказал Трофимыч. — Я его не выпущу.

Но штаны надел.

Он сложил хороший костер, сварил чаю, испек картошек. У Анны Ивановны были с собой хлеб, сало, лучок. Поужинали, Трофимыч разорил соседнюю копенку и соорудил пышное ложе. Они легли тесно, спинами друг к другу. Анна Ивановна — лицом к потухающему жару костра.

Заметно посвежело, но холодно поначалу не было. Обтянутая ватником спина Трофимыча грела лучше костра. И она опять как-то смутно отметила про себя, что Трофимыч жи-

вой, справный мужик, и со стороны небось странным показалось бы их совместное отдохновение у костра. А вот мужа ничуть не смутил ее ночной поход на реку. Что это — равнодушные или доверие, исключающее всякую дурную мысль? А Трофимыч ощущает ли, что лежит рядом с женщиной, что они греются друг о дружку, или настолько исчахло в ней женское начало, что стала она для мужиков чуркой? Все эти мысли промелькнули быстрыми теньями, не принудив к сосредоточенности ни на одной, и сменились привычными тревогами об уборочной, запчастях, полеглой ржи; усталые, но довольно четкие мысли стали сбиваться, запутываться в пряжу сна, превратив видения в бред: страшные бесовские рыла полезли со всех сторон, она успела сообразить, что они прорвались сюда из предстоящего семинара пропагандистов, вслед за тем была какая-то шевелящаяся рачья тьма и потеря себя. Анна Ивановна спала.

Уже под утро, судя по отчетливости выступивших из серой мглы деревьев, кустов, камыша, она проснулась от холода в спине — за ней было пусто. И сразу услышала ровный гулкий шум. Трофимыч мочился на лопухи. Анна Ивановна успокоилась. От костра уже не тянуло теплом. Она дотянулась рукой до кострища, пепел и угли были холодными. Загудели колени. Трофимыч вернулся и осторожно подлег, только уже не спиной, а передом, босяк, прижался. Ей стало неудобно и противно, зато тепло. А пес с ним, он мужик порядочный.

Трофимыч лежал тихо, не ерзал. Анна Ивановна пригрелась и опять заснула — до ясного, залитого солнцем утра. В лицо ей дышал жаром вновь разожженный костер, побулькивала вода в чайнике. Трофимыч возился на берегу. Анна Ивановна окликнула его. Поздоровались.

— Анна Иванна, с удачей тебя! Два ведра раков. И вот такой красавец в гости пожаловал.

Трофимыч вывесил, ухватив за жабры, кого-то головастого, усатого, обросшего по брюху лишайчатой зеленью.

— Что за зверь?

— Сона не узнала? Ты им всю команду накормишь.

— Ну и здоров! Да невкусный он, Трофимыч. У старого мясо как вата.

— Это верно, — неожиданно легко согласился Трофимыч. — Да ведь не выбрасывать. Что же он даром жизни лишился? Ладно, я его сам съжучу.

Анна Ивановна спустилась к воде, умыла лицо, потом глянула на улов. Раки мелкие, как тараканы, набили ведра с мениском. Да и рыбы предостаточно. Трофимыч в свою сеточку не одного сома уловил. Жареха обеспечена. Трофимыч предложил еще разок пройтись с бредышком, но вода была мозжаще студенной, и Анна Ивановна испугалась, что застудится и не встретит гостей.

— Поберегись, — согласился Трофимыч. — Я послая пере-метом сам пошучую. Раков-то варить умеешь?

— А чего тут уметь? Бросил в подсоленный кипяток — всех и делов.

— Эх ты! А еще хозяйка. Рака сварить — цельная наука. Ладно, я сам сварю. Ты где костер планируешь?

— На Мыске. Где же еще?

— Ни о чем не заботься. Я вам костер разведу, всего наварю, нажарю.

И тут она вспомнила о поллитровке, которую сунула в карман по совету мужа.

— Трофимыч, у меня бутылочка есть.

Его морщинистое лицо разгладилось, так он залыбился.

— Давай тяпнем для угрева.

— Это тебе. Мне сейчас нельзя.

Он темно посмотрел на нее.

— Думаешь, я на бутылку не заработаю? Гостям своим поставь.

Она вспомнила, что, оказывая ей всякие житейские услуги, Трофимыч сам сроду ни о чем не просил. Со своей согнутой в локте рукой, в дранье и опорках, долговязый неухоженный бобыль был из дающих, а не берущих. На том и стоял. Надо было ей соваться с бутылкой. А ведь это

муж ее попутал, чтоб ему пусто было! Может, из ревности хотел поссорить ее с Трофимычем?

— Вот черт самолюбивый! — сказала Анна Ивановна. — Наливай. Авось до обеда выдохнется.

...К приезду знатных гостей все было готово. Трофимыч выполнил свое обещание не оставить Анну Ивановну в трудную минуту. Он сложил громадный костер, натаскал хворосту для подпитывания пламени, охладил пиво в бочажке, почистил рыбу, перебрал раков, чтобы отделить тех, кто протянул клешни, живых сварил со всеми специями, к вящему их удовольствию, — коли карась любит, чтобы его жарили в сметане, рак не меньше обожает, чтобы его варили с разными хитрыми травками.

Гости приехали, три супружеские пары, и показались Анне Ивановне важными, чопорными, как-то чересчур знающими себе цену. Но, может, так и следует вести себя педагогическим академикам, делающим большое государственное дело для народного образования? Пожалуй, ее больше удивило бы и озадачило, окажись они веселыми и общительными. Столичным людям подобает некоторая важность.

Гости пошли осматривать монастырь. Анна Ивановна навострилась домой привести себя в порядок. Конечно, из этого ничего не вышло: позвонили из обкома по поводу предстоящего семинара пропагандистов и продержали у телефона чуть не целый час. Когда она запирала дверь своего кабинета, ее настигли человек пять или шесть, каждый с радостным криком: наконец-то поймал! Пришлось вернуться. Дела были разные: личные и общественные, но для Анны Ивановны они объединялись в одно горестное ощущение прокола: домой она не успеет, о бане и парихмахерской надо забыть. А до чего же противно являться на обед чумичкой. После ночи, проведенной на берегу, она была в довольно злом виде. Ее задержка в кабинете имела еще одно следствие: позвонил третий секретарь обкома и сказал, что на обед придут два московских писателя с женами.

— Хоть бы предупредили! — возмутилась кроткая Анна Ивановна. — Нельзя же так! В последнюю минуту. Еще четверо. Я на них не готовила.

— Они горячего не будут, — заверил секретарь, — только посидят.

Повесив трубку, Анна Ивановна испытала чувство такой окончательной пустоты, что была рада, когда через минуту-другую подступило отчаяние. Хоть какое-то чувство заполнило вакуум, в котором не было ни боли, ни обиды, ни огорчения, ни надежды. А отчаяние выдавило из глаз слезки, а из груди тяжелый прерывистый вздох. Ну правда, с таким трудом собрала она приличный стол, рассчитала, чтобы всем хватало и рачков, и рыбы, и грибов, и пива, и вдруг — еще орава. Он говорит: четверо. А шофер? А случайно присоединившийся к ним знакомый? Еще один комплект. К тому же писатели. Известно, выпить не любят. Конечно, это не ее вина, ей себя грызть не за что. Но не хочется срамиться перед людьми, не хочется, чтобы они плохо думали о районе, что он такой бедный. И тут из душевного мрака выплыл некто без штанов с ястребиным профилем — Трофимыч! На него вся надежда. Он чего-нибудь придумает, раздобудет, может, и сомом своим не успел распорядиться.

Она кинулась к Трофимычу, тот оказался на высоте:

— Ничего не бойся, Анна Иванна. Рядом я с палкой.

—
2
—

...Я стоял на полоске земли, протянувшейся между двух вод и усаженной тощими деревьями. Возведенная в чин бульвара, она отделяла бездарную плоскую ширь нового Волго-Балта от старого узенького канала Мариинской системы. Новостроечный гигант затопил поемные луга, на которых паслись коровы, те самые, чье жирнейшее молоко превращалось в лучшее на свете вологодское масло. Нынешнее вологодское масло — обман, оно ничем не отлича-

ется от всякого другого. Волго-Балт недавно создан, а уже приходится его расчищать, углублять, по всей его отсвечивающей жидким оловом поверхности разбросаны землечерпалки. Судоходно в этой части лишь старое русло Шексны, размеченное бакенами, и караван барж вьется среди них анакондой. Остальная вода ничему не служит, кроме размножения комарья на заиленном побережье. Неподалеку от места, где я стою, канал вливается в Белое озеро и отдает суда во власть его капризного, буревоего характера. Нет второго такого бурного озера в стране, и сейчас его пытаются укротить волнорезами. Самое невероятное, хотя и предсказуемое: чем строить эту грандиозную, вредоносную и баснословно дорогую нелепость, лучше было бы углубить каналы старой Мариинской системы — совершенства, как запоздало выяснилось, инженерного искусства. Вот он, этот тихий канал с темной и прозрачной до дна водой.

А вот и производитель работ — его бронзовый, в патины старины бюст высится на постаменте. Осмеянный русскими писателями — властителями дум, особенно постарался иересиарх отечественной словесности Лесков, — угодливый, придурочный, суетливый, ничтожный, — таким он вышел из-под его пера, на деле же серьезный, ответственный, распорядительный и знающий — граф Клейнмихель. Признаться, и я однажды лягнул покойника. Зачем мне это понадобилось? Захотелось примазаться единомыслием к обожаемому Николаю Семеновичу. Но какое-то смутное беспокойство с тех пор меня не оставляло. А с чего оно пошло, не знаю. Нигде и слова доброго о Клейнмихеле не обронено. Либеральный дух настолько пронизал русскую литературу да и все общество со времен Новикова и Радищева, что никто не смел одобрительно высказаться о царском сановнике, даже сотворившем такое чудо, как Мариинская система, если он не оказывался в опале, как Сперанский. Ведь только опале, а не победам, обязан своей невероятной популярностью генерал Ермолов — он небрежно воевал в Отечественную («может, но не хочет», —

говорил о нем Кутузов), вяло, хотя и жестоко на Кавказе (Паскевич куда энергичней и быстрее решал те же задачи). Я вглядываюсь в бронзовое лицо и ничего не могу прочесть на нем. По слухам, Клейнмихель был так подобо-страстен, что его мутило в присутствии императора, что с нижестоящими бывал жесток и непреклонен, но ничего этого не проглянуть в смыто-благообразных чертах официального скульптурного портрета.

— Беседуешь с графом Клейнмихелем? — послышался голос.

Я оглянулся и увидел рыжий пламень волос и бороды, бледную растянутую кожу обожженного лица моего друга поэта Сережи Орлова.

— Какими судьбами?

— «В душе моей, душенька, сантименты нежные». Приехал взглянуть на родные места. Я ведь здешний. А ты?

— Приехал взглянуть на здешние места. Они ведь всем родные.

— И засмотрелся на Клейнмихеля.

— А что — он того стоит.

— Ты его понимаешь?..

Сережа вдруг чем-то озаботился. Это было мне знакомо. Сколько раз при встрече он проваливался куда-то, затем следовало неуверенное: «Возьми этот мундштучок». — «Я не курю». — «Кому-нибудь подаришь». Или: «Смотри, какой удобный карандаш — с ластиком. Хочешь — пиши, а хочешь — стирай». Или: «У меня для тебя отличный лейкопластырь... жевательная резинка... лента для пишущей машинки... очки от солнца...»

На нем были спортивные брюки на резинке, без карманов и майка — никакого хранилища для подарков. Правда, в руке он держал промасленный сверток в газетной бумаге.

Два быстрых движения — скомканная газета полетела в урну, а мне в зубы ткнулся ком теста.

— Ешь! Крестьянский пирог. Местный.

Я куснул, глотнул и подавился рыбьей костью.

— Осторожнее! Рыбу запекают целиком — нечищеную, с хвостом, жабрами и всем скелетом.

— Ты серьезно? Это же опасно для жизни.

— Чепуха! Люди так едят с языческих времен. Никто не помер.

— А откуда ты знаешь? До чего ленивый народ твои земляки.

— Ешь, ешь, поменьше разговаривай.

Я откусывал крошечные кусочки. Было довольно вкусно, хотя мелкие кости впивались в язык, десна, небо и неприятно приклеивалась чешуя.

— Ты надолго?

— До завтра.

— Мы тоже. Вы домой?

Я кивнул.

— Поедем вместе. Поклонимся Феодосию — и в Москву.

Я кивнул и вынул кость.

— У тебя места нет?

Я кивнул и показал на пальцах: два места свободны.

— Возьмешь меня с женой? Я отпущу обкомовскую машину.

— Охотно, — сказал я и подавился.

Вот так возникло столь смутившее Анну Ивановну сообщение о новых гостях.

По дороге Сережа Орлов сокрушался, что мы создадим лишние хлопоты секретарю райкома Анне Ивановне. Она принимает московских гостей: группу из Академии педагогических наук. «У нее, наверное, все рассчитано, — говорил Сережа, — а тут ввалится наша команда». — «Неужели это может смутить хозяйку района?» — удивился я. «Милый, какое у тебя представление о районном быте? Ты что — живешь в стране изобилия?» — «Я — нет. Но мне казалось, что хозяин района обладает большими возможностями». — «Какая чушь! Знаешь, кто такой секретарь райкома? — У него вдруг покраснели обводья глаз, а замененная на лице кожа стала мертвенно-бледной. — Это —

Ванька взводный!» — «Им тоже срок жизни шесть дней?» — «Не дурачься! Ты же меня понимаешь. Он подымает людей в атаку, и по нему главный огонь. Его шпыняют сверху, кроют снизу, он за все в ответе, и в конечном счете этот шестидневный Ванька-взводный делает победу».

Его слова произвели на меня впечатление, и я сразу расположился к незнакомой Анне Ивановне.

Перед выездом мы сделали ревизию нашим припасам. У Орловых имелась дюжина костлявых деревенских пирогов, у нас — две банки судака в маринаде и палочка копченой колбасы. Решили подкупить провизии в дороге. Мы проехали немало сельмагов, но, кроме какой-то синюшной большой водки и черного хлеба, ничем не разжились.

Еще имелись в продаже безмясные суповые консервы, но самый вид их отпугивал: ржавые разводы по донцу и крышке и неаппетитный опояс полуистлевшей этикетки, словно предупреждавшей: нас не трогай — мы не тронем.

Потом Сережу осенило набрать грибов. Мы приглядели лесок и замечательно там отоварились. Я, житель самых грибных некогда в Подмосковье мест, забыл, что бывает такое изобилие. У нас давно, кроме свинушек и валуев, ничего не осталось. Черный груздь — это ЧП районного масштаба. Все истребили стекающие с полей химикаты.

Когда мы добрались до места и наклонялись Феодосию, обед уже начался. Гости отдали дань закуске и ухе. Для пикника выбрали хорошее место в излучине реки, на опушке березняка, рослый кипрей окружал поросшую клевером полянку, искры высокого костра гасли в его листьях, сворачивая их в пепельную трубочку. Белые холсты, расстеленные на траве, были уставлены блюдами, тарелками и рюмками. Странное впечатление производили академические гости. Мне вспомнились строчки из «Столбцов» Заболоцкого: «Прямые, строгие мужья сидят, как выстрел из ружья». Именно так сидели мужчины в темных костюмах, белых рубашках, при галстукке. Дамы были не то что раскованнее, а, как бы сказать, разляпистее по рисунку: тучные и неуклюжие, они неловко чувство-

вали себя в сельских условиях, никак не могли выбрать удобной позы. Я не знаю, что стояло за холодной чопорностью мужчин: номенклатурная спесь или, скорее, неуверенность в себе. Они не знали, как себя держать с нами, и на всякий случай заперлись.

Удивительным контрастом этим истуканам была женщина с милостивым усталым лицом, теплыми карими глазами и разваливающейся прической, которую она безнадежно пыталась скрепить шпильками, гребенками, слишком густы и тяжелы были волосы цвета лесного ореха, — Анна Ивановна — взводный наших — войны страшней — мирных будней.

Мне понравился мажордом банкета — ястреболикий пожилой жердина в заношенном военном костюме, яловых сапогах и капитанской фуражке с лакированным козырьком. На груди у него пестрела орденская планка и золотилась ленточка за тяжелое ранение. Только увидев эту ленточку, я обнаружил, что у него испорчена левая рука. Но действовал он ею ловко. И еще я заметил, что академические гости слегка его робеют, даже с некоторой угодливостью отвечают на его обращение. Его звали Василий Трофимович, он управлялся с двумя кострами: декоративным небоскребом и небольшим трудягой, над которым булькал ведерный чайник. В его распоряжении находились противни с жареной рыбой, ведра с раками и, как потом выяснилось, пиво, остужавшееся в реке.

Сережа Орлов взорвал пикник, похожий на поминки. Конечно, восковые фигуры местного отделения музея мадам Тюссо не пустились в пляс, да это и невозможно, но он сделал праздник. Его внутренняя свобода, раскованность, чуждая развязности, создали другую атмосферу вокруг костра, люди почувствовали, что это не обычный день, что таких дней вообще не много выпадает в жизни, когда так весело и трескуче рвется к небу пламя, когда так ласково северное солнышко, так вкусна простая и свежая пища, и можно спокойно довериться тишине и друг другу и убрать когти. Первой от-

кликнулась ему улыбкой, заблестевшими, будто проснувшимися глазами Анна Ивановна, ей, поди, обидно было, что все немалые труды гибнут в томящей скуке, возвеселился сердцем и ветеран Трофимыч, и вся наша свежая команда, и даже стылая академическая глыба стала доступна теплым веям.

Я довольно часто видел Сережу за ресторанным столиком, реже за домашним столом, но не подозревал, что в нем скрывается тамада, заводила. В разговорах глаз на глаз он казался мне человеком скорее грустным. А сейчас он открылся с новой, неожиданной стороны.

Сережа озвучил застолье остроумными и добрыми тостами, сказал трогательные слова об Анне Ивановне, Трофимыче, святом месте, где мы собрались волей судьбы, о нас, паломниках, и о том, как сдруживает людей древнее тепло костра. А перед раками с пивом — кульминацией праздника — он предложил совершить омовение в чистых водах, оплескивающих подножие монастыря. У академиков эта идея вызвала такой же энтузиазм, как если б Сережа предложил им принять участие в брокенском шабаше или групповом сексе. Но внезапно монолит дал трещину: одна из академических дам поднялась, царственным движением распустила молнию от горла до подола платья-халата и предстала в ослепительном атласном купальнике, ярком и сияющем, как оперенье жар-птицы, туго облегающем непостижимую уму крепость белых мясов, как сказал бы весельчак Ноздрев.

Некоторое замешательство произошло с Анной Ивановной, у нее не было с собой купальника. Она уже собралась окунуться в рубашке за кустами, но тут наши жены подыскали ей что-то из своих туалетов.

Водяная феерия включала проплыв Сережи под водой с камышинкой для дыхания во рту, сбор кувшинок и кубышек на пахучие, быстроувядающие венки, наши с Трофимычем прыжки в воду с бугра, могучий кроль Жар-птицы от берега до берега. Анна Ивановна купалась как-то иначе: истово, серьезно, стараясь взять от реки все что можно. Она долго лежала на спине, раскинув руки и блаженно

зажмурив глаза, затем перевернулась на живот; совершила дальний заплыв неспешным, размеренным брассом и так же серьезно обсыхала на берегу...

Мы пили пиво и хрустели крошечными, но очень вкусными раками. Сережа читал стихи, среди них мое любимое:

Меня зарыли в шар земной...

Я предложил присутствующим на спор угадать автора стихотворения, ставка — бутылка пива.

В жару растенья никнут,
Ползут в густую тень.
Одна лишь чушка-тыква
На солнце круглый день.
Лежит рядочком с брюквой.
И кажется — вот-вот
Она от счастья хрюкнет
И хвостиком махнет.

— Маршак! — вскричала сильно расхрабрившаяся Жарптица.

— Маяковский! — безапелляционно заявил Трофимыч, ему очень хотелось выиграть бутылку пива.

— А поэт известный? — спросил один из академиков.

— В высшей степени.

— Откуда ты знаешь эту пошлость? — Как странно краснеет Сережа — как бы рамкой вокруг молодой бледной кожи.

— В том же номере «Звена» напечатан мой рассказ. Мы вместе дебютировали.

— Господи! Совсем из головы вон! Я не такой злопамятный, как ты. У тебя был рассказ о косой тетке...

— Получай бутылку. Ты выиграл.

— Надо не бутылку, а бутылкой. Попадись мне сейчас такие вирши, я бы сказал: сроду поэтом не будет.

— Вот стали же, — почти улыбнулся один из академиков.

— Да еще каким! — подхватил другой. — Лауреатом!

— Секретарем Союза писателей, — веско утвердил Сережино достоинство последний из рассекреченных молчунов.

Трофимыч плеснул в граненый стакан водки и цокнул им о бутылку Сережи.

— Твое здоровье, танкист! — сказал он душевно.

Ближе к вечеру за академиками пришел автобус, и они стали прощаться.

— Спасибо за праздник, — сказал главный из них Анне Ивановне.

Они забрались в автобус и сразу будто обрезали все связи: ни один не выглянул в окошко, не помахал на прощание. Сели на свои места, выпрямились, одеревенели, взгляд устремлен прямо перед собой, как у свиньи, ни вправо не взглянуть, ни влево, только в сияющие дали.

Я допускаю, что все они неплохие люди; при том жестком режиме, в котором они существуют — добровольно или по принуждению — не имеет значения, — в них всех мелькнуло что-то человеческое: оказалась лихой пловчихой одна, проговорились доброй интонацией другие, и все отозвались на явление Орлова. Будь время, они бы еще сильнее оттаяли, и стало бы возможным поверить, что и у них было детство, что им ведомы слезы и любовь, но времени не оказалось.

А все дело в том, что они занялись не своим делом да и вообще ничьим: нельзя быть педагогическим академиком, нужно быть гением, как Песталоцци или Ушинский, чтобы хоть что-то понимать в тончайшей и сложнейшей области — не науки, а чего-то высшего, что называют педагогией. Будь один из них честным ремесленником, другой пахарем, третий шофером или расторопным молодцом при лавке, они все бы заняли свои законные места, а в награду — раскованность, общительность, прямой ясный взгляд; и тяжелые их жены обернулись бы русскими венерами, чаевницами, милыми хохотушками. Но они ткут из паутины, добывают солнечный свет из огурцов и общественный продукт из экскрементов, проще говоря, паразитируют на народном теле. И, сознавая это с тайным содроганьем в последней глубине души, они не могут быть самими собой, все время собранны, напряжены, готовы к отпору, как и

все занимающиеся незаконной деятельностью. В известной мере они тоже жертвы времени.

И вот что удивительно: столь не похожий на них человек, как Анна Ивановна, стоящий на земле и занимающийся самыми жизненными делами на свете: хлебом, производством, дорогами, транспортом, школами и больницами, — тоже эфемер и жертва времени. Она растрчивает свою душу и плоть, женский и материнский запас на то, чтобы жизнь творилась не естественным путем, когда каждый заинтересован в своем деле, обеспечивающем достойную жизнь ему и семье, а наперекор желанию и сути человека, наперекор дневному разуму. Все, что она вынуждена пробивать, проталкивать, внедрять, навязывать, тратя столько сил и срывая душу, может вершиться само собой, как смена времен года, как дыхание. Только бы отвалилась от народной груди черная душная напасть, частицей которой, ничуть о том не подозревая, была бедная, милая и чистая Анна Ивановна. Она была уверена — не без оснований, — что без нее не обойтись: не будет даже серого сырого хлеба, комом ложащегося на желудок, не будет и безмясных суповых консервов, и конфет-подушечек на полках сельмагов, не будет всего судорожного движения жизни, в котором осуществляется человек. И каждый день без оглядки Анна Ивановна шла в свой последний решительный бой, ничего не выгадывая для себя, кроме тычков и затрецин, выговоров и проработок, теряя все: годы, дом, мужа, дочь, сына, — шел на кинжальный огонь противника бессмертный смертник Ванька-взводный.

А как же в иных странах, у иных народов — там все по-другому? Об этом Анна Ивановна не задумывалась, знала одно: если по-другому, значит, хуже.

Мы долго сидели на берегу. Ушло солнце за березняк, побелела вода, задымилились прозрачные тучки безвредных, не едучих комаров. Мы допивали пиво, доламывали рачьи панцири. Анна Ивановна и Сережа что-то напевали вполголоса. Мог ли я думать, что в последний раз вижу Сережу? Пройдет немного времени, и его не станет — в одночасье.

Какой-то «эмковец» из управляющих литературой нахамит ему публично, и разорвется горевшее в танке, но тогда спасшееся сердце гордого человека. Человеческое сердце невероятно выносливо и хрупко, как стекло.

А затем Сережа замолчал, и Анна Ивановна, не заметив, что ее бросили, продолжала петь маленьким старательным голоском:

Темнеет ночь, ужасный ветер воет,
Где медлишь ты, отрада бытия?
Кто стукнул в дверь — зачем так сердце ноет?
Когда б она, бесценная моя!..

— Анна Ивановна, что это? — заинтересованно спросил Сережа, когда она добрусила странную песню.

Она вздрогнула и вернулась из своей дали.

— Сама не знаю. Мама пела. Чушь какая-то.

— Вовсе не чушь. Что-то старое. По лексике — начало века. Влюбленный телеграфист, вечер, палисандр дачной гитары. Хорошо!..

Вот и совсем кончился этот долгий, без всяких событий и происшествий, без значительных слов и чувств, летний северный день, который — я уже знал тогда — навсегда останется в памяти.

— Прощайте, Анна Ивановна, — говорил Сережа, целуя доверчивое лицо женщины. — Прощай, дорогой Ванька-взводный!..

Я потом долго думал, почему Сережа воспользовался при расставании непривычным и не принятым в бытовой речи романским словом «прощай» вместо обычного «до свидания»? Неужели его вещая душа подсказала ему это слово?..

3

Прошло сколько-то лет, а для Сережи прошла жизнь, и я сделал нежданно-негаданно ослепительную, хотя, как вскоре выяснилось, мотыльково краткую карьеру. Меня, не спрашивая согласия, назначили секретарем Московского отде-

ления СП. Краткость же карьеры следует отнести за мой счет, я быстро разобрался, что к чему, и вернул себе утраченное достоинство.

Что произошло за минувшие годы? Из отдаления трудно сказать. Брøde бы ничего не произошло. Шла вялая и ужасная афганская война, где мы теряли не столько убитыми, ранеными и пленными, сколько морально разложившимися. И без того не великий нравственный запас наших воинов стремительно расходовался в пьянстве, наркомании, кровавой алчности к трофейной технике и поощряемой жестокости; с исказившегося лица армии смывало честь, заслуженную ею в Отечественной войне. Все хуже становилось с продуктами и все лучше с бормотухой и водкой, производимой из отходов отходов. Для самых честных и смелых было три пути: в лагерь, в психушку, за кордон. Для честных, но робких один путь: в молчание. Для низких, бездарных и бесчестных путей было без счета, и все они вели к золотому дождю наград. Мы уже не стеснялись, что жирный косноязычный бездельник — глава партии, государства и армии — стал литературным корифеем, потеснив Достоевского и Толстого, что он оставляет за собой мокрое пятно, не узнает государственных деятелей, с которыми лезет целоваться, что дух народа вверен Кощею с белой пустотой за стеклами очков, что под видом диссидентов домолачивается интеллигенция — последнее, на чем оставался свет божий, что лгать научились младенцы и покойники, что на безумном байкало-амурском строительстве доламывается молодая душа, не иссушенная афганцем, и спокойно ждали, когда поворот великих сибирских рек окончательно кончит страну.

Но жизнь шла, пили и гуляли, как в последний день, иные с крысиной суетливостью обдeldывали свои делишки, хватывая кусок барского пирога, другие, как вороватые лакеи, уносили с пиршественного стола мировой культуры какое-нибудь запретное лакомство: книгу Набокова, стихотворение Бродского, песню Галича — и тайно наслаждались, а многие были вполне довольны по причине здорово-

го кишечника, мощных половых желез и мускулов, просто от неведения, что существуют потребности, — безмятежное счастье мокриц, медуз, полипов. И пока таких большинство, диктатура может быть спокойна.

В разгаре этой фантазмагорической, но скучной полуяви-полусна меня направили в один из областных центров подстепной России провести семинар начинающих авторов, а затем — перевыборы правления местного Союза писателей.

Я довольно легко справился со своими обязанностями, ибо имел большой опыт работы с молодыми авторами, второе же поручение требовало лишь одного: спокойно подремывать в президиуме и не мешать. Но, поскольку в президиуме я сидел в первый раз (и в последний, как вскоре оказалось), мне все было в диковинку, и я поминутно лез не в свое дело. Меня мягко осаживали, я и сам твердил себе: поменьше рвения, но ничего не мог поделать со своей нездоровой заинтересованностью и порядком затянул рутинное мероприятие. Впрочем, народ тут был покладистый и снисходительно списал мне никому не нужную активность.

Больше пользы от меня было, наверное, на семинаре, где оказались обещающие ребята. Один парень уже напечатал несколько рассказов и шел как бы вне конкурса. Он носил смешную фамилию Петрушка, был отчетливо даровит и несколько разочарован слишком медленным продвижением к Олимпу. Надо было его взбодрить, обнадежить. Я и впрямь верил, что он пойдет в ход.

Мне ребята понравились — сперва внешне: опрятные, свежие, собранные, что парни, что девушки. Впрочем, парнями и девушками они выглядели из окошка моей старости, в основном тут были люди определившиеся и профессионально, и семейно. Все работали, и лишь один студент затесался в солидную компанию. И никакого гениальничания: ни лохматых шевелюр, ни клочкастых бород, ни запорожских усов, ни расстегнутых до пупа рубашек и грязных, выношенных до основы джинсов. Почему-то я так и не научился любить об-

раз нынешней юности. У иностранных ребят за этой простотой и небрежностью — здоровое презрение к буржуазному быту, миру отцов, благонравному, умытому и приглаженному мещанству. Хотя и у них среди зажиточной молодежи есть немало фальшаков — ломающихся под битников, тогда это тоже противно, как и все неестественное, служащее моде, а не собственной душе. Ну, а нашим чего выкаблучиваться? У нас нет быта, а мещанство наше не голубое и розовое, а черное, смрадное и косматое. Лучше отрицать его спортивной элегантноcтью, местные молодые люди так и делали. Хорошо одетые, воспитанные, они все имели четкое лицо: инженер, учительница, заводской мастер, рабочий-станочник, два врача, а еще — студент и жена. Это была красивая молодая женщина, недавно вышедшая замуж за очень крупного человека — не то директора комбината, не то командующего военным округом, не то члена-корреспондента Академии наук. Нежно ошеломленная чудом столь блистательной реализации своей юной прелести и внезапной сановной зрелости, она все время пребывала в нетях, в душевном и умственном парении, уводившем ее прочь из бедной обыденности семинара к каким-то иным видениям, посылавшим таинственную улыбку на ее отрешенное лицо. Впрочем, когда дело дошло до обсуждения ее рассказов, неожиданно резких, жестких и точных, обнажавших немалый и горький душевный опыт, она очнулась и слушала внимательно, отсеивая словесную шелуху и беря для себя нужное.

У меня было предвзятое отношение к периферийной прозе, после того как я со сходным поручением (но еще не секретарь!) съездил в Горький раскисшей, сопливой порой ранней хрущевской оттепели. Медленно расходятся круги по воде, мы, столичные, уже кусали от сладкого пирога свободы, а горьковчане дожевывали мякинный хлеб культа личности. Почти все рассказы начинающих волжских мопассанов были посвящены одной животрепещущей теме: освоению мужчинами-колхозниками женской профессии доярки. Душа разрывалась, сколько непонимания, насме-

шек, издевок приходилось на долю смельчаков-новаторов, видевших свое высшее предназначение в том, чтобы дергать коровьи дойки. Было страшновато слушать этот воробьиный щебет грузных волгарей, в чьих предках значатся такие крутые, могучие люди, как Шалапин и Горький. «Что, у вас другой проблемы нету? — спросил я. — Ведь новое солнце на дворе». Они обиделись и послали донос в Союз писателей. В другое время мне не поздоровилось бы, но тиран ушел, и я отделался пустяками — не пустили в какую-то заграничную поездку.

Здесь на семинаре в самый разгар застоя, о чем мы, правда, не догадывались, думая, что нас баюкают волны зрелого социализма, было и разнообразие тем, и запах жизни, порой даже некоторая художественная бесовщина, навеянная Булгаковым, но не заимствованная у него. Театральный художник Петрушка удивил меня естественностью своего сюрреализма.

В последний день семинара ко мне подошел переизбранный на очередной срок председатель местного СП и сказал проникновенно и чуть таинственно:

— Мы хотим вас еще поэксплуатировать. Не почитаете ли два очерка нашего молодого автора?

— А почему он не участвует в семинаре?

Мой собеседник терпеливо улыбнулся.

— Он не так молод, как остальные участники. А главное — очень загружен. Он первый секретарь одного из наших сельских райкомов партии.

Что-то во мне закисло, и мой сообразительный собеседник почувствовал это.

— Он очень скромный человек, поэтому не решился сам подойти к вам. Если не понравится, вы так и скажите. Ваш суд для него последний.

— А это очень плохо?

— Он не претендует на особую художественность. Но подкупает знание жизни, серьезность подходов, выстраданный жизненный опыт.

Ванька-взводный! — вспыхнуло во мне. И, не зная этого человека, я уже расположился в его пользу, почти полюбил, потому что он глянул на меня милыми усталыми глазами Анны Ивановны. Дорогой человек, день-деньской носится по полям между отстающими колхозами и разваливающимися совхозами, проворовывающимися артелями и не выполняющими план заводами, с совещания районных пропагандистов мчится в обком на разнос, слезно вымаливает шины и запчасти, лекарства и школьные тетради, изойдя черным потом усталости, ловит ночью раков для гостей из района, а под утро, трудя красные воспаленные глаза, заполняет листы бумаги неохотно слепляющимися словами, чтобы отдать людям остатки не израсходованных в дневной круговерти мыслей и чувств. Это было трогательно и высоко. А главное, передо мной витал лик незабвенной Анны Ивановны, как перед очарованным странником Флягиным — образ Грушеньки, когда он под пулями переплывал ледяную воду.

Короче говоря, я взял эти очерки, хотя, видит бог, как мне не хотелось в последний вечер, уже перенасытившись молодой прозой, читать тусклые секретарские откровения.

За окнами, распахнутыми в молодое лето, широко открывался с холма, на котором стояла гостиница, удивительно живописный город, весь в цветущих сиренях, славших сюда свой густой сладкий аромат, со старыми действующими храмами, с огромным парком и опрятными домами, с чистым, прозрачным воздухом — все предприятия располагались по кругу на окраинах и отдавали разноцветные дымы в небо. Слюдяно сверкала излука хорошей упругой реки, по ней скользили байдарки, и хотелось туда, к воде, к сиреням, старым храмам.

Этому городу сказочно повезло. Он лежит посреди разоренной, разбомбленной России, совсем нетронутый, не пострадавший ни одним строением. Немцы до него не дошли, но долетали куда дальше. Они уничтожали города с несравнимо меньшим промышленным потенциалом и без

всякой военной индустрии, а здесь находился мощный оборонный комплекс. Город обязан этим провидческому гению Сталина. В тридцатые годы, когда Гитлер пришел к власти, вождь народов поверил в него как в человека, который изведет под корень социал-демократию, для начала хотя бы в Германии. Ненавидя все демократическое движение, Сталин особенно ненавидел его немецкое крыло, славное многими историческими именами. Первоклассная летная школа города широко распахнула двери для немецкого люфтваффе. Здесь, в русском ситцевом небе, оттачивали свое мастерство такие асы, как будущий глава военно-воздушных сил Мильх, как генерал-полковник Мельдерс — гроза испанских республиканцев, и сам рейхсмаршал, герой первой мировой войны Герман Геринг взял несколько уроков высшего пилотажа и прицельного бомбометания. Можно сказать, весь цвет военно-воздушных сил вермахта, уничтожавших Европейскую Россию в ходе второй мировой войны, прошел здесь выучку. И когда началась война и распоролось русское небо клиньями «юнкерсов», Геринг запретил бомбить свою альма-матер: ни один фугас, ни одна зажигалка не упали на город, когда кругом все пылало, ни разу вой и свист пикирующих бомбардировщиков не заледенили душу городских жителей. После войны уцелевший и развивший свою промышленность город быстро пошел в гору.

И вот теперь между мной и этим чудесным, спасенным совместными усилиями Сталина и Геринга городом, выласканным трудами своих симпатичных жителей, храмовым и благоуханным, втиснулась секретарская проза. Но что поделать: взялся за гуж...

В каком-то смысле это оказалось еще хуже, чем я ожидал. До того сухо, серо, невыразительно, без единой искорки не только таланта, но живого чувства, темперамента, пристрастной заинтересованности в чем-либо, радости и гнева. Ровное, добросовестное изложение районных мероприятий по выполнению последних решений не помню

уж какого пленума. Индивидуальности автора не было в помине, как и характеров персонажей, только фамилии, имена и отчества, зато время от времени возникал пейзаж с самыми расхожими полевыми, лесными и приречными атрибутами, поданными так, словно он взял перед партией обязательство не проговориться ни одним живым словом. Но вместе с тем это было лучше, чем я ждал, настроенный на встречу с чем-то жалостно-неумелым, неловким, но с проговорами в какую-то художественность. Это особенно опасно, поскольку есть за что похвалить, а в целом приходится браковать. Такое мало радует даже молодых, наивных, но всерьез тянущихся к литературе авторов, и вовсе неприемлемо для солидного, знающего себе цену человека. Тут или мучайся над бессильными авторскими поправками, или садись и сам все переписывай. А это было довольно гладко и вполне грамотно. У меня возникло подозрение, что Глава местных литератором прошелся рукой мастера. В принципе, если есть связи, а в их наличии сомневаться не приходилось, такую писанину можно опубликовать в межрегиональном журнале в разделе «Хроника районной жизни» или «Нам пишут.» Непонятно только, зачем ему это надо. Впрочем, литературный зуд и тщеславие, желание напечататься — явления столь широко распространенные, что едва ли стоит над этим ломать голову.

— Ну, как? — спросил Глава местной литературы на другое утро, когда мы встретились в вестибюле гостиницы.

Накануне вечером, только я перевернул последнюю страницу рукописи, ко мне в номер постучали. Это были Петрушка, Инженер, Заводской мастер, один из Врачей — наиболее обещающие на моем семинаре, если не считать Жены, которой не было с ними, что меня огорчило. Они пришли попрощаться, поблагодарить и плеснуть на сердце. Карман Петрушки стыдливо оттопыривался бутылкой шампанского.

— А где Жена? — спросил я. — Она тоже из нашего золотого фонда.

— При исполнении супружеских обязанностей, — улыбнулся Инженер, автор довольно язвительных рассказов в духе раннего Пантелеймона Романова, о котором он даже не слышал.

— Литература требует всего человека, — заметил я сентенциозно. — Ей надо решить, кто она: жена или писатель.

— Она, видимо, надеется совмещать эти ипостаси, — улыбнулся Врач, тяготевающий к смелой манере Генри Миллера.

— Ее муж вечером никуда не отпускает, — добавил Заводской мастер, писавший смешные миниатюры о животных.

Я понял, что Жены мне не видать, и налег на шампанское. За этой бутылкой последовала еще дюжина. Мы пили его, как пиво в жаркий день. Но разговор получился грустный и серьезный. Расставаясь, мы знали, что едва ли еще увидимся, и долго жали друг другу руки...

Утром я чувствовал себя неважно — опьянение от шампанского дурное, — с головокружением и отрыжкой, — не понимаю, что находили в нем гусары? — и на вопрос коллеги ответил честно:

— Муторно.

— Неужели настолько плохо? — спросил он упавшим голосом.

— Да нет, — тронутый сочувствием, я решил его успокоить. — Блева не было. Выпью кофе и оклемаюсь. До Москвы отойдет. Не впервой.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Я не о том... Как рукопись?..

Господи, с чего я взял, что он знает о нашем мальчишнике? И почему решил, что он так озабочен моим здоровьем? Видимо, у меня с головой действительно не в порядке.

— Знаете, вполне терпимо. Грамотно и членораздельно. — У него было такое напряженное лицо, что я не удержался в тесных рамках объективной правды. — Я ожидал куда худшего. А это можно печатать. — Ложь была не столько в словах, сколько в интонации, слишком горячей.

— Одну минутку! — И он кинулся к телефону.

Дозвонился сразу, и там, куда он звонил, сразу же сняли трубку. Он говорил, прикрыв рот рукой, потом долго кивал кудрявой головой, выслушивая ответ. Под конец так кивнул, что кудри упали ему на лицо. Положив трубку, он вернулся ко мне.

— У меня к вам просьба — скажите ему это сами.

— Что?

— То, что вы говорили. Только чуть-чуть теплей. Вы не представляете, какой это хороший, скромный человек. Очерки хотят напечатать, но он сказал: только если классик даст «добро».

Мне стало не по себе: история с секретарской прозой как-то разрасталась, словно заглатывая меня.

— Соедините. Я скажу.

— Нет, нет. Вы поедете мимо и скажете это ему лично.

— Что значит мимо?

— Он сегодня принимает новый домовый комплекс в Чувырино. Это вам по пути. Вы посмотрите замечательные терема для доярок и скотниц. Плеснете на сердце и скажете буквально два добрых слова. Кстати, сиреневый заповедник находится в его районе. Хотите посмотреть?

Это уже куда лучше! Новостройки — Бог с ними, а вот о сиреневом заповеднике я давно мечтал. Да и плеснуть на сердце не помешает, надо поправиться. И вспомнился день на реке, костер, раки, похожие на тараканов, кислое пиво, хрустящая жареная рыбка, чай с дымком, Ванька-взводный, Сережа, Трофимыч, небогатое, но такое милое, доброе застолье, негромкий русский разговор, неужели это может повториться?

— Принято! — сказал я.

Он кинулся к телефону...

На встречу с молодым автором меня сопровождали на черной «Волге» кудрявый секретарь СП, его приближенные, среди них юная поэтесса в обтяжных узорчатых штанах, заправленных в высокие коричневые кавалерийские

сапоги. Такие сапоги носил после революции поэт Оцуп и выдавал себя за секретаря Троцкого. Сапогам верили, что обеспечивало находчивого поэта контрамарками в кино.

Не помню, сколько мы ехали, я задремал, а проснулся от резкого толчка, едва не вlepившего меня рожей в лобовое стекло. Впереди было заграждение, как при строительных работах, а вокруг много народа; в праздничной толпе выделялись две женщины в национальных русских платьях, которые носят только оперные пейзажи и никогда не носят живые русские бабы. Ослепительно сияла медь духового оркестра.

— Мы влипли, — сказал я шоферу. — Кого-то встречают. Похоже — Брежнева.

Я вылез из машины. Волнение содрогнуло нарядную толпу. От нее отделились три рослых человека в темных вечерних костюмах при галстуках и двинулись к нашей машине. Семенящей походкой их обогнали пейзажики, одна несла на деревянном блюде каравай домашнего хлеба и солонку, другая на подносе — золотой столбик коньяка и чарки. На локте у нее висело полотенце с петухами. Тяжело из глубины чрева вздохнул геликон, и оркестр заиграл: «Славься!»

Дорогие мои соотечественники, братья и сестры, это встречали меня!..

Хлеб-соль оказались передо мной одновременно с высоким представительным человеком, источавшим какой-то сухой жар. Засмугленный солнцем лоб, серые затененные ресницами, словно прячущиеся глаза, странно горькая складка прекрасно очерченного рта. Тайное страдание искажало черты красивого, победительной стати мужчины. Оно искупало обидную для окружающих щедрость природы, излившей на него все свои дары, быть может, то боль мира пронизывала его душу, он был в ответе за всех малых и сирых нашей земли.

— Здравствуйте, дорогой человек, — сказал он, заключив мою руку в две теплые сухие ладони. — Я ваш подо-печный.

— Второй! — произнес, подходя, его правый спутник.

— Третий! — доложил спутник слева.

Я думал, что они рассчитываются, как в строю, нет, просто то были второй и третий секретари райкома. Прежде чем я это сообразил, мне в нос шибануло плотным запахом свежесвежипеченного хлеба. Я взял густо посоленный кусок, в другой руке оказалась чарка с коньяком. Я хватил ее, содрогнулся всем своим похмельным существом и вслед за тем почувствовал, как собирается нацельно мой размытый вчерашним шампанским состав. Громкое «ура» сотрясало хилый среднерусский воздух. Кто-то утер мне рот полотенцем. Я стал жевать вкусный теплый хлеб, свободной рукой приветствуя ликующую толпу.

Следующую чарку мы выпили «со свиданьем», и тут вчерашнее шампанское пришло во взаимодействие с сегодняшним коньяком, и во мне проснулся Хлестаков Бессмертный Иван Александрович дремлет почти в каждом русском человеке, это фигура куда более национальная, чем купцы Островского, толстовский Платон Каратаев, мужики и разночинцы Тургенева, Обломов Гончарова, не говоря уже о вовсе придуманных праведниках Лескова. Это все типы, обобщения, а Хлестаков живая и весьма существенная частица каждого из нас. Я почувствовал легкость мыслей необыкновенную, и пискнувший в душе птенец смущенной совести сдох. Спокойным ухом ловил я замирающие раскаты хора и духовых, спокойным взором принимал кривые улыбки поселян, похоже, не знавших, кого они так тепло встречают (представляю, что бы творилось, если б они знали!), спокойным шагом направился в сторону расписной потемкинской деревни.

Надо сказать, что всего неделю назад я наблюдал точно такие же двусмысленные коттеджи под Дмитровом — целый еще не заселенный поселок. То было шоу, организованное для писателей тогдашним подмосковным боссом Конотопом. За этим причудливым строительством угадывалось какое-то верховное сумасшествие. Надо думать, Бреж-

нев с подачи своих сельских консультантов (Суслов не лез в деревенскую безнадегу) решил, что единственный способ удержать доярок в колхозе — это создать им выдающиеся жилищные условия. Это заблуждение: в текучем колхозном населении лишь доярки ни при каких обстоятельствах не бегут с тонущего корабля. Очевидно, привязанность к скотине делает русскую женщину вечной пленницей гиблого места. Но царское слово упало с уст, и все как оглашенные принялись строить дома для тружениц молочных ферм по типовому проекту, сочетавшему изящную неброскость избушки бабы-яги с ярмарочным балаганом. При каждой избушке предусмотрен гараж, предполагалось, что у всех доярок есть машины. Но как-то не подумали, что у доярки может быть своя корова, свинья, пара овец, на худой конец птица — ни хлева, ни сарая при доме не имелось. И когда я спросил об этом Конотопа, он ответил с раздражением, но умно: «У вас, видать, ветерок в голове. И Москва не в один день строилась».

Тут меня подозвал Борис Можаяв:

— Глядите, в этих домиках нельзя жить.

И показал на щели, рассекавшие строение сверху донизу по всему составу. В каждую щель свободно входила ладонь. Не надо норд-оста, сирокко и афганца, чтобы сделать нарядные избушки непригодными для жилья, достаточно нашей обычной русской метелицы.

— Стало быть, — мудро добавил Можаяв, — никто и не рассчитывал, что тут будут жить.

Узбекский синдром. Хлопковые эшелоны Рашидова в нечерноземном исполнении. И сейчас, войдя в терем, я стал уверенно всовывать ладонь в щели, ничуть не уступавшие своим подмосковным сестрам. Пока я предавался этим полезным упражнениям, сопровождающие меня лица деликатно отвернулись.

Главный писатель спросил, действительно ли мне так понравились очерки секретаря райкома — при нём. Я пробормотал что-то смутно утвердительное.

— И это можно печатать? — допытывался он.

— Если журнал хочет, почему бы не напечатать? — ответил я, цепляясь за остатки чувства собственного достоинства.

Самое странное, что секретарь стоял тут же рядом, и страдальческое выражение на его красивом лице могло поспорить с ужасной гримасой Марсия, с которого Аполлон живьем сдирает кожу в наказание, что тот вздумал состязаться с ним в игре на свирели и проиграл. Почему мы разговаривали через переводчика, я и сейчас не пойму. Видимо, причиной тому крайняя скромность и деликатность молодого автора, который даже спросить о своем труде не решился. Мне же это не прямое общение позволяло облекать свои ответы в уклончивую форму, как бы не беря на себя полной ответственности за происходящее. Я был наивен и глуп, да разве мне было тягаться с представителями власти? Представляю их презрение к этому жалкому барахтанью, ведь они твердо знали, что будет так, как им нужно.

И вдруг я увидел, что вокруг все опустело: исчезли второй и третий секретари, скрылись прелестные пейзажи с хлебом-солью, рассеялась толпа, и оркестр унес свою сияющую гулкую медь. То, что от меня требовалось, было сказано, и — кончен бал, погасли свечи. Хорошо, что оборвалось на полуслове это бредовое чествование, хватит хлестаковщины, пора вернуться к себе настоящему и грустному.

Опять же через Главного писателя я услышал, что секретарь идет проводить митинг и вручать дояркам условные ключи от их будущих жилищ. «Почему 'условные'?» — поинтересовался я в своей обычной манере лезть куда не надо. «Дома еще недостроены, замки не врезаны, какие же могут быть ключи? — прозвучал вразумительный ответ. — Это, так сказать, ключи в моральном смысле».

Мною же распорядились так: меня отвозят в сиреневый заповедник, куда позже подскочит мой протезе, мы посидим на травке, перекусим и плеснем на сердце.

И опять обрывком старой мелодии поманило в милое невозвратное прошлое, где тоже была трава и «утоли моя печали»...

Когда кончится дурман политических страстей и вновь запоют птицы, вернутся краски в мир, зазвучит Шопен, и нежное, доверчивое девичье лицо выплывет из мглы, кишачей размалеванными масками интердевочек и живых манекенов, я напишу о сиреневом заповеднике.

Это было и осталось самым чистым и благоуханным впечатлением моей жизни. Полтора часа среди белых, фиолетовых, голубо-лиловых и жемчужно-голубых кистей. Венгерская, персидская, махровая сирени источали материально плотный аромат. Воздух порой становился спертым, а я все не мог насыщаться. Я будто плавал в сиреневом море. Мои спутники, поняв, что мне хочется остаться одному, потерялись в сиреневых аллеях. Это было почти безнравственно, такое погружение в субстанцию аромата, оставляющее за бортом весь остальной мир с его печальями, вытесняющее бога из души. Я все сильнее чувствовал греховность своего наслаждения и почти обрадовался, когда из кустов вдруг высунулся кудрявым фавном Главный писатель.

— Вас ждут, — сказал он вкрадчивым сиреневым голосом.

Мы выходили из заповедника, теряя все истончающийся дурманный аромат, а навстречу нам поплыл совсем иной — грубый, плотский, но по-своему тоже привлекательный запах, будящий древнюю память о насыщении у костра.

Впереди открылась березовая роща; созревшее дневное солнце разбросало палевые пятна по белым стволам, а в кронах зажгло ослепительные дневные звезды. По грозно-изумрудной траве пробегали вороненые отблески. Слева протянулись тяжи голубого дыма, они быстро расплывались, заполняя рощу сухим туманом. Внезапно этот среднерусский пейзаж мощно дохнул восточным рестораном.

Мы сделали еще несколько шагов и увидели: на опушке на огромном вертеле вращалась над костром освежеванная

баранья туша, а вокруг набитые раскаленными углями мангалы отдавали свой жар нанизанному на шампуры мясу вперемежку с помидорами и головками лука. Смуглые усатые восточные люди в белых колпаках и передниках колдовали над жарящимися шашлыками, опаживая их веерами.

Справа, под сквозной сенью березовых кущ, была разостлана скатерть, уставленная вазами с зернистой икрой, блюдами с лососиной, семгой, балыком; плавали в горячем соусе миноги, исходил жирной слезой угорь; трепетало коричневое желе вокруг холодной телятины, молочный поросенок закусил веточку петрушки мертвой иронически вздернутой губой, меж чаш с сациви и лобио высились горы помидоров, огурцов, гранатов, не забыты были заливное из осетрины, копченый язык и сухие чесночные колбаски; лаваш, хачапури и чурек соседствовали с калачами, домашней выпечки пшеничными булочками и бородинским хлебом.

Сервировка оставляла желать лучшего: приборы — не Фаберже, посуда — не Кузнецов, а советское столовое серебро и обычная гжель, но загородной простотой это допускается. И чтобы сразу успокоить читателей, скажу: березовый пикник на берегу сиреневого моря превзошел не только скромное северное застолье дней Анны Ивановны, но и последний пир Валтасара, когда на стене возникли роковые слова: мене, текел, фарес.

Не буду ломаться: я обалдел до полного протрезвления, до какой-то внутренней судороги. Колоссальным усилием воли я взял себя в руки, изгнал из организма скрючивающий сцеп и даже сделал вид — надо полагать, крайне неумело, — будто ничего другого не ожидал, меня всегда и всюду так принимают. Лишь потом я сообразил, что они не поняли бы моего потрясения, для них это было нормой, они и сами так отдыхают и принимают гостей, в которых есть хоть малейшая нужда.

Секретарь райкома был уже на месте. В свежей белой рубашке и туго повязанном галстуке, элегантный, подтяну-

тый, набравший на лоб и скулы нового загара, он просился на обложку мужского журнала, лишь прибавилось горечи в изгибе губ, ведь он понимал, что не так надо принимать высокого гостя, но что поделать — провинция, деревня. В какой-то мере он был прав — икру следует подавать прямо из осетра.

Бывало и снисходительно усмехаясь, я сказал, что восхищен и пейзажем и, хе-хе, натюрмортом, но он оставался безутешен.

Рядом со мной вдруг очутилось, словно родившись из воздуха, дивное существо в узорчатых шальварах, золотых туфельках и тюрбане. Шахрезада? Мне кажется, я не очень удивился бы, окажись она и в самом деле подругой ночных бдений страдающего бессонницей султана. То была наша верная спутница — юная поэтесса. Она избавилась от своих тяжелых кавалерийских сапог, дала простор узорчатой ткани шальвар свободно струиться на острые мыски золотых туфелек, повязала голову чалмушкой из крашенной в небесно-голубой цвет марли и обрела сказочный экзотический вид. Пленительный, чуть условный Восток Шемаханской царицы.

Она взяла меня за руки и отвела к почетному месту, где высилась гора подушек в полосатых шелковых наволочках. Я опустился на текинский коврик, заботливые руки, с которых отпахнулась воздушная ткань, обнажив их округлую смуглоту, запорхали вокруг меня, даря уют и удобство полулежачего положения, как на пирах олимпийцев. Едва я прилег, все гости по знаку незримого дирижера заняли свои места, правда, на скрещенных по-восточному ногах.

Ухнули тимпаны и литавры, взвыла зурна, грянули скрипки, исступленно запели смычки, повара, хлопотавшие вокруг мангалов, разом скинули фартуки, колпаки, оставшись в черкесках и мягких чувяках.

— Осса!..

Поплыла лезгинка на тонких паучьих ногах. Когда же она достигла неистовства урагана и, казалось, все джигиты

падут бездыханными, танец рассыпался, разбежался. Белые фигуры вновь возникли меж едучих дымов, схватили шампур с шипящим мясом и, выставив их вперед, как пики, кинулись на гостей.

— Это шашлык от поваров, — пояснил мне Главный писатель. — Под первый тост. Потом займемся закусками.

Я бывал за Кавказским хребтом, сиживал на пирах, но впервые столкнулся с таким обычаем; по-моему, тут не обошлось без русской смекалки, освежившей старинные горские обычаи.

Первый тост был, разумеется, за меня. Его сказал молча — глазами, бровями, улыбкой, вклинившейся в страдание губ, первый секретарь. А Главный писатель перевел песнь без слов на бедный человеческий язык:

— За ваше здоровье!

Я только сейчас задумался над этим феноменом: наш хозяин почти не открывал рта за все время моего присутствия в его владениях. Очевидно, в доносах и на допросах значение имеют лишь произнесенные вслух слова, а если их нет, то очень трудно, почти невозможно обвинить в чем-либо человека. Секретарь ни о чем не просил меня, ни на чем не настаивал, ни о чем не спрашивал, он даже не приглашал меня на этот праздник, не обмолвился обо мне ни одним добрым словом, что можно было бы представить как заискивание, моральный подкуп. Он был хрустально чист, скорее гость на скромном литературном пиру, которым решили отметить мою службу области (помимо семинара и перевыборов, у меня было два публичных выступления в городских библиотеках), а это в ту пору не только не преследовалось, напротив, всячески поощрялось, ибо делало чуть менее заметным вселенский разгул начальства. А почему именно данный район взял на себя расходы и хлопоты? Об этом никто не спросит, тем более что сиреневый заповедник, равно и доярочный Китеж-град — предмет гордости всей области — находятся на территории этого передового района.

Неблагодарная скотина, скажет иной, а то и каждый читатель, представив фантастическое застолье с морем разливанным и яствами невиданными: за шашлыком от поваров и холодным последовало жаркое: шашлыки карские и натуральные, цыплята-табака, купаты, люля-кебаб, перепелки на вертеле, осетрина в белом вине, форель, не буду раздражать воображение читателей невероятным десертом, тем более что до него еще далеко в моем рассказе, и вообще, хватит описаний этих пантагрюэлевских гастрономических излишеств в пору карточного, талонного и паспортного питания. Впрочем, с общенародным столом и тогда обстояло неважно, а в провинции не лучше, чем сейчас.

А вот насчет неблагодарности — это зря. Очень даже благодарная скотина объедалась и опивалась под ветвями старых берез, в заплеске сиреневой струи в шашлычно-душную обвонь.

Главный писатель подсказал мне, что надо бы черкнуть пару слов в журнал, потому что при скромности и щепетильности секретаря он никогда не заикнется о тех комплиментах, которые я ему расточал. У меня еще хватило сознания смекнуть, что комплиментов особых я не делал, вообще не делал, хотя и сказал, что можно печатать. Но сейчас уже трудно было заводить склоку вокруг тех или иных формулировок, как-то неловко, неблагодарно да и утомительно, когда в брюхе столько баранины, курятины и рыбы, а в сосудах — коньяка. Я только попросил его написать самому, на подпись у меня хватит сил. Я был похож на девицу, которая провела с кавалером ночь, но не позволяет поцеловать себя в ухо. Этот последний участок невинности она во что бы то ни стало хочет сохранить. Он не стал спорить, молча протянул мне блокнот и шариковую ручку. У меня и без того почерк куриный, а тут, налитый всклень, я выдал такую каллиграфию, что и сам оторопел.

— Ничего, ничего, — хладнокровно сказал Главный писатель. — Только распишитесь почетче. Для журнала мы отзыв перепечатаем, а документ оставим себе.

Меня резануло слово «документ», но тут я уловил такую смертную муку на лице секретаря, что захотелось быть щедрым. Я разорвал листок и аршинными, почти печатными буквами нацарапал то, чего от меня ждали, и лихо расписался.

И тут произошло чудо: одинокая высоченная до едва слышимости нота пронизала мироздание, стала осью всего существующего, к ней пристроилась другая нота, третья, и вот они уже стали оркестром, странным, отроду не слышанным мною оркестром, где каждая дудка держала лишь одну-единственную ноту. Боже мой, да это роговой оркестр — древнее, вымершее, забытое русское искусство. Оказывается, оно живо здесь, на этой сиреневой земле, и подарено мне!

Крупная слеза скатилась по моей монгольской скуле, упала на губу, я слизнул, у нее был коньячный вкус.

Боясь пьяной сентиментальности и не желая — чисто по-советски — перебрать по части благодарности, я облек свое искреннее, хотя и с глубоко запрятанной червоточиной признательное восхищение в форму банальной шутки:

— Если б покойный отец меня видел!..

Острым беспощадным лучом в бредовую муть сознания врезался истинный смысл этой расхожей фразы. В самом деле, что, если б меня увидел сейчас мой родной отец — «вечный студент», расстрелянный на берегу Красивой Мечи и утопленный для верности в той же тургеневской реке за сочувствие крестьянскому отчаянию, переросшему в то, что потом называли «антоновщиной»?.. Что, если б меня увидел мой приемный отец — вечный узник, за последние четверть века своей жизни лишь шесть месяцев гулявший на свободе?.. Что, если б меня увидел мой отчим-писатель, которому тридцать седьмой год сломал душу и литературную судьбу?.. Уверен, что каждый из них от души плюнул бы мне в морду, мне, пирующему среди полумертвой России — без отчаяния, надрыва и муки, хамски спокойного и безгрешного в стане победителей, которым ничего не страшно и не стыдно и от которых я принял причастие дьявола.

Анна Ивановна, Анна Ивановна, грустная районная Мисюсь, где ты?..

Мне трудно рассказывать о том, что происходило дальше, ибо я не знаю, что принадлежит съехавшей с рельсов реальности и что — белой горячке. Кажется, меня спросили, каких еще мне хочется яств, прежде чем перейти к десерту, и я ответил словами сластолюбивого гоголевского попишки:

— Душа моя взыскует яств иных.

— Каких же?

— Гурий.

Они появились, и начался сон Ратмира. Витало что-то голубое и что-то розовое — из воздушных одежд и нежного тела — и несло в себе музыку; я никогда не видел гурий и плохо представляю, что это такое, поэтому мои видения были плоски и банальны, как кордебалет. Я пресытился бесформенными грезами, не воплотившимися ни в поцелуи, ни в ласки, довольно скоро я вернулся к полуяви с рощей, шашлычными запахами, с дискретными фигурами над горами еды, то растворяющимися в густом сине-зеленом режущем свете, залившем рощу, то обретающими грубую, пугающую вещественность безобразных карнавальных масок. А музыка превратилась в комариный гуд, и только это принадлежало неподдельной реальности — тучи комаров вились над пиром, но почему-то не кусались. И тут я увидел метелку из жемчужно-серых и черных страусовых перьев, она колыхалась перед глазами, оевала виски, касалась затылка. Нежное опахало защищало меня от комаров.

Сперва я решил, что это Шемаханская царица несет службу охраны. Но нет, руки у нее заняты, в одной — фужер с водкой, в другой — кусок осетрины на вилке. Повернуться не было сил, но спина обрела зрение: я видел обнаженную эбеновую рабыню с рыбьей костью в носу и копной сухих черных волос. Серебряные браслеты на тонком запястье сшибались, озвучивая колыхание страусовой метелки. Откуда она здесь? Пленница последней войны

района с Берегом Слоновой Кости во исполнение интернационального долга или студентка института Патриса Лумумбы на летней практике? Какое мне дело? Лишь бы отгоняла комаров от моего царственного чела...

Что было дальше — не знаю. Наверное, танцы. Все кончается танцами. Смутно мерещится мне мелькание узорчатых шальвар Шемаханской царицы, змеиные извивы эбенового тела пленницы или студентки, источающего запах мускуса.

Когда меня на руках внесли в машину, Главный писатель слицемерил:

— Простите, если что не так.

— Отличный лабардан! — сказал я и окончательно выпал из сознания.

Прошли годы, прошла жизнь, и уже в наше смутное, странное, ни на что не похожее, прекрасное и ужасное время я получил письмо из тех мест, где некогда сеял разумное, доброе, но едва ли вечное, ратмирствовал, внимал роговой музыке, лицезрел гурий, где впервые приблизился к яслям с тучным овсом, замоченным в вине, и сразу опакостился. Конверт был довольно толстый, в нем, кроме письма, оказался газетный лист с большим интервью и портретом героя. Я сразу узнал своего литературного крестника, хотя он крепко заматерел с тех пор и согнал горькую складку с губ. И он уже не был секретарем райкома, он шагнул куда выше, но не прямо. Кормушка власти переместилась, и он последовал за ней. В интервью сообщалось, что ныне он председатель облизполкома, к тому же видный писатель, автор нескольких книг.

Я вспомнил о своих семинаристах. Ни один из них не стал писателем, даже талантливый и самобытный, уже печатавшийся в ту пору Петрушка. Ни один даже не опубликовался, а ведь каждый из них был отмечен даром божьим. Ближе всего к успеху был по праву Петрушка. В том межобластном издательстве, что так старательно обслуживает бывшего районного, ныне областного босса, Петруш-

ке был обещан сборник, затем книга на двоих, затем — на троих, но и эта маленькая на троих не увидела света. Бумага нужна для другого, для высшего. С горя Петрушка женился и запил.

Мелькнула в Москве Жена, прикосновенная через мужа к чертогам власти и потому имевшая шансы издаться. Но и ее связей оказалось недостаточно, чтобы превратить вялое расположение одного из крупных московских издательств в книгу. Об Инженере, Враче, Заводском мастере говорить не приходится. Каждый был слишком вмазан в свою профессию, чтобы пускаться в странствия за синей птицей литературной удачи. А в родном городе, проведя семинар, о них напроочь забыли, они нужны были только для мероприятия.

Вышел в писатели (стал членом СП) только один, для чего ему хватило написанной куриным почерком у шашлычного костра записки. Хватило, потому что и она не требовалась, просто с нею было удобнее. Но покамест я думал, что дело ограничилось напечатанием двух очерков, хоть и поеживался, не особо страдал от своего низкопробного, но по общим меркам естественного поступка. И вот я читаю в письме: «Довольны Вы своим подопечным? — спрашивал пожелавший остаться неизвестным автор. — С ним Вам повезло, не то что с остальными. Да и что говорить — талант!»

Читать дальше не требовалось. Я пробежал глазами интервью. Очень серьезное, вдумчивое, перестроечное. Ведущая мысль: необходимо всемерно насыщать колхозы техникой. В самый корень беды заглянул, в самое сплетение больных нервов нашей действительности. Будь у колхозов побольше тракторов и комбайнов, мы бы не завязли в зрелом социализме, а штурмовали сияющие вершины. А вот и о литературе. Где уж тут читать в такое огнепальное время? И писать-то не успеваешь. Но все же, при чудовищной своей загруженности, предоблисполкома старается следить за периодикой и от корки до корки читает наиболее близ-

кий ему журнал «Наш современник». И в художественном, и в социальном, и в идейном, а главное — в нравственном смысле этот журнал наиболее близок его мировоззрению, идеалам и чаяниям. Дальше читать интервью не имело смысла, ничего лучшего добавить к своему символу веры этот прогрессист не мог. И письмо не надо дочитывать, я сам скажу себе все слова, которые, очевидно, приготовил для меня автор.

Нет, я не могу воскликнуть, как Дмитрий Карамазов: «В этой крови я не повинен!» Повинен, дорогие соотечественники, братья и сестры, повинен, господа присяжные заседатели. Каюсь и не буду ссылаться на то, что обошлись бы и без моего участия. Хотя, откажись я написать рекомендацию, нашелся бы не один десяток куда более весомых членов СП, которые сделали бы это с пылом-жаром. Он обречен был на все свои удачи и достижения. Но не будем забывать: если что-то делается божьим соизволением, то куда больше — людским. И нельзя оправдываться тем, что, мол, не ты, так другой. А если ты откажешься, другой откажется, третий откажется, глядишь, пойдет цепная реакция и пресечется попытка зла?..

Петрушка, Инженер, Врач, Заводской мастер, Жена, простите!..

Жители сиреневой страны, простите!..

Анна Ивановна, Сережа, Трофимыч, простите!..

Ну, а как Анна Ивановна, что с ней? Ее сняли с работы. Очень просто, буднично и очень давно, еще до моего вояжа в страну сиреневого ситца. Секретарь обкома сказал: «Анна Ивановна, конечно, старается. Ее район в числе передовых. С ней, не задумываясь, пойдешь в разведку, на ледовую зимовку, на любой десятитысячник в одной связке. С ней не пойдешь в сауну. А ее район один из самых посещаемых нашими работниками. Мы должны думать о людях».

Она работала там и сям, сейчас на пенсии.

САУНА И ЗАЙЧИК

Это случилось, когда мы еще не проснулись, но сон уже не был ни сладок, ни покоен, ни прочен, и в предутреннюю явь стучалась тревога нелегкого пробуждения. Мы должны были проснуться, потому что заснул он — государственный деятель, не совершивший никакого деяния, четырежды Герой без подвига, увенчанный лаврами писатель, не написавший ни строчки, грандиозное ничто, которого играли окружающие, как на сцене играют короля, создавая мнимое величие поклонами, подобострастием, лестью, неустанными знаками благоговейного внимания, покорностью и бесконечным превознесением до небес пустышки, для которой драматург не потрудился написать роль.

И его не стало, и стало беспокойно всем, кто жил при нем, ибо, уписывая за обе щеки, хапая все, что можно схватить: деньги, драгоценности, автомобили, ковры, хрусталь, старинное оружие, меха, ордена, завалив добром собственную семью, он позволял хапать и другим, сам чуждый всякой морали, он допускал всеобщее разложение. Но когда его не стало, то даже вольные и невольные однодельцы по грабежу и распаду государственной сущности поняли, что дальше так продолжаться не может, что сама воля к жизни требует перемен. Но они не знали, что это будут за перемены, мучительно боялись их и хотели лишь одного: дожить вместе с детьми своими и внуками в том мире, где время остановилось. Пусть оно двигается, но где-то там, вдалеке от их больших теплых квартир, уютных кабинетов, комфортабельных санаториев, огромных черных машин с двусмысленными занавесочками. Дальше никто не хотел заглядывать; как-то все образуется, что-то такое произойдет, но не затронув ни их самих, ни родной плоти и крови,

безопасно проскользнет мимо. Никто этого не формулировал, есть вещи, которые нельзя даже про себя облекать в слова, ибо слово, как известно, не воробей, и самое важное, сокровенное должно находиться в тебе в аморфном виде, тогда ты не проговоришься, разве что промочишься, а в собственном тайнознании для тебя все расшифровано и названо без помощи слов.

Наш скромный антигерой Сергей Максимович жил в эти дни, как и подавляющее большинство людей его положения, со стесненным сердцем. Он не был какой-то знаменитостью, деятелем исторического масштаба, но в своем районе он был первым. Не вторым, не третьим, а именно Первым. И это налагало. Да нет, если по-серьезному, то ничего не налагало. Мы люди подневольные, как скажут, так и сделаем. Начальство укажет. Мы люди маленькие, наше дело исполнять, а не думать. То есть, если по-серьезному, то и это от нас не требуется. От нас требуется, чтобы все выглядело так, будто мы исполняем, выполняем и перевыполняем. А это не так уж сложно. За многие годы научились. Вещественность давно уже не в цене, все дело в бумажках, в них должен быть полный порядок. Вся жизнь стала на бумаге, а какая она на самом деле, никого не интересует. Да и есть ли она на самом деле — сказать затруднительно. Во всяком случае, он твердо знает, что в тех бумажках, которые идут к нему снизу, правды не густо, а в тех, которые идут от него выше, и вовсе кот наплакал, а в тех, которые подаются на самый верх, и слабого следа нет. А вдруг теперь захотят, чтобы в бумажках была правда? От одной мысли об этом отнимались руки и ноги. Тот, кто ушел, ни в какой правде не нуждался, а своя правда была при нем, тут все всамделишное: кожаное нутро заграничных автомобилей, четыре Золотых Звезды и еще сто сорок шесть наград на жирной груди, неисчерпаемая бочка зернистой икры, весь золото-алмазно-жемчужно-меховой нажиток. Остальное его не касалось. Он никого не трогал, позволяя одним обогащаться, другим спиваться. По-

кладистый человек. Но его не стало. Пришел другой. Серьезный и всезнающий, вот что худо. В воздухе появилось что-то такое... ознобливающее. Видать, оттого и сообщение о приезде важного московского лица напугало куда больше обычного. Даже сравнивать нечего. Ведь встреча высокого гостя была настолько разработана, что будь на месте Сергея Максимова другой человек, он относился бы к ней, как к маленькому развлечению. Но Сергей Максимович и вообще не был боек, а перед большим начальством благоговел до судорог. И ведь не заносился Высокий гость, не корчил из себя бог весть что, наоборот, показывал, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо, но Сергей Максимович всегда помнил, что тому довольно пальцем шевельнуть, и он из Первого станет последним. Это так глубоко засело в печенках, что он не мог проглянуть земную сущность Приезжего, видел его в какой-то дымке, в просквоженном нездешним солнцем тумане. Но в наружном поведении Сергея Максимовича не было подострастия, чего и не всякий любит, лишь деловая несуетливая услужливость, сочетающая исконное русское гостеприимство с воинской субординацией, будто видел он в Приезжем отца-командира. Это особенно нравилось Высокому гостю, поскольку он в армии никогда не служил, а кроме того, такое отношение было внеличным, оно относилось не к лицу, а к месту им занимаемому, и тем поддерживало существующую систему ценностей.

И вот Высокий гость снова едет в райцентр, в маленький, очень старый, даже древний городок, который во тьме истории числил за собой заслуги перед русской землей: посылал рать на поле Куликово, поддерживал московского князя в шемякинскую смуту, отбивался от набегов Крымских татар, в остальное время торговал, ремесленничал, горел, отстраивался я раз удостоился посещения Петра I, открывшего под его суглинком целебный источник, а потом навсегда успокоился в звании уездного города и таким же остался, став райцентром. Примечателен он был тем, что его чаще всех других городов области навещали на пред-

мет ревизии высокие гости из Москвы. Это объяснялось тем, что городок находился недалеко от столицы, вело к нему неразбитое шоссе, был он приветливый и опрятный, в окрестностях водились зайцы и лисы, а при райисполкоме имелась превосходно оборудованная сауна, которой местные руководители почти не пользовались.

И когда Первый объявил своим соратникам в форме привычной шутки: «К нам едет ревизор!» — особого волнения, тем паче тревоги его сообщение не вызвало. Даже не спросили, зачем он едет. Впрочем, и так было ясно: об эту пору едут с одним — проверить, как подготовились к зимовке скота.

— Что будем делать? — спросил Первый.

— То же, что и всегда, — прозвучал ответ. — Встретим, как положено дорогого гостя. Раскочегарим сауну на шесть шаров, а потом — на зайчика...

— Да погодите вы с зайчиком! — оборвал Первый. — Как у нас с кормами?.. Что мы ему покажем?.. Сами ведь знаете...

Собравшиеся слегка оторопели. А разве было когда лучше с кормами? Хуже бывало, а лучше сроду не было. И ничего, всегда с честью выходили... Свезем все корма в «Рассвет» и покажем.

— А если он еще куда сунется?

— Что с тобой, Сергей Максимыч, ты, видать, переустал. Куда он сунется? Нешто проедешь?.. В «Зарю новой жизни» еще можно — на листе железа трактором дотащить, а в остальные — жди зимника.

— На листе железа он не поедет. Да и нет такого листа — под «Чайку». Глупостями мне голову не забивайте. А продумать надо...

— Обрато, Сергей Максимыч, зря сердечко тратишь: как всегда принимали, так и сейчас примем. Сауна со всем, что полагается...

— А есть у нас «что полагается»?

— Как не быть? Область поможет, если что. Набольшый, поди, тоже пожалует?

— Нет. Едут к нам напрямик.

Тут собравшиеся озадачились.

— Напрямик?.. Это что-то новое!..

— А я о чем толкую? — затосковал Первый. — Мы-то с вами старые, а там новое... Ветер перемен. В том-то и закавыка!..

— Никакой закавыки нет. Пусть там новое-разное, нашу Лерку не перешибить. Кто еще так ублажит?

Сергей Максимович вспомнил свежие икры, ямочки на локтях, чуть сонные серо-голубые с поволокой глаза и понял, что возле Лерки-саунщицы стихнет ветер любых перемен. Да и какие могут быть перемены, только тронь — все завалится. И все же дело не так просто: изменить ничего нельзя, но дров наломать можно...

Конечно, ни «Путь к коммунизму», ни «Заря новой жизни», ни «Имени XIV партконференции» не хотели отдавать корма, несмотря на угрозы и заверения, что все до последней соломинки будет возвращено, как только отбудет Высокий гость. Каждый год одна и та же канитель. Пришлось пообещать директору «Зари» путевку в сочинский санаторий, директору «Пути» покрывало для «Волги», директору «Имени XIV партконференции» ордер на дамские сапожки фирмы «Пеликан». За сутки корма перевезли на платформах, которые тащили армейские вездеходы. Рев стоял такой, будто танковая армия шла в наступление. И впервые Сергей Максимович призадумался над тем, что все это происходит в открытую, на глазах тысяч людей, и ни для кого не секрет, для чего производится операция. Неужели никто не толкнет донос? Но ведь это повторяется каждый год, и шороха до сих пор не наблюдалось. А доносы, конечно, были, их писали в первую очередь директора «обиженных» совхозов, анонимные, разумеется. Они ровным счетом ничего не теряли от временной разлуки с сеном, но им обидно было, что «Рассвет» всегда на виду, хотя он ничуть не лучше. А что тут поделаешь — начальство приезжает или осенью, или ранней весной, когда раз-

верзаются хляби небесные, зимой и летом тут делать нечего, только работе мешать. «Рассвету» повезло — он подгородный, к нему ведет булыжная шоссейка. Да нешто одни директора пишут доносы? Все обиженные жизнью, — а разве есть необиженные? — строчат «заявления». Вот какое деликатное слово придумали для Иудиного греха! Выходит, наверху обо всем сведомы и... молчат. Что же получается: мы, на местах, всё знаем, в области знают, в центре тоже знают, кого же мы обманываем? Тех, что за бугром? Но послушать «голоса», там нашу жизнь насквозь видят. Выходит, самого главного, ему баки забиваем, чтобы он отдыхал спокойно и нам дышать давал.

Но если так, то можно куда проще и вольготнее жить. Для чего столько дерганья, звонков, совещаний, заседаний, собраний, пленумов, вызовов на ковер, для чего мучить людей, если все сводится к цифровому хитросплетению? И зачем тревожит себя Высокий гость и тащит за две сотни километров от московских исключительных удобств в горячо любимой семье по плохим, разбитым дорогам свое большое, рыхлое, забалованное тело? Лишь для того, чтобы глянуть на свеженное со всего района под одну крышу гниловатое сено? А чего на него глядеть: сено оно сено и есть. А может, нужно ему попариться в сауне, выпить стопку из Леркиных рук, постоять на зайчика? Нужна усталому изолгавшемуся человеку такая разрядка с потным паром, золотым коньячком, ленивым оскользом сонных серо-голубых глаз и селитряной вонью пороха в свежести подмороженного утра? Тогда не о чем беспокоиться, все будет, как всегда.

Так чего же он тревожится, почему не может разделять безмятежности окружающих? Он и прежде, ожидая Высокого гостя, волновался, но приятным, подъемным волнением гостеприимного хозяина, желающего показать свой дом с лучшей стороны. К этому примешивалось проникающее чувство значительности события. Но не было ни гнетущего страха, ни отчуждающей тревоги. Было сознание, что делается одно большое общее дело — пусть на разных

этажах, — это дарило надежным ощущением сообщничества... нет, дурное слово, — союзничества, непоколебимой крепости всего здания. А сейчас — неуверенность, опаска, сосущая тоска в груди...

Но чувства чувствами, а дело делом. Как говорил поэт Махия, вдруг выметнувшийся из донецких недр и столь же внезапно канувший в небытие, оставив по себе нескольких разочарованных диссертантов, огни эмоций любо зажигать вечернею порою, когда отходят дневные заботы. И Сергей Максимович, оставив для переживания вечер и ночь, днем развил энергичную деятельность. Сам съездил в областной центр и привез ящик армянского коньяка, зернистую икру, красную рыбу, лимоны и растворимый кофе. Закрома «Рассвета» плотно и опрятно заполнили кормовым зерном, сеном, сенажом, отрубями, на фермах прибрались, залатали крышу, сменили подстилку.

В назначенный день огромная машина Высокого гостя зашуршала шипованными шинами по мокрое асфальту райцентра. Деревья уже облетели, и город стоял сквозной, голый, неприютный. Зелень очень скрашивала его плюгавость. Да ведь не красна изба углами, а красна пирогами. К тому же Высокий гость так и не поднял занавесочек на окнах.

Встреча у дверей райкома была лишена обычной грубоватой сердечности. Обширное, клеклое лицо приезжего с медвежьими глазками хранило брюзгливо-усталое выражение, в котором растворялось намерение улыбки. Он даже поспешил на те задиристые шуточки, которые неизменно отпускал, обмениваясь рукопожатиями с встречавшими. Молча посовал каждому большую вялую руку и хмуро бросил: «поехали, что ли?». На робкое предложение отдохнуть, перекусить он неприятно клацнул вставной челюстью с крупными зубами, похожими на клавиши, и молча полез в машину.

В совхозе все было вроде бы по-обычному, только суше, холоднее. Высокий гость не тыкал пальцем в живот директора, не стравливал его с Первым — любил он такие петуши-

ные сшибки, не рассказывал положенного анекдота про армянское радио, начинающегося уморительно: «Нам спрашивают», — всё только по делу. «Наверное, теперь такой стиль руководства: деловитость, — смекал Первый. — Но это внешняя форма, а что за ней? Какие перемены, может, полный поворот?.. Куда?...Стоит ли мозги ломать мне — козявке, мурашу. Как скажут, так и будет — на словах. А если?..»

Пробыли они в совхозе без малого четыре часа, хотя дело тянуло от силы минут на сорок. Но в этот раз Высокий гость был на редкость дотошен, хотел все сам увидеть, все потрогать руками. Он, видимо, давал урок ответственности и деловитости. Входил в каждую малость, подробно и пристрастно расспрашивал директора о всех хозяйственных проблемах, не касаясь, правда, самого тонкого вопроса: откуда взялось столько сена и других кормов, когда сеноуборочная провалилась по всей средней России из-за беспрерывных ливневых дождей? «А вдруг он думает, что совхоз сам себя обеспечил? — вновь испугался Первый. — Тогда мы преступники. Только если круговой обман, тогда это не преступление, а политика...»

В райком они вернулись уже в сумерках. Над хозяйственным флигельком, где помещалась и сауна, струился прозрачный сиреневый дымок. Лерка была на посту, и Первый от души порадовался близкому удовольствию другого человека.

— Теперь куда поедем: в «Зарю» или в «Путь»? — резанул по нервам хмурый голос.

Вот оно! Забыл, как сунулся и полдня загорал в луже.

— О чем думаешь?

— Думаю, как лист достать.

— Какой еще лист?

— Железный. Для вашей «Чайки».

— А так не проедем?

— Сами знаете, какие у нас дороги. Лучше не стали.

— Довел же ты район, нечего сказать! А как вы сами связь держите?

— По телефону. На лошадаках. Пешим строем. Или вот на листе.

— Так запустить район!.. — с горечью сказал Высокий гость.

— Шестьдесят четыре.

— Что шестьдесят четыре?

— Шестьдесят четыре раза обращались в разные инстанции. Вам тоже писали, — застенчиво добавил Первый.

— Писали! Отписочками живете. Надо уметь добиваться, надо гореть. О чем думаешь?

Первый думал о том, как бы за ночь перевезти хотя бы часть сена в «Зарю». За два других совхоза он был спокоен, туда ни за какие коврижки не добраться.

— Думаю, надо, кровь с носа, раздобыть лист, чтоб завтра утречком выехать. Тогда к обеду будем.

— Как это к обеду? У меня в три совещание.

Первый развел руками и опечалился.

— Скажи мне честно: плохо с кормами? Не подготовились?

— Зачем уж так? — За четверть века руководящей работы Первый не научился врать в глаза. «Недотепушка!» — ласково корила его жена, знавшая эту странную и трогательную особенность мужа. Легко вралось с трибуны в аморфное лицо аудитории и в письменном виде. Он вынул из планшета тонкий машинописный лист с цифрами.

Высокий гость чуть брезгливо, но вроде бы охотно взял письма, пробежал первую страницу и, сложив, сунул во внутренний карман пиджака.

— Ладно. Посмотрим, что вы насочиняли. Но учти. Я ведь знаю, какие вы мастера ажур наводить... Кормить будете?

— Неужто мы не покормим дорогого гостя? — оживился Первый. — Но сперва пожалуйте в сауну.

Было долгое молчание, затем странным, каким-то болезненным голосом Высокий гость произнес:

— В сауну?.. С коньячишком?.. С официанткой?..

— Как водится, — пробормотал Первый.

— Неужели сам не понимаешь, в какое время мы живем? Сауна!.. — В голосе звучали горечь и укор. — Сейчас нельзя расслабляться, надо быть как штык. Разложились мы все, к сладкой жизни привыкли. Забыли о наших отцах, босоногих большевиках. Разве думали они о саунах? Даже слова такого не знали.

— Нешто тогда люди не парились?

— Мокрым паром.

— Чего? — не понял Первый.

— Мокрым, а не сухим паром, — пояснил Высокий гость. — В общем, все ясно. Развратились, изнежились, избаловались, но теперь с этим будет покончено. Навсегда.

«Значит, и со мной будет покончено, — подумал Первый. — Я ведь не умею иначе и уже не научусь. Стар я, ссохся, спекся снаружи и внутри, меня уж никаким паром не размягчишь: ни мокрым, ни сухим. Ладно, буду собачьи шапки шить. Как-нибудь доживу.»

И, ни на что не рассчитывая, не надеясь, просто для разговора, чтоб не молчать, сказал:

— Значит, и на зайчика не сходите?

— Какой еще зайчик? Охота запрещена.

«Она и сроду была запрещена в эту пору. Да не больно ты с запретом считался. Колошматил их как хотел.» Первый обмер, ему показалось, будто он вслух произнес эти слова. Нет, вслух он сказал другое:

— Зайцы, видать, это знают и обнаглели страсть! Жируют чуть не на улицах. И такие здоровенные! Где только ожрались?..

Первый замолк, с удивлением глядя на приезжего. Его большое, мясистое нездорово бледное лицо медленно затекло густой кровью. И белки свекольно покраснели. Высокий гость видел внутренним взором четкий, опущенный деликатный заячий след, слышал запах подтаивающего утенника.. Только что он чувствовал себя одним из комиссаров гражданской, продотрядовцем, гибнущим от ку-

лацкой пули, незабвенным Клочковым-Диевым, крикнувшим свое бессмертное: «Земли за нами много, а отступать некуда!» Как звучат сейчас эти слова! Он встал с ними в ряд, раздавив свое желание: не будет ни блаженства сухого жара, выгоняющего из тела все шлаки, ни восхитительного оката холодной водой, отчего сразу скидываешь десяток лет, ни золотистой рюмки в обнаженной по плечо нежной руке, и навсегда погасли серо-голубые с поволокой. Но все-му есть предел.

— О сауне пока забудь, — услышал Первый хрипло просевший голос — Завтра выйдем пораньше. Зайчишку надо наказать.

А ЛЬВА ЖАЛКО...*

Давно это было, лет пятнадцать назад или около того, когда нас с женой пригласили на встречу с Чангом. Пригласили соседи по дачному поселку — Дружниковы. Сам Дружников — известный писатель, кинодраматург, его супруга — хранительница домашнего очага, а Чанг — лев, снимавшийся в фильмах Дружникова, к вящей славе для них обоих, а также хозяев Чанга — семьи Бедуиновых. Чанг, ручной, очеловечившийся лев, никогда не видевший пустыни, был равнодушен к славе, но наверняка радовался за своих хозяев, которых любил не меньше, чем Маугли — вырастившую его волчью стаю, и так же считал, что он с ними одной крови. Поэтому лев, еще молодой, но слабый здоровьем, малоподвижный и легко утомляющийся, покорно трясся в самодельном фургоне на съемки и безропотно отработывал бесконечные дубли. Не уверенный ни в себе, ни в операторе, ни в аппаратуре, ни в качестве пленки, режиссер заставлял Чанга страховки ради десять раз совершать один и тот же прыжок. Режиссер был мало сведущ в львиных повадках и считал прыжок наиболее характерной особенностью льва, выражением его сути, как, скажем, у кузнечика, лягушки или антилопы-импалы, и бедному Чангу приходилось без конца прыгать: на стол, на стул, на комод, на шкаф, на крышу автомобиля, в окно, из окна, через ограду, ручей, канаву, овраг. Он приседал, напрягая мышцы задних ног, отчего в крестец впивалось шило, отталкивался и приземлялся на больные, чуть искривлен-

* В основу рассказа положены действительные события. Но это не хроника, не документальная проза, а беллетристика, со всей присущей ей свободой вымысла. (Примеч. автора.)

ные от рождения передние лапы. Чанг родился рахитиком, дохляком, за что был обречен на уничтожение собственной матерью, стыдившейся и презиравшей этого недоделка, невесть с чего затесавшегося в великолепную шестерку ее первенцев. Новая — человеческая — мать Чанга буквально вырвала его из когтей отторгшей убогого сына львицы. Эта женщина — в медовом мурлыканье маленького Чанга, когда она ласкала его, звучало: «Урча, урча», и постепенно все стали так звать ее — не представляла, какую чудовищную обузу взяла на себя. Вырастить льва в домашних условиях дело вообще не простое. Особенно когда домашние условия заключаются почти в полном отсутствии их: одна комната в деревянном домишке барачного типа, а в ней семья из четырех человек, не считая собаки. И жить предстояло на одну зарплату скромного служащего. Урча — будем и мы ее так называть — вынуждена была уйти с работы, чтобы целиком посвятить себя львенку. Тяготы усугублялись тем, что львенок был болезненным и слабеньким, он требовал повышенного внимания (впрочем, кто знает, сколько внимания требует здоровый львенок, выращиваемый в коммунальной квартире на условиях, так сказать, семейного подряда?), неусыпной пристальной заботы, лечения, включая массаж и гимнастику для лап. Льва надо было чистить, обрабатывать ему когти, расчесывать гриву (это уже позже, когда подрастет), поить и кормить по четкому распорядку. Но не стоит все это расписывать: уверен, ни один из моих читателей не возьмет льва на воспитание, особенно если дочитает до конца эту печальную историю, так что не стоит корчить из себя старого львовода.

Трудности усугублялись соседями по дому, сразу возненавидевшими Чанга. Они пытались избавиться от него, подбрасывая ему булочку с бритвенным лезвием в мякише, крысиный яд, и бумажными голубями летели во все инстанции доносы на хозяев Чанга, испортивших им жизнь. Конечно, Чанг никому не мешал и никто его не боялся, просто людей томила тревога, вдруг диковинное предприятие Бедуиновых даст навар.

И все же, худо ли, хорошо ли, семья справлялась с трудностями и, подчинив свою жизнь странному песочного цвета таинственному существу, стремительно растущему и как бы вытесняющему их из жизненного пространства, уверенно продвигалась к поставленной невесть кем и когда цели: вырастить посреди советской страны усилиями рядовой, ничем не примечательной семьи самого большого и грозного из всех африканских хищников. Зачем им это было нужно? А разве мы всегда знаем, почему выбираем те или иные пути? Конечно, в иных, не столь уж частых случаях, когда выбор происходит сознательно, продуманно, мы это знаем, но ведь куда чаще выбираем не мы, а дороги выбирают нас, и темны истоки человеческого предназначения к тому, что оказывается судьбой.

Возможно, указание пришло из бесконечной дали лет: какой-нибудь заблудившийся ген добрался до Урчи через поколения от того христианского мученика, которого пощадил лев на арене Колизея (эту легенду использовал Бернард Шоу в пьесе «Андрока и лев»), и превратил ее в опекуншу львов. Тогда наследственностью объясняется, почему четырехлетний Урчонок — сын Урчи, и семилетняя Урчона — ее дочь тоже оказались прирожденными укротителями. Они сразу установили с большим и опасным — сперва когтями, а там и пастью, быстро набравшей острых клыков в мягкую молочную пустоту, — желтым котенком отношения покровительственной, но строговатой дружбы, и царь зверей принял такой порядок вещей, хотя жалки и бессильны были перед ним дети человеческие.

Куда труднее объяснить, почему маленькая грязно-белая курчавая болонка Рип с огромными коричневыми подглазьями и закушенным розовым язычком тоже оказалась специалисткой по львам. Рип воспринял появление в доме огромного — для него — крошки-новосела как нечто само собой разумеющееся, хотя и обязывающее, и сразу стал на него полаивать и порывивать, но не от злобы, а помогая освоиться в новой среде. Малыш Рип сделал больше всех

Урчей, вместе взятых, для адаптации львенка, и тот оплатил эту заботу преданностью и любовью. Впрочем, трудно сказать, кто в этой паре любил сильнее: Чанг, вырастая, становился все сдержаннее в проявлении чувств, даже к Рипу, а Рип, простая душа, любил в открытую, не таясь и не стесняясь. Казалось, любовь Рипа возрастает пропорционально росту Чанга. Малыш становился все требовательнее и нетерпимее к объекту своей любви: то и дело обтягивал его, даже покусывал за ноги, разумеется, для пользы Чанга, которую он один лишь знал, никого к нему не подпускал, особенно если тот спал или подремывал. И лев ничуть не сердился на эту мелочную, докучную опеку, он охотно подчинялся Рипу, позволяя делать с собой что угодно. Рип расхаживал по нему, зарывался в гриву, спал у него под лапой — одно неосторожное движение — и от собачонки осталось бы мокрое место, но такое движение было невозможно. Лишь однажды, в начале дружбы, Чанг проявил неосмотрительность в отношении Рипа. Он принялся вылизывать его своим шершавым, как наждак, языком и слизал всю шерстку на спине. А разнежившийся Рип даже не заметил, что облысел. Пристыженный Урчами, Чанг понял, что нанес ущерб другу, и с тех пор стал тщательно соизмерять свою мощь с уязвимостью слабого существа. Он помог Рипу восстановить шерсть, нежно слюнявя ему спинку языком.

Чанг, никогда не видевший пустыню и не слышавший рассказов матери, знал откуда-то, что такое пустыня, и, повзрослев, постоянно грезил о ней. Он видел ее такой, какой она и была на самом деле: желтые, в цвет его шкуры пески, когда недвижные, когда шевелящиеся, пересыпающиеся в себе самих, редкие колючки, бездонное, почти бесцветное небо. Видел он и свою послеполуденную гордую тень на песке. Ему хотелось туда, хотя он и не мог взять с собой тех, кого любил, за исключением Рипа. Тот вписывался в пустыню не то крошечным шакаленком, не то крупной ящерицей, мгновенно исчезающей в песке.

Мы забыли еще об одном члене семьи, приютившей Чанга, а ведь это он зарабатывал всем на прокорм — об Урче. Он спокойно, хотя и с симпатией относился к льву. Урч принадлежал к какой-то странной, редкой кавказской народности, почти вымершей, и привечал лишь тех, с кем можно составить застолье, часами пить сухое грузинское вино. Чанг в рот не брал вина и потому был ему без интереса. Но когда Урч замечал Чанга, в светло-карих шальных глазах его зажигался теплый огонек. Чанг платил Урчу благожелательным равнодушием, но не дал бы его в обиду, поскольку от Урча шел семейный запах.

На зарплату счетовода Бедуинов не смог бы прокормить собственного глиста, не то что семью из шести человек, один из которых лев. Но он чуть не каждый вечер, независимо от того, было ли застолье или нет, играл в нарды по-крупному и всегда выигрывал. Любопытно, что после застолья он играл еще лучше. И опытные игроки предупреждали новичков: сегодня с Бедуиновым не садитесь, он выпил шесть бутылок кахетинского. Но те все равно садились — уж больно велик был соблазн обчистить шатающегося и орущего песни задавалу, и уходили с пустым карманом.

Чанг жил в своем очарованном печальном мире, где всегда недоставало чего-то самого главного; в младенчестве чувство недостижимости было обращено к матери, из которой он пил молоко, бессильно толкаясь с братьями и сестрами — ему неизменно доставались почти опустошенные сосцы; на новом месте, когда он подросток и вкус мяса вытеснил память о материнском молоке, тоска недостижимости обрела образ пустыни.

Тоска, когда с нею сживаешься, уже не доставляет страдания, становится окраской жизни, в которой есть место хорошему, радостному. И у Чанга были свои скромные радости: возня с Урчком, хлопотливые приставания Рипа, его беспокойный сон в Чанговой гриве, когда он тьякал, рычал, сучил лапками, продолжая нести службу охраны, ежедневные прогулки по двору на поводке, который с гор-

дым видом сжимали в кулачке Урчонок и Урчона, а еще была хорошая порция мяса, вскоре замененного фаршем — у него стали шататься и сыпаться зубы.

Были и занятия докучные, раздражающие: чистка шерсти, расчесывание гривы, подтачивание когтей, росших криво и впивающихся в мясо, промывание глаз, осмотр ушей и зубов. Всем этим ведала Урча, но Чанг был настолько великодушен, что прощал ей все вины, не понимая одного: зачем доброму человеку нужно его мучить.

Прошли годы, и нелегкая жизнь семьи озарилась добрым светом. Урча написала книгу о Чанге, прошумевшую на весь мир. В книге живо и трогательно была поведана история Чанга от горестного младенчества, едва не кончившегося смертью под тяжелой лапой матери, до последних дней, когда Чанг стал большим, могучим и безмерно добрым зверем, ручным, как домашняя кошка или собака. Урча рассказала о его привычках, повадках, времяпрепровождении, о дружбе с детьми и Рипом. Переведенную чуть не на все существующие языки книжку заметили наконец и в Москве. Конечно, о ней знали, но не было указания сверху, как относиться к самовольному, не санкционированному никем поступку семьи. Быть может, не стоит ориентировать народ на домашнее воспитание львов? Но сейчас последовал благосклонный кивок сверху, и навалом пошли восторженные статьи о смелом эксперименте выращивания льва в тепличных условиях — тот факт, что эксперимент ставился на шестнадцати квадратных метрах, авторы стыдливо умалчивали, но всячески подчеркивали, что такое могло произойти только в советской стране, исповедующей принципы социалистического гуманизма и интернационализма. В результате стали сбываться дурные предчувствия соседей.

Бедуиновым отдали вторую комнату в их барачной квартире, выселив оттуда какого-то бомжа, не имевшего прописки. Он и прежде редко навещал свое незаконное жилье, а Чанг вовсе отучил запуганного бродягу от гнезда ку-

кушки. В эту комнату перебрались со своими кошмами дети, Рип и Чанг и свободно разместились в лишенном мебели пространстве. Кроме того, Чангу выделили для прогулок участок на задах дома, огорожив железной сеткой и лишив соседей повода к скандалам, и, наконец, его поставили на пайковое довольствие старых большевиков. Он стал получать, помимо мяса, консервы, докторскую колбасу, печенье пти-фур, сигареты «Прима» и по праздникам бутылку «Столичной».

В дом повадились газетчики, Чанга много фотографировали, чего он не любил из-за пугающей его вспышки, наведальсь и телевидение, а затем наступила очередь кино. Оно появилось без аппаратуры и без всякой помпы в образе эlegantного пожилого мужчины с загорелой лысиной и седыми висками, отрекомендовавшимся писателем и сценаристом. Он ошеломил Урчу потрясающим предложением. Да что там предложением, то был пятилетний план артистической деятельности Чанга, включающий два полнометражных фильма, один трехсерийный телевизионный, хроникальную короткометражку «Чанг в кругу семьи» и рекламный ролик. В хронике и в рекламе предлагалось сняться всей семье Бедуиновых, а в телевизионном сериале были неплохие роли для Урчонка и Урчоны и даже Рипа. Два сценария уже готовы, Бедуиновы могут ознакомиться с ними, есть и проекты договоров. Эта деловитость, столь не вяжущаяся с образом свободного художника, и то, что, представляясь, он назвал лишь имя-отчество без фамилии, насторожили Урчу. Она начала плести ахинею: мол, не может ничего решить, не посоветовавшись с мужем (то был день кахетинского и нардов), да и Чанга надо спросить, хочет ли он стать артистом, он ведь домосед, скромник, к тому же слабенький — лапки побаливают, зубочки повыпали, жует, как старичок, мякотькое, промолотое любит, а на съемках кто его обеспечит? Ей самой был противен этот сюсюкающий тон, но она словно защищалась им от нахрапистого незнакомца.

— Мы обеспечим, — спокойно ответил безымянный автор и выложил на стол пачку договорных бланков. — Здесь будут зафиксированы все условия содержания, кормежки, медицинского обслуживания, ухода. Разумеется, вы и ваш муж, если он захочет, будете включены в договор как сопровождающие лица. Точнее, как дрессировщики, укротители.

— Об этом тоже надо подумать, товарищ... ой, забыла вашу фамилию.

Писатель улыбнулся, поняв ее игру, он отлично помнил, что фамилии своей не называл. У него вообще была отменная память, не только художественная, но и деловая, а не назвал он себя из деликатности, чтобы не оглоушить милую провинциальную женщину. Но сейчас он открылся.

— Как? — переспросила она.

— Вы меня не читали? — Улыбка стала натянутой.

— К стыду своему... — начала женщина. — Читала!.. — вскричала она радостно, не заметив обидности разорванной фразы. — «Вова на катке» ваш рассказик? У дочки в хрестоматии видела.

— Ну, это не единственный мой хрестоматийный рассказ, — прозвучало неловко и хвастливо, но он не оправился от потрясения.

Недоразумение возникло оттого, что фамилия у него была самая расхожая, незвучная и лишь в сочетании с именем обретала гулкость бронзы.

На другой день Бедуинова пошла в детскую библиотеку и с ужасом обнаружила, до чего же она темная дура. Писатель был один из основоположников, лауреат Государственных премий, заслуженный деятель искусства, член-корреспондент Академии педагогических наук, председатель отроческого фонда стран Азии и Африки...

И началась у Чанга и всех Урчей новая жизнь. Счастливая? Если говорить об Урче — он ушел с работы и сопровождал Чангу в качестве укротителя, — то наисчастливейшая, ибо теперь застолье было каждый вечер, хотя порой без

кахетинского и других грузинских вин. Но Урч оказался ценителем не только коньяка или «Столичной», а и более грубых напитков вроде «Кубанской» или «бормотона». В киноэкспедициях бывали всякие обстоятельства — и светлые и темные, но пили при любой погоде. Урч обучил собутыльников играть в нарды, а за науку, как известно, платят, хотя, по совести, он уже не нуждался в приработке. Счастлива была и Урча — и за Чанга, ставшего знаменитым, и за себя, наконец-то полно реализующую свои возможности. Она поднаторела в интервью, в радио- и телевиступлениях, завела множество интересных знакомств, научилась ухищрениям косметики, стала модно одеваться и вдруг обнаружила, что она привлекательная женщина, безотказно действующая на мужчин. Счастливы были и дети — они по месяцам прогуливали школу, к тому же кино — это так захватывающе!.. Счастлив был и Рип, ему прибавилось хлопот по охране Чанга, но в том и состоял смысл его земного существования. Он так наливався за день, что к вечеру вовсе терял голос, а в сон проваливался, как в смерть, что пугало Чанга, и он несколько раз проверял ночью, дышит ли его маленький друг.

Чанг был несчастлив. Ему тяжело давались переезды в пикапе с надстроенным фанерным домиком и зарешеченным окошком, было душно, тряско, тесно, его укачивало. Если б не поддержка Рипа, отвлекавшего от грустных мыслей и дурного самочувствия, он бы не выдержал. Плохо действовало и нерегулярное кормление и жажда по утрам и к вечеру, которую он зачастую не мог утолить.

Но еще хуже было на съемках: резкий, обжигающий глаза свет софитов, от которого никуда не деться, разил даже сквозь сомкнутые веки; когда же он наконец погасал, в глаза вплескивалась ночь, а в ней зажигалась спящая точка. Эта точка, то неподвижная, то медленно наискосок пересекающая тьму, то судорожно мечущаяся, прожигала мозг. А еще его доканывали прыжки. Как болел крестец и передние, искривленные рахитом лапы! Его удивляло, что

Урчи позволяют так издеваться над ним. Большие Урчи почти не подходили к нему на съемках, делая вид, будто они не догадываются о его муках. Маленькие и впрямь не догадывались — им было весело, упоительно интересно, а бедняга Рип видел свою единственную задачу в том, чтобы облаивать всех, кто приближался к Чангу. Иногда Чангу казалось, что Рип подозревает неладное, — поднявшись на задние лапки, он облизывал нос прилегшему Чангу с такой щемящей старательностью, словно от его быстрого нежного язычка зависела жизнь друга. Чангу хотелось ответить Рипу той же лаской, показать, что он понимает и ценит его жалкие усилия, но он не решался, помня о том, как облысел Рип от его дружеского поцелуя.

Чанг не жаловался, а ведь жаловаться можно не только презренным скулежом, но и естественно неловкой поступью, разлаженностью движений, утомленной позой. Но он был лев, и это обязывало всегда сохранять осанку, гордый вид, оставаться царем вопреки всему. И ослепленный, преследуемый сверлящей мозг болью, изломанный, измученный Чанг важно и прямо держал голову, делая вид, что вглядывается поверх голов окружающих в недоступную им даль. Напрыгавшийся на съемках до онемения позвоночника, он заставлял себя мягким прыжком вскакивать в пикап, хотя мог бы, пошатываясь, подняться по сходням. И когда он опускался на землю, то не укладывался на бок, что было удобнее его измученному телу, а сохранял красивую напряженную позу сторожевого мраморного льва, с высоко поднятой головой и чуть прихмуренными глазами, зорко обозревавшими окрестность. Он должен был не ронять своего рода, не ронять пустыни, чего бы ни стоило.

А пустыню свою он почти потерял. Для нее нужны не минуты, а долгие часы покоя и сосредоточенности, чтобы ушла внешняя и внутренняя суета, стало свободно и безмолвно, тогда распахнется пространство в застывших волнах песка и чуть различимый горьковатый запах других существ, населяющих мир, затревожит ноздри. К ночи он

так уставал, что засыпал раньше, чем являлось видение. Жизнь стала плоской и утомительно беспокойной. Чанг все сильнее привязывался к Рипу, утрачивая другую свою великую привязанность — к Урчонку. В мальчишке появились неприятные черты: он любил показать себя хозяином льва — прикрикивал, иногда замахивался и даже шлепал ладонью по спине, чего Чанг почти не ощущал, но признавал как нечто унижающее. Он не позволял себе огрызаться, даже подыгрывал дурачку, что слушается его, но прежний мальчик, простой и ласковый, был лучше.

Тихих минут Чангу хватало лишь на то, чтобы вспомнить, как он лежал на драной кошме в их старом доме или на траве во дворе и грезил о пустыне. И вообще, та спокойная, размеренная жизнь вспоминалась ему как счастье. Но он не разрешал себе показывать окружающим, как ему плохо. Лишь умилительная котячьест, что так долго сохранялась в большом взрослом звере, оставила его, он стал угрюм и царствен, и это делало его еще фотогеничнее. Киношники прямо-таки помешались на Чанге, планируя все новые и новые фильмы с его участием. Большой, чудом отобранный у смерти лев, выращенный энтузиазмом и любовью странных, не от мира сего людей, становился героем пошлой кинематографической чангианы, привлекавшей интересы многих деловых людей.

...Его привезли на дачу к самому обеду. Можно было въехать на участок, но пикап остановился у калитки, одарив прогуливающихся по аллее редким зрелищем. Отпахнулась задняя дверца фанерного домика, встроенного в кузов пикапа, на землю ловко спустился мальчонка лет семи, к нему на руки прыгнула кудлатая болонка, затем мощным мягким прыжком на землю опустился настоящий лев.

Из калитки высыпала группа людей. Они смеялись и хлопали в ладоши, ничуть не опасаясь льва. Они стали шпалерами от пикапа к калитке, и лев двинулся по образовавшемуся коридору. Над калиткой был прикреплен плакат с броской надписью: «Добро пожаловать, Чанг!»

Лев вскинул голову и внимательно посмотрел на приветствие. Задние ноги его чуть подогнулись, и он принялся мощно, как из брандспойта, мочиться. Желтая влага растекалась по желобам и морщинам земли, потом струи слились в поток, устремившийся к ногам встречающих, обратив их в паническое бегство. Чанг пружинно вытолкнул последние капли, распрямился и величественно прошествовал на участок.

Гости, толкаясь, поспешили за ним. Лев направился к купам берез, выбрал освещенный солнцем пятачок и улегся, раза два зевнул, показав гнилушки испорченных зубов, и смежил веки. Тут же к нему скакнул Рип и устроился в ущелье меж толстых лап; из-под грязноватых кудряшек сверкали охраняющие глаза. А в гриву Чанга зарылся Урчонок, вызвав стремительный прорыв из толпы гостей увешанной аппаратами фотокорреспондентки. Она собиралась заняться съемкой позже, но ведь нельзя же пропустить такой кадр. Мальчонка, видать, многому научился за свои кинематографические дни. Делая вид, что не замечает упражнений толстой фототетки, он принимал самые картинные позы: то разваливался на спине Чанга, то садился верхом.

Гости млели в первом, каком-то неуверенном восторге, соревнуясь в банальностях. Впечатление было такое, что большинство считало льва фикцией, предлогом для встречи. Знаете, как приглашают: «Приходите, будет Пугачева», «Приходите, нас посмешит Хазанов», «Приходите и не падайте в обморок — мы ждем Паваротти». Попробуй не откликнуться, хотя каждому ясно: в последний момент досадное недоразумение помешает приезду суперзвезды, но все равно останется чувство эфемерного соприкосновения с прекрасным, некий эстетический навар. А сейчас Хазанов-Пугачева-Паваротти явился, он лежал посреди сада, свободный, никем не охраняемый, грозный царь пустыни, символ той могучей силы, имя которой природа, чьи последние бастионы разрушает человек, дабы прекратить жизнь во Вселенной.

Мы с женой попали на торжественный обед, посвященный Чангу, как я понимаю, случайно. Мы были в добрых отношениях с хозяевами, но ни визитами, ни праздничными открытками не обменивались. Откуда-то стало известно, что цель встречи вовсе не рекламная — это походка, а гуманная: помочь Чангу. Живущий в нашем поселке крупный номенклатурный работник, в прошлом сталинский волевой министр и сейчас тоже почти министр, но в более либеральном духе, пригласил на встречу одного из столпов режима, всесильного в мире материальных ценностей Ивана Ивановича Бабенышева — назовем его условным именем, ибо великий человек жив и может схватить нас за руку, если что окажется не так. Странное дело: участвуя бесконечно долго и старательно в разрушении страны, он чувствует себя в полной защищенности, безгрешно и улыбочиво рассыпает интервью и даже консультирует кооперативную фирму, которую не остерег его плачевный опыт в масштабе государства.

Он должен был обеспечить Чанга новой квартирой, спецпайком на уровне республиканской высшей номенклатуры, мини-автобусом «рафиком» и местом на морском пляже — город Чанга находился на одном из исчезающих морей.

Кто-то пронюхал, что великий человек не считает эти требования чрезмерными и даже сказал с присущим ему добрым юмором: «Нас много, а Чанг один. Создадим ему условия». Сейчас требовалось одно, чтобы он почувствовал поддержку писательской общественности, творческой интеллигенции. Зачем это было нужно человеку, который распорядился экономикой всей страны, непонятно. Но и на вершине власти идут свои таинственные игры. Он мог свободно оставить без горячего целую республику, лишит угля металлургию Урала, это никого не волновало, но за лишний килограмм костей Чангу грозил «вызвон на ковер». Этот изящный оборот административного словотворчества неизменно вызывает в моем воображении дореволюционный цирк и того, «кто получает пощечины», — коверно-

го клоуна с красной бульбой носа, в рыжем парике, пестрых штанах и громадных ботинках. Его бьют все кому не лень, он падает бульбой в ковер, в пропахшие зверьевой мочой опилки арены, в вытертый бархат барьера. Мне казалось, что сходным образом поступают с провинившимся чиновником. Бабенышев хотел помочь Чангу, но так, чтобы не расплачиваться за свой гуманизм пощечинами, вот он и решил подкрепиться писательским авторитетом. Предположим, вызовут его на ковер.

— Ты что, сволочь такая, кости разбазариваешь? — накинется Генсек.

А он эдак с улыбочкой:

— Писательская общественность потребовала, хе-хе! Куда деваться? — и разведет беспомощно руками.

И Генсек, поласкав ладошкой профиль Ленина на золотой лауреатской медали, вспомнит, что он сам из этих проказников, и промурлыкает хитровато:

— Да-а, с писателями лучше не связываться. Мы такие!..

И отпустит с ковра на пол, к вящей злобе Главного идеолога, которому вечно не хватает крови.

Конечно, нужно было создать достойное окружение Бабенышеву, но с этим оказались сложности. наших знаменитых поэтов хозяин решил не звать, ибо понимал, что вечер Чанга неизбежно превратится в вечер Антокольского, или Кирсанова, или другого витии, умеющего слушать лишь самого себя. Из прозаических первачей двое на дух не переносили хозяина дома и были слишком эгоистичны, чтобы поступиться своей ненавистью ради льва, третий же был так упоен собственным величием, что само предложение участвовать в застолье, где ему отводилось третье место (после Бабенышева и льва), почел бы смертельным оскорблением.

Но оставался главный, сверхведущий, хотя и малость пощипанный в неуважительные времена хрущевской «оттепели», но все равно самый близкий и желанный любому начальству, — Константин Симонов, и он милостиво согласился прийти. Я знал, что он надует. Симонов никогда не

подписывал коллективных заявлений и никогда не участвовал в несанкционированных мероприятиях. Даже присутствие промышленного босса не возносило в чин дозволенного наше экстравагантное сборище. Не было должной серьезности ни в поводе, ни в герое встречи — выпущенном на волю и расконвоированном льве. Если перевести в слова смутные опасения перестраховщика, получится следующее: да, его выпустили из клетки, но не реабилитировали официально, и вообще, все, что с ним творят, сплошная самодеятельность, своеволие, несогласованность, неуканность, кто знает, как на это посмотрят там. И компания непроверенная, смешанная — с бора по сосенке, и зачем после добровольной среднеазиатской ссылки, когда дела опять пошли в гору, ставить себя под удар из-за какого-то паршивого льва? Константин Михайлович был физически храбрым человеком: спокойно оставался на НП полка во время боя, летал на военных самолетах, не терял головы под бомбежкой и артобстрелом, первым вбегал на разминированное поле, но в общественном смысле отличался крайней робостью и законопослушанием.

Я сказал хозяину дома: «Симонов не придет». Тот победнел: «Он обещал, подождем еще». — «Напрасно. Борщ остынет». Он поглядел на меня ранеными глазами и побежал на кухню советоваться с женой.

И все-таки в глубине души он был готов к тому, что Симонов не придет. Я был приглашен на подмену, как и два других писателя из нашего поселка. Один из них пользовался славой на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, потом вдруг исчез из литературы. Как потом выяснилось, он не хотел приспособливаться и писал в стол. Гласность рассекретила два его талантливых романа, созданных в самоизоляции. Но ведь и гениальный «Чевенгур» не сработал на ту мощь, которая была в него заложена в пору создания. Литература, увы, живет по правилу: дорога ложка к обеду. Другой писатель тоже знал успех — и романский, и драматургический, но было бы преувеличением сказать, что его слава

легла «на стекла вечности». За моими плечами истаивал шум, поднятый «Председателем», но фильм давно сошел и, кроме того, никогда не нравился начальству. Все мы были доярками-подменщицами. Можно найти более величественный образ. Когда в бою под Эслингом пал Ланн — едва ли не самый крупный наполеоновский маршал, это высшее воинское звание было присвоено Мармону, Макдональду и Груши. Армейские остряки шутили: это та мелочь, на которую разменяли одного Ланна. Мы были той мелочью, на которую разменяли одного Симонова.

Ничего не попишешь, опера пошла со вторым составом. Застолье скрашивала россыпь писательских вдов, какие-то юные приживалки и представительницы прессы в расцвете лет. Слава богу, лев не вызывал никаких сомнений. Правда, о нем как-то подзабыли в разбеге застолья.

А он и не претендовал на внимание. Стоило откинуться и глянуть за спины пирующих, в окне, между цветочными горшками, можно было углядеть желтое пятно, над которым мелькал желтый жгут с кистью. Чанг отмахивал хвостом слепней. А ведь он действительно совершенно свободен, мелькнуло испуганно, с какой-то темной замирающей надеждой. Ничто не мешает ему прийти сюда и перепластать нас всех своей могучей лапой. И это будет справедливо, хотя мы собрались тут выбить для него паек, машину, добавочные квадратные метры и клочок морского берега. Но стоило бы посчитаться с нами за киносьемки, телевидение, рекламу, за всю кутерьму вокруг печальной львиной тишины.

После того как мы выпили за Бабенышева с супругой, за Министра с супругой (у таких людей жен не бывает, только супруги), за Бедуиновых, за Хозяина и Хозяйку, настал черед выпить за здоровье Чанга. Это послужило переходом к главной части празднества — Урча начала свой рассказ о воспитаннике семьи.

Наверное, она щедро черпала из своей книги, которую никто, кроме Хозяина, не читал, возможно, она это уже не

раз рассказывала в разных аудиториях, но все равно, артистически номер был выполнен на высшем уровне. В конце концов, все талантливые эстрадники, работающие в разговорном жанре, не являются импровизаторами, говорят чужой текст, что не мешает слушателям переживать, радоваться или печалиться, плакать или смеяться. Когда она говорила о том, каким жалким уродцем уродился Чанг, в глазах ее заблестали слезы, и верю, что она вкладывала в свои слова истинное переживание. Когда она рассказывала, как мать-львица хотела его уничтожить и уже подняла над маленьким тельцем страшную лапу, слезы выкатились на побледневшие щеки. Послышался влажный всхлеб, звякнули сережки жены Министра — так резко наклонила она голову. Я посмотрел на жесткое, ограниченное эпохой и зловецей близостью к пику власти лицо ее мужа — глаза воспалены, хрящеватый нос странно дергается, — он плачет.

Не оставалось сухих глаз за столом, но никто не плакал так истово, как Бабенышев: навзрыд, всем своим широченым размякшим лицом, по-крестьянски громко и открыто.

Мне вспомнилась история, случившаяся с ним недавно в Японии. Это был один из тех вояжей, которые по идее должны принести нам неслыханную промышленную выгоду, но неизменно кончаются пшиком по самым разным и непредсказуемым причинам. То мы вдруг разрываем договор (хладнокровно уплатив чудовищную неустойку), потому что премьер-министру страны-партнера нравится «Доктор Живаго» или он имел неосторожность принять израильского лидера. Станным образом эта политическая чувствительность сочетается с предельной терпимостью в отношениях с наиболее страшными режимами. Массовое истребление коммунистов в Ираке не повлияло на преданную дружбу нашу, мы единственная страна, оставшаяся до конца верной людоеду Иди Амину, которому на ужин готовили членов его кабинета.

Во время протокольного братания с трудолюбивым японским народом (все народы трудолюбивы, все армии

непобедимы) какой-то безумец-патриот пронзил грудь Бабенышева картонным мечом, выразив тем самым протест против аннексии Курильских островов. Со времен блоковского «Балаганчика» известно, что пронзенный картонным мечом исходит клюквенным соком. Но даже капельки алой не выступило на белейшей рубашке советского посланца, нанизанного на поддельный самурайский меч. В Японии распространился слух, что он робот и что роботы управляют гигантской страной, раскинувшейся от Атлантического до Тихого океана. И это, мол, многое объясняет в тайне внешней политики Советского Союза, в тупом и вредоносном нежелании сверхдержавы расстаться с несколькими незаконно присвоенными крупницами чужой земли.

Какая чушь! Разве бывают рыдающие роботы? Добрый, теплый русский человек, исполненный глубокого сострадания к малым мира сего. Да будь его воля, он бы давным-давно отдал япошкам Курилы.

— Ну вот, — прозвучали последние слова Урчи, — все горести остались позади. Чанг выздоровел, вырос, стал большим, красивым, добрым зверем. Нет, не зверем! — оборвала она себя почти гневно. — А членом нашей семьи.

— Членом всей нашей советской семьи, — поправил Хозяин дома.

— Все вы хорошо говорили, — утирая красные глаза, но сурово произнес Министр, — а под конец слицемерили. Не остались трудности позади. Неужели ваши жилищные условия достойны льва? А страшная повозка, в которой Чанг задыхается? А то, что он, обитая на море, не может окунуться после трудного дня? А с питанием у него все в порядке? Получает ли он достаточно белков и углеводов? Чанг выращен вами, честь вам и хвала, но он принадлежит державе и обществу.

Чета Бедуиновых повесила головы под градом справедливых упреков. Высокий гость перестал считаться, а на широком круглом лице его появилось хитроватое выражение. Он понял, что это подступ к просьбам. Да нет, все было заранее

обговорено, иначе он просто не поехал бы сюда. А хитроватый прищур — игра: он притворялся смекалистым мужичком, сразу почуявшим, откуда ветер дует. Потом в писательской среде будут долго пережевывать подробности и тонкости его поведения. И Бабенышеву не откажешь в артистизме. Судьбою Чанга распоряжались артистичные натуры.

Включилась еще одна артистка — Хозяйка дома с милостивым кукольным лицом и льяными волосами. Округлив васильковые глаза и смяв жалобной гримаской рот, она сказала каким-то древним голосом:

— Давайте поклонимся в ножки нашему благодетелю и попросим всем миром за Чанга.

Она отвесила земной поклон Бабенышеву, коснувшись рукой пола.

— Какая женщина! — горячо дыхнул мне в ухо сидящий рядом Бедуинов.

— Советская власть не обеднеет, если поможет льву, — резко сказал Министр, последовательно ведя партию суровой, чуть зашоренной принципиальности.

— Надоть, надоть помочь львенку! — нарочито простонародным говором пропел Бабенышев и вдруг сменил тон: — Большое патриотическое дело сделали вы для страны, товарищи Бедуиновы. Ваш эксперимент обогащает науку. И важно, что он поставлен именно у нас. Вопросы с жилплощадью, питанием, транспортом, оздоровительным моционом подняты своевременно. Я попрошу Омара Стихевича, думаю, что он мне не откажет.

— Вам отказать! Кто может вам отказать? — вскричала Хозяйка, словно безотказность республиканских руководителей в отношении Бабенышева коренилась в его личном обаянии, а не в том, что он распоряжается всеми промышленными ресурсами.

Можно было не сомневаться — если даже Омар Стихевич принципиальный противник выращивания одного отдельно взятого льва в условиях одной отдельно взятой семьи, он не откажет такому просителю, как Бабенышев.

Все захлопали, а Хозяйка кинулась к Бабенышеву и поцеловала его в лысину.

— Какая женщина! — вскричал Бедуинов и железной рукой, будто клешней, впился мне в колено.

Застолье развалилось. Проблема с Чангом была решена, и у гостей оказалось много частных интересов, не имеющих отношения к главной теме. Бедуинов обцеловывал руки Хозяйке, якобы в порыве благодарности. Приживалки шушукались, хихикая. Фоторепортер перезаряжала «лейку» в мешке. Писательские вдовы пытались вовлечь в свой щебет номенклатурных дам. Бабенышев и Хозяин пошли проведать Чанга. Я потащился за ними.

По мере того как мы подходили к Чангу, шаги непроизвольно замедлялись. Лежащий посреди сада, на солнечной поляночке, лениво и холодно хмурящийся лев внушал трепет. Вдруг из его гривы с захлебистым лаем выскочил Рип. Лев будто лишь сейчас обнаружил наше присутствие и медленно повернул голову.

— Не разорвет? — спросил Бабенышев.

— Ну, что вы! — чуть фальшиво вскинулся Хозяин.— Чанг добрый, Чанг умница! —завел он льстивым голосом.

Бабенышев внимательно поглядел на него.

— Я не о Чанге.

— Ах, Рип!.. Замолчи, негодник!.. Иди к дяде на ручки!..

Рип твякнул на него персонально, презрительно отвернулся и лег между лап Чанга. Моторчик внутри него вырабатывал бесконечное «х-р-р-р!».

Подошла фотокорреспондентка и стала общелкивать нас на фоне Чанга.

Завершился вечер, как полагается, танцами. Бабенышевы убыли, Министр с женой последовал их примеру, и все раскрепостились. Хозяйка поплыла в русской, а Бедуинов носился вокруг нее с фруктовым ножом в руке и хрипло кричал: «Осса!» Он казался себе джигитом.

Урча углубилась в разговор со смазливый администратором киногруппы, который уговаривал взять его в каче-

стве помощника укротителя. Она смеялась русалочьим смехом. Появилось много непонятного народа. Откуда взялись все эти люди? На кухне их, что ли, держали до отъезда чистой публики? Тут были второстепенные киношники из съемочной группы, соседи, недопущенные к столу, просто уличные прохожие, посчитавшие явление льва началом эры вседозволенности. Новые гости вели себя очень раскованно, хватали со стола закуску, дохлебывали водку и вино. Хозяева не возражали. Одержанная победа располагала к благодушию.

Поддавшись общей бесшабашности, Урчата носились по саду, орали, пели, кочевряжились, а за ними с сердитым лаем едва поспевал Рип, которого их поведение явно шокировало.

И величаво, безучастный к человеческим радостям, человеческой корысти, игре бурных и тайных страстей, лежал в солнечном пятне Чанг. И вдруг по сердцу полоснуло: до чего же он беззащитен!..

Помните кинохронику: посещение Н.С.Хрущевым и Н.А.Булганиным английской королевы? Незабываемые кадры! Они были во фраках, при пластронах и в цилиндрах. Кошмар всей жизни Булганина — его дворянское происхождение. Статный по природе и воспитанию, он сутулился, гнул в каких-то любезных до приниженности полупоклонах, ничего не помогало: порода брала свое. Не помогало и то, что по мере его возвышения социальное происхождение угодного Сталину аристократа неуклонно понижалось. Это можно проследить по энциклопедиям и справочникам: сын железнодорожного инженера (на самом деле его отец принадлежал к начальствующему составу) превратился в выходца из рабочей семьи, с намеком, что он увидел свет в депо. Но все равно он оставался слишком отличным от окружающих его лапотных людей и тосковал. Его благообразное лицо было исполнено вечной грусти. И вот пришлось надеть фрак и цилиндр, и порода, неведомо для него самого, поперла наружу. Как шел цилиндр к его

седым волосам и остроконечной бородке, как дивно обтягивал фрак аристократический костяк, как веяло благородством от каждого движения, жеста, поворота. И до чего же неправдоподобно смешон был рядом с ним Никита Сергеевич! Если напялить цилиндр на голую задницу, она не будет столь комична и нелепа, как блинообразная физиономия с оттопыренными и загнутыми полями цилиндра ушами. Остальной структурой Никита Сергеевич напоминал беременного пингвина. Видимо, ощущая свою неполноценность, Хрущев в беседе с английской королевой был поначалу непривычно суетлив и не уверен в себе. Это видно с экрана. А вот что рассказывали очевидцы высокой встречи. Поддавшись, по обыкновению, бесу словоблудия, Никита Сергеевич все время искал поддержки у своего элегантного и столь уместного во дворце спутника.

— Ваше Величество, — говорил Никита Сергеевич, прижимая руки к пластрону, — вот Николай Александрович не даст мне соврать.

— Почему он все время ссылался на этого красивого и молчаливого человека? — удивлялась после аудиенции королева. — Они что там у себя врут на каждом шагу?

Так вот, я воспользуюсь ораторским приемом Никиты Сергеевича: жена не даст мне соврать, что перед уходом из гостеприимного дома я сказал:

— Это добром не кончится.

— Что ты имеешь в виду?

— Не знаю. Но сейчас завязывается что-то ужасное.

— Пить надо меньше, — сказала жена.

Но уже через два дня она вспомнила мои вещие слова. Позвонила Хозяйка дома, где мы гуляли, и сказала рыдая:

— Чанга убили.

...Для временного проживания семьи и льва студия сняла часть пустующей в летние каникулы школы на тихой зеленой улице, неподалеку от «Мосфильма». Льву отвели просторный физкультурный зал на первом этаже, семья разместилась в классах над ним. Это случилось во время

обеда. Потрясение от триумфального вечера, великодушия Бабенышева и дарованных благ не только не прошло, но вылилось в блаженную эйфорию, когда мир становится прекрасен и сказочен, а ночное небо — в алмазах. На обеде присутствовала вся семья и ближайшие друзья из киногруппы. Ждали Хозяйку. Бедуинов то и дело бегал звонить в учительскую. Хозяйка отделялась смутными обещаниями вырваться. Она не любила пьяных застолий, если они не служили великой цели, к тому же догадывалась о кавалерственных намерениях горца и не хотела их поощрять. Слушая хриплый взволнованный голос, она закатывала кукольные глаза и отвечала заманчиво-обещающим, таинственным голосом:

— Стараюсь, Джани, стараюсь...

Вешала трубку и тут же выбрасывала из головы настойчивого кавалера — до нового звонка. Она была неутомима в служении мужу и семье, готова все сделать для Чанга, на чьих упругих ребрах держалось благополучие торгового дома, но не собиралась ради этого принимать ухаживания неистового джигита. Предчувствие беды не проникало в спокойно дышащую грудь. Что бы ей приехать!..

Бедуинов скрипел зубами, возвращался к столу, опустошал рог пенного вина, пел горскую песню о соколе, потерявшем подругу, и тут радость вновь охватывала его не иссушенную долгой унылой жизнью душу, он сажал дочь на закорки и скакал по классу, дразнил жену, продолжающую тихие переговоры со смазливим администратором, метящим во вторые укротители, и праздник звенел дальше.

О льве все забыли. Впервые с тех пор, как маленькое желтое тело, завернутое в одеяло, оказалось в доме. Он всегда был тем центром, вокруг которого вращалась жизнь семьи. Но герои устали от вечного напряжения и устроили перекур.

Чанг лежал в физкультурном зале, дованивающем старой дезинфекцией, ножным потом и летней пылью. Зал был пуст, если не считать сваленных в углу пыльных матов,

шведской стенки и коня с ободранной дерматиновой шкуркой. Лев скучал, иногда чихал от пыли и не мог взять в толк, почему его все покинули, даже верный страж Рип. А бедняге Рипу сказочно повезло, впервые в жизни он получил сахарную косточку, и перед таким даром не устояло его преданное сердце. Жалким зубишкам не совладать было с крепким мослом, но даже притворяться, что ты грызешь, — что может быть упоительнее? И он мусолил, покусывая, кость, скреб ее клычками, волтузил по полу, чуть все зубишки не обломал и был счастлив древним собачьим счастьем. И все же Рип вспомнил о Чанге, выбрался, спотыкаясь, с костью в коридор, чтоб не украли, и со всех ног помчался в физкультурный зал. Чанг лежал спокойно и глядел в окно. Рипа он даже не заметил. Тот вернулся к кости, из последних силенок втащил ее в класс — чувство признательности требовало расправляться с ней на глазах щедрых дарителей.

Чанг мог бы и сам навестить пирующих, но он не выносил запаха спиртного. По этой причине он несколько охладел к Урчам, ведь даже Урчатам давали пригубить сладкой хванчкеры. К тому же он на дух не терпел киношников, даже если от них не пахло сивухой, что случалось редко. Они были слишком шумны и размашисты для сдержанного, воспитанного льва.

Чанг предпочитал одиночество. Пустыня не возвращалась в эти первые тихие дни после отъезда из дома. Пространство зала источало сильные и недружественные запахи, немногочисленные предметы, находившиеся в нем, были чужды и непонятны.

Лев с усилием поднялся, перетерпел короткую боль в крестце, потянулся и подошел к окну.

То, что он увидел оттуда, заинтересовало его: через решетчатую ограду, окружающую школьный участок, перелезал парень в полосатой рубашке. Полосы были продольные — черные и белые; какой-то генетической памятью Чанг вспомнил зебру, которой никогда не видал, поскольку

не посещал ни цирка, ни зоопарка. Полосатый визитер привлек его некой прародностью. Он мотнул головой и ненароком толкнул раму. Окно отворилось.

Парень спрыгнул на землю, присел, огляделся и затрусил по асфальтовой дорожке к диким яблоням, усеянными маленькими твердыми незрелыми яблочками. Чанг вскочил на подоконник и спрыгнул на землю. Никаких враждебных намерений у него не было. Им двигало любопытство. Познакомиться хотелось.

Но сперва познакомимся мы с этим новым антигероем, появившимся в нашем рассказе. Это был студент строительного института. Разумеется, комсомолец. Не москвич. Жил в общежитии. Сейчас находился на каникулах между сенокосом и жатвой. С пустым карманом — выпить не на что. А хорошо бы освежиться холодным пивком в жаркий московский летний день! Но с этим глухо, и он просто шел. Гулял. В голове не ютилось ни одной мысли, пустая емкость гудела. И вдруг он углядел сквозь решетку дикие яблони. Ему ужасно захотелось отведать яблочка. Он знал, что оно будет каменно-твердым и таким кислым, что сведет скулы. В деревенском детстве привык он отряхивать соседские яблони и портить желудок незрелыми плодами. Случалось, и дизентерией расплачивался за свои шалости, но ничто не могло остановить лакомку. Удовольствие от кражи, нарушения закона и уязвления ближнего распространялось на мерзкий продукт.

Он увидел зеленые яблочки, и сразу челюсти затеснило предчувствием кислоты, заурчало в желудке, готовом к отравлению, и пустой тяжелый котел на плечах полегчал — в нем образовались какие-то связи, сцеплялись шестеренки зачаточного мышления.

Как все переменчиво! Шел дореволюционный студент по Москве и нес в себе целый мир. В мире этом рвались бомбы и опрокидывались кареты, залитые кровью сановных супостатов, взвивалось алое знамя над баррикадами, гремели выстрелы, позвякивали кандалы, пуржило над ка-

торжной Владимиркой — дорогой в один конец, звучали Варшавянка, Гаудеамус и «Быстры, как волны, дни нашей жизни», грешное, но милое создание усаживалось за швейную машинку, купленную вскладчину нищими благодетелями в потертых тужурках, Маркс спорил с Гегелем и клал его на лопатки, рвали душу большие строки умирающего Надсона, Шаляпин гремел «Дубинушкой», Рахманинов взвизгивался «Весенними водами», и не перечислить всего, что тревожило, будоражило, терзало, воспаляло и поднимало на подвиг чистую, восторженную, наивную, глубокую и по-молодому глупую, но всегда героическую душу русского студента. А его сверстнику и коллеге эпохи зрелого социализма хотелось лишь наворовать кислых яблок в школьном саду и вознестись орлом над унитазом с оторванной крышкой в страшной, как ад, уборной студенческого общежития.

Он приближался мелкой рысью к своей высокой цели, как вдруг ощутил по холодку в вороватых лопатках, что его преследуют. Он оглянулся, готовый увидеть дворничиху, сторожа-инвалида, дежурную учительницу, пионера, комсомольца, последнее было хуже, ибо грозило мордобитием, а студент, надорвавший в детстве организм бесчисленными расстройками, не отличался ни отвагой, ни бранной силой, итак, он оглянулся и увидел льва.

Он закричал, сперва тихо и тонко, потом душераздирающе и помчался по дорожке, оставляя за собой мокрый след. И Чанг прибавил хода, перешел на мягкие скачки, радуясь неожиданной милой игре.

Тут на арене появляется новый персонаж — носитель рока. Судьбе было угодно, чтобы в эти минуты мимо школьного двора проходил младший лейтенант милицейской службы Глотов, о котором в участке, где он служил, существовало единое мнение: глуп до изумления. Как покажет будущее, сослуживцы глубоко заблуждались. За отсутствие ума они принимали обескураживающую неразвитость, глухое невежество. Кроме устава, приказов и вывесок, Глотов

ничего не читал. В детские годы его обошли стороной даже те книги, которых не минует ни один «хорошо советикус», вроде «Как закалялась сталь» или житийной литературы о Павлике Морозове. Необразованность, невежество ничуть не мешали его неспешному продвижению по службе, искупаемые с лихвой другими достоинствами: он был смирен, аккуратен, исполнительен и до обожания любил начальство. К тому же отличался в тире, его «макарка» бил без промаха. Он долго и трудно добирался до первого офицерского звания, но, получив его, засиял от счастья, как новый гривенник. Больше ему ничего не нужно было от жизни: только бы носить хорошо пригнанную и отутюженную форму, зеркально сверкающие сапоги, выполнять несложные служебные обязанности, по вечерам сидеть в компании за накрытым столом — в одной руке рюмка, другая под юбкой у соседки, а по выходным всаживать пулю в пулю на стрельбище. Жизнь была столь невообразимо прекрасна, что с простодушного лица его не сходила румяная белозубая улыбка, в которой проглядывало даже что-то ужасное, как в гримасе человека, который смеется.

И вот этот счастливый, исполнительный и меткий милиционер увидел льва, преследующего парнишку в полосатой рубашке. Если б он читал, хотя бы просматривал газеты, то наверняка бы догадался, что перед ним знаменитый Чанг, ручной лев и киноактер. Редкий номер «Вечерки» выходил без материалов о Чанге, который сравнялся в популярности с Юрием Гагариным. Шевелись извилины в его безмятежном мозге, он смекнул бы, что по Москве не бегают дикие львы и тем более не выбирают для проживания закрытые школьные двory. Короче говоря, будь у него зачаточное сознание, Чанг остался бы в живых. Но этот милиционер по уровню развития и осведомленности был равен яблочному студенту и, не задумываясь, выполнил свой долг.

Первая пуля попала Чангу в задний проход и пронизала насквозь мягкие ткани, пробив кишечник, желудок, пищевод, уже на излете вышибла слабые зубы и упала с разорванной

губы. То не был мгновенно убивающий выстрел, и Чанг, будто нанизанный на раскаленный шампур, испытал вместе с невыносимой болью изумление, обиду и унижение. Он не знал такого обращения даже в последнее плохое время, за что, за что с ним так?.. Чувствуя, что весь наполняется горячей жидкостью, Чанг обернулся к обидчику, и вторая пуля вошла ему в ухо, разрушив мозг. И тут вернулась пустыня, и чье-то гибкое тело цвета песка метнулось к нему — не опасностью, а спасением. «Мама!» — успел сказать Чанг.

Пирующие услышали выстрелы, но не встревожились, принадлежа инерции праздника. Потом смутное беспокойство толкнуло Урчонка к окну. Он посмотрел вниз, вдаль, налево, словно подчиняясь тайному запрету не смотреть туда, где на асфальтовой дорожке лежал труп Чанга. Но прежде чем отойти от окна, все-таки посмотрел направо.

Они прибежали к убитому льву, не веря в окончательность несчастья, которое невозможно было вместить в душу, еще наполненную радостью и торжеством. Натура человека пластична, но не до такой степени. Налитые коньяком и сухим вином, набитые шашлыками, курятиной в ореховом соусе, луком и фасолью, осоловелые, все еще во власти надежд и проснувшейся жажде греха, в готовности к неизведанным наслаждениям, они не могли поверить, что вифлеемская звезда погасла, едва загоревшись, и не будет чуда, искупления и новой веры, и они отброшены назад, во тьму и рабство духа. На асфальте была кровь и желтые брызги мозга, но безусловные, грубые приметы смерти не убеждали в ее окончательности. Лишь Урчонок зашелся в страшном заикающемся плаче-крике.

А Рип, тряся грязными кудрями, обляял Чанга, последними словами обложил, что тот вздумал так отвратительно притворяться, даже хотел укусить за лапу. И тут правда вошла запахом смерти в его кожаный нос. Он заскулил, упал на брюшко, пополз к Чангу, задние ножки его волочились, как перебитые, добрался до морды, лизнул, дернулся и умер.

Это была первая, но не последняя смерть, вызванная кончиной Чанга.

Непосредственный виновник происшедшего дурак-студент уголовной ответственности не подлежал. Но, боясь, как бы ему не начали клеить дело — лев небось громаднейших денег стоит, — он предпочел смыться. Конечно, его быстро отыскали и впяли пятнадцать суток за хулиганство, предварительно набив морду в отделении. А меткий стрелок не думал бежать, поскольку действовал по уставу и рассчитывал если не на материальную, то на моральную награду. К тому же надо было составить акт. Из этого ничего не вышло. Обезумевшие люди сорвали с него фуражку, оплевали новенький, с иголочки мундир, а мальчишка укусил за ногу, порвав клычком хромовую кожу сапога.

Но эти потери оказались чепухой по сравнению с тем, что его ждало в отделении. Начальник, пожилой, усталый подполковник с седой головой, в отличие от своего подчиненного, газеты читал, знал о радении вокруг одомашненного льва и даже слышал краем уха, что царю зверей цари человеческие оказали высокое покровительство. Он хорошо представлял себе тяжелые последствия метких выстрелов. Затронуты интересы писателей, киношников, телевизионщиков, журналистов, самой кляузной публики. Его старая мудрая бабка говорила: «Не трожь дерьма, оно завоняет». Если же насчет мецената правда, то дело вовсе дрянь. Младшего лейтенанта разжалуют — так ему и надо, его начальнику тоже не сносить головы, но пятно ляжет на всю милицию, на министерство, от этой мысли слабел мочевого пузырь. Подполковник высказал полумертвому от ужаса Гловову все, что он о нем думает:

— Где ты живешь, дубье стоеросовое, кретин-гигант, что, ты не слышал об этом льве? Все газеты трезвонят, радио орет. Хорошо, если тебя, гниду, просто разжалуют. Я буду стараться, чтобы впяли срок. Стрелять любишь, а твоя политическая подготовка где, гад-позорник?.. Сдай оружие и пошел вон. Чтоб до суда я о тебе не слышал.

При всей своей дисциплинированности Глотов не выдержал.

— Как же так? — сказал он на слезе. — Лев человека преследует — и не стрелить?

— А тебе непременно «стрелить» надо? — Начальник пожевал губами. — Ну и стрелял бы в студента. Лев один, а студентов хоть завались.

На другое утро подполковнику приказано было явиться к министру. «Началось!» — сказал себе старый служака и поник седой головой. Он понимал — оправданий нет. Ты вырастил идиота, опасного для общества, теперь расплачивайся. Чего ждать? Отставки? Понижения в должности? Разжалования? Или просто зашлют куда Макара телят не гонял? А с чего ты взял, что министр будет утруждать себя выбором? Тебя и понизят в должности, и разжалуют в майоры или капитаны, и пошлют к черту на рога. Правда, многое зависит от того, в каком настроении встал Щелоков, хорошо ли опохмелился, не получил ли вздрючку от жены. Предсказать ничего нельзя, но готовиться надо к худшему.

За свою долгую и не слишком счастливую службу в милиции — застрял в районном отделении, двадцать лет подполковник — старый служака приучился к смирению. Но когда его машина сворачивала на улицу Огарева, он не удержал горестного всхлеба. Подумать только: да мыслимый ли случай в нашей стране, чтобы на улице стреляли львов? Это войдет в историю мировых курьезов. И обязательно надо, чтобы новоявленный Тартарен, помоечный Хемингуэй, оказался его подчиненным. Уму непостижимо!

Он впервые переступал порог министерского кабинета, но трепета не испытывал, потому что поставил на себе крест. Высоченные потолки, высокие полузащторенные окна, гигантский стол для совещаний, внушительный старинный, на львиных лапах (дурная примета!) письменный стол, кресло с резной прямой спинкой, за креслом опять же огромный портрет Ленина кисти Ильи Глазунова. Подполков-

ник узнал автора не потому, что был знатоком живописи, впрочем, и портрет не имел к ней никакого отношения, он присутствовал в клубе МВД на выпускном вечере милицейской Академии, когда Глазунов передал Щелокову свое творение. Художник стоял на сцене рядом с министром, вытянувшись по стойке «смирно», задрав подбородок, демонстрируя всем обликом отоброшенную бдительность и готовность к подвигам во имя правопорядка.

Между портретом и письменным столом сидел невидный статью, с жеваным лицом и живыми глазами человек в генеральской форме. Его лицо было лишено классово-сословной и профессиональной принадлежности. Обычно смотришь на человека и видишь: из крестьян, из рабочих, из интеллигентов, технар, художник, врач, военный. По внешности министр был ближе всего к сильно зашибающему жэковскому слесарю-калымщику, нечто вполне деклассированное, лишенное всяких корней.

Подполковник представился по форме, даже щелкнул каблуками. Министр не отозвался, не кивнул, не предложил сесть. Его левое ухо было заткнуто черной кнопкой, от которой бежал шнур, исчезая в чуть выдвинутом ящике стола. С минуту длилось молчание, потом Щелоков подвинулся к столу и сказал кому-то незримо:

— Спасибо, Слава. Ты меня духовно поддержал. Как его звать? Сен... Сен-Санс? Понятно. Будь здоров. Не кашляй. Галочке привет.

Щелоков вынул кнопку из уха и кинул ее в стол. Задвинул ящик. На подполковника уставились маленькие едучие глаза в красном обмете.

— Для вас, значит, законов не существует? — сказал он ерническим тоном. — Открытие охоты через три недели.

Так. Моральная пытка началась. Наверное, следовало оценить перл министерского остроумия, но улыбки не получилось. Подполковник вздохнул.

— Что с этим оглоедом?

— Отобрал оружие. А там как суд решит.

— Значит, судить будем? И вся печать раззвонит, какие в милиции некультурные, глупые и жестокие люди? Ни за что ни про что убили беззащитного ручного львенка? Эх, вы!.. Парень — снайпер, ворошиловский стрелок. Меток глаз, тверда рука. Быстрота и решительность. И гуманизм. Спас человеческую жизнь. Вот на таких должны мы равняться. Подписан приказ о награждении старшего лейтенанта Глотова воинской медалью «За отвагу». Завтра сам буду вручать. Приглашены телевидение и пресса. Понял? А тебе спасибо, что вырастил такой кадр.

— Служу Советскому Союзу! — пробормотал в полусознании воспитатель.

На прощание министр поднес ему стопку марочного коньяка и посоветовал:

— Выпиши этому стрелку «Вечернюю Москву». И сам проверь — читает ли. Это дело мы погасили. Но коли он и дальше будет так палить, хлопот не оберешься. К нам черномазые повадились. Глядишь, он президента или премьера дружественной державы за гориллу примет. Мировой скандал.

Существует анекдот — из черного юмора — про одного молодого солдата, который стоял на часах, когда к нему приехала мать из деревни. Он раз предупредил ее, чтобы та не подходила, раз он при исполнении служебных. А она слышать не хотела, ей бы сыночка обнять. Он раз предупредил, два, а на третий выполнил свой боевой долг — уложил старушку. А потом, стоя опять на часах и любовно оглаживая рукавом орден, думал мечтательно: скоро батя приедет.

С Глотовым все было по-другому. Он, конечно, радовался медали, любовно натирал тальком, драил. Сфотографировался с нею. Приобрел ленточку серую с полосками и прикрепил к будничному кителю. Но не стремился к повторению подвига. Он читал «Вечернюю Москву» от передовицы, где остро ставилась проблема дворников, до сообщения в черной рамке о том, что «смерть вырвала». Он долго по отсутствию навыка читал «смерть вырвало». Под-

полковник поначалу, что ни день, гонял его по всем четырем полосам, а потом бросил, поняв, что парень не просто приохотился к чтению, а прямо-таки жить не может без правдивого вечернего слова самого популярного печатного органа столицы.

Для Глотова открылись новые миры, он никогда не предполагал, что жизнь так захватывающе интересна и богата. Сколькo в ней событий, происшествий, зрелищ, необыкновенных людей, сколькo каждый день новых покойников. Оказывается, живешь изо дня в день: служба, стрельба, посидухи, горячее потное женское тело под ладонью, а люди в это время умирают от тяжелых продолжительных болезней, от аварий, катастроф, скоростно и преждевременно, и скорбит жена, дети, родители, близкие друзья и несколько загадочная группа товарищей. А оставшиеся в живых играют в футбол, городки и другие игры, лазают по горам, переплывают океан на щепке, одерживают победы в конкурсах пианистов, скрипачей и певцов, дуются в шахматы и шашки, берут обязательства, борются за звание лучшего, целыми производственными бригадами, лестничными площадками, прилавками подступают к коммунизму, а Израиль тем временем собирается уничтожить арабский мир и все прогрессивное человечество. Последнее стало не на шутку тревожить Глотова. Он попытался отыскать на карте грозного агрессора и не сумел. Страна оказалась тайной, она спряталась, как сыпно-тифозная вошь в бельевых швах, в складках мироздания.

У него обнаружили качества, о которых никто не подозревал, а менее всех он сам: усидчивость, цепкая механическая память — с двух-трех прочтений запоминал номер газеты от корки до корки, железная воля к постижению. Он стал удивлять, а там и утомлять сослуживцев осведомленностью в самых неожиданных и никому не нужных обстоятельствах жизни: мог сообщить, сколько в Москве цветочных магазинов, где находится в столице Угольная площадь, как долго живет муха цеце, зачем казуару нарост на клюве.

Через полгода прилежному Глову разрешили перейти на «Московскую правду», а еще через полгода допустили к «Известиям», «Молодому коммунисту» и шестнадцатой полосе «Литературной газеты» — для веселья. А вскоре Глов ошаршил своего наставника намерением поступить на вечернее отделение юридического института. Даже при всей прилежности, блестящей памяти, терпении Глов не осилил бы высшего образования, но истребителю львов пошли навстречу: он получил диплом. Академия МВД далась ему значительно легче, а там — аспирантура и кандидатская. Защита диссертации «Отстрел хищников в условиях мегаполиса» вылилась в триумф, ему присвоили через ступень звание доктора юридических наук. Ныне профессор, заведующий кафедрой, неоспоримый авторитет в вопросах уголовного права, полковник Глов — желанный гость на страницах крупнейших центральных газет, будущий член-корреспондент и академик.

Вот чем обернулся меткий выстрел: гибель льва подарила отечественной науке новый светлый ум. Не знаю, что важнее для мироздания — лев или милицкий ученый. Хорошо, конечно, когда есть и то, и другое, но если уж выбирать, я предпочитаю льва, мне кажется, он важнее в биологической структуре бытия.

В данном случае рождение ученого было оплачено не только гибелью льва и преданной ему собачонки, но и другими безвинными жизнями — об этом дальше, а также приметной утратой нравственного чувства в обществе.

У нас нет статистики. То есть она есть, но ее нет. А будь она, мы располагали бы ошеломляющими данными о том, как резко пошла вверх кривая преступлений против животных, после того как убийство Чанга возвели в подвиг, а подвиг разрекламировали средствами массовой дезинформации. Вскоре после этого газеты запестрили сообщениями о фактах детской жестокости: поджигали крыс во дворах, ловили кошек на удочку, используя для наживки кусочек сала, ломали собакам хребты стальны-

ми трубами, украли где-то павлина и общипали живьем догола. Особенно страшные случаи открылись мне, когда я познакомился с той негласной статистикой, которую вели друзья домашних животных, позднее объединившиеся в общество по их защите. Приведу лишь один пример. А Подмоскovie тринадцати-четырнадцатилетние шалуны зашили лошади рот. Когда обезумевшее от боли, голода и непонятности случившегося животное наконец поймали, это был скелет с оскаленными зубами, обтянутый лысой шкурой.

Подвиг милиционера потряс юные, не воспитанные в Боге и милосердии души наследников Павлика Морозова. Им захотелось такого же героического, невероятного, кровавого, победного. Но львы редки в Москве да и во всех остальных городах и селениях нашей непостижимой родины. Детишки принялись геройствовать — зверствовать над тем, что под рукой, — над малыми и беззащитными. Тем более что крыса, мечущаяся факелом по двору, — впечатляющее зрелище, а лошадь с зашитым ртом — подавно, а как уморительны изломы перебитых крыльев двух черных лебедей на глади Чистых прудов!

Зло всегда сеет зло, меткий выстрел будущего ученого породил много зла. Сейчас скажу о самом страшном.

И снова мне придется сослаться на жену, как ссылался в Бекингемском дворце на своего благородного меланхоличного спутника распоясавшийся перед королевой донецкий говорун. Жена не даст мне соврать — я предвидел судьбу Бедуиновых. Конечно, не в подробностях — так далеко не заходит в жестокости мое воображение, — но неизбежностью окончательной беды.

Нам принесли фотографии Чанга: и последние, с нашим участием, и сделанные раньше, без нас. На одной из них голые Урчата бежали вместе с Чангом по полю, деля на троих самозабвенную радость.

— Бедный Чанг, бедные дети, бедные люди! — вздохнула над фотографией моя жена.

— Это еще не конец, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Что ты каркаешь?

В голосе прозвучала не свойственная моей жене резкость — я подтолкнул ее мысли к чему-то, о чем ей не хотелось думать.

— Они не угомонились.

— Кто?

— Силы рока, — сказал я дурашливо, не желая и боясь продолжения разговора, который сам же спровоцировал.

На другой день нам предложили стать пайщиками нового льва, которого хотят приобрести вскладчину для Бедуиновых. Вне зависимости от предчувствий, мне этот жест не понравился. Тут не было ни доброты и наивности доморощенного эксперимента, ни порывистости того первого, почти безумного поступка. Надо было заполнить новым львом обещанную жилплощадь, «рафик» и кусок берега. Льва требовали и ненасытный киноэкран, и ящик Пандоры.

— Можно иначе отнестись к этому, — сказала жена. — Ты представляешь, какая пустота образовалась в жизни всех этих людей — и больших, и маленьких? Кошка старая умирает, и то в доме дыра, а тут ушло такое могучее, странное, прекрасное существо, поглощавшее столько чувств, забот, беспокойств, доброты. Психологически их нельзя не понять.

Наверное, это было справедливо и высоко, но я знал про себя что-то ужасное, безобразное, и слова жены меня не тронули.

И все же мы вступили в обладание частицей льва, еще не обретенного, но уже заложенного в ячейку будущего семьи Бедуиновых, льва, которому жить с людьми, принять их правила, характеры, привычки, вписаться в чужой, противный всей сущности дикого зверя обиход.

У Карела Чапека в «Рассказах из обоих карманов» есть новелла о человеке, случайно узнавшем, что будет совершено преступление, скорей всего, убийство. Но доказательств у него нет, к тому же дело происходит в чужезычной

стране и никто его не понимает. Он бессилен воспрепятствовать злу. Я тоже вдруг заговорил на языке, который никто не понимал, даже самые близкие люди. На мое «добром не кончится», никто не попытался помочь мне яснее выразить свою тревогу, задуматься вместе со мной и, может быть, предотвратить неминуемое. Любопытная описка: «неминуемое» нельзя предотвратить, но это слово пришло из подсознания, как все описки, оговорки, стало быть, выражает истинную суть. Выходит, я знаю, что ничего нельзя было сделать.

Новый лев был приобретен. Не помню подробностей, да они и не важны. К этому времени скончался Бедуинов, человек далеко не старый. Отчего он умер? Разве это важно? От инфаркта, от рака. Все эти медицинские названия лишь псевдонимы смерти, которая не любит открывать своих тайн. О человеке до сих пор ничего не известно. Все усилия мирового ума, все золото и бриллианты тратятся на то, как быстрее и вернее покончить с затерявшимся во Вселенной островком, где сотворилось чудо сознания. На остальное нет ни времени, ни средств.

Бедуинов умер, потому что не стало Чанга. В слово «Чанг» в данном случае вкладывается меньше всего от самого льва. Бедуинов относился к нему, живому, довольно хладнокровно, хотя, разумеется, чтит. Но с уходом Чанга оборвалось то великое застолье, о котором он грезил всю жизнь, тот пир, где так полно раскрывалась его душа всем лучшим и самым ярким, что в ней заложено: страстностью, влюбчивостью, безудержностью, способностью к воспарению. Оборвалось грубо и беспощадно, вульгарно и подло: его словно выхватили из-за стола, когда он говорил тост, подняв золотой кубок с пенным вином, и швырнули лицом в кровавую грязь. Новый лев его не вдохновлял. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды усаживаться за один и тот же пир. А другого пира быть не может, поперек всего мироздания лег Чанг, простреленный сквозь зад и ухо. На крови строят храмы, на крови не расстилают скатертей.

Все стало ненужным, прошлое обрезано, в настоящем и будущем пустота. Жить не для чего. И он перестал жить.

Его смерть не была трагедией для семьи. Оплакали пристойно, погоревали, опрятно похоронили и помянули добрым словом. Тем более что новый, хотя и не состоявшийся пока, укротитель заполнил образовавшуюся щель. Потом навалились заботы: привести в дом льва, устроить, наладить с ним отношения. Вскоре к льву присоединили пантеру.

Последнее кажется невероятным. У меня на даче одно время оказались вместе борзая — сука и карликовая такса — кобелек — Дара и Кузик. Нам казалось, что мизерность кавалера перед рослой дамой, к тому же почтенный его возраст гарантируют Дару от матримониальных посягательств. Какой там! Старый малыш чуть не разнес дом, когда сука запустовала, потом его скрючило в вопросительный знак, а Дара была на всю округу. Пришлось срочно везти Кузика в Москву и держать там, пока опасный период не минует.

На что рассчитывала Урча с ее новым советником? А ни на что. О нем забудем, он бездействующее лицо. А Урча и ее дети — они тоже участвовали, бедняжки, своей тоской, нервозностью, неприкаянностью, потерянностью в ее решении — слепо выполнили предназначения рока.

Едва ли можно сейчас реставрировать то, что происходило в душах этих обреченных. Ведь так очевидно то, чего нельзя было делать, а делалось на глазах десятков, сотен людей, да что там — на глазах всего города, всей страны. Никто пальцем не шевельнул, чтобы остановить смертельный номер без страшующих средств. Конечно, подобное могло случиться только у нас, ибо нигде в мире нет такой безответственности, наплеваательства на собственную и чужую жизнь и, добавлю, такого незнания мелких административных правил, — попробуйте поселить у себя брата или сестру без прописки, старую тетку из провинции, да с вас шкуру спустят, но «уплотнить» льва пантерой — сколько угодно. Достаточно знать, что «наверху» не возражают.

И не могу я винить ту, которая всех виноватей — Урчу, она не могла иначе. Опустевшее после Чанга пространство (не только физическое, но и моральное) было так велико, что его не заполнить другим львом. Требовалось нечто большее. Кроме того, Чанга вырастили в условиях куда худших, зачем же повторять опыт в облегченном варианте? Это не даст навара, никого не поразит, не взволнует. И куда новому льву тягаться с Чангом — всенародным любимцем? Но выйти на сцену с двумя прирученными хищниками — так можно опять «привлечь любовь пространства, услышать будущего зов».

Времени на эксперимент, как оказалось, было отпущено ровно столько, чтобы хищники подросли и пантера запустовала.

Она забралась на шкаф и рычала, обнажая красную пасть, более свирепую, чем у льва, тигра или леопарда. А лев ходил по комнате из угла в угол, задевая стулья, что-то роняя, опрокидывая, на поворотах разевал пасть, с которой текла тягучая слюна. Порой из его утробы вырывался задушенный хрип Урча и Урчонок пытались его вразумить, говорили успокоительные, ласковые слова, он не поддавался на добро. Они принялись укорять его — Урча не повышая голоса, Урчонок — он же был мужчина — покрикивая.

Лев не обращал на них внимания, возбуждение его все усиливалось. Но мать и сын настолько привыкли к покорности своих четвероногих сожителей, что не испытывали тревоги.

Лев сменил курс, стал ходить не по диагонали, а от двери к шкафу, на котором лежала пантера. Поворачиваясь он толкал шкаф плечом, пантера рычала, срываясь на визг Льва пронизывала тугая дрожь.

— Прекрати! — крикнул Урчонок. — На место!

Лев угрюмо посмотрел на него, подошел к шкафу и стал тереться боком. Шкаф закачался. Пантера приподнялась, выгнула спину и низко-низко, из чрева, зарычала. Казалось, она сейчас прыгнет.

— Пошел вон! — Урчонок кинулся к льву и вцепился в гриву.

Лев тряхнул головой, Урчонок упал на пол, громадная лапа опустилась ему на спину и переломила хребет, как сухую тростинку. Урча страшно закричала и бросилась к своему переломленному надвое детенышу. Львиные когти вцепились ей в волосы и рывком сняли скальп. Она рухнула рядом с сыном — окровавленным черепом на его сломанную спинку.

Девочка уцелела (физически), она играла в классы во дворе.

Так закончился этот единственный в своем роде эксперимент, проведенный с чисто русской бесшабашностью и советским алчным азартом. Мог ли быть другой конец? По-моему, нет. Чанг был обречен, в нем перестали видеть льва, а он им оставался — и для себя самого, и для окружающих. Стало быть, рано или поздно должен был возникнуть Глотов — человек с пистолетом. А коли так, неизбежно было появление нового льва в зоне повышенной опасности и пониженного инстинкта самосохранения.

И на Западе с дикими животными играют в опасные игры, видимо, того требует неизбывное стремление человека познать бессловесный мир, который куда старше заговорившего мира, заглянуть в тайное тайных природы и тем приблизиться к собственной омороченной сути, только делается это совсем иначе: на основе знаний, расчетов, с привлечением науки, специалистов, что сводит риск к минимуму. К тому же эксперимент проводится в щедрых природных условиях, а не в коммунальной квартире. Зверь обеспечивается всем необходимым: от питания до лекарств и квалифицированного ухода, он не живет за счет старых большевиков и подачек власть имущих.

Мы обречены на кустарщину и убожество во всем, чем бы мы ни занимались. Так что же, нам лучше не соваться? А ведь и на Западе иные люди, которым в отличие от нас есть что терять: прекрасно обеспеченные, кормленые, хо-

рошо промытые, разодетые, веселые от избытка благ, пускаются через океан в ореховой скорлупке, лезут на смертельно опасные десятитысячники, задыхаются в извилистых ходах пещер, летают чуть ли не на помеле над ущельями, прыгают с высоченных скал в пучину, одолевают впасть реки, кишасшие крокодилами и пираньями, и все это не корысти и славы ради — об их подвигах зачастую никто не знает, а и знают, это не приносит ни денег, ни наград, ни почестей, ни даже долгой известности. Отважный, самоотверженный мореходец Бомбар после своих невероятных подвигов, всеми забытый и брошенный, пытался покончить самоубийством. Нет, жизнь ставится на карту в неистребимой жажде познания и самопознания, в стремлении утвердить человеческое в человеке. Бескорыстием подвига искупается привилегия быть человеком на земле.

В этом ряду стоит поступок Бедуиновых, взявшихся вырастить льва в таких условиях, в каких, по западным меркам, и самому-то не просто выжить. И потому слава им, они оплатили собственной кровью деяние мужества и доброты.

К сожалению, есть и другое, коренящееся в нашем бедственном существовании, в слепом желании урвать свой ошметок счастья. И нищие Бедуиновы не устояли перед соблазнами мира сего. Но кто осмелится кинуть в них камень?

Лишь милицейский фрейшютц вышел из этой истории с прибылью. Помните сказку о храбром портняжке, который уложил семерых одним махом? Но то были мухи, а тут люди и звери. Дорогой ценой оплачен научный взлет. Впрочем, сам ученый не виноват, он-то хотел как лучше.

Не нам судить Бедуиновых. Да не избудутся рискующие и гибнущие люди. Без них не выжить человечеству.

А льва жалко.

ПЛОДЫ НЕПРОСВЕЩЕННОСТИ

Сергей Есенин любовно назвал животных нашими меньшими братьями.

И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Это гуманно и очень поэтично. Но едва ли верно. Знаменитый автор «Моби Дика», классик американской литературы Г. Мелвилл сказал о животных куда мудрее: «Животные не меньшие братья наши, они — иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени. Такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий».

Если устанавливать наше родство с животными, то они даже не старшие наши братья, а отцы, ведь они много раньше нас появились на земле, мы возникли из них. Если, конечно, верить дарвинскому представлению о происхождении человека, а не библейскому. Но и в Священном Писании сказано, что человека Бог сотворил в последнюю очередь, несколько подыстратив, надо полагать, творческую силу. В день пятый Он создал рыб, земноводных, пресмыкающихся, в день шестой по сотворении всех зверей, скотов (домашних животных), всех гадов земных, а напоследок Он слепил из грязи худшего из гадов — человека.

Животные мудрее и выше нас нравственно. Многие звери, как и люди, не принадлежат к вегетарианцам, но в отличие от человека никогда не убивают без нужды. Они убивают только из голода и самозащиты. Я сам видел в Кении антилоп, которые спокойно паслись возле сытого львиного семейства. Там же видел я, как на утренний водо-

пой приходят, соблюдая строгую очередность, хотя и без чернильных номеров на лапе или копыте, сперва самые мелкие существа, потом козы, косули, потом антилопы, жирафы, зебры, наконец хищники (лев — последним), а завершается водопой шумным явлением слонов. Будь на месте ягуаров и леопардов человек черта с два попили бы тут водичку вкусные козы и рогоносительницы антилопы. Человек равно легко убивает и для пропитания, и для развлечения, от скушающего и невоспитанного сердца, убивает впрок и всегда с избытком. Я не встречал среди своих соотечественников охотника, который уложился бы в норму отстрела. Животные-мясоеды в отличие от человека не делают запасов, не знают и бескорыстной ненависти к чужому существованию, расовой, религиозной розни, зависти и потому не губят живое зря. Они участники мудрого круговорота жизни, а не палачи его. Нравственный уровень мудрой общины животных куда выше, нежели человеческого общества.

Люди и вообще дурно ведут себя в естественном мире, но хуже всего ведет себя то человекообразное, которое мы сами называем «совком». Наше (совковое) отношение к животным — часть того губительства природы, которым мы занимаемся уже более семидесяти лет. К природе у нас такое же отношение, как к культуре. Проблемы, связанные с природой и культурой, мы вечно оставляли на «потом» — когда будет решена главная задача: построение светлого будущего. Исчерпывающе выразил большевистскую точку зрения на природу простодушный Никита Сергеевич: «Сперва построим коммунизм, потом будем думать о защите природы». Ему и в голову не вспало, что с уничтожением природы негде будет строить то, о чем договаривались.

Последние десятилетия у нас чехарда власти, до чего же разные люди занимали трон: Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Сейчас, как во дни молодого Петра, трон, похоже, на двоих. Но есть нечто роднящее всех этих несхожих и неравноценных деятелей: поразительное

равнодушные к природе и участи животных. Даже когда во дни Горбачева возникла официальная организация — Общество защиты животных, положение не изменилось. Мы не получили ни одного ответа на наши просьбы-заявления-мольбы ни от Михаила Сергеевича, ни от Бориса Николаевича, ни от их верных (и не очень верных) сподвижников. Добавим сюда и первую леди. Мы-то думали, что Раиса Максимовна окажется по-женски мягче, доступнее, отзывчивей, нас ободряли ее культуртрегерские жесты, но в ответ — глухое молчание.

А вот царский дом был первым защитником зверья. Великий князь Дмитрий Константинович Романов осенил августейшим вниманием и заботой журнал Российского общества покровительства животным «Вестник». Мы же тщетно ищем мецената для нашей хорошей и бедной газеты «Зов». Наш призыв к милосердию остается гласом, вопиющим в пустыне. Ни одно августейшее лицо от Стерлигова до Горбачевых не склоняется к нашей мольбе. У «Алисы» символ — собака с такой вот кличкой, приبلудившая к финансовому колоссу. Но богачи ведут себя так, будто всех денег им хватает лишь на одну дворняжку. Нехорошо, господа хорошие, брали бы пример с дома Романовых и с русских купцов-меценатов, им доставало душевных сил и времени на прямое свое дело и на помощь культуре, природе, на защиту всей той слабой жизни, которой самой не продержаться в железном мире, созданном оторвавшимся от животворных корней природы человеком.

Причиной же тому — неинтеллигентность. Можно не говорить об интеллигентности Романовых, но и русская буржуазия к двадцатому веку состояла из высоко интеллигентных людей, и советские правители и толстосумы — из другой команды. В этом главная — роковая причина перманентной российской трагедии последнего семидесятилетия: кто бы ни приходил к власти (политической, государственной, финансовой, даже «культурной») — это всё в лучшем случае образованцы, но никак не интеллигенты, в

худшем — нищие духом, но не те, которых ждет царство небесное. С их круга нет общего языка с птицами, зверями, Моцартом, Ликонтом де Лилем и Врубелем. Сказанное полностью относится к нашим банкирам и предпринимателям, даже еврейского происхождения, хотя в народе бытует мнение, что каждый еврей — гнилой интеллигент. Нет, и среди них не сыщешь ни барона Ротшильда, ни барона Гинцбурга, отзывавшихся голосу флейты и голосу жаворонка.

Но вопреки умному и тонкому утверждению академика Лихачева, что интеллигентом нельзя притвориться, в данном, конкретном случае притвориться все-таки надо. Ну, через не могу, напрягитесь, отцы, сделайте вид, что вы сочувствуете природе и ее бессловесным насельникам. Конечно, коли не дано от рождения, не включено в наследственный код, так же трудно поверить в самоценность природы, как в необходимость культуры или в неконтролируемый рынок. Но надо, надо, милостивцы, иначе мы все погибнем. Давайте поговорим об этом чисто прагматически, практически, оставив на время в стороне все высокие материи, непонятные для партийной ментальности гуманистические аргументы.

Сколько уже говорилось, кричалось, вопилось о вредности белково-витаминного концентрата БВК, о том, что надо немедленно запретить его производство. Он в основе своей канцерогенен, смертельно вреден и для животного, и для человека. В Италии провели исчерпывающие исследования, от БВК гибли десятимесячные поросята, получив интоксикацию и цирроз печени. Но БВК дает привес — 1,5 кг живого веса (именно столько весит раковая опухоль), и разве откажутся наши радетельные хозяйственники от такой выгоды. И тридцать пять заводов энергично производят раковый препарат, и еще десять собираются ввести в строй в ближайшее время.

И пусть не утверждают наши холуйствующие перед властью ученые, что при кулинарной обработке БВК теря-

ет свои канцерогенные свойства. Весь мир знает, что это бессовестная ложь. Мы кормим зараженным мясом страну (хорошо еще, что у нас столько безмясных районов — целее будут!) и занимаем первое место в мире по раковым заболеваниям. Правда, некоторые соседние страны покупали у нас БВК, скармливали его скоту, но сами это мясо не ели, а продавали нам же или другим незаможным. По воссоединению Германии там полностью отказались от гедезровского мяса по причине все того же БВК. А мы это мясо приобрели за бесценок, о чем радостно сообщила программа «Время», на погибель своему терпеливому, бессловесному, полуголодному народу. В нашем неопишемом глобальном вранье рак занимает одно из первых мест, ведь и чернобыльское очковтирательство тесно связано с проблемой рака.

Молоко от наших коров начисто не соответствует мировым стандартам. Ни одна страна не отважится поить таким молоком своих граждан, особенно детей. Оно несет в своей микрофлоре все заболевания, которые заложены в пище, получаемой скотом с отравленной химией земли. Сыры производить мы уже не можем — молочное поголовье крупного рогатого скота хронически больно маститом.

В грязных, с провалившимися крышами и разрушенными, открытыми всем ветрам стенами хлевах стоят некормленные и непоенные коровы. По брюхо в навозной жиже, нередко подвешенные на вожжах или цепях, в невероятных муках, из последних силенок несут они свою службу неблагодарным хозяевам. Боже мой, и это наши Буренушки, слава России, гордость и нежность крестьянского двора!

Давно скомпромитирована политика огромных откормочных комплексов, цивилизованные страны переходят на пастбищное содержание скота. Корове, находящейся постоянно в стойле, трудно, порой невозможно разродиться. Огромный теленок, выросший в матери на подкормке, не может выйти на свет. Его разрезают на части в чреве мате-

ри, вслед за тем идет под нож роженица. На пастбище животное находится в постоянном движении, и плод развивается нормально, но где они — пастбища?..

Самое страшное — бойни. Неправда, что у животного нет страха смерти, что это — высокая и ужасная привилегия человека, за что ему много прощается. Сколько мужественных вздохов исторгли мыслители над участью единственного существа во Вселенной, которому дано знать, что он смертен*.

Да, животные не обременены этим знанием, что делает их участь светлее и чище, но близость смерти они чувствуют безошибочно. Когда корову гонят на убой, а путь этот долог, по милой покорной морде катятся слезы. Она знает, что обречена, самый воздух напоен кровью и смертью. В организме пораженного ужасом животного происходят мощные химические процессы, вырабатываются гормоны страха и попадают в будущее мясо, а с ним в желудок человека.

Пойдите на бойню, вы физически ощутите тот кошмар, которым чревата неотвратимая неопрятная и жесткая смерть. Даже тупые, лишённые нервов «забойщики» выдерживают на бойне от силы два-три года. Представля-

* В последнее время мне приходит на мысль, что советские люди среди прочих потерь лишились и страха смерти. Смотрите, с какой легкостью у нас объявляют голодовку (крайняя, отчаянная мера протеста на Западе), которая, правда, мало чем отличается от обычного дневного рациона. Все рвутся в драку: мужчины, женщины, дети и лишь делают вид, что возмущены льющейся повсеместно кровью. И мы не хотим пальцем пошевелить, чтобы выйти из губительного экономического провала. Пусть иностранцы голову ломают, наше дело сторона. И на похищенный в дни путча атомный ящик никто внимания не обратил, хотя весь мир задним числом трясется от ужаса — планета была на шаг от термоядерной катастрофы. Грядущий голод тоже никого не волнует, в поле на уборку вышли только подневольные армейцы. По ночам небо пронизается апокалипсическим багрецом, воздух тяжел, как в склепе, а нам всё до лампочки (Ильича), и слезинкой не затуманится наш очумелый и равнодушный взор.

ете, чем светятся смиренные глаза животных, если это не по силам сверхвыносливым совкам!

Мы единственная страна в Европе, не подписавшая Страсбургскую конвенцию 1959 года о безболезненном забое домашних животных.

Ребячество аргументировать это финансовыми затруднениями. Мы спокойно пускаем на ветер миллионы, но становимся по гарпогоньи скупы, когда дело касается гуманитарных целей. У нас никогда нет денег на культуру, книгоиздательство, охрану природы, помощь больным и брошенным детям. Мы органически неспособны осознать свое варварство. Мы искренне не понимаем, зачем тратить усилия, а главное, деньги, чтобы животные не мучились, когда их убивают. И ведь нельзя этого доказать, этические ценности не укладываются в логические схемы. Тысячу раз прав Рональд Рейган, назвавший нас: «империя зла». Мы так успешно взрастили в себе дух жестокости, что нас не останавливает и тот вред, который мы причиняем сами себе. Садистское убийство сжигает душу.

Помните страшный роман Герберта Уэллса «Тайна острова доктора Моро» — о вивисекции? Наши отечественные научные живорезы оставили далеко позади злодейства вымышленного романного персонажа. Девяносто процентов опытов над животными делаются не ради науки, а ради бумажки — диплома, звания кандидата или доктора. Цели беспощадных опытов, в основном мнимые, очень широки: радиология, биология, физика, химия, даже косметика, различные военные программы.

«Опыты» могут длиться месяцами, пока смерть не избавит несчастное животное от непрерывных, да и ненужных мук. Собаки от сумасшедшей боли съедают себе лапы, кошки в конвульсиях выбрасываются за перегородки клеток, обезьяны исцарапывают, растерзывают собственное тело или убивают друг дружку. Наивный Альберт Швейцер в своем завещании писал: «Бессловесное существо способно страдать так же, как и мы. Истинная глубокая чело-

вечность не позволяет нам переносить их страдания». Это вам, а нам — ох как позволяет! Побывайте в наших вивариях!..

В мировой науке давно пришли к убеждению, что организмы других божьих созданий не идентичны человеческому, идет массовая замена животных в эксперименте на так называемые культуральные методы исследования «ин витро». Мы же знай себе кромсаем живое существо «по Павлову». И самое отвратительное: почти всегда делаем это без обезболивающих средств. Из экономии и равнодушия. На обездвиживающие средства мы, правда, раскошелываемся — нервно-парализующий яд имеет побочное свойство надолго сохранять ощущение боли.

Ведь не человека же кромсаем, чего тут нежности разводить! А если и человека, подумаешь, барин!..

Пилим, дробим, раскалываем молотком живую кость под взглядом живых страдающих глаз, копошимся в мозге, мышцах, внутренних органах, рвем, удаляем, ломаем, обжигаем огнем, током, а для того, чтобы крики животных не мешали «работать», перерезаем голосовые связки. И все это бесстыдно называем НАУКОЙ.

В высших и средних медицинских, ветеринарных, биологических и пр. заведениях убивают кошек и собак только для того, чтобы студент мог посмотреть, что там у них внутри. С той же целью маленький пытливым Володя Ульянов потрошил свои игрушки. Став взрослым, Володя потрошил людей — во имя научного коммунизма. Ох, уж эта наука! Не лучше ли обеспечить учебные заведения муляжами животных. За границей давно так поступают и не в ущерб медицине. Диплом советского медика, обученного на живых существах, за границей не признают.

Сознание своей преступности, несомненно, присутствует у работников вивариев. Наше Общество хотело произвести кино съемки в этих очажках отечественной науки, но попасть туда оказалось труднее, чем в хранилище плутония. Значит, там понимают, что занимаются недозволени-

ным. Бесплезная жестокость вторжения в живой организм другого существа — это самый настоящий садизм. В будущих врачах и медицинских сестрах мы воспитываем безжалостность, доходящую до изуверства. Разве можно от них требовать сострадания к больному человеку? Они выращены на жестокости.

Побывайте в зверосовхозах. Нельзя без слез смотреть на хилые, недоразвитые существа, зреющие для того, чтобы с них живьем содрали шкуру. По сведениям нашего Общества нет в стране зверосовхоза, где бы этот бесчеловечный метод был под запретом.

Гордость России — коневодство. Где вы — знаменитые орловские рысаки, где битюги-тяжеловозы? Вас сохранились единицы, но нет прежних статей и нет былой стати. Мясо легендарных ахалтекинцев продается за границу по демпинговым ценам. Продаются и живьем сказочных красавцев, созданных для пышных парадов и яростных скачек, за крохи валюты, бесцельно вываливающейся из дырявого кармана.

При нашем Обществе есть приют для лошадей. Мы содержим его полностью. Но мы даже не бедняки, мы — нищие, и у нас хватает средств лишь на шесть отработавших свое лошадок. Этим бедолагам с грустными глазами сказочно повезло, их не забил на другой день после «выхода на пенсию». В США таких убежищ шестьсот тысяч. Всё ясно?

Мощно расцвел кустарный промысел: шапки из собачьего меха. Я не обращаю к тем, кто обдирает, нередко живьем, наших четвероногих друзей, чтобы сшить уродливую шапку, их ничем не проймешь, это отбросы человечества. Но покупающие эти шапки пусть вспомнят, что сородич убиенных Анчар на Афганской войне отыскал и тем помог обезопасить восемьсот(!) мин. Он чудом остался жив. По словам воинов-афганцев одна мина способна унести жизнь пятнадцати человек. Подумайте об этом. Вы, носящие собачьи шапки, может быть, Анчар спас вашего сына, брата, друга, соседа, а у вас шапка из его родича на башке.

Нужен новый памятник собаке, не павловскому страдальцу, а герою и спасителю Анчару, но лучшим памятником его подвигу было бы запрещение на пошив собачьих шапок. Стыдно, господа! Возвращаете старые названия улицам, площадям, городам, становитесь санктпетербуржцами, нижегородцами, екатеринбуржцами, вятчичами, так верните себе и мораль былых насельников этих славных городов. Санктпетербуржец в собачьей шапке не заслуживает даже звания ленинградца. Следуйте примеру прославленной Брижит Бардо, она обходится искусственными мехами.

Не так давно прошла кампания против строительства в Москве, в лесном массиве Битца, зоопарка. Можно ли нам сейчас, при нашем больном обществе громоздить новые темницы для зверья?

В декабре прошлого года на 125-летие со дня основания Российского императорского общества покровительства животным приезжали официальные представители международного движения в защиту животных во главе с президентом Всемирного общества защиты животных г-ном Г.Стайнером. В программе встречи предусматривалось посещение Московского зоопарка. Увидев его «прелести», иные представители, закрыв лицо руками, пустились наутек, другие заплакали. Оросилось слезами и мужественное лицо президента. Он предложил отпустить всех животных на волю. По его просьбе оплаченная экскурсия была прекращена через семь минут после ее начала. Г. Стайнер сказал, что более варварского места на земле, чем Московский зоопарк, он не видел, а ведь мы считаем этот зверинец лучшим в стране.

Не сумев создать человеческие условия для себя самих, мы с успехом создали зверьево́й ад: в центре загазованного города мучаются тысячи ни в чем не повинных существ. Обреченные на вечный плен, сосущий полуголод, оглушительный шум и тяжкий смог, они томятся предсмертным трепетанием, чтобы взрослый совок привел маленького полюбоваться на их муки и поучиться жестокости. Нам

уже сейчас не на что содержать несчастное, униженное, обворованное зверье, а будет еще хуже. Так, может, совершим благородный жест и попросим цивилизованные, сытые, обеспеченные, милосердные страны принять к себе страдальцев? Да ведь не пойдём мы на это, у нас, советских, своя гордость — убить, но не отдать.

А жестокость нашего цирка! Вам никогда не приходило в голову, как готовят к выходу на арену циркового тигра, медведя или бегемота? Чтобы не случилось конфуза на глазах восхищенных зрителей, их бьют железным тросом по задним лапам. Бьют до тех пор, пока животное от нестерпимой боли не освободит кишечник и мочевой пузырь. Теперь оно готово для праздника. И так поступают до тех пор, пока не закрепится рефлекс на трос. И животные будут справлять нужду от одного вида источника жгучей боли.

А как хорошо выглядит по сравнению с нами старая Россия! Первыми создали организации по защите животных пять ведущих европейских стран, в числе их — наша Родина. Государи пеклись о благе народа, стараясь воспитать в людях истинную доброту. Они понимали, откуда берется человеческая жестокость, и пытались это предотвратить, воспитывая в людях доброе отношение к слабым мира сего, к зависимым от человека. Задолго до Сент-Экзюпери в России знали, что нельзя предавать тех, кого ты приручил. Давно известно, что львиный процент преступников-рецидивистов отличался в детстве жестоким обращением с животными. Вот один маленький пример государственного внимания к зверям. При Александре III был издан указ, запрещающий водить медведей на народные гулянья, ибо это расценивалось как издевательство над исконным насельником русского леса. Вот как признавалось и уважалось зверьево достоинство! А сейчас на старом Арбате то и дело в толчее шумной, галдящей, крепко приправленной сивухой толпы мелькают бедные ополоумевшие мишки. На Комсомольской площади недавно появился живой олень для желающих сделать экзотическую фот-

ку. Не лучше ли обходиться фанерным Президентом, как на углу Нового Арбата.

Мы стали шумно хвастаться своим собаководством, устраиваем выставки, щедро раздаем медали, объявляем чемпионов породы, недавно собачьи бега завели, то и дело доносится с экрана милый лай четвероного друга. Но за этим блеском и треском скрывается глубокое неблагополучие. Есть серьезное опасение, что мы уничтожили золотой генофонд отечественных пород. Ветеринары в один голос утверждают, что поголовье собак стало значительно слабее. Никто из новых собаководов не заботится по-настоящему о физическом состоянии будущего потомства. Коммерческие цели возобладали над всеми остальными. Собаки для оборотистых людей стали средством обогащения. Вяжут собак больных наследственно переносимыми болезнями, вяжут без плана и толка, истощая животных, лишь бы заработать побольше. Благо породистые собаки сейчас в цене, особенно со сторожевыми навыками. Богатые нувориши невероятно взвинтили цену на собак редких и «престижных» пород: ротвейлеров, бультерьеров, афганских борзых, ризеншнауцеров, сенбернаров. Вот бы куда смотреть нашим бдительным финансовым органам, а не взваливать на Всесоюзное общество защиты животных удушающий его 35% налог. Беспрецедентная акция — во всем мире организации милосердия налогообложению не подлежат. Не так-то легко предотвратить бум по наживе на собаках и кошках, но обладай наше Общество соответствующими правами, мы бы с этой проблемой справились. Царское правительство в свое время придало Российскому обществу покровительства животным статус государственной организации, наделив его соответствующими правами. В указе деятельность Общества расценивалась как весьма полезная для государства, воспитывающая в людях «доброту и благонаравие». Как этого не хватает советским людям, особенно благонаравия! Светлому разуму Государя и его интеллигентных помощников была очевидна высокая нравственная

миссия Общества, жалко, что сходная мысль никак не может пробиться в чугунные головы наших правителей. Неинтеллигентность — это восьмой смертный грех.

Наше Общество обладает четкой структурой с президентом и президиумом во главе, но непрочное его существование длится яростным упорством, добротой и самоотверженностью одного человека — Веры Ивановны Максимовой. Если б не она, не было бы ни милосердных акций, ни подвального помещения, где мы ютимся, ни доброй газеты «Зов», которую никто не хочет печатать. Но сейчас я вспомнил о ней по другому поводу. Вера Ивановна рассказала мне такую историю. На одной из московских улиц она увидела печальные глаза огромного прекрасного сенбернара. Седой и старый, он лежал на тротуаре, провожая безнадежным взглядом прохожих. Она взяла его к себе. Лечила, выхаживала. Дала объявление по ТВ. Как выяснилось, он пролежал на улице под дождем две недели, и не нашлось доброй души, которая бы его приютила или хотя бы накормила. Хозяин откликнулся через полгода и приехал за Байкалом, так звали собаку. Вера Ивановна не может себе простить, что отдала собаку этому подонку.

Байкал был хорошо известен в собаководческом клубе, и хозяин забрал его, опасаясь скандала. Но когда шум затих, он поспешил избавиться от Байкала. Этот человек годы и годы безбожно эксплуатировал пса, не щадя вязал его направо и налево и крепко нажился на этом. В восемь лет Байкала сняли с разведения, пес стал не нужен, вон его! Когда же «гуманный» способ избавиться от нахлебника не выгорел, его просто отравили.

В цивилизованных странах выбрасывание животных считается преступлением, для верующих — это грех перед Господом. Сегодня европейцы бегут из охваченного пожаром очередной африканской заваруки Заира. Двумя самолетами в соседнюю Кению вывезли домашних животных. Им предоставлено там убежище до того времени, когда хозяева смогут их забрать. Так ведут себя нравственные

люди. Но чем прошибить совка? Рано или поздно каждому воздается по делам его. Вы и думать забыли, что когда-то выбросили собачонку или кошку, которую сами же принесли в дом на радость своему малышу, а затем, испугавшись грязи или пожалев скудных харчишек, выдворили под горестный плач. Детские слезы не солонь — верно, думали вы. Отплачется и забудет. Он отплакался, но ничего не забыл. Эта память ушла из рассудка, но претворилась в оскудение сердца. Оно не дрогнуло, когда сынок отправлял вас, беспомощную старушку, в кошмар советской богадельни. Как аукнулось, так откликнулось.

Нам привычно химерами будущего оправдывать нынешние преступления. Но никогда еще завтрашние страхи не пробуждали сегодняшней осторожности. Напрасно, небереженность детской доброты оборачивается бездушием взрослого человека.

Это все гуманное нытье. Нужен закон о наказании за жестокое обращение с животными, в защиту которых ни разу не прозвучал голос на парламентских говорильнях. Указ от 1988 года бездействует, по нему не привлечешь к ответу никакого изувера. Только не надо говорить, что сейчас другие заботы туманят нам голову. Нет заботы важнее. Защитить животных, значит защитить себя, спасти в себе Человека. А то будет поздно.

Однажды на трибуну съезда вышел А.В.Яблоков, председатель Московского общества защиты животных. Как ёкнуло наше коллективное сердце: уж он-то скажет веское слово о необходимости защиты животных на государственном уровне. Он этого не сделал, даже не заикнулся. Оробел, видать, под свинцовым взглядом аудитории. Говорить таким о жалости к зверью — все равно что обращать людоедов в толстовство.

Зато Яблоков, будучи заместителем председателя Комиссии по экологии ВС СССР, вскоре поддержал безобразный документ Госприроды за подписью помпезного и равнодушного чиновника Н.Воронцова, направленный против

Всесоюзного общества защиты животных. Мне кажется, этот поступок заслуживает занесения в книгу Гиннеса как мировой рекорд двуличия.

Когда-то Эмиль Золя бросил в лицо сильным своей страны знаменитое: я обвиняю. Последую примеру отважного француза и скажу те же слова двум нашим Президентам — Союза и Республики.

Я обвиняю вас в том, что вы предали «иные народы» — домашних и диких животных.

Я обвиняю вас в том, что в нашей стране, единственной в Европе, нет Закона о защите бессловесных существ.

Я обвиняю вас в том, что созданное не по вашей воле, а вопреки вам Общество защиты животных душат налогом, вместо того чтобы облегчать его насущно нужную, для народа деятельность.

Я обвиняю вас в том, что гибнет единственная на всю страну газета «Зов» и никто пальцем не шевельнет, чтобы ее спасти.

Я обвиняю вас в том, что непрекращением жестокости по отношению к животным вы способствуете разложению человеческих душ.

Боюсь, что все это пустая риторика. Нашим политикам введомы лишь «одна, но пламенная страсть» — борьба за власть. Иные проблемы их мало волнуют.

Юрий Нагибин,
член правления
Всесоюзного общества защиты животных

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

БЫЛЬ

Выбирать -- брать любое из многого.

Толковый словарь В. Даля

При Сталине был порядок.

Таксистский фольклор

Я проснулся с непонятным ощущением счастья. Оно возникло, едва я открыл глаза, и не оставляло меня в те следующие минуты, когда я расставался с обрывком какого-то сна, выпрастывался из-под большого тела жены, придавившего меня, как осторожно рухнувшая горячая печь, тянулся за папиросами, прикуривал от спички и делал первую дурманную затяжку. Оно было таким долгим, это ощущение, что я начал верить ему, быть может, у меня и в самом деле есть причина для счастья? Я не принадлежу к людям, способным быть беспричинно счастливыми. Мне всегда нужен внешний толчок, пусть самый легкий: взгляд, жест, надежда на выпивку, избавление от неприятного делового разговора, предвкушение близости хотя бы с собственной женой. Взгляда и жеста не было, надежды на выпивку — никакой, деловой разговор по воскресному дню не грозил, близость исключалась. Мы много обнимались ночью, я был пуст и легок. Мы жили с Лелей уже не первый год, но не были расписаны, и это придавало остроты нашим отношениям. Мы не могли расписаться, Леля была зарегистрирована с первым мужем, арестованным в тридцать седьмом году. Отсидев десять лет, он вышел на воль-

ное поселение, женился и по новому закону подлежал лишению свободы на три года как двоеженец. Из боязни подвести его Леля не могла подать на развод, мы были обречены жить в сладостном грехе.

Я вспомнил об этих обстоятельствах, прислушиваясь к себе в тщетной надежде разгадать причину моего непонятного счастья. Я был, как всегда, рад Лелиному существованию возле меня, а также своей относительной свободе, приковывающей меня к ней сильнее формальных уз, она будет мне нужна, может быть, еще сегодня утром, но не сейчас, и не в предчувствии утренней близости мое счастье.

С легким разочарованием я уж подумал, что счастлив просто так, беспричинно, когда пальцы подсказали мне догадку. Нашаривая пепельницу, я коснулся раз-другой гладкой полированной поверхности спальной тумбочки. Эта тумбочка четыре года назад заменила в моей комнате убогий ночной столик на курьих ножках, с кафельной, навозного цвета, крышкой. Столику было очень много лет, но не так много, чтобы это придало ему значительности, возвело в ранг антиквариата. Он был просто стар, колченог, обломанная задняя ножка опиралась на протез из березовой чурки, одной из плиток не хватало, и на том месте, закрывая пустоту, стояла некрасивая медная лампа под зеленым стеклянным абажуром, тоже старая, неудобная и запаршивевшая. Тумбочку я купил из первого в моей жизни «мартовского» заработка, когда вдруг обнаружилось, что я, печатавшийся мало, редко и трудно, могу стать — пусть ненадолго — самым желанным, самым нужным, самым модным автором. Вот тогда-то, еще не умея использовать всю полноту возможностей, действуя робко и кустарно, я заработал на эту тумбочку. И первое лакированное, полированное, тяжеленькое при малых габаритах, красновато-коричневое чудо ворвалось в затхлый мирок окружавших меня вещей. Она была и столиком, и шкафчиком, в ней держал я свои выходные туфли, и ночные шлепанцы; на нее встали: новая черная пластмассовая гибкая, как змея, лампа,

металлическая пепельница и спичечница; между крышкой столика и шкафчиком находилось полое пространство, куда можно было класть газеты, журналы, рукописи...

Тумбочка подсказала мне: да, у тебя есть повод для счастья, на дворе март, скоро выборы, в газетах появилась рубрика: «В Сталинском избирательном участке», и ты один из главных поставщиков этого отдела, а в «Социалистическом земледелии» — монополист.

За шторами прибавилось света, и слабым мерцанием выступили из сумрака стеклянные дверцы книжных шкапов. Эти шкапы вместе с письменным столом я купил три года назад на доходы от выборов в Верховный Совет Республики. Две трети немецкого кабинетного гарнитура, добротного, дубового, лаконичных современных форм, заменили мой жалкий письменный столик и убогие полки из плохо струганного, крашеного морилкой дерева. Следующий март, принеся выборы судей и народных заседателей, сделал меня владельцем кресла и чешской люстры. Я полностью освободился от унаследованных предметов обстановки, теперь каждая вещь в моей десятиметровой комнате носила отпечаток моего гения, обретавшего продуктивность в светлую пору избирательных кампаний.

Но по-настоящему мое литературно-торговое предприятие расцвело в нынешнем году, когда сбор материалов взяла в свои руки Леля. Я был слишком робок, застенчив, пуглив. Сталинский избирательный участок находился у черта на куличках — на площади Журавлева в каком-то клубе, каждая поездка туда оборачивалась для меня мукой. Я с детства не доверял окраинам Москвы. Попадая туда, я чувствовал себя дальше, чем за краем света, и мучительно рвался назад, в милую привычность Чистых прудов. Став постарше и осознав свой болезненный страх перед окраинами, я принялся то ли дразнить, то ли бороться его. Я выбирал наиболее дальние трамвайные маршруты, такие, как 3, 4, 16, 21, 24, 48, 51, и ехал до какой-нибудь Абельмановской заставы, или Черкизова, или Наримановской улицы в

Сокольниках, где Москва поникала под старыми, некрасивыми, задымленными деревьями, низенькая, опасно смиренная, двусмысленная. Там веяли ветры чужой печали, душу сжимало одиночеством, и я почти со слезами хватался за поручень трамвая, уходившего в обратный путь к моей Москве, моему милому, бедному дому, которого мне всю жизнь не хватало, даже когда я безвылазно сидел в четырех стенах.

Мне так и не удалось рассчитаться до конца ни с детскими привязанностями, ни с детскими страхами, в тридцать лет я все равно боялся окраин. Площадь Журавлева и прилегающие кварталы были мне особенно страшны нелепыми, громоздкими вкраплениями современности в низкорослость недоброй старины. В ночном небе черно и жутко вздымалась махина кинотеатра «Родина», желтый, печальный свет тускло растекался по безобразной громадине Театра имени Моссовета. К тому же там проходила железная дорога, я не мог без сердечного озноба слышать тонкие, щемящие переключки паровозов. В марте вообще трудно жить, особенно вечером, в тревожной волглой мартовской городской темноте, и уж вовсе невыносимо — на окраине, в близости железнодорожных путей, горько пахнущих шлаком, окалиной, мигающих тревожными огнями, стонущих неистойвой паровозной печалью.

Собирая материал, я стремился к одному: скорее прочь, скорее под родимый кров. Так не сделаешь карьеры журналиста. Леля не раз выручала меня за нашу недолгую совместную жизнь, она пришла на помощь и теперь. Отныне мне оставалось лишь облекать в слова тот горячий, огнедышащий, простой, грубый, как сама жизнь, невероятный, как сама жизнь, материал, который приносила Леля из своих бесстрашных вылазок в грозную державу, именуемую площадью Журавлева.

Из открытой форточки, острым углом натянувшей дешевую выгоревшую занавеску, послышался злобный, потруненному нервно-сорванный крик, а затем глухое, нераз-

борчивое матерное бормотание. Значит, шестилетний сын наших дворников: Феде Цыгана и Настехи, живших под нами в котельной, уже выскочил во двор, в шубейке и валенках на босу ногу, сонный, теплый от постели, и попытался нацарапать гвоздем на крыле соседского «опеля» единственно доступное ему коротенькое слово. Сосед, как и всегда, проснулся при первом же скребущем звуке, истошно закричал на мальчонку, а тот ответил ему матерным бормотком.

Коль уже разыгралась эта обязательная утренняя сценка, Леле пора вставать и ехать на избирательный участок, иначе она опоздает на собственную работу. Что это за работа, для которой безразлично — будни или праздники на дворе, работа, начинавшаяся необычно поздно, а кончавшаяся чуть ли не в полночь, я не знал да и не стремился знать. Я боялся открыть нечто не то чтоб стыдное, но способное ненужно осложнить наши отношения. Считалось, что Леля преподает не то заочникам, не то экстернам, словом, кому-то незримому, кроме того, переводит для одного известного, слишком известного, чтобы подвергать его сомнению, историка-академика с ближневосточного на дальневосточный или что-то в этом роде. Но я бы не удивился, если б оказалось, что Леля тачает сапоги, или незаконно выращивает скакунов, или ведет подпольную торговлю вуалехвостками и виктория-региями. Впрочем, чем бы она ни занималась, ей надо вставать. Я тихонько потряс ее за плечо...

...Я слышал, как Леля одевается, делал вид, что сплю. В первые минуты после пробуждения женщины особенно падки на благодарную нежность, и Леле достаточно была самая маленькая малость, чтобы начать умиляться мною и еще больше опоздать на избирательный участок. Она нарочно уронила ботинок на пол, но я не открыл глаз.

— Так я пойду, — печально сказала Леля и села на тахту.

Я старался дышать как можно ровнее, чтобы она не обнаружила притворства.

— Так я пошла, — горько-горько вздохнула Леля.

Мне было жаль ее. Какая же это тоска: ковлять в ботиночках на рыбьем меху в сырую мартовскую стужу по серой каше снега, оскальзываться на облитых наледью тротуарах, трястись в метро, в тесноте влажно пахучих грубошерстных пальто. Тащиться грустными тоннелями на пересадку и снова вдавливаясь в неопрятно-пахучую массу, забившую вагон, погружаться в смертную печаль окраины, где черные деревья, черный ветер и тонкие паровозные гудки, а потом вести бредовые разговоры со странными людьми, населяющими избирательный участок, наспех вписывая патриотические чувства и мысли сограждан в тот же маленький, в истертом коленкоровом переплетике блокнот, где учитывались скакуны, вуалехвостики, сапоги и лилии — неуловимые, но единственно серьезные реальности, дающие пропитание Леле и маленькому ее сыну!..

И мне, как нередко случалось, — хотя, видит бог, я гнал от себя подобные мысли, — вдруг вспало на ум: что за странность гонит сейчас Лелю из теплоты родной жизни в холодную, тоскливую даль то ли государственного, то ли канцелярского безумия? Что означает все это?.. В назначенный день поднятые на ранье люди, поеживаясь от недосыпа и мартовской измороси, притащутся в дом на площади Журавлева и опустят в урну листочки с именем Сталина. Заранее известно, что явятся все сто процентов тех, кому положено явиться (Леля додумалась, что их будет больше ста процентов, но к этому я еще вернусь), что ни один из них не вычеркнет заветное имя в листочке, именуемом бюллетенем, скорее земля сорвется с орбиты; известно и другое: пусть кто-нибудь в мгновенном мазохистском помешательстве вычеркнет имя высокого Кандидата, все равно окончательный подсчет покажет: единогласно. Наконец, и это тоже всем известно, можно вовсе не тревожить бедных, усталых людей, а сразу объявить о единодушном избрании Кандидата. Но почему-то так не делают. В положенный срок, будто охваченные амоком, люди начинают

бешеную пустопорожнюю суету, которая не могла бы стать неистовой, если б у Кандидата площади Журавлева появился соперник. Сотни людей, освобожденные от работы, но сохраняющие зарплату, мотаются по квартирам и проверяют списки избирателей с такой придирчивостью, словно имеют дело не с гражданами, собирающимися осуществить свое конституционное право, а с шайкой уголовников. Лучшее общественное помещение района драпируют плюшем, кумачом и бархатом, и там денно и нощно толкуются озабоченные, взволнованные бездельники — избирательная комиссия. Над подъездами многих учреждений, школ, домовых клубов зажигаются лампочки, образующие загадочное слово «Агитпункт», и там тоже полно людей, призванных, видимо, убедить сограждан, что Кандидат № 1 лучше, достойней, чем его абстрактные соперники. Все это гомозится с утра до ночи, непрерывно звонят телефоны, куда-то мчатся машины и мотоциклы, ни дать ни взять — командный пункт во время решающего боя. Непонятно только, кого тут собираются побеждать? И как положено для решающего участка, здесь стаями бродят голодноглазые корреспонденты, вымаливая подачку у руководителей боя. Порой им бросают не кость, а нечто лучезарное и нематериальное, как божественное сияние, и они жадно растаскивают по редакциям призрачную добычу...

Но думать об этом не стоит, надо помнить о своей высокой цели и мужественно идти к ней сквозь бредовый туман, окутавший действительность. Я хочу приобрести «Москвич». Он должен избавить меня от страха расставания с домом. Когда возможность немедленно повернуть назад будет всегда при мне, я перестану бояться не только окраин, но и пригородов, быть может, даже больших расстояний. Я смогу поехать туда с Лелей, а позже, когда утихнет чувство благодарности к ней, то и с какой-нибудь другой женщиной. Но сейчас мне неприятно думать об этом, я слишком заинтересован в Лелиной помощи, я набит призна-

тельностью, как колбаса салом, и хочу быть чистым в отношении Лели даже в мыслях.

Тахта чуть приподнялась, освобожденная от Лелиной тяжести. Послышались легкие шаги — только полные люди умеют ступать так скользяще-невесомо, — скрипнула дверь — Леля вышла в коридор. Внимание — лишь бы не дрогнуло веко, не обмякли мышцы лица: Леля подглядывает в дверную щель, ей достаточно ничтожной приметы, чтобы со смехом ворваться в комнату и разоблачить мое притворство. Но я собран, как пограничник в секрете, и легкие шаги удаляются по коридору, затем негромко хлопает входная дверь. Леля отправилась в свой крестный путь.

Расслабляю, но не размыкаю веки, блаженно вытягиваюсь в опустевшей, теплой, уютной постели, теперь уже безраздельно принадлежащей мне, и вдруг чувствую по всему телу какой-то вполне материальный, упругий, радостный, долгий вздрог и странный, как рыдание, перехват гортани. Что это было? Что-то молодое, исполненное надежда и предчувствий, что-то не убитое жизнью, лишь загнанное далеко, но всегда готовое к пробуждению, всколыхнулось во мне, пронизало сладкой дрожью, сковало мгновенным спазмом и слезно-радостно отпустило.

Я заснул ненадолго, но спал в столь дивном, очищающем беспмятстве, что мне показалось, будто я проспал полдня. Нашулав часы на прохладной полированной поверхности тумбочки, я обнаружил, что не прошло и часа с Лелиного ухода.

Я стал быстро одеваться. Натянув поверх майки-безрукавки вязаный жилет с замшевой грудью, я вновь испытал горделивое счастье. Этот жилет мне дала радиопередача, которую я создал в самом начале избирательной кампании. Передача противопоставляла девственную чистоту и опрятность наших выборов грязи и бесчинству избирательной свистопляски в Англии. Я использовал большой кусок из «Пиквикского клуба», там кандидаты враждующих партий поливают друг дружку помоями — и буквально, и

фигурально, избирателей спаивают, запирают в сарае, чтобы те не убежали. Передача имела громадный успех, мне заплатили повышенный гонорар, и я раздобыл эту дивную жилетку.

До возвращения Лели мне нечего было делать, но привычка работать по утрам толкала мои мысли в деловое русло. В который раз задумался я над таинственными словами Лели, что за Сталина должно быть подано больше ста процентов голосов. Я смутно угадывал за этим открытие, провидение неких мистических начал, которые должны сменить достигшее края, израсходовавшее весь свой немалый запас бытовое преклонение. Уже делались попытки преодолеть земные узость и отягченность: по праздникам в черноте московского неба плавал в скрещении серебристых лучей портрет Сталина в форме генералиссимуса, одаря память лермонтовскими строчками: «По небу полночи ангел летел...» Но это, конечно, ребячество, лишь робкий намек на возможности, таящиеся за гранью обыденности. Наиболее духовные из искусств: музыка и литература — должны найти новые, мистические формы подхалимажа. Если мне удастся решить задачу, предложенную Лелей, наступит новая эра и мне достанутся все преимущества первооткрытия. Предпосылки были ясны: раз за обычных кандидатов голосуют сто или почти сто процентов избирателей, то, естественно, за Сталина должны голосовать больше ста. Быть может, следует проанализировать самое понятие «сто процентов», в плане бессилия цифр выразить чудовищный напор любви и благодарности?.. Не богато, и, похоже, кто-то уже шаманил в таком роде. В памяти мощно вырос Фомочка Рубцов, красавец и богатырь Фомочка, наш бывший сосед по квартире в Армянском переулке. Он заведовал подвальчиком «Медведь» на Арбате. Почти двухметрового роста, толстый, но статный, с жемчужными зубами, серыми пушистыми глазами и белесой тугостью коротких кудрей, Фомочка казался выходцем из быliny. Особенно хорош он бывал, когда, напившись

до потери сознания, лежал голый поверх белоснежной крахмальной постели, золотистый по телу, с курчавым рыжим пахом и меловым, скульптурно-ослепшим лицом, а вокруг, словно маленькие фавини, резвились четыре красавицы дочки. Царственная широта кутежей Фомочки привела его к растрате, он был исключен из партии, выгнан с работы и только чудом избежал тюрьмы. Тут как раз подоспели первые выборы, и наша квартира дружно отправилась голосовать. В осуществление полноты гражданских прав каждого избирателя насильно загоняли в кабину, откуда он старался скорее выскочить, чтобы его не заподозрили в попытке зачеркнуть кого-нибудь в бюллетене. Лишь один Фома Рубцов пробыл в кабине вызывающе долго, а затем вышел, гордо помахивая бюллетенем, поперек которого что-то было написано. Конечно, все догадались, что он написал: «Хочу Сталина. Фома Рубцов». После этого Фомочка, худея от нетерпения и надежды, стал ждать, когда Сталин, тронутый до глубины души его преданностью, прикажет вернуть ему чины и должности. Он так и не дождался награды и погиб под Москвой в начале Отечественной войны.

А ведь таких Фомочек (отнюдь не Аквинских), наверное, сотни, тысячи: прогоревшие завмаги, проворовавшиеся директора, все справедливо или несправедливо разжалованные, униженные, брошенные на дно должны попробовать эту последнюю возможность. Но может быть, они только множат испорченные бюллетени? Неужели бюллетень, на котором стоит имя Сталина, посмеют считать испорченным? А что, если Леля именно это имела в виду?.. Следует узнать, как квалифицируются подобные бюллетени. Нет, ничего не надо узнавать, — когда дело касается Сталина, надо действовать без оглядки. Как ни странно, но тут начинается область почти безграничной свободы. Нет такой нелепости, дикости, несообразности, безвкусицы, фантазмагии, которая не сошла бы с рук, коль речь идет о Сталине. Тут рушатся все законы, и в первую очередь законы здравого смысла, все правила и порядки, все строжай-

шие установления. Пусть бюллетень, на котором что-то написано, считается негодным, с именем Сталина он становится наилучшим, надеждительнейшим, наилучшим из всех бюллетеней!..

И все же Леля имела в виду что-то иное, более тонкое, отвлеченное и таинственное, чем грубая очевидность бюллетеней с приписанным от руки именем Сталина. Как и всегда, от подобных мыслей я испытал легкое головокружение. Потянуло на воздух.

У меня был друг по соседству, настолько завистливый, что мне не нужны были никакие успехи и достижения, чтобы причинять ему жгучую боль. Он завидовал самому факту моего существования, моему дыханию и физиологическим отправлениям, завидовал тому, что со мной может случиться нечто, чего не случится с ним: вдруг я напишу хороший рассказ, или разбогатею невесть с чего, или как-нибудь особенно ярко напыюсь, заболеоу, влюблюсь, или попытаюсь покончить с собой. В самые дурные, печальные минуты мне достаточно было увидеть его, чтобы проникнуться до кишок сознанием ценности своего существования. Видать, оно чего-то стоит, коль способно причинять такие муки ближнему.

На улице меня встретили неожиданно синева неба и сухой блеск схваченной морозом талости на тротуарах и мостовой. А ведь когда мы проснулись, за окнами текло и пробивающийся в комнату свет был словно пеплом замешан. Но так бывает в марте, вдруг по весенней серой мокрети ударит мороз в синеве и солнечном золоте. И снова острой и радостной болью опажнуло душу, боже мой, как хорош этот страшный мир!..

Узенькая кривая улица Фурманова предлагала в оба конца свои скромные соблазны. Можно было пойти налево, где на углу Сивцева Вражка располагался пивной киоск, можно пойти направо, где живет Липочка, бывшая моя институтская однокурсница, превратившая свою кро-

шечную, как скворечня, комнатку и свое крохотное, как у скворца, тело в ристалище бурных и низких страстей окололитературной братии. Каждый захожий человек, если он состоял хотя бы в самом отдаленном родстве с музой поэзии, мог получить у Липочки рюмку коньяку, поцелуй бескровных уст и неожиданно сильное, цепкое объятие худеньких рук.

А еще год назад я мог просто перейти улицу, войти в старый, гулкий, посверкивающий витражами подъезд, спуститься на три ступеньки и, толкнув всегда не запертую дверь, оказаться в неприбранной милой квартире двух сестер, захламленной, пыльной, нищенски-благородной. Там на стенах выгорали карандашные рисунки Серова и Сомова в соседстве с миниатюрой Изабе и порыжелыми фотографиями джентльменов в котелках, дам в шляпах величинной с цветочную клумбу.

Я познакомился с сестрами несколько лет назад. Однажды меня окликнули на улице:

— Послушайте, милейший!..

Я остановился, пораженный и странным обращением, и необъяснимой волнующей старинностью окликнувшего меня девичьего голоса. Ко мне медленно приближались две высокие, рассеянно и диковато улыбающиеся девушки в каких-то роскошных лохмотьях. В руках у них были веера и бинокли, в прическе — цветы и черепаховые гребни, поверх шелковых платьев накинуты не то шали, не то оконные гардины, на груди — старинные брошки и жемчужные подвески, на плечах — елочные блестки, но все это не выглядело смешным, напротив — горестно-привлекательным, как старинная мелодия, исполняемая безумным музыкантом на расстроенном клавесине. Покоренный волнующими звуками их чистой, несовременной русской речи, достоверной в каждом тончайшем обертоне, я был покорен и обликом их, лишенным жестокой и плоской обыденности. Одежда их отличалась той же достоверностью, что и голоса, достоверностью нищеты, полным отсутствием буржуазности, духовным аристократизмом, чуж-

дым мимики. Они показались мне красивыми, одна — своим бледным удлинненным лицом и разноцветными печальными глазами, другая — пятнистым ярким румянцем, нежной родинкой возле мягкого, старинно улыбающегося рта, и прошло какое-то время, прежде чем я обнаружил, что девушки совсем не красивы. А затем прошло еще время, и я вернулся к своему первому видению; их духовность, их благородство, их внутренняя красота стали для меня зримее оболочки, и такими вот, навсегда красивыми, остались они в моей душе.

Они оказались родственницами моей учительницы английского языка и по ее просьбе сообщили мне, что очередной урок не состоится. Они шли на концерт в консерваторию. Я слушал их голоса, не омраченные ни одной грязной интонацией повседневности, слушал дивный бунинский русский язык и безошибочно чувствовал: что-то новое, чистое, серьезное и важное входит в мою жизнь.

Я стал бывать у сестер в нежном, строгом, волшебном царстве нравственного закона, изгнанного из привычного мне обихода. Сложными родственными связями они были близки многим замечательным русским родам: и аристократическим, и купеческим, и разночинным. Среди их дядюшек и тетюшек, бабушек и дедушек были камергеры и фрейлины, военные и промышленники, великие художники и гениальный шахматист, знаменитые музыканты и балерины, родовитые авантюристы и министры царского и Временного правительства, революционеры, митрополиты и политические изгнанники. Не было лишь биржевых маклеров, зубных врачей, присяжных поверенных, дезертиров и явных или тайных служителей «святого дела сыска». Причастность ко всему лучшему, что было в разных социальных слоях России, ее общественной, государственной и художественной жизни, придавала сестрам ту высшую подлинность, что не позволяла им быть смешными, как бы они ни чудачили, наделяла их несравненной скромностью, в которой смирение и гордость — одно.

Так жили они, чисто, бедно, легко, добро и радостно, вкушая одно лишь причастие агнца, сами не ведая тихого подвига своей жизни, пока злоба и предательство не отметили их черным крестом. Арестовали старшую сестру Таню. Она выразила сомнение в божественной сути Сталина, была схвачена прямо на улице и осуждена на десять лет строгорежимных лагерей: одно письмо в год, одна посылка в два года.

Моя дружба с оставшейся на свободе сестрой продолжалась, но сейчас я не пошел к ней, чтобы не утратить рабочую форму, которая понадобится мне сегодня вечером. До меня уже дошел слух, что Тане отказали в пересмотре дела...

Были у меня еще друзья и знакомые на этой улочке, ведь мы переехали сюда давно, в тридцать седьмом году, сразу после выхода отчима из тюрьмы. Он был Иоанном Предтечей поры ежовщины. Его посадили в конце тридцать шестого по ошибке, с кем-то спутали. Случись это позже, ему не миновать бы лагерей, но в те идиллические времена после тщетных попыток подыскать хоть какую-нибудь статью, отчима отпустили. А чтобы больше не вводил в соблазн органы безопасности, полгода пребывания под следствием ему засчитали в наказание. И хотя все понимали несерьезность, грациозную административную шутовскую эту легкую репрессивной акции, отчима выкинули из жилищного кооператива. После многих судов, апелляций, пересудов, обжалований ему наконец дали крошечную квартиренту на этой вот улице Фурманова.

Я мог бы пойти к Галочке — первая подворотня направо, второе парадное налево, бельэтаж, — милой Галочке, скрасившей мне возвращение с фронта, когда, контуженный, больной и несчастный, я никак не хотел взять в толк, что жена бросила меня. Галочка, маленькая эстрадная актрисочка, с милым, неброским личиком и простонародным говорком, умудрилась родиться в доме орловского губернатора, которому приходилась внучкой. Это обстоятельство до странности долго не привлекало внимание властей при-

державших, но в конце концов они спохватились и завербовали Галочку. Половая распущенность сочеталась в Галочке с неистребимой порядочностью во всех других областях жизни. Она была невластна над собой, что-то неодолимое, атавистическое, намертво втрамбованное в нее поколениями предков мешало Галочке доносить. Она стала спасаться в идиотизм. Глупенькая от природы, она стала совсем кретиночкой, куклой с круглыми, серыми, бессмысленно вращающимися глазами. Боясь кого-нибудь спровоцировать, она погребла в себе голос, будто онемела, боясь кого-нибудь соблазнить и тем приблизить к опасности, она резко подурнела, обхудала и перестала следить за собой. Словом, идти сейчас к Галочке не имело смысла.

Я мог пойти к Лидке — флигелек в нашем дворе, — к стройной, крепконогой Лидке, которая легко жила, легко стучала, не теряя ничего в своей сильной, незаурядной личности. Она занимала крупный пост в строительном отделе Моссовета, хорошо, весело пила, но отдавалась только за деньги. Последнее делало бессмысленным мой визит к ней, у меня не было ни копейки...

Я решил никуда не заходить и прямо отправиться к моему другу. Но путь я выбрал кружной, он жил в Сивцевом Вражке, а я пошел через Гагаринский переулок. Мне хотелось еще побыть с этим ослепительным, чистым, голубым мартом, прежде чем вновь погрузиться в карманную брюю мелких человеческих страстей.

На углу Гагаринского и Чертельского рос старый дуб. Странно, но в подмосковных лесах никогда не встретишь таких рослых, кряжистых, красивых деревьев, как в иных московских дворах или глухих переулках. Видимо, они очень стары, эти великаны, уцелевшие в общем уничтожении Москвы. Ствол дуба был в три обхвата, в морщины коры свободно входила ладонь, крона его возносилась много выше соседних домов. Когда у меня была собака, я всегда водил ее к этому дубу. По-лошадиному фыркая, моя собака обнюхивала дуб со всех сторон, сумрачно-янтарные глаза ее

опрокидывались в экстазе: безмерно щедро на любовь и вражду было подножие этого дерева, а затем моя собака, дрожа и поскуливая, никак не могла выбрать место, где задрать ногу. Всякий раз меня охватывал ужас, что это кончится уремией, но на каком-то последнем пределе нужное место всегда отыскивалось и долго, сладостно орошалось. И вот сейчас возле дуба резвился большой щенок дратхаар, мордой, детской и бородатой, похожий на мою собаку. Он припадал на передние ноги, пятился назад, затем кидался к дубу, облаивал его и сразу пускался наутек. Это повторялось множество раз. Вначале мне показалось, что он предается той же страстной и кокетливой игре, что и моя собака, но нет: когда в очередной раз щенок принялся облаивать дуб и, осмелев, подошел к нему ближе обычного, из-за ствола крадущимся шагом, угрожающе вытянув вперед руки и по-ведьминому скрючив пальцы в тонких кожаных перчатках, появилась Леля и пошла на щенка. Тот с визгом бросился наутек. Должен сказать, что его ужас не мог все же сравниться с моим. Я был уверен, что уже с добрый час Леля находится в Сталинском избирательном участке, быстрым, неровным почерком заполняя свой потрепанный блокнотик. Оказывается, все это время, пока я доверчиво спал, мечтал о «Москвиче», серьезно и хорошо думал о делах, о ее преданности мне и о своей благодарности, Леля играла со щенком дратхааром. То, что она сделала, было предательством, а я даже в мыслях не допускал, что поеду на «Москвиче» в лес с другой женщиной!

Что ж, с Лелей все кончено. Вот так бессмысленно возле старого дуба, этой собачьей станции, под глупый лай молодого дратхаара и слюдяное сверкание водосточных желобов, ни с того ни с сего завершился целый период моей жизни. Не будет сегодняшней и завтрашней статей, не будет большого заработка, не будет «Москвича» и майского леса, и победы над страхом путешествий не будет. Зато будет другое, совсем другое, но тоже сладкое, гибельно-сладкое. Мне уже следовало довольно много денег; пересилив себя, я съезжу на пло-

щадь Журавлева в день выборов и заработаю еще. Этого хватит на новый габардиновый плащ и на долгое пьянство, и на Лидку хватит, да и не только на Лидку. Освобожденный от вязкой Лелиной привязанности, я наконец-то по-настоящему воплощу себя в разгуле. Всю жизнь мечтал я о великом, сокрушительном «выходе», всю жизнь откладывал его то из-за занятости, то из-за отсутствия денег, то из жалости к близкой женщине. Но сейчас, освобожденный предательством от всех душевных пут, я возьму свое.

Умение мгновенно передумать свою жизнь на разрушительный лад было всегда самой сильной стороной моей личности. Готовность найти смысл существования в распаде спасала даже от страха потери тех людей, чей уход страшнее для меня собственной смерти...

— Я расстался с Лелей, — сказал я своему другу.

Его звали Тёпа. В этой семье все дети, уже немолодые, рано поседевшие, изморщившиеся, сохраняли свои младенческие прозвища.

Тёпа землисто побледнел. Его завистливое сердце мгновенно проглянуло безграничную свободу, открывшуюся мне. Ему представилось мое триумфальное шествие по значным местам и дивные женщины, гроздьями тянущиеся к моим рукам. Он смертельно, до слез позавидовал мне, хотя недавно женился и любил свою жену. Он завидовал мне, хотя был неполноценен и в женщинах почти не нуждался. Он говорил, что это случилось с ним до войны, когда он хотел соединиться со своей невестой. Как раз в этот момент ему позвонили с Лубянки и потребовали, чтобы он пришел. Он так и не соединился с невестой, ставшей в скором времени женой другого, и вообще у него все нарушилось. Любовный акт связался в его мозгу с предательством.

— Пойдем в кафе-мороженое, — предложил я.

— Я не хочу пить, — сказал он поспешно.

Он выдал ревнивый ход своих мыслей. Обычно мы ходили в кафе-мороженое опохмеляться. Рюмка коньяку, хо-

лодный пломбир и стакан ледяной воды с сиропом чудесно освежали, снимали головную боль, давали силу жить дальше. Но мы не пили вчера, и, стало быть, я не предлагал ему опохмеляться, просто — съесть по пломбиру. Но ему подумалось, что я начинаю свой рейс свободы, и он поспешил уклониться от роли сопровождающего.

Мне удалось его уговорить, что случалось не часто. Я занял у его матери двадцать пять рублей «до выборов», и мы пошли.

В кафе я все-таки выпил большую рюмку коньяку. Мне вдруг представилась совсем ненужной моя новая, ничем не ограниченная свобода. Мне нечего было делать с ней. Мне нужна была Леля, чтобы я мог радостно и легко предаваться разгулу. Как могу я пойти к Лидке, или к Липочке, или к любой другой, когда на душе так темно, когда не будет ежевечернего, очищающего, снимающего всю грязь, все вины, все дурное, ненужное тихого деликатного стука в дверь? Леля всегда приходила словно в первый раз, у нее было застенчивое, чуть виноватое лицо, казалось, она боится, что слишком буквально поняла вежливо-условное приглашение заходить.

Но если я прошу сегодняшнее надувательство — нашим отношениям все равно конец. Они зиждились на полной ее отдаче, самозабвении и на том, что я должен верить в нее, как в Бога. Иначе это не звездный союз, а скучный полубрак двух неудачников.

Тёпа, болезненно чуткий на все хорошее, что происходило или могло произойти с близкими, утрачивал свое собачье чутье вблизи страдания. Тогда он походил на пса, у которого отрезали усы. Чужая боль, угадай он ее, сделала бы его слишком счастливым, а ошибка слишком несчастным. Боязнь разочарования лишала его угадки в том единственном, что могло дать ему счастье. Он воспринимал мою молчаливость, мою неровность, неуверенно выпитую рюмку — как признаки моего нового, раскрепощенного бытия и был глубоко несчастен.

— Закругляйся, мне пора обедать, — сказал он нетерпеливым, грубым голосом.

Мы расплатились и вышли из кафе. Воздух приобрел зеленоватый оттенок. Потеплело. Тротуары и мостовые заструились плоскими ручьями. Влага осаждалась на щеках, забисерила рукава пальто. Город уподобился Атлантиде, и мы, скучные русалы этого подводного царства, медленно плыли сквозь зеленоватую водную стихию, а навстречу и в обгон проносились рыбы-телескопы с выпученными, излучающими яркий свет глазами.

Возле дома моего приятеля мы расстались. Не попрощавшись, он юркнул в подъезд как в межкоралловую щель. Я поплыл дальше.

Стеклянная дверь парадного, захлопнувшись за мной, освободила меня от морского наваждения. Я стряхнул капли с пальто и кепки, вытер ноги о половик и вновь стал жителем земли.

Коньяк, выпитый в кафе, наградил меня изжогой, несколько не возвеселив души. Я все время помнил, что потерял Лелю, и мне никак не удавалось поверить в легкость утешения. Я выпил соды, без охоты пообедал и прошел в свою комнату. Из форточки тянуло матом, сиплая фистула однообразно и тягуче вырабатывала матерное бормотание. Это играл под окном меньшей Феди Цыгана. Когда я бывал, как сейчас, один в комнате, его матюканье даже развлекало меня, словно нервный тик, хуже, если у меня кто-то оказывался в гостях. Теперь, когда Лели не стало, ко мне будут часто приходиться гости, и надо обезвредить ужасное дитя. Это непросто. Лучше не задевать Федю и его буйную семью, могут оскорбить, побить стекла, донести. С безнадежно усталым чувством понял я, что мне не осилить маленького сквернословия. Конечно, можно закрыть форточку, но через несколько минут тут станет жарко и душно, как в парилке. Даже такая малость громко ратовала за возвращение Лели, давно привыкшей ко всем странностям

моего быта, но я знал, что не верну ее, что у меня хватит грустного упорства сделать нашу разлуку вечной.

Гаденыш продолжал ругаться. Я чувствовал, что сейчас расплачусь от бессилия перед жизнью. Несильно хлопнула входная дверь, какой-то добрый говорок вспыхнул и погас в прихожей, так бывает, когда приходит кто-то близкий и любящий дом.

— Можно?

Крадушимся шагом, как тогда из-за дерева, в комнату вошла Леля. Я глядел на нее не в гневной — в печальной растерянности.

— Принимайте величайшего репортера современности. — Она положила на письменный стол свой блокнотик и еще стопку густо исписанных листков. — Такого богатства еще ни разу не было.

Я так обрадовался возвращению к жизни, ко всем своим обязанностям, надеждам, привязанностям, распорядку, что не стал ее расспрашивать, когда же успела она собрать весь этот материал, если большую часть дня провозилась с собакой возле старого дуба.

— Чего же вы не раздеваетесь?

— А работа?.. Мне тоже надо зарабатывать алтушки. А я чуть не весь день провела на переднем крае выборов. — Леля улыбкой смягчила укор. — Так что я приду сегодня очень поздно.

Я был признателен ей за эти слова, открывавшие мне дополнительные возможности на вечер. Если я быстро разделаюсь с очерком, можно навестить Липочку или Лидку, мне опять думалось о них с удовольствием.

Проводив Лелю, я сел к столу. Видимо, во мне погиб настоящий писатель. С ранних лет, едва открыв в себе способность марать бумагу, полюбил я писание. Мне нравится сидеть за столом и покрывать корявыми буквами белую гладь листа. Я жадно отношусь к бумаге, не оставляю полей, слова ставлю тесно, экономлю на просветах между строчками. Моя рукописная страница много больше ма-

шинописной, но я делаю перед собой вид, что она меньше чтобы больше написать. Мои материалы всегда приходится сокращать. Мне почти все равно, о чем писать. Хотя это не совсем так. Я люблю писать о настоящем, своем, интимно мне близком. Но я способен увлечься даже самым посторонним, чуждым мне, бессмысленным и глупым. Потому что я смертельно люблю печататься. И зарабатывать деньги литературным трудом я люблю. Я никогда не мечтал ни о наследстве, ни о выигрыше по займу, ни о богатом кладе. Лишь нажитое литературным трудом соблазняет меня.

Я стал листать Лелин блокнот. Да, у нее еще не был столь щедрого урожая... Грузинский полковник похитил самолет, чтобы проголосовать за Сталина в Сталинском избирательном участке... Группа прокаженных из Северокавказского лепрозория прислала своих представителей с ходатайством позволить им отдать свои голоса товарищу Сталину... Парализованная старуха приползла из Лопасни и свалилась замертво на пороге Сталинского избирательного участка. «Я хочу проголосовать за нашего Отца родного», — были первые слова старушки, когда усилиями «замечательных мастеров здоровья» с медпункта Сталинского избирательного участка она была приведена в сознание. Слепцы, глухонемые, раковые и легочные больные, многие месяцы прикованные к постели, стекались к Сталинскому избирательному участку, как увечные к Лурдской Божьей Матери. Это было замечательно! Смущала меня лишь одна особенность Лелиных материалов: получалось, что все калечные, поврежденные, больные, неполноценные, обиженные судьбой стремятся голосовать за Сталина. До поры это имело успех в газетах. Своеобразное паломничество калек к Сталинскому избирательному участку вызывало смутные ассоциации с паломничеством к святым местам, с чудесами исцеления страждущих путем наложения рук, погружения в святой источник или прикосновения к мощам. Когда дело касается Сталина, некий тщательно зама-

скированный религиозный экстаз необходим. Это тонкая штука: внешне все должно выглядеть как народный энтузиазм, доведенный до клинической степени, но легкий, словно запах давно увядших цветов, аромат мистицизма, религиозного фанатизма обязан неуловимо щекотать обоняние. Если ты преуспел в этом, можешь смело рассчитывать на успех. До сих пор мне удавалось балансировать на тонкой проволоке, протянутой над пропастью. Но сейчас я впервые ощутил смутную тревогу. Конечно, против фактов не попрешь, раз прокаженные, параличные, физически и душевно поврежденные рвутся голосовать за Сталина, было бы ничем не сообразным жертвовать столь пряным и выразительным материалом. Но нет ли тут перебора, быть может, Леля слишком односторонне отбирает факты?

Я стал проглядывать записи дальше. А вот пример совершенно другого рода: цыганская таборная семья, свернув с кочевой дороги, прибыла на Сталинский избирательный участок. Умница Леля записала своеобразную, немного наивную и трогательную речь главы семьи: «Цыган степь любит, дорогу любит, пуше жизни волю любит. А кто всему народу волю дал, кто народ счастьем нагрузил, на широкий светлый шлях вывел? Самый большой друг цыган — Сталин! Мы кочуем себе, песни поем, вдруг слышим: «Народ за Сталина голосует». В-вах, свернули с дороги и сюда прикочевали. Мы за Сталина песней голосуем. Ведь цыгане тоже мало-мало к коммунизму кочуют!»

Вот здорово! Я опишу смуглоту цыганских лиц, черноту кудрей, опишу их бедно-яркую одежду, их подводу и лошаденку...

А вот замелькали страницы, исполненные задора и веселости. Леле удалось подловить группу молодых людей, которым предстояло впервые участвовать в выборах. Юнцы, едва достигшие совершеннолетия, уже на первых выборах удостоились чести голосовать за Сталина. Надо отдать должное ребятам, они вполне понимали, какое им оказано доверие. Они каждый день прихо-

дят на избирательный участок, как бы заранее подготавливая себя к предстоящему таинству. Им не терпится увидеть урну, в которую они опустят бюллетень, им хочется знать, где будут регистрировать избирателей, где — выдавать бюллетени. Они уже порядком надоели председателю избирательной комиссии и другим общественникам своей настырной любознательностью, но ни у кого не хватает духу прогнать их.

Экзальтированность этих молодых людей заставляет вспомнить о конфирмации. Ведь предстоящая им гражданская акция по своей значительности, по силе впечатления на юную душу, несомненно, превосходит первое приобщение святых таинств.

Думая об этих впервые голосующих, я невольно обратился мыслью к своему отцу. Он тоже будет голосовать впервые в жизни, хотя ему уже шестьдесят. Но, арестованный в 1928 году за то, что попытался воспользоваться без всякого успеха одним из даров нэпа, он долгие годы провел в ссылке, при паспортизации был лишен московской прописки и заодно избирательных прав, а в тридцать седьмом году вновь арестован по обвинению в поджоге Бакшеевских торфоразработок. Отца спасло от расстрела лишь то, что в пору торфяного пожара он находился в отпуске в Москве. Поэтому ему дали всего семь лет лагеря с последующим поражением в правах. Ныне этот срок истек, и бедный отец в далекой безобразной Кохме, что возле Иванова, потащится по деревянному тротуару через город, поминутно останавливаясь и прикладывая руку к больному, обмирающему, сорванному на лесоповале сердцу, чтобы ткнуть листок с чьей-то фамилией в щель урны.

Я постарался прогнать этот образ, он мешал мне. Нужна условная рабочая искренность даже для написания таких вот очерков. Маленький человек с искалеченной судьбой затмевал всю грандиозную панораму предвыборной вакханалии. Я закурил и стал думать о «Москвиче». Через несколько минут я уже писал.

Я начал с описания нынешнего слюнявого утра, мои пейзажи ценились в «Социалистическом земледелии» не ниже моей ошеломляющей фактографии. Штатным газетным корреспондентам не разрешалось заниматься пейзажной живописью, так же как и писать от первого лица, ударяться в лирические отступления или отходить от готовых формулировок, к примеру: Сталин был для них только «родным», «дорогим» и «любимым», они не могли назвать его, скажем, «добрым», как это мог позволить себе человек с писательским билетом в кармане. Я знал, что редактор поморщится, читая описание грустного серого утра, но на этом и строился весь эффект очерка. Как только возникнет Сталинский избирательный участок, небо расчистится, морозец скует лужи, день нальется светлым, радостным блеском.

Я описывал пейзаж со всем тщанием, на какое способен. Странно, где-то на стадии последней сверки пейзаж мой да и все хорошее, истинно творческое, что содержалось в очерках и поначалу вызывало дружный восторг в редакции, почти начисто вымарывались. Меня всегда поражало: к чему заказывать очерк писателю, платить повышенную ставку, шумно, искренне восхищаться, чтобы потом свести все к тусклому стандарту? Неужели то крошечное различие, которое все-таки оставалось, так ценно для газеты? Скорее всего, тут дело в другом: у замороженных газетных бедолаг есть живые души. Им радостно прочесть нестандартный, чуть приближающийся к литературе материал. Выкидывая потом все самое стоящее, они продолжали нести в себе первоначальное очарование и даже не замечали, что материал стал обыденным и тусклым. Мне кажется, что работники других газет узнавали по рудиментам искусства изначальный облик материала, как Кювье узнавал по маленькой косточке весь строй животного, вот почему мои писания так ценились в предвыборном газетном мире.

Ровно в девять вечера раздался телефонный звонок и бодрый голос редактора осведомился:

— Ну как, присылать?

— Присылайте, — сказал я устало.

Всякая напряженная работа опустошает, но ничто не сравнится с той пустотой, которую ощущал я после завершения этих пустейших очерков. Мне плакать хотелось...

Со всегда удивлявшей меня быстротой появилась старая, рваная, оставляющая после себя грязное, несмываемое пятно на полу, даже в сухую погоду, курьерша газеты. Трудно было поверить, что это бедное существо с трясущейся головой и угасшим безумием в голодных глазах присылают сюда на редакционной машине. Такое значение придавалось моим материалам! Я вручил ей рукопись, наказал не потерять и дал рубль. Она сильнее затрясла головой и, припадая к стене, поплелась к выходу.

С ее уходом моя опустошенность перешла в отчаяние. Это была расплата за то противоестественное насилие над собой, из какого рождались фальшивая искренность, больной подъем, гнилая работоспособность. Все было мне гадко сейчас: и весна за окном, и книги на полках моих любимых шкапов, и мечта о «Москвиче», собственные измаранные чернилами, будто кровью невинных, пальцы, собственная голова, способная рождать хитрую, расчетливо-наглуую ложь, собственное сердце, что не разрывается в отвращении, бесстыдное, трусливое сердце, собственное жадное брюхо и все тело, начиненное грубыми, алчными желаниями, и мои близкие, безмолвно требующие, чтобы я занимался этим каждодневным самоистреблением, минувший день и все дни, что еще предстоят мне. И куда укрыться от всего этого? Уехать? Я потащу с собой всюду свою тоску и сожаление, что не довел дела до конца, и свое отвращение к себе, с ног до головы замаранному бредовой ложью. И вдруг я понял, что есть куда уехать, есть надежный, никогда не обманывающий кров, лишь ступи под него — и ты очищаешься от всей скверны, становишься высок и светел, как в юношеских мечтах о себе. Ты никогда не писал о Сталинском избирательном участке, твой последний труд —

«В поисках за утраченным временем», а сегодня ты на подходе к чему-то еще более великому. Только бы Леля не позвонила слишком поздно, когда закроются магазины. Правда, на Метростроевской есть ночной магазин, работающий до двенадцати, вернее, до без четверти двенадцать, но если уж очень хорошо попросить, — а Леля умеет просить! — то пустят и пять минут первого.

Теперь существование мое стало насыщенным, как у ожидающего приговор: время тянулось невыносимо медленно и одновременно делало фантастические скачки. Секундная стрелка почти не движется, успеваешь досчитать до ста десяти, пока она сделает полный оборот, пять минут делятся вечность, но каким образом на часах оказалось вдруг четверть двенадцатого? Время словно вытекало у меня между пальцами. И вот уже половина двенадцатого. Быстро набираю номер проверки времени. «Двадцать три часа тридцать две минуты», — произносит железный голос. Мои проклятые часы еще отстают на две минуты!.. Я поспешно бросаю трубку, вдруг Леля звонит сюда как раз в эту минуту. Двенадцать!.. Леля, пусть неволью, все же предала меня. Минут двадцать первого раздался ее такой ненужный, такой запоздалый звонок. И ненужный голос нежно и жалко сказал:

— Братик!..

— Ну, я... — подтвердил я грубо.

— Так я приду?

Это повторялось каждый день, и я ответил машинально, как полагалось по нашей игре:

— А как же, милочка!

Но она уловила фальшь в моем голосе.

— Что-нибудь случилось?

— Нет. Настроение поганое. Выпить хотелось.

— Да-а?.. Так я принесу.

— Все закрыто...

— А у меня есть.

Леля пришла около часа, когда я уже перестал ее ждать. Она принесла бутылку водки, баночку маринованных огур-

цов и банку консервированной американской колбасы, которую я люблю с войны. Дома все уже спали. Мы закрылись в моей комнате и начали пировать. Я пил стопкой, а Леля маленькой рюмкой, не потому, что она не могла пить стопкой, а чтобы мне больше досталось. И вскоре исчез скисший певец Сталинского избирательного участка, появился Марсель Пруст, Бунин, Жироду, Оскар Уайльд. Как я острил!.. Как говорил о литературе!.. Какой отрывок из дневниковых записей прочел!..

Леля не могла мною налюбоваться, ее восторги способны были удовлетворить даже мою ненасытную жажду поклонения. Перед тем как лечь спать, мы нарисовали на листе бумаги бутылку пива и рака с огромными клешнями и повесили в кухне на гвозде. То был приказ нашей дряхлой, полуслепой и полубезумной служительнице купить мне пива на опохмел души.

А среди ночи я вдруг проснулся с нехорошо обмершим сердцем. Мне показалось, что кто-то постучал в дверь нашей квартиры. Я глянул на часы: начало четвертого, самое время...

Леля спала, отвернувшись к стене. Спала в другой комнате мама, сведя в комочек свое малое, худое тело, спала за стеной бедная старуха, служившая мне с самого моего рождения. Каким страшным будет их пробуждение, бедные, бедные мои!..

Господи, если бы я только мог доносить, как облегчилась бы вся наша жизнь! Хотя бы ради них, ради этих трех женщин, я должен стать доносчиком. Я принесу много пользы. Я буду губить только негодяев, а хороших людей спасать. Будь я доносчиком, я выручил бы Танечку и посадил бы того, кто на нее донес. Трудно охватить все то добро, которое пришло бы в мир, если б я стал доносчиком: настало бы царство справедливости и возмездия!.. Какая слабость, душевная недостаточность, ничтожность мешают мне стать доносчиком? Служил же в Интеллидженс сервис утонченный Сомерсет Моэм, был агентом охраны состава

витель знаменитого словаря Макаров, автор самого трогательного русского романа «Однозвучно звенит колокольчик». Значит, это не убивает талант? Альфред де Виньи был осведомителем, а сколько доносчиков среди моих прославленных коллег!..

Но я знал, что все это пустое и не перейти мне Рубикон, отделяющий мою старомодную полупорядочность от умной и беспощадной взрослости человека сегодняшнего дня.

Как поведу я себя через несколько минут, когда стук повторится, когда надо будет встать, натянуть брюки, прошлепать босыми ногами по холодному паркету, открыть дверь людям то ли в мокрых кожаных пальто, то ли в припахивающих псиной шинелях, и дворнику Феде — понятому, холодному, чужому, делающему вид, что никогда не кланчил у меня на водку, и в коридор испуганно высыпают мама, Леля и старуха в жалких спальных рубашках, растрепанные со сна, с обезображенными горем лицами? Мне не выдержать этого, и дай бог не выдержать, дай бог содохнуть на месте! Чтоб не было холодного нутра черного ворона, Лубянки, камеры, тоски неведения, допросов и всей смертной скуки неминуемого срока...

Я думал об этом так долго, что неприметно заснул и во сне начал плакать, сознавая, что плачу, но не могу перестать, а потом была ослепительная радость пробуждения, и посверкивающая золотым бочком бутылка пива на тумбочке, и сильный голосишко за окном, и новый безбрежный день свободы и жизни, и новый очерк о Самом Дорогом и Любимом!..

Мое предприятие дало трещину на финише. В канун выборов меня попросили заехать в «Литературную газету». Заведующий отделом информации, пожилой армянин с синими подглазьями, похожими на кошельки, — он умер от сердца год спустя, — предложил мне написать рассказ о выборах в поезде дальнего следования. Я сразу согласился, у меня наверняка окажутся «обрезки» от материалов, предназначенных «Социалистическому земледелию».

— Вы хоть выслушайте меня до конца, — огорченно произнес заведующий отделом. — Я сказал «рассказ», но это должна быть документальная новелла, основанная на реальных фактах, с подлинными фамилиями. Вы меня поняли?

— Да, — все так же бездумно подтвердил я.

— Вы поняли, что должны сесть в поезд и ехать до тех пор, пока у вас не возникнет новеллистический сюжет? Тогда вы сойдете на ближайшей станции и с первым же поездом вернетесь назад. Материал должен быть в ближайшем номере, то есть во вторник. Вы — новеллист, поэтому мы и обращаемся к вам.

— А я успею?

— Выборы в поезде начнутся в двенадцать ночи. Продлятся они минут тридцать—сорок, положите еще час на взволнованные разговоры. Ну, а потом люди лягут спать... Значит, к этому времени вы должны держать новеллу за хвост. К вечеру в воскресенье вы будете дома, в понедельник сдаете рассказ. Справитесь?

— Конечно, — сказал я, на этот раз с полной ответственностью. У меня уже возник сюжет.

— Я был уверен, что вы согласитесь, — сказал он добрым голосом. — Сейчас вы получите командировку и билет в спальном жестком вагоне до Перми, мы брали с запасом, выборы начнутся гораздо раньше.

— А кого там выбирают? — машинально спросил я.

Он наклонил голову с довольным видом, словно только сейчас поверил, что я отношусь к заданию всерьез. А я подумал, что для моего сюжета не так уж важно, за кого проголосуют поездные пассажиры, важно, что они голосуют за дело Сталина.

Тут мне принесли командировочное предписание и билет, вернее, кучу всевозможных бумажек, составляющих в своей совокупности проездной билет: посадочную, купейную, скоростную, плацкартную, постельную. Среди них я обнаружил милый старый картонный прямоугольничек с дыркой

посередке, оказавшийся самым незнатным в этом ворохе — перонным билетом. Мне впервые стало немного не по себе: бумажки были слишком вещественны для нашего бредового разговора. И тут у меня мелькнуло: а вдруг он думает, что я действительно пушусь в этот фантастический вояж? Я поглядел на старого, сутулого, усталого человека с синими подглазными мешками, смертно отягчающими лицо, и прогнал шальную мысль. Он был слишком старым, опытным газетчиком и не опускался до заговорщицких подмигиваний, весь этот бредан разыгран с полной серьезностью и печальным достоинством. Я тоже буду на высоте: никакого цинизма, никаких «мы-то с вами знаем»...

— Когда отходит поезд? — озабоченно спросил я.

— В три с чем-то, на билете указано.

— Пойду собираться.

— Сперва получите командировочные. И возьмите с собой еду, в вагоне-ресторане все очень дорого.

Я пожал костлявую теплую руку и вышел.

Леля жила возле «Литературки», и по дороге домой я заглянул к ней. В порыве шутливости я сказал, что уезжаю, и показал свои бумажки. Леля притуманилась, она не любила моих отъездов.

— Значит, моя завтрашняя вахта отменяется? — сказала она разочарованно.

— Господь с вами!.. Завтра решающий день. Я никуда не еду, новелла уже есть.

Леля радостно рассмеялась.

— Расскажите!..

— Все проще простого. Из Москвы на Урал или в Сибирь возвращаются два инженера. Они в смертельной ссоре, поскольку одному из них удалось вырвать в Главке дефицитные материалы в ущерб другому. Ну, конечно, их ссору надо показать на каких-то смешных подробностях подъездной жизни, что-нибудь связанное с уборной, это я додумую. Но вот начинаются выборы. Выбритые, при крахмальных воротничках и галстуках, празднично взволнован-

ные, инженеры поочередно заходят в купе, отведенное для голосования, и отдают свои голоса одному и тому же кандидату. Это уже сближает. И до чего же мелка их ссора перед тем, что, опуская в урну бюллетени, оба несут Сталина в сердце! В конце — на какой-то одной детали — их трогательное примирение.

— Ну и парень! — восхитилась Леля. — Это во будет рассказ! — Она оттопырила исколотый иголкой большой палец.

Меня обрадовала похвала, я равно верил и Лелиному практицизму, и Лелиному литературному вкусу.

— Хотите, я съезжу с вами на вокзал? — предложила Леля.

Ее предложение озадачило меня, я вовсе не собирался ездить на вокзал.

— Нет, братик, это не пойдет, — серьезно сказала Леля. — Зачем так грубо халтурить.

Вторично в этот день странное беспокойство шевельнулось во мне, но я подавил его, не допустив до сознания. Я спросил Лелю, стоит ли терять время, когда весь рассказ у меня в кармане; надо лишь заглянуть в энциклопедию, чтобы воскресить в памяти устройство вагона и уточнить пейзаж.

— Нет, братик, так нельзя, — повторила она настойчиво. — Надо поехать.

Сейчас, как никогда, мощно от Лели веяло не наукой и переводами, а иными, серьезными, опасноватыми доходными делами. Меня поразило, что Леля вроде ставит нас на одну доску, выходит, мне тоже следует подумать о мерах предосторожности, о каком-то алиби наизнанку: иметь доказательства, что я был на месте преступления, словно и меня могут призвать к ответу. Но какой с меня спрос? Леля подвизается в мире тех или иных материальных ценностей, я тку из воздуха. Моя деятельность столь же отвлеченна и условна, как и деятельность моих работодателей, мы вместе шьем новое платье короля. Но мы защищены, не найдется столь невинного и неосмотрительного дитяти, что осмелилось бы

произдеваться над голой задницей короля и тем разоблачило бы нас. Когда дело касается Его Величества, даже младенец, только что выплонувший сосок матери, уже не наивен, не прост, а хитер и мудр, как змий. И если я напишу о том, что в ночном поезде, мчащемся сквозь черную, непроглядную мартовскую Россию, два смертельных врага примирились, подумав о Сталине, неужто кто осмелится подвергнуть сомнению столь естественный порыв?

— Давайте съездим вместе, я помогу вам, — снова предложила Леля.

Чтобы погасить зародившуюся во мне тревогу, я согласился.

Вид отходящего в дальний путь поезда всегда печалит и волнует. А этот поезд уходил от мокрой платформы в припахивающую землей и талостью черноту весны. В горле закипели слезы, так захотелось простора, и далей, и жизни, так захотелось прикоснуться всей своей молодостью к тому, что сулит дорога. Но это чувство, едва возникнув, потонуло в пошлости наших дел. Мы стали мотаться вдоль состава, ошеломляя пассажиров идиотскими вопросами. По правде, вопросы задавала Леля, я лишь присутствовал при сем с таким отвлеченным видом, что не имел к этому никакого отношения. Леля не стеснялась. Сбив на затылок отороченную цигейкой шляпку, она ястребицей накидывалась на очередную жертву.

— Мы из «Литературной газеты», — говорила она, — а вы кто такой?

Ни одному пассажиру не пришло в голову послать нас подальше. Вечный страх замечательно дисциплинирует. Люди покорно называли свои фамилии, имена-отчества, места жительства и места работы. Вятичи, пермяки, уральцы, сибиряки, дальневосточники, инженеры, техники, сталевары, доменщики, прорабы, преподаватели вузов сообщали Леле свои анкетные данные с той барабанной быстротой и отчетливостью, что служит гарантией лояльности. Но главные мучения ждали их впереди.

— Вы знаете, что вам придется голосовать в поезде? — говорила Леля радостно, но строго. — Это честь, не правда ли?

Пассажиры экспресса тупо подтверждали, что это честь. Хоть бы один возразил, что это скорее случайность.

— А за кого вы голосуете? — следовал неумолимый вопрос.

Большинство знало, те же, что не знали, пугались и начинали лепетать жалкие оправдательные слова.

— Понятно, — властно перебивала Леля, — но за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за...

— Сталина!.. — радостно подхватывал испытываемый, до слез благодарный, что ему помогли выпутаться из щекотливого, мягко говоря, положения.

Мне было стыдно и докучно, я не понимал, зачем нужны все эти расспросы. Но постепенно мне стал приоткрываться Лелин замысел. Она расспрашивала людей, по каким делам ездили они в Москву, с какими учреждениями имели дело, не пришлось ли им столкнуться с кем-либо из земляков, не было ли у них ссоры, не едет ли тем же поездом кто из знакомых, друзей и недругов. Она нащупывала придуманный мной сюжет, пыталась отыскать хотя бы разрозненные подробности его в этой человеческой пестряди. Что-то похожее порой мелькало в напряженно нескладных ответах людей, и под безжалостным нажимом Лели приобретало отчетливое сходство с моей убогой выдумкой. И все же я не понимал до конца, зачем это нужно. Для доказательства, что я действительно был в этом поезде? Но кто станет проверять меня?..

Мы пробыли на перроне до самого отхода экспресса, помахали на прощание счастливым, которым предстоит голосовать в поезде, и побрели прочь в грустной подавленности от несоответствия нашей фальшивой и ничтожной суеты серьезности рельсов, вагонов, паровозного дыма, гудков, пронизывающих даль...

Я славно поработал в последующие дни. В номере «Социалистического земледелия», вышедшем в поне-

дельник, было три моих материала: трехколонник «В Сталинском избирательном участке», передовая «Сталин — наше сердце», интервью с самым старым и самым юным избирателями, отдавшими свои голоса Сталину. Последние материалы шли без подписи, но я льстил себя мыслью, что каждому, кто прочтет трехколонник, будет ясно мое авторство и в двух других материалах. Во всяком случае, у заведующего отделом информации «Литературной газеты» не было сомнений на этот счет, когда он вызвал меня в понедельник вечером в редакцию. В руке у него была влажная гранка с рассказом «Примирение».

— Слушайте, — сказал он трагическим голосом, и кошельки под его взболтанными, усталыми глазами набрякли и почернели сильнее обычного, — вы же были в воскресенье утром в Сталинском избирательном участке.

— Ну да, — подтвердил я, не догадываясь, к чему он клонит.

— Значит, вы не могли быть в поезде, когда там было голосование.

— Да, я сошел раньше...

— Так что ж это?.. Так как же вы?.. — залепетал он растерянно.

Я мог бы сказать ему: пусть я не был в поезде, но и в Сталинском избирательном участке я тоже не был, впрочем, это вряд ли принесло бы ему утешение.

— Вы понимаете, я сел в поезд, где ехали эти инженеры, и довольно долго слушал их злобные пререкания по поводу какого-то дела, решенного Главком в пользу одного из них. Я сказал им: как можно ссориться в такой день, и по их подобревшим глазам понял, что, конечно же, они помиряются. — Я говорил все это тихо, вкрадчиво, мягко, так, верно, говорят с полупомешанным, которому еще можно внушить несколько простейших разумных мыслей.

— Я понимаю, — он вздохнул и понурил голову, — но все равно вы придумали их примирение.

— Вы ждали от меня новеллу, а не очерк. Новелла же предполагает известную дозу выдумки. — Теперь я в полной мере отдавал должное Лелиной предусмотрительности, обеспечившей мне точку опоры в этом споре.

— Я говорил о документальной новелле, о подлинном случае, которому вы придадите изящную новеллистическую форму. Нам нужна правда, а не вымысел...

«Спокойно, спокойно!.. — сказал я себе и своему гулко забившемуся сердцу. — Что он городит?.. Неужели он хоть на миг полагал, что слащаво-фальшивый бред, который я ему принес, имеет жизненное подобие? Какое же у него представление о мире, о людях?.. Чего доброго, он и мои сощземовские очерки принимает за подлинное и неприкрашенное отражение действительности?..»

Я даже вспотел. А что, если кому-нибудь взбредет в башку проверить на жизнь мою писанину? Да нет, чепуха, он просто рехнулся, этот старый армянин с черными подглазьями. Иначе как можно так грубо нарушать правила игры?..

И тут меня точно обухом по голове: а вдруг и редактор соцзема принимал за чистую монету грузинского летчика, похитившего самолет, прокаженных с Кавказских гор, старух поползней, лилипутов и прочую нечисть, стремящуюся проголосовать за Сталина? А я-то сам, был ли я на все сто процентов уверен, что Лелины «факты» — плод ее необузданного воображения? До того как я увидел ее игры с дратхааром возле старого дуба, у меня не мелькали сомнения, что она ездит на площадь Журавлева. А коли так, значит, я полагал, что какое-то соответствие жизни есть в ее материалах. И даже после того, как обнаружилось, что Леля уходит от меня по утрам вовсе не в дымную даль окраин, а домой досыпать, я не допускал по-настоящему это открытие до своего сознания, играл в прятки с самим собой. Я боялся признаться себе, что Леля все выдумывает. Мне хотелось верить, что какая-то доля правдоподобия есть в поспешных строчках, заполняющих ее блокнотик.

А сама Леля, когда она занималась мифотворчеством, была ли психологически так уж далека от той условной реальности, в которой все мы существуем? Ведь поначалу она и впрямь раза два съездила на площадь Журавлева и в бредовости подмененной действительности сделала свое гениальное открытие: чем дальше от жизни, тем больше «жизненной» правды. Как же далеко все зашло, как же абстрагировалось наше бытие, если мы разучились отличать нами порожденную фантазмагорию от действительности, если мы уже не ведаем, когда бредим, когда пребываем в подчинении у сознания!

Но все это была философия, а на смену ей пришел простой и серьезный страх. Я испугался, смертельно и навсегда испугался. Человек с подглазьями сделал непоправимое: заронил в меня мысль о возможности проверки. Теперь я никогда не буду знать покоя, теперь я из ночи в ночь буду ждать рокового стука в дверь, буду обмирать при каждом неурочном скрипе парадной двери, каждом гудке машины, проезжающей по нашему переулку, каждом внезапном озарении ночного окна, задетом лучами фар; буду читать смертельную угрозу в каждом взгляде, жесте, усмешке окружающих, каждом вызове в редакцию или в Союз писателей. Едким страхом будет отравлено все мое существование: еда, питье, встречи с товарищами, женщинами...

Словно раненому животному, мне захотелось скорее уползти в свою нору и там ожидать конца. Не улыбнувшись, а как-то странно и жалко искривив лицо, я поклонился человеку с подглазьями и побрел домой...

Меж тем шел 1952 год, и у меня достало сил, чтобы в тоске, полубезумии и смертной усталости от непроходящего страха дотащиться до следующего марта, когда сама Смерть проголосовала за Великого кандидата.

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח"ל. ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספריה
3112
..... סט'

СОДЕРЖАНИЕ

СРОЧНАЯ КОМАНДИРОВКА,
или дорогая Маргарет Тэтчер

3

АФАНАСЬИЧ

98

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК НЕ ССОРИЛИСЬ
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
С ИВАНОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ

123

ПРИТЧА О МОРДАНЕ

212

НИЧТО НЕ ВЕЧНО

228

ЛЮБОВЬ ВОЖДЕЙ

Единственный и неповторимый _____	285
В ангельском чине _____	305

Цыганское каприччио _____	324
Последняя любовь _____	347

ДВЕ ВСТРЕЧИ

357

САУНА И ЗАЙЧИК

409

А ЛЬВА ЖАЛКО...

420

ПЛОДЫ НЕПРОСВЕЩЕННОСТИ

461

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

476

Юрий Маркович
Нагибин

**НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ДЖИ**



Художественное оформление
Е.Селивановой

Электронная верстка
А.Федина

В издании принимали участие:

С.Андрусенко,
А.Безуглый,
О.Светличная

Ответственный за выпуск
И.Смолин

По вопросам распространения
обращаться по телефону:

(095) 973-25-88

В США книги издательского Дома «ПОДКОВА»
можно приобрести по адресу:

Petropol, Inc.

P.O. Box 8168

Pittsburgh, P A 15217

(412)422-8311, (617)232-8820

Л.Р. № 064584 от 14.05.1996 г.
Подписано к печати 12.03.98.
Формат 84x108/32. Гарнитура Лазурский.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 27,3. Тираж 5000.
Заказ № 111.

Издательский Дом «ПОДКОВА»
121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3-1,
ОСР Давид Титиевский, июль 2019 г, Хайфа
Отпечатано с готовых оригинал-макетов
на ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.